Цена 1 р. 50 к.

Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“

Москва, М. Черкасский пер., 3/4.

Открыт прием подписки

— НА —

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ философский и общественно-экономический журнал

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

Орган воинствующего материализма.

Основная задача журнала—защита ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

Журнал выходит под редакцией А. М. Деборина, Н. А. Карева, В. И. Невского, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова.

В журнале принимают участие все лучшие силы марксизма и ленинизма, к участию в журнале привлекаются ученые, стоящие на материалистической точке зрения.

В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

1) Ленин и ленинизм.
2) Актуальные проблемы философии диалектического материализма.
3) Исторический материализм.
4) История материализма.
5) Новое в естествознании.
6) Статьи по вопросам теоретической экономии.
7) История социализма.
8) Вопросы литературы и искусства в материалистическом освещении.
9) Трибуна.
10) Отдел переписки с читателями.
11) Библиография.

Журнал рассчитан на активных работников партии, преподавателей и учащихся комвузов, вузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

НЕПРИНЯТЫЕ РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 48. ТЕЛ. 4-04-21. Кремлевский 390.

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на месяц—1 р. 50 к., на 3 мес.—4 р. 25 к., на 6 мес.—8 р.

Повышение означенных цен кем бы то ни было ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

Подписную плату надлежит переводить по адресу:

Главная контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

МОСКВА, М. Черкасский пер., 3/4.

Подписка принимается также и в отделениях Издательства:

СЕВ.-ЗАП. ОБЛ. ОТД.—Ленинград, Проспект 25 Октября, 82.
ВСЕУКРАИНСКОЕ ОТД.—Харьков, площ. Тевелева, 17

и в губернских отделениях:

Киев—Улица Ленина, д. № 26. **Одесса**—Улица Лесная, 5. **Ростов н/Д**—Б. Садовая, 51. **Бахмут**—Пл. Свободы, 15. **Таганрог**—Улица Ленина, 23. **Луганск**—Улица Ленина, 43. **Екатеринослав**—Улица К. Маркса, уг. Московской. **Нижний-Новгород**—Улица Свердлова, 5. **Краснодар**—Красная, 31. **Ярославль**—Дом Крестьянина. **Кострома**—Улица Октябрьской Революции, 4. **Брянск**—Улица III Интернационала, д. 63.

Pod znamenem marksizma

Serial

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

HOOVER WAR LIBRARY

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 5—6

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“

МОСКВА—1925

Цена 1 р. 50 к.

Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“

Москва, М. Черкасский пер., 3/4.

Открыт прием подписки

— НА —

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ философский и общественно-экономический журнал

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

Орган воинствующего материализма.

Основная задача журнала—защита ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

Журнал выходит под редакцией А. М. Деборина, Н. А. Карева, В. И. Невского, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова.

В журнале принимают участие все лучшие силы марксизма и ленинизма, к участию в журнале привлекаются ученые, стоящие на материалистической точке зрения.

В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

1) Ленин и ленинизм.
2) Актуальные проблемы философии диалектического материализма.
3) Исторический материализм.
4) История материализма.
5) Новое в естествознании.
6) Статьи по вопросам теоретической экономии.
7) История социализма.
8) Вопросы литературы и искусства в материалистическом освещении.
9) Трибуна.
10) Отдел переписки с читателями.
11) Библиография.

Журнал рассчитан на активных работников партии, преподавателей и учащихся комвузов, вузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

НЕПРИНЯТЫЕ РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 48. ТЕЛ. 4-04-21. Кремлевский 390.

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на месяц—1 р. 50 к., на 3 мес.—4 р. 25 к., на 6 мес.—8 р.

Повышение означенных цен кем бы то ни было ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

Подписную плату надлежит переводить по адресу:

Главная контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

МОСКВА, М. Черкасский пер., 3/4.

Подписка принимается также и в отделениях Издательства:

СЕВ.-ЗАП. ОБЛ. ОТД.—Ленинград, Проспект 25 Октября, 82.
ВСЕУКРАИНСКОЕ ОТД.—Харьков, площ. Тевелева, 17

и в губернских отделениях:

Киев—Улица Ленина, д. № 26. **Одесса**—Улица Лесная, 5. **Ростов н/Д**—Б. Садовая, 51. **Бахмут**—Пл. Свободы, 15. **Таганрог**—Улица Ленина, 23. **Луганск**—Улица Ленина, 43. **Екатеринослав**—Улица К. Маркса, уг. Московской. **Нижний-Новгород**—Улица Свердлова, 5. **Краснодар**—Красная, 31. **Ярославль**—Дом Крестьянина. **Кострома**—Улица Октябрьской Революции, 4. **Брянск**—Улица III Интернационала, д. 63.

Pod znamenem marksizma

Serial

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

HOOVER WAR LIBRARY

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 5—6

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“

МОСКВА—1925

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ
И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

№ 5—6
МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА"
МОСКВА—1925

Главлит № 38895 Москва. Тираж 4.500 экз.

Типография изд. „Правда“ и „Беднота“. Яузск. мост, Серебрянич. наб., д. 23а.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

А. Деборин.—Ленин о сущности диалектики 5
Н. Ленин.—К вопросу о диалектике. 14
О задачах марксизма в нашу эпоху 19
И. Разумовский.—Детские и старческие болезни в правовой теории . . 26

Б. Завадовский.—Предисловие к ст. о голоде 44
В. Кеннон.—Природа голода 47
А. Карлсон.—Биологическое значение голода 62
З. Дейтлин.—Физика Гегеля 73

М. Покровский.—К вопросу об особенностях исторического развития России (продолжение) 89
Б. Борилин—Ленин и проблема империализма 110
М. Рубинштейн.—Реформизм и колониальная политика. 140

К 100-летию со дня смерти Сен-Симона (1825—1925 г.)

И. Фендель.—Ранний пророк «организованного» капитализма. 161
Г. Зайдель.—«Неосенсимонизм» и реформистский синдикализм 198

Трибуна.

И. Варьяш.—Как не надо писать критику 215
Ник. Карев.—Хождение по мукам философской критики 238

Библиография.

Я. Розанов.—Обзор литературы о Сен-Симоне . . . . . —
Б. Завадовский.—Провалы популяризатора 271
Ф. Капелюш.—Политическая экономия без понятия стоимости. 284
Н. Рубинштейн.—Н. Рожков.—Русская история в сравнительно-историческом освещении 289

Ленин о сущности диалектики.

А. Деборин.

Льва узнают по когтям. Достаточно внимательно прочесть печатаемый ниже краткий фрагмент Ленина о диалектике, чтобы убедиться в глубоком понимании Лениным философских основ марксизма вообще и существа диалектики в частности. Все свойственные Ленину особенности выступают в этом отрывке с полной определенностью, выпуклостью и резкостью: глубина и тонкость мысли, простота литературной формы и поразительное умение сочетать самые абстрактные идеи с революционной практикой, с живой жизнью.

В своем фрагменте, озаглавленном «К вопросу о диалектике», Ленин, само собою разумеется, не ставил себе целью исчерпать все содержание диалектики. Он хотел обратить внимание лишь на самую важную особенность диалектики, а именно: на тождество или единство противоположностей, как на основной закон об'ективного мира и человеческого познания.

В одной из своих философских тетрадей, напечатанной в № 1—2 «Под Знаменем Марксизма» Ленин дает следующее определение диалектики.

«Диалектика,—говорит он там,—есть учение о том, как могут быть и как бывают (как становятся) тождественными противоположности, при каких условиях они бывают тождественны, превращаясь друг в друга, почему ум человека не должен брать эти противоположности за мертвые, застывшие, а за живые, условные, подвижные, превращающиеся одна в другую».

Тождество противоположностей есть действительно основной закон природы, истории и человеческого познания. В этом законе Ленин правильно видит основную сущность диалектики, которая состоит в том, что во всех процессах природы и общества существуют внутренне противоречивые и противоположные тенденции. Все вещи в самих себе противоречивы, говорит Гегель. И он резко выступает против основного предрассудка современной логики, состоящего в том, что «противоречие не считается столь же существенным и имманентным определением, как тождество». Между тем, как на самом деле противоречие следовало бы считать за нечто более глубокое и существенное, чем тождество».

Ибо в противоположность ему тождество есть определение лишь простого, непосредственного, мертвого бытия; противоречие же есть корень всякого движения и жизненности; лишь поскольку нечто имеет в самом себе противоречие, оно движется, обладает побуждением и деятельностью [1]).

Такова же и точка зрения Ленина. Где нет противоречия, борьбы противоположностей и перехода их друг в друга, там нет развития, нет жизни, нет двигательной силы. Но противоположности не существуют в раздельности, каждая сама по себе; они составляют тождество. Противоположности и противоречия содержатся внутри тождества. Абстрактного, формального тождества в реальной действительности не существует. Каждое тело подвержено постоянным, непрерывным изменениям, снимающим и видоизменяющим его «тождество».

Каждое конкретное живое тождество содержит в себе различия, противоположения. Все противоположности переходят друг в друга через промежуточные звенья или ступени. Поэтому в природе и в обществе нет нигде абсолютных граней. Все существует в мире не само по себе, но в отношении ко всему другому. Нечто по тому именно и содержит в себе противоречия, что оно вместе с тем тождественно; оно по тому тождественно, что заключает в себе противоречия.

Если бы в мире все было тождественно с самим собою, то не было бы никакого изменения и развития. Основной закон природы есть движение, движение же есть превращение одних форм в другие, постоянный переход одного в другое. На вечном превращении одних форм или явлений в другие основан весь процесс развития мира. Процесс превращения форм, процесс развития совершается путем перехода из одной противоположности в другую. Но противоположности эти существуют в единстве и рождаются из раздвоения единства. «Условие познания всех процессов мира в их «самодвижении», в их спонтанейном развитии, в их живой жизни есть познание их, как единства противоположностей, — говорит правильно Ленин.—Развитие есть «борьба» противоположностей».

Существуют две концепции развития, говорит Ленин. Одна концепция рассматривает развитие как уменьшение и увеличение, как повторение. Эта концепция безжизненна, мертва и суха. Вторая же концепция кладет в основу развития подвижное тождество или единство противоположностей, раздвоение единства. Только эта концепция дает ключ к самодвижению всего сущего, ибо она исходит из того, что все сущее, всякая вещь в силу внутренних противоречий само движется, раздваиваясь

[1]) Hegel, Wissenschaft der Logik, herausg. von G. Lasson, II T., S. 58.

на противоположности, между которыми существует и взаимная связь, взаимное отношение—единство.

Для иллюстрации этой мысли достаточно указать на современное буржуазное общество, которое раздваивается на противоположные классы, между которыми существует и определенное взаимоотношение. Нет пролетариата без буржуазии, нет буржуазии без пролетариата. И не может быть никакого развития и движения вперед без классовой борьбы.

Только концепция единства противоположностей «дает ключ к самодвижению» всего сущего, только она дает ключ к «скачкам», к «перерыву постепенности», к «превращению в противоположность, к уничтожению старого и возникновению нового»,— говорит Ленин. В самом деле, скачки, перерыв постепенности, превращение в противоположность, переход количества в качество и обратно—все это может быть об'яснено только из единства противоположностей. Все полярные противоположности обусловливаются взаимодействием обоих противоположных полюсов,—говорит в одном месте Ф. Энгельс. Об'единение их существует лишь в их разделении, связь их—лишь в их противопоставлении; противопоставление же существует лишь в их связи и об'единении. Но именно поэтому все противоположности относительны и переходят друг в друга. Всякий процесс в природе и в истории возможен лишь как «самодвижение», т.-е. как раскрытие и борьба противоположностей в пределах их связи и единства.

Природа составляет великое целое, где все связано между собою незаметными переходами и где разнообразные формы движения материи превращаются друг в друга; механическое движение, теплота, свет, электричество переходят при определенных условиях друг в друга. Всякое же изменение совершается путем перехода количества в качество и качества в количество.

Тождество противоположностей составляет в известном смысле основу, на которой покоится как низшая, так и высшая математика. «Одним из главных оснований высшей математики,— пишет Энгельс в Анти-Дюринге,—является противоречие, заключающееся в тождестве, при известных условиях, прямой линии с кривой». Тождество положительного (+) и отрицательного (−) составляет также в известном смысле основу низшей математики. Ленин поэтому и подчеркивает значение для математики этой элементарной формы тождества положительного и отрицательного. «Обе эти формы положительного и отрицательного,—говорит Гегель,—проявляются уже в первых определениях, в коих они употребляются арифметикою.

Во-первых, $+a$ и $-a$ суть вообще противоположные величины, a есть лежащая в основе обеих сущее в себе

единство, которое, будучи само безразлично к противоположению, без всякого дальнейшего понятия служит здесь мертвым основанием. Правда, — *a* означает отрицательное, + *a* положительное, но каждое из них есть столь же противоположное, как и другое.

Далее, *a* есть не только простое лежащее в основе единство, но, как +*a* и —*a*, оно есть рефлексия этих противоположений в себя; даны два различных *a*, и безразлично, какое из них хотят считать за положительное или отрицательное; оба остаются различными и положительными»[1]).

Переходя к механике, необходимо заметить, что здесь мы имеем дело с элементарной простейшей формой движения и постольку с низшей формой диалектики. Простейшая форма механического движения выражается в тождестве действия и противодействия. Механическое движение есть простое перемещение места; оно имеет дело только с количествами и потому категория количества здесь является основной.

В основе современного взгляда на атом лежит представление о нем, как о единстве, системе, заключающей в себе два противоположных полюса. Атомы, по современным представлениям, составлены из положительного и отрицательного электричества, при чем внутри атома находится положительное ядро, кругом же него электроны. Строение же ядра противоположно строению атома. Незачем здесь подробно останавливаться на учении о строении атома или его ядра. Для наших целей достаточно сказанного.

Химия представляет собою новую область, где единство противоположностей выражается «в соединении и диссоциации атомов», как выражается Ленин. В физике и в особенности в химии мы имеем дело с качественными изменениями тел в зависимости от изменения количественного их состава. С другой стороны, именно в физике и химии мы имеем высшую, по сравнению с механикой, форму единства противоположностей. В механике противоположности внешни по отношению друг к другу. В химии, в силу так наз. притяжения или «сродства», разные, противоположные тела об'единяются в новое тело, взаимно проникая друг в друга так, что свойства каждого отдельного входящего в соединение тела исчезают и образуются совершенно новые свойства, присущие лишь вновь образованному телу.

В механике, физике, химии мы имеем дело, таким образом, с различными формами движения. «При всей постепенности,— говорит Энгельс,—переход от одной формы движения к другой всегда остается скачком, решающим поворотом. Таков характер

[1]) Hegel, Wissenschaft der Logik, her. von G. Lasson, II. T., S. 45.

перехода от механики небесных тел к механике меньших масс на отдельных небесных телах, или же переход от механики масс к механике молекул, охватывающей движения, которые составляют предмет исследования собственно физики, как теплота, свет, электричество, магнетизм; точно так же переход от физики молекул к физике атомов—химии—опять-таки совершается посредством решительного скачка; еще более это имеет место при переходе от обыкновенного химического действия к химизму белковины, являющейся, главным элементом органической жизни»[1]).

Ту же идею единства противоположностей и перехода различных форм движения друг в друга имеет в виду Ленин, когда устанавливает, следуя Гегелю и Энгельсу, градацию: механика, физика, химия и социология. Математику мы здесь потому опускаем, что она занимает особое положение, являясь абстрактным выражением реальных процессов действительности вообще.

Подобно тому, как в действительности все противоречиво и при известных условиях развития, в силу внутреннего единства и связи всего существующего, превращается в свою противоположность, так и понятия столь же подвижны, противоречивы и гибки, ибо понятия суть лишь отражения материального процесса и его единства вне нас.

«Всесторонняя универсальность, гибкость понятий, гибкость, доходящая до тождества противоположностей,—вот в чем суть»,— говорит в другом месте Ленин. Скептицизм и софистика эту гибкость понятий рассматривают и применяют суб'ективно. Скептицизм и софистика рассматривают, например, относительное только как относительное, превращая относительное в суб'ективное и отрывая его от абсолютного. Для диалектики же самое различие между относительным и абсолютным относительно. «Гибкость (понятий. *А. Д.*), примененная об'ективно, т.-е. отражающая всесторонность материального процесса и единство его, есть диалектика, есть правильное отражение вечного движения мира»,—говорит Ленин. Суб'ективисты и скептики утверждают, что мы познаем только конечное и относительное. Они не видят связи конечного и относительного с бесконечным, абсолютным, Поэтому они всякое относительное познание считают познанием суб'ективным, а не об'ективным. Но по существу всякое истинное познание относительного есть познание абсолютного и бесконечного, познание об'ективного мирового процесса.

Зачатки всех элементов диалектики имеются уже в любом предложении,—говорит Ленин,—так как всему познанию человеческому вообще свойственна диалектика. Мы не только в отно-

[1]) Энгельс, Анти-Дюринг, 1918 г., стр. 58—59.

сительном познаем абсолютное, потому что абсолютное доступно нам через относительное и само «складывается» из конечных и относительных «моментов», но мы в единичном познаем всеобщее, так как всеобщее существует лишь через единичное. Соотношение между единичным и общим составляет также тождество противоположностей, взаимную их связь и переход одного в другое. Ленин подчеркивает, что как изучение, так и изложение необходимо начинать с простого, основного массовидного. Так поступает Маркс в «Капитале». Он начинает с товара, в котором уже даны все противоречия буржуазного общества. Дальнейшее изложение «разворачивает» все заключенные в клеточке буржуазного общества противоречия.

В любом предложении заключаются, как в «ячейке», «клеточке», зачатки всех элементов диалектики. В предложении «Иван есть человек» высказывается диалектическое положение, что единичное, отдельное есть общее. Это значит, что конечное изменяется, переходит в бесконечное, единичное превращается во всеобщее, исчезая в своей изолированности и связывая, «опосредствуя» себя с другим, с всеобщим, с бесконечным. Отдельное противоположно общему и в то же время тождественно с ним. Отдельное, единичное не существует в себе самостоятельно, изолированно, вне связи со всем другим. Оно связано с общим, со всеми существующими явлениями. Общее же, с своей стороны, не существует иначе, как через отдельное. Поэтому отдельное есть общее, как всякое общее есть «сущность» отдельного. «Общее, с точки зрения диалектики и в противоположность формальной логике, не есть пустая абстракция, а существенный момент или сущность всего отдельного. Но «всякое общее вместе с тем лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы». С другой стороны, «всякое отдельное не полно входит в общее».

Абстрактному всеобщему формальной логики противопоставляется конкретное всеобщее, которое содержит в себе все богатство особенного и отдельного. Ленин, подобно Марксу и Энгельсу, принимает Гегелевское учение о понятии, в котором различаются три стороны или момента: отдельное, особенное и всеобщее. От отдельных или единичных предметов, свойств совершается переход к особенному, а от особенного—к всеобщему. Все эти моменты или стороны не существуют раздельно, обособленно, самостоятельно, а связаны воедино. Всеобщее есть тождество, но не отвлеченное и пустое, а такое, которое содержит в себе особенное и единичное, т.-е. различия и противоположности. Всеобщее и особенное даны в единстве, которое и есть отдельное или единичное. Всеобщее поэтому действительно только в единичном и в связи с особенным. Нет дома вообще, человека вообще,

а есть только определенные дома, люди. В диалектическом понятии эти три момента даны в нераздельной связи. И только такое понятие, которое «воплощает в себе богатство особенного и отдельного», как выражается Ленин, и есть конкретное целостное понятие. «Всякое понятие,—говорит Ленин,—тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д.». Таким образом мы в нашем познании единичное поднимаем на ступень особенного и всеобщего; в конечном находим бесконечное. Такое познание есть правильное отражение об'ективной связи природы.

Отдельное в своем частном, непосредственном бытии есть, с одной стороны, нечто случайное, но, с другой стороны, оно есть необходимое, поскольку отдельное заключает в себе общее, поскольку оно есть всеобщее и поскольку всеобщее есть сущность единичного. Случайное и необходимое противополагаются друг другу, как явление и сущность. Тот же самый процесс мы имеем и в естествознании. Оно «показывает» нам природу в тех же ее качествах, превращение отдельного в общее, случайного в необходимое, переходы, переливы, взаимную связь противоположностей»,—говорит Ленин.

Ленин делает упрек Плеханову в том, что он, как и Энгельс, берет тождество противоположностей как сумму примеров, а не как общий закон мира и познания. Мы уже видели, как надо понимать этот закон тождества или единства противоположностей. Второй урок, который Ленин делает Плеханову, сводится к тому, что последний рассматривает теорию познания как самостоятельную дисциплину и некоторым образом противопоставляет ее диалектике. Между тем, как «диалектика и есть теория познания (Гегеля и) марксизма». Диалектическая теория познания рассматривает свой предмет и само познание исторически,—на основе развития всей жизни природы и духа, всего конкретного содержания мира. Метафизический материализм не знает диалектики, не умеет применять ее к развитию мира и познания. Поэтому метафизический материализм односторонен и ограничен, беден содержанием.

Диалектический же материализм есть «живое многостороннее познание с бездной оттенков», бесконечно сложный процесс познания бесконечно богатого содержания, постоянное приближение к действительности, никогда не исчерпаемой целиком. Познание человека идет по кривой линии, бесконечно приближающейся к ряду кругов. Ленин намечает четыре таких основных «круга»: Демокрит-Гераклит, Декарт-Спиноза, Гольбах-Гегель (через Беркли-Юм-Кант) и Гегель-Фейербах-Маркс.

Каждый последующий «круг» шире, богаче, многостороннее предыдущего, составляя высшую ступень познания в сравнении

с предшествующим «кругом», служащим ему основанием и предпосылкой. Каждый «круг» составляет для данной эпохи итог познания мира, то возможное приближение к действительности, которое дается достигнутой степенью развития человеческой практики и познания. Поэтому Ленин говорит в другом месте, что учение Маркса есть «законченный преемник лучшего, что создало человечество в XIX веке, в лице немецкой философии, политической экономии и французского социализма». Марксом «замыкается» последний для нашего времени «круг», марксизм представляет собой поэтому вывод и обобщение всей предшествующей истории человеческого познания, высшее его достижение. Однако, само собою разумеется, что «круг» никогда не может «замкнуться», что познание человека бесконечно приближается лишь к кругу, но никогда его не «замыкает», не завершает. Действительность не исчерпаема и поэтому человеческое познание есть всегда лишь приблизительно верное отражение мира. Человечество в своем историческом развитии все больше и больше приближается к адэкватному познанию об'ективного мира, абсолютного; однако, как бы ни приближалось наше познание к абсолютному, оно остается всегда относительным.

Если диалектика есть «многостороннее познание с бездной оттенков» приближения к действительности, то из каждого оттенка, отрывка или кусочка прямой линии, приближающейся к кругу, растет философская система. В этом смысле и философский идеализм не беспочвенен, а имеет гносеологические корни, как говорит Ленин. Ибо «любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую прямую (линию), которая, если за деревьями не видеть леса, ведет тогда в болото, в поповщину, где ее закрепляет классовый интерес господствующих классов». Философский идеализм не представляет собою абсолютную ложь, ибо он вырастает из того же корня, из какого вырастает и материализм. Как идеализм, так и материализм одинаково растут на «живом дереве, живого, плодотворного, истинного, могучего, всесильного, об'ективного, абсолютного человеческого познания». Тем не менее философский идеализм есть поповщина, ложь, пустоцвет, ибо он превращает один из оттенков бесконечно сложного познания в абсолют, обломок действительности—в целое. «С точки зрения диалектического материализма философский идеализм есть одностороннее, преувеличенное, чрезмерное развитие (раздувание, распухание) одной из черточек, сторон граней познания в абсолют, оторванный от материи, от природы, обожествленный». Вырвав «обломок» из всей совокупности явлений, оторвав его от материи, идеалисты свой «оттенок», «обломок», имеющий несомненные корни в действительности, раздувают до размеров целого, до размеров абсолюта.

Диалектический же материализм прекрасно понимает, что этот «обломок», будучи вырван из всеобщей связи и оторван от материи, лишен реальности и представляет собою «пустоцвет». Гносеологические корни идеализма Ленин видит поэтому в суб'ективизме и суб'ективной слепоте, в окостенелости и односторонности, которые отрезок прямой линии превращают в прямую, в целую систему, в безусловное. «Оттенок» же обладает действительностью в связи со всей многоцветной радугой, отражающей материальный мировой процесс и его единство, его целость. Поэтому различие и противоположность между идеальным и материальным также не безусловно, не абсолютно, а лишь относительно. На живом дереве живого и об'ективного человеческого познания, как прекрасно выражается Ленин, встречаются всевозможные оттенки, разнообразные черты и грани, которые, однако, действительны лишь в связи с целостным деревом, в связи со всем материальным процессом. Каждый же оттенок есть лишь одностороннее отражение об'ективного процесса, а потому ложное, неистинное, оторванное от материальной почвы. Истинное диалектическое познание отражает всесторонность материального процесса и его единство; оно должно дать отображение диалектики самих вещей, самой природы, самого хода событий во всей их многосложности и всесторонности.

К вопросу о диалектике*).

Н. Ленин.

Раздвоение единого и познание противоречивых частей его (см[отри] цитату из Филона о Гераклите в начале III части (о „познании") Лассалевского Гераклита) есть суть (одна из „сущностей", одна из основных, если не основная, особенностей или черт) диалектики. Так именно ставит вопрос и Гегель (Аристотель в своей „Метафизике" постоянно бьется около этого и борется с Гераклитом resp.[1]) с Гераклитовскими идеями).

Правильность этой стороны содержания диалектики д[олжна] б[ыть] проверена историей науки. На эту сторону диалектики обычно (напр. у Плех[ано]ва) обращают недостаточно внимания: тождество противоположностей берется как сумма примеров [„напр., зерно", „напр., первоб. коммунизм" тоже у Энгельса. Но это для популярности...], а не как закон познания (и закон об'ективного мира).

В математике + и —. Дифф[еренциал] и интегр[ал].

В механике действие и противодействие.

В физике полож[ительное] и отриц[ательное] элво [электричество].

В химии соединение и диссоциация атомов.

В общв. [общественной] науке кл[ас]с[овая] б[орь]ба.

Тождество противоположностей („единство" их, м. б. вернее сказать? хотя различие терминов „тождество" и „единство" здесь не особ[енно] существенно. В изве[стном] смысле оба верны) есть признание (открытие) противоречивых, взаимоисключающих, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы (и духа и общества в т.[ом]ч.[исле]). Условие познания всех процессов мира в их „самодвижении", в их спон-

*) Перепечатано из журнала «Большевик» № 5—6 за 1925 г.

[1]) Одновременно, вместе с тем.

танейном развитии, в их живой жизни есть познание их, как единства противоположностей. Развитие есть „борьба" противоположностей. Две основные (или две возможные? или две в истории наблюдающиеся?) концепции развития (эволюции) суть: развитие, к[а]к уменьшение и увеличение, как повторение. И развитие, как единство противоположностей (раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотношение между ними).

Первая концепция мертва, бедна, суха. Вторая—жизненна. Только вторая дает ключ к „самодвижению" всего сущего; только она дает ключ к „скачкам", к „перерыву постепенности", к „превращению в противоположность", к уничтожению старого и возникновению нового.

Единство (совпадение, тождество, равнодействие) противоположностей условно, временно, преходяще, релятивно. Борьба взаимоисключающих противоположностей абсолютна, как абсолютно развитие, движение.

NB: отличие суб'ективизма (скептицизма и софистики etc[2]) от диалектики, м[ежду] пр[очим] то, что в (об'ективной) диалектике относительно (релятивно) и различие между релятивным и абсолютным. Для об'ективной диалектики и в релятивном есть абсолютное. Для суб'ективизма и софистики релятивное только релятивно и исключает абсолютное.

При первой концепции движения остается в тени самодвижение, его двиг[ательная] сила, его источник, его мотив (или сей источник переносится во вне — бог, суб'ект, etc[2]). При второй концепции главное внимание устремляется именно на познание источника „само"-движения.

У Маркса в „Капитале" сначала анализируется самое простое, обычное, основное, самое массовидное, самое обыденное, миллиарды раз встречающееся, отношение бурж[уазного] тов[арного]) общества: обмен товаров. Анализ вскрывает в этом простейшем явлении (в этой „клеточке" б[у]рж[уазного] об[ще]ства) все противоречия (resp[1] зародыши всех противоречий) совр[еменного] об[щест]ва. Дальнейшее изложение показывает нам развитие (и рост и движение) этих противоречий и этого общества, в Σ[3]) его основных частей, от его начала до его конца.

Таков же д[олжен] б[ыть] метод изложения (resp[1] изучения) диал[екти]ки вообще (ибо диал[екти]ка... (б[уржуазного] о[бще-

[2]) И так далее.

[3]) Греческая буква „сигма", употребляемая в математике для обозначения суммы.

ства])*)... у Мх [Маркса] есть лишь частный случай диал[екти]ки)... Начать с самого простого, обычного, массовидного etc [2]) с предложения любого: листья дерева зелены; Иван есть человек; Жучка есть собака и т. п. Уже здесь (как гениально заметил Гегель) есть диал[ектика]: отдельное есть общее. Ср[авни] Aristoteles, Metaphysik [4]) пер. Швеглера Bd II. 8. 40, 3 Buch 4 Capitel 8—9 [5]): „denn natürlich kann man nicht der Meinung seyn, dass es ein Haus — дом вообще — gebe ausser den sichtbaren Häusern“ [6]).

Значит противоположности (отдельное противоположно общему) тождественны: отдельное не существует иначе как в той связи, к[ото]рая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д. Уже здесь есть элементы, зачатки, понятия необходимости, об‘ект[ивной] связи природы etc². Случайное и необходимое, явление и сущность имеются уж здесь, ибо говоря: Иван есть ч[елове]к, Жучка есть собака, это есть лист дерева и т. д., мы отбрасываем ряд признаков, к[а]к случайные, мы отделяем существенное от являющегося и противополагаем одно другому.

Так[им] обр[азом] в любом предположении можно (и должно), как в „ячейке“ „клеточке“ вскрыть зачатки всех эл[ементов] диал[екти]ки, показав так[им] обр[азом], что всему познанию ч[елове]ка вообще свойственна диал[екти]ка. А ест[ество]знание показывает нам (и опять таки это надо показать на любом, простейшем примере) об‘ективную природу в тех же ее качествах, превращение отдельного в общее, случайного в необходимое, переходы, переливы, взаимную связь противоположностей. Диал[екти]ка и есть теория познания (Гегеля и) марксизма: вот на какую сторону дела (это не „сторона“ дела, а суть дела) не обратил внимания Плех[ано]в, не говоря уже о других марксистах.

* * *

*) Неразобранное в первоначально опубликованном «Большевиком» тексте, слово воспроизведено И-том Маркса-Энгельса.

[4]) Аристотель. Метафизика.

[5]) Т. II, стр. 40, 3-я книга, гл. 4.

[6]) Ибо, очевидно, невозможно думать, будто какой-то дом вообще существует вне (помимо) видимых домов.

* * *

Познание в виде ряда кругов представляет и Гегель (см. Логику)—и соврем. „гносеолог“ естествознания, эклектик, враг гегелевщины (коей он не понял) Paul Volkmann (см. его Er. theor. Grundzüge... 5) [7]).

[Обязательна ли хронология? Нет!]

„Круги“ в философии:

Античная: от Демокр[ита] до Платона и диал[ектики] Гераклита.

Возрожд: Декарт v[ersu]s [8]) Gassendi (Spinoza?)

Новая: Гольбах—Гегель через Беркли, Юм, Кант Ге[гель]—Фе[йе]рб[а]х—Мх [Маркс].

Диал[екти]ка как живое, многостороннее (при вечно увеличивающемся числе сторон) познание с бездной оттенков всякого подхода, приближения к действ[ительно]сти (с фф. [философской] системой, растущей в целое из каждого оттенка—вот неизмеримое богатое содержание по сравн. с „метафизическим“ материализмом, основная беда коего есть неумение применить диал[екти]ки к Bildertheorie [9]) к процессу и развитию познания.

Ф[илосо]ф[ский] ид[еали]зм есть т[оль]ко чепуха с т[очки] зре[ния] материализма грубого, [простого] *) метафизичного. Наоборот, с то[чки] зре[ния] диал[ектическо]го м[а]т[ериа]ли[зма] ф[илосо]ф[ский] ид[еали]зм есть одностороннее, преувеличенное, überschwängliches [10]), (Dietzgen) развитие (раздувание, распухивание) одной из черточек, сторон, граней познания в абсолют, оторванный от материи, от пр[иро]ды, обожествленной. Ид[еали]зм есть поповщина. Верно. Но ид[еали]зм ф[илосо]ф[ский] есть („вернее“ и „кроме того“ дорога к поповщине через один из оттенков бесконечно сложного познания (диалектического) человека.

NB. сей афоризм.

Познание человека не есть (resp¹ не идет по) прямая линия, а кривая линия, бесконечно приближающаяся к ряду кругов, к спирали. Любой отрывок, обломок, кусочек этой кривой

[7]) В русском издании книга Фолькман, П., называется: „Теория познания естественных наук“.

[8]) Против.

[9]) Теория развития.

*) См. сноску на стр. 16.

[10]) Чрезмерный, беспредельный.

линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую (линию), которая если за деревьями не видеть леса, ведет тогда в болото, в поповщину (где ее закрепляет классовый интерес господствующих классов). Прямолинейность и односторонность, деревянность и окостенелость, суб'ективизм и суб'ективная слепота voila [11]) гносеологические корни идеализма. А у поповщины (= ф[илосо]ф[ского] ид[еали]зма), конечно, есть гносеол[огические] корни, она не беспочвенна, она есть пустоцвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве живого плодотворного истинного, могучего, всесильного об'ективного, абсолютного человеческого познания.

---

[11]) Вот.

О задачах марксизма в нашу эпоху.

В марте этого года вышел первый номер немецкого журнала „Unter dem Banner des Marxismus" („Под Знаменем Марксизма"). Содержание № 1 составляют: Вступительная статья редакции. Н. Ленин — Под знаменем марксизма (перевод письма нашему журналу). Н. Бухарин — Империализм и накопление капитала. А. Деборин — Последнее слово ревизионизма. В. Юринец — Психоанализ и марксизм. Д. Рязанов — Новая работа Маркса о заработной плате. К. Маркс — Заработная плата. Д. Рязанов — Введение Энгельса к марксовской „Классовой борьбе во Франции" и в библиографии: В. Юринец — Теория относительности и русская марксистская литература. Г. Якобсон — Отголоски кантовского празднества в советской прессе. М. И. Лонский — Архив К. Маркса и Ф. Энгельса.

Горячо приветствуя нового товарища по борьбе за воинствующий материализм на Западе, мы помещаем в этом номере перевод его программной редакционной статьи. Пусть появление журнала будет знамением того, что скоро под старым боевым знаменем нам удастся окончательно сокрушить не только буржуазный идеализм и реформистскую глупость, но и капиталистическую действительность, духовным ароматом которой они являются.

РЕДАКЦИЯ.

Первый номер нашего журнала выходит в такое время, когда социал-демократический «марксизм» уже подвел теоретические итоги своего предательства. На наших глазах «живой марксизм» социал-демократов, этот отброс нашей бурной эпохи, носится по мутным волнам воскресающего мистицизма, немощного философского идеализма, утонченной порнографии, религиозного кликушества, декадентского «искусства», апокалиптических лжеизмышлений, половых сатурналий и «возвышенных» лозунгов. Но это идеологическое ничтожество, обволакиваемое удушливой атмосферой разлагающегося трупа, еще опирается до поры до времени на костыли отживающих иллюзий прошлого. Эти костыли нужно разбить, жалкой эклектической мешанине «конструктивного социализма» презренных Макдональдов и трусливых Бернштейнов, за полы которых ныне цепляются господа Каутские и Гильфердинги, нужно противопоставить подлинный, революционный мар-

линии может быть превращен (односторонне превращен) в самостоятельную, целую, прямую (линию), которая если за деревьями не видеть леса, ведет тогда в болото, в поповщину (где ее закрепляет классовый интерес господствующих классов). Прямолинейность и односторонность, деревянность и окостенелость, суб'ективизм и суб'ективная слепота voila [11]) гносеологические корни идеализма. А у поповщины (= ф[илосо]ф[ского] ид[еали]зма), конечно, есть гносеол[огические] корни, она не беспочвенна, она есть пустоцвет, бесспорно, но пустоцвет, растущий на живом дереве живого плодотворного истинного, могучего, всесильного об'ективного, абсолютного человеческого познания.

---

[11]) Вот.

О задачах марксизма в нашу эпоху.

В марте этого года вышел первый номер немецкого журнала „Unter dem Banner des Marxismus" („Под Знаменем Марксизма"). Содержание № 1 составляют: Вступительная статья редакции. Н. Ленин — Под знаменем марксизма (перевод письма нашему журналу). Н. Бухарин — Империализм и накопление капитала. А. Деборин — Последнее слово ревизионизма. В. Юринец — Психоанализ и марксизм. Д. Рязанов — Новая работа Маркса о заработной плате. К. Маркс — Заработная плата. Д. Рязанов — Введение Энгельса к марксовской „Классовой борьбе во Франции" и в библиографии: В. Юринец — Теория относительности и русская марксистская литература. Г. Якобсон — Отголоски кантовского празднества в советской прессе. М. И. Лонский — Архив К. Маркса и Ф. Энгельса.

Горячо приветствуя нового товарища по борьбе за воинствующий материализм на Западе, мы помещаем в этом номере перевод его программной редакционной статьи. Пусть появление журнала будет знамением того, что скоро под старым боевым знаменем нам удастся окончательно сокрушить не только буржуазный идеализм и реформистскую глупость, но и капиталистическую действительность, духовным ароматом которой они являются.

РЕДАКЦИЯ.

Первый номер нашего журнала выходит в такое время, когда социал-демократический «марксизм» уже подвел теоретические итоги своего предательства. На наших глазах «живой марксизм» социал-демократов, этот отброс нашей бурной эпохи, носится по мутным волнам воскресающего мистицизма, немощного философского идеализма, утонченной порнографии, религиозного кликушества, декадентского «искусства», апокалиптических лжеизмышлений, половых сатурналий и «возвышенных» лозунгов. Но это идеологическое ничтожество, обволакиваемое удушливой атмосферой разлагающегося трупа, еще опирается до поры до времени на костыли отживающих иллюзий прошлого. Эти костыли нужно разбить, жалкой эклектической мешанине «конструктивного социализма» презренных Макдональдов и трусливых Бернштейнов, за полы которых ныне цепляются господа Каутские и Гильфердинги, нужно противопоставить подлинный, революционный мар-

ксизм. В лице последнего находит свое теоретическое выражение коммунизм, который грозным великаном восстает перед запутавшимся запуганным сознанием буржуа и «социалистического» реформиста.

Война воочию доказала правильность революционно-марксистской точки зрения всякому, кто желает видеть и слышать. Только безнадежные педанты считают еще практическое осуществление социализма задачей отдаленного будущего. Империалистская война была по своей материальной сущности не чем иным, как могучим восстанием производительных сил мирового хозяйства против втиснутых в рамки государственных границ методов национального присвоения. Но эта война доказала в то же время, что капитализм не в состоянии разрешить задачу раскрепощения производительных сил. Она показала, что эта проблема может быть разрешена только одним путем—путем низвержения всей капиталистической системы, которая ныне угрожает самому существованию общества. Так гигантская война империалистов между собою вызвала бурю революции против самих империалистов, гражданскую войну пролетариата, восстание крестьян, волнения в колониях и национальную борьбу в метрополиях.

Снова и снова приходится поражаться теоретическому бесстыдству и идейному убожеству теоретиков «интернациональной» социал-демократии, считающих уместным как раз теперь выступать в роли Пиндаров «Лиги Нации» и воспевать своими скопческими голосами новую эру буржуазного «миролюбия», «организованности», «взаимопомощи», «тесного сотрудничества» и прочих чудес «демократического пацифизма». В эпоху, когда воздушные эскадрильи сбрасывают пудовые бомбы неслыханной взрывчатой силы, когда прославляются ядовитые газы, разрушающие на своем пути все живое, когда эти великолепные изобретения сделались основными аттрибутами «цивилизации»,—в эпоху, когда под ружьем стоят человеческие массы, оставляющие в тени даже большие армии довоенного времени, когда военные бюджеты вопреки всем благонамеренным речам о разоружении растут с бешеной быстротой, когда каждый день рождает новые конфликты и весь мир находится в состоянии невыносимого напряжения,—в эпоху, когда все старые представления о «спокойствии», «непрерывности» и «постепенности» сохраняют лишь ретроспективное значение давно исчезнувших исторических признаков, когда весь аппарат капиталистического режима бывшей российской империи опрокинут и разбит вдребезги, когда миллионные массы народов Азии, пробуждаемые для освободительной борьбы, охвачены глубоким брожением,—в эпоху, наконец, когда капиталистический мир стоит с обнаженным мечом против Союза Советских Республик, между тем как в окружающем империализм колониальном кольце на-

роды захлебываются в крови,—в такую эпоху «интернациональная» социал-демократия провозглашает устами своих теоретиков новую эру «мирного» капитализма, выбрасывает за борт теорию классовой борьбы, заменяет революцию «педагогикой», диктатуру пролетариата «коалицией», марксистский материализм идеалистическим мусором, воинствующий атеизм незаконным сожительством с религией. Марксизм, этот верный меч рабочего класса, превращен ею в теорию предательства революции.

Этой недопустимой низости мы об'являем борьбу под знаменем неискаженного марксизма, того марксизма, который искони вызывал ожесточеннейшую ненависть буржуазии, который повергает господствующие классы нашего времени в настоящие припадки бешенства и всегда будет бельмом на глазу у капиталиста. Наш марксизм—не теория подхалимских жестов, но теория революции, теория переворота, теория классовой борьбы пролетарского авангарда. Наоборот, социал-демократический «марксизм» есть теория предательства революции, теория отрицания классовой борьбы, либеральное искажение марксизма, которые мы должны непрерывно и неустанно разоблачать, если хотим привести к победе пролетарскую революцию.

Задачи нашего журнала определяются задачами эпохи, в которую мы живем. Еще никогда не было, да и не могло быть накоплено такого множества разнообразных опытов, как в истекшее десятилетие. Если орлиное око марксова гения уже определило главный путь истории, как путь к диктатуре пролетариата, если Маркс в то же время доказал об'ективную, закономерную необходимость этого хода развития и сверх того набросал с изумительной проницательностью основные черты этой диктатуры, то наше время доставляет нам новый, неисчерпаемый в своей историко-социальной содержательности материал для рассмотрения наших теоретических знаний и для углубления наших марксистских обобщений. На наших глазах возникли чудовищные хозяйственные организации финансового капитала, опирающегося на сеть могучих банков; вся государственная машина буржуазии перестраивается с лихорадочной поспешностью, что об'ясняется все более тесной спаянностью государственного аппарата буржуазии с кликами финансово-капиталистических королей стали, железа, угля и нефти; военно-технические рессурсы государственной власти необычайно усовершенствовались, развившись в поистине сатанинскую систему машинных и химических средств истребления человечества; либеральная «свободная конкуренция» купцов и промышленников уступила место столкновениям империалистических гигантов, в боях которых все превращается в развалины и сотрясаются самые основы капиталистического здания. Дальнейший рост производительных сил

парализуется быстрым развитием разрушительных подземных процессов. Под гром орудий рвутся все хозяйственные связи, стираются с лица земли целые государства, из-под обломков бывших империй возникают новые народы, перемещаются старые могучие центры мирового хозяйства. Чем-то новым веет в мире, по-новому бьется его пульс. Новые общественные слои выступают на арену истории. Недвусмысленными действиями пролетариат начинает открыто заявлять о своей воле к завоеванию власти. Все громче раздается голос порабощенных колониальных народов, этого заселяющего целые континенты миллиардного резерва человечества, который из немого, покорного, безгранично эксплоатируемого об'екта капиталистической «цивилизации» вырастает в суб'ект собственной активной воли к жизни. С небывалой быстротой развиваются центробежные силы капиталистического господства, дремавшие где-то в глубине в идиллические времена доимпериалистической эпохи. С другой стороны, с каждым днем ширится и крепнет родившийся из великих классовых битв союз пролетарских республик, существование которого кладет начало дальнейшей, принципиально новой стадии общественного развития. В самом деле: новые хозяйственные формы в многообразном переплетении с еще сохраняющимися старыми устоями экономических форм прошлого; новые типы государственности, опирающиеся на организации трудовых масс; новые формы сотрудничества народов, ставящего себе общие цели, совершенно чуждого буржуазному «правопорядку»; возникновение совсем новых взаимоотношений между классами и—last non least—надо всем этим быстрый расцвет советской культуры. Разве все это не требует самым настойчивым образом тщательного теоретического анализа?

Социал-демократические циники, которые к вящшей славе какого-нибудь Бернштейна тем усерднее ревизируют марксизм, чем решительнее живая действительность подтверждает правильность марксовых учений, безжалостно разрывая мелко-буржуазную паутину ревизионистских конструкций,—эти паралитические рыцари буржуазии бросают в лицо международному коммунизму новую клевету. Они обвиняют нас в вытеснении марксизма ленинизмом. Это противопоставление марксизма и ленинизма настолько же фривольно, насколько лживо и глупо. Ленинизм не может ни заменить, ни вытеснить марксизм уже по одному тому, что он и есть сам марксизм. Ленинизм—это марксизм нашей эпохи, марксизм, который усвоил и теоретически переработал, ассимилировал все новые факты современного развития, ни на волос не отступая ни от метода, ни от сущности марксова учения. Более того, ленинизм не только не отступает от марксизма, но он один сумел беспощадно отразить

все нападения на марксизм, откуда бы и когда бы они ни исходили и каких бы областей философии, науки или политики они ни касались. И когда господа, признающие своим философом кантианца Форлендера, своим учителем «этики» полу-попа Кранольда, своим государствоведом лассальянца Кунова, исказителя Маркса, своим тактиком Носке, своим кумиром Бернштейна, своими вдохновителями Макдональда и любезную фабианскую чету Сиднея и Беатрису Веббов,—когда, говорим мы, люди такого калибра проливают крокодиловы слезы над заменой марксизма ленинизмом, то поистине нельзя не поражаться беспредельности социал-демократического лицемерия.

Нелепо исповедывать в наши дни марксизм и не быть в то же время ленинистом, ибо один только ленинизм продолжает славную теоретическую и практическую традицию марксизма в специфических условиях, созданных истекшим десятилетием.

Мы все имеем право на неискаженное Бернштейном наследие Маркса и Энгельса.

Коммунизм выступает ныне на арене классовой борьбы как единственная сила, оспаривающая у капитала историческое право на руководство общественными функциями, т.-е. как сила, сознательно стремящаяся к перевороту, к разрушению всех факторов, задерживающих прогресс человечества. В то же время коммунизм развертывает на территории бывшей российской империи творческую деятельность созидания—факт, которого теперь уже не решаются отрицать даже самые закоренелые противники Союза Советских Республик. Поэтому один только коммунизм, захвативший власть и сумевший удержать ее,—в противоположность фабианской болтовне английских реформистов о «конструктивном социализме», который так же «конструктивно» привел своих апостолов к власти, как, с помощью ториев, «конструктивно» устранил их от нее,—один только коммунизм имеет право громко заявлять о своих успехах в социалистическом строительстве.

В двух направлениях, в двух плоскостях истории, разрушительной и созидательной, осуществляется деятельность сторонников революционного марксизма. Это обстоятельство чрезвычайно расширяет исторический горизонт, оно дает нам возможность осознать все проблемы в доселе еще невиданном об'еме и ставит в порядок дня такие вопросы, о существовании которых даже и не подозревали прежде. Это огромное обогащение нашего опыта обязывает нас к углубленной постановке проблем, к бесстрашию и смелости в области теории.

Великая эпоха гибели старого общества и рождения нового знаменуется также глубокой революцией, охватывающей все звенья идеологической цепи. Чувство всеобщей неустойчивости

и неуверенности порождает внутри официальной буржуазной науки тяги к «иррациональному», «мистическому», «интуитивно постижимому». Гнилой скептицизм и даже религия снова допускаются в науку с величайшей готовностью. С другой стороны, расширяющаяся сфера научной деятельности попадает во все более явное противоречие со старыми теоретическими обобщениями и предельными понятиями, которые из «формы» развития превратились в путы для него. Отсюда мучительные поиски новых синтезов и безрезультатность всех усилий; отсюда разочарованность и та зараженная атмосфера, в которой ныне живут идеологи западно-европейской буржуазии. Наоборот, в советских государствах укрепилась гегемония марксизма. Марксизм завоевывает там все более широкие круги ученых—в том числе естественников, математиков и даже филологов. На основе растущей социалистической экономики, властно требующей планового хозяйства, централизованного руководства и установления прочных связей между различными хозяйственными факторами, неизбежно развивается потребность в научном монизме и окончательном изгнании всякой религии и идеалистической метафизики из всех областей научной мысли. Грандиозный переворот в общественной психологии находит свое выражение и в перевороте внутри идеологических кадров общества во всех отраслях научной работы, имеющих ныне свой об'единяющий центр в марксизме. И мы видим, действительно, как марксизм со своим диалектически-материалистическим методом проникает теперь в такие области, в которые ему не было доступа прежде.

Как действительное завоевание власти рабочим классом, его диктатура—в противоположность «коалиции» Каутского и «конструктивизму» Макдональда—впервые создает возможность политической самодеятельности широких масс, так эта же диктатура, утверждающая власть марксизма и в сфере идеологии, впервые дает возможность фактически занять все идеологические командные высоты. Вот как возникает синтез, которого тщетно ищет официальная буржуазная наука. Победоносное наступление рабочего класса означает вместе с тем победоносное утверждение марксизма. И как революционный коммунизм в области непосредственно материальной классовой борьбы приближается в своей цели только в тяжелых боях с буржуазией, с социал-демократическим оппортунизмом, который сделался вернейшим сподручником буржуазии,—так и в идеологической классовой борьбе знамя марксизма должно быть пронесено сквозь ожесточенные битвы с темными средневековыми теориями буржуазии и беспринципными теориями реформизма, давным-давно прогнившими и ничтожными по существу, но еще продолжающими оказывать влияние. Оказывают же они до сих пор влияние потому, что они поддерживаются буржуазией, потому что они сосредоточивают в себе все иллюзии, все заблуждения, все суеверия, все предрассудки, еще живущие в отсталых слоях рабочего класса, потому что они мобилизуют все временные мещанские интересы, все привилегии, все лживое и отжитое, что еще сохраняется в рабочей аристократии. Только поэтому живут еще идейно давным-давно обанкротившиеся социал-демократы.

И поэтому мы должны бить их и в области теории, бить и бить до тех пор, пока все предрассудки и иллюзии не будут рассеяны окончательно и победоносная идея марксизма не воцарится повсюду.

Но бить врагов—этого одного еще мало. Мы должны беспощадно разоблачать наши собственные слабости. Ведь еще Маркс отметил, как характерную особенность пролетарских революций, их постоянную самокритику. И как часто Ленин открыто признавал свои ошибки. Бесконечная сложность проблем, требующих марксистского разрешения, делает ошибки неизбежными. Это справедливо и для теории. Наш журнал будет поэтому уделять внимание и этой задаче.

Мы приглашаем всех, признающих вместе с нами необходимость такой дискуссии, к деятельному участию в нашем журнале. Мы обращаемся ко всем, в ком зрелище теософско-религиозно- идеалистических оргий в «святилище науки» вызывает отвращение и искреннее негодование. Сражаясь под знаменем оптимистического мировоззрения революционного пролетариата, сражаясь

под знаменем марксизма,

мы об'являем войну всякой религии, всякому идеализму, всякому искажению и извращению науки.

Детские и старческие болезни в правовой теории.

И. Разумовский.

> Левое доктринерство упирается на безусловном отрицании определенных старых форм, не видя, что новое содержание пробивает себе дорогу через все и всяческие формы, что наша обязанность, как коммунистов, всеми формами овладеть...
>
> **Ленин.** Детская болезнь «левизны» в коммунизме.

Недавно тов. И. Степанов, в своей полемике по поводу политической экономии, употребил выражение: «троцкизм в экономической теории». Мы скромно полагаем, что в указанном конкретном случае тов. Степанов направил свое обвинение отнюдь не по надлежащему адресу. Но верной остается та общая мысль, что различные политические направления и прослойки в нашей партии, в той или иной мере отходящие от основных положений ленинизма и ленинского диалектического метода, могут находить и находят себе отражение в самых, казалось бы, отдаленных и отвлеченных областях теории. Мы не говорим уже о достаточно хорошо известной и выявленной связи бывшей «рабочей оппозиции» с богдановщиной, с пролеткультовщиной; но и прикрытый левой фразой оппортунизм и зачастую перерастающий в него «левый», доктринерский коммунизм—все эти настроения, находившие и отчасти сейчас находящие себе место в наших партийных рядах, нередко проступают и легко прощупываются в том или ином академическом докладе, в ученой, на специальную тему написанной статье и т. п. И это слишком понятно: маркс-ленинская теория представляет из себя, и с политической, и с чисто-теоретической стороны, настолько проникнутое единством, монолитное целое, что малейший теоретический уклон от нее не может не сопровождаться и политическим уклоном, и наоборот. И в философии, и в социологии, и в экономике, и в праве—всюду на белоснежных вершинах чистой теории мы обязаны открывать зародыши или отрыжки тех или иных политических настроений, обязаны всегда соединять нашу теоретическую борьбу с борьбой политической и на этой базе строить и всю нашу теоретическую полемику.

Последнее в полной мере относится и к нашей, наиболее молодой, правовой теории. В силу ряда исторических причин,

вопросы права должны были в гораздо меньшей степени привлекать внимание марксистской мысли в предреволюционный период, чем, скажем, вопросы философии или политической экономии: марксизм ограничивался лишь самой общей критикой буржуазно-юридической идеологии в связи с разработкой учения о государстве. Период гражданской войны не принес в этом отношении ничего нового, кроме общих, неопределенных фраз о социалистическом, пролетарском «правосознании». И лишь практические потребности нэпа вызвали интерес как к конкретным юридическим вопросам, так и к общей теории права. Отсюда проистекает то сохранившееся еще пренебрежительное отношение к вопросам юридической теории многих наших марксистов, которые наивно полагают, что раз право—«буржуазная идеология», то стоит ли им заниматься? Отсюда и та явная неподготовленность к разрешению правовых проблем наших наиболее видных юристов, или вовсе не могущих освободиться от цепей формального мышления, или же, в лучшем случае, склоняющихся к упрощенной концепции права, понимая его в качестве норм, установленных классовым государством. До сих пор еще в большом фаворе необуржуазное учение о «социальных функциях права» в его социал-демократической обработке у Карнера (Реннера); пропитывающий эту теорию насквозь нормативизм, в котором экономика поглощается правом, превращаясь в «функцию» правовых институтов, доходит до крайних пределов у некоторых наших доморощенных «материалистов» (напр., своеобразная помесь Штаммлера с Петражицким у Е. Энгеля). Впрочем, если ничего общего с подлинным марксизмом не имеют вышеназванные «старческие болезни правизны», то не лучше обстоит дело и с воззрениями некоторых наших видных и талантливых юристов, до сих пор еще продолжающих болеть «детскими болезнями левизны». Левая фраза о «борьбе» с юридической идеологией, желание превратить право в «целесообразные технические правила»—а на деле, зачастую, то же полнейшее подчинение юридической идеологии, обычно не идущее дальше «последнего слова» буржуазной юридической науки (напр., у А. Г. Гойхбарга). Правовая «левизна», как выяснится из дальнейшего, очень легко переходит в «правизну» именно потому, что в самой этой «правизне» она имеет свои корни. И обратно: сегодняшнему типическому представителю юридической метафизики ничего нет легче, как на завтра превратиться в такого же голого, метафизического отрицателя юридической идеологии. Ни тот, ни другой не в состоянии поставить вопрос диалектически: о «преодолении» юридической идеологии, о правомерности ее в определенных пределах и в то же время о пределах этой правомерности. Ибо ни тот и ни другой не связывают этой правовой идеологии с определенными материальными общественными отношениями.

Как известно, подобное метафизическое «отрицание» имеет место и в других областях идеологии: так же ставится некоторыми якобы «левыми» товарищами вопрос о марксистской философии, марксистской социологии и т. д. Но особенно опасным становится оно, пожалуй, в области права, которая, более чем какая-либо иная, теснейшим образом связана с нашей конкретной политикой. Здесь каждый «старческий» или «детский» уклон легко

может повлечь за собой те или иные законодательные последствия, стало быть, и последствия политические. Здесь поэтому вопрос о чистоте марксистского, диалектического подхода приобретает первостепенной важности значение. И всякого рода уклоны от него легко поддаются сопоставлению с соответствующими политическими течениями и настроениями. Здесь, где интересы теоретической истины так тесно переплетены с интересами нашей политической борьбы, мы вынуждены поэтому поступиться и всей нашей нелюбовью к литературной полемике, и всем нашим уважением к тем или иным «друзьям Платонам»!

Как это указал уже давно Ленин, «вся наша экономическая политика... является применением нами, коммунистами, приемов торговых, приемов капиталистических» (доклад ЦК на XI с'езде партии). «В нэпе мы сделали уступку крестьянину, как торговцу». Чтобы «двигаться теперь вперед несравненно более широкой и мощной массой не иначе, как вместе с крестьянством» [1]), мы используем и расширяем товарооборот, рыночные отношения. Но рыночные отношения неизбежно предполагают и юридическую форму, предполагают, стало быть, и ту юридическую идеологию, с которой борются сейчас наши «левые» юристы. Вопрос стоит не об абстрактном отрицании, а об умелом использовании для нужд социалистического строительства и буржуазно-правовой формы—поскольку ее неизбежно предполагают товарооборот и рыночные отношения—путем вложения в эту форму определенного классового содержания. Но это возможно лишь при правильном анализе самой правовой формы, при правильном понимании связи юридической идеологии с общественными отношениями.

К каким большим и теоретическим заблуждениям и связанным с ними политическим ошибкам ведет отсутствие этого понимания, мы покажем на разборе новой книги проф. М. А. Рейснера «Право» [2]).

I.

Теоретическая полемика в наши дни носит подчас «жестокий» характер: критика склонна наседать, что называется, «во-всю», не щадя ни звания, ни возраста, ни личного самолюбия. И мы нисколько не сомневаемся, что многие на нашем месте соблазнились бы исторической генеалогией нынешних теоретико-правовых воззрений проф. Рейснера: они стали бы напоминать ему не только не столь отдаленные времена, когда в изображении проф. Рейснером «государства» читатель находил все... кроме самой государственной машины, но и ту подлежащую уже забвению «плосквам-перфектную» эпоху, в каковую проф. Рейснер переходил от «органологической» теории государства к Кнаппу и Петражицкому, окропляя последнего марксистской водицей [3]).

[1]) См. Ленин, т. XVIII, ч. 2, стр. 141, 71.

[2]) М. Рейснер, Право. Наше право. Чужое право. Общее право. Ленгиз. 1925. Причудливый заголовок соответствует, очевидно, общей идее книги.

[3]) Любопытствующих отсылаем к сборнику «Политический строй современного государства», т. I, Пет. 1905. Статья М. Рейснера: «Избирательное право», стр. 83—116, и др. работам М. Рейснера: «Теория Петражицкого, марксизм и социальная идеология», 1908, «Государство», изд. 1, 1911, и изд. 2 и т. д.

Мы, однако, не падки на подобного рода полемические приемы. Не пытаясь копаться в теоретических ошибках прошлого,—кто из нас без греха в этом отношении!—мы будем исходить лишь из того поучительного настоящего, какое представляет нам последняя, несомненно, наиболее зрелая и продуманная работа проф. Рейснера. Более того: мы с самого начала воздадим ей должное. Огромный опыт научной работы, несомненно, сказался в самом положительном смысле и на характере построения книги, и на обилии использованного историко-литературного материала. Если к этому еще прибавить прекрасное по большей части литературное изложение, интересные характеристики отдельных исторических эпох, отдельные верные соображения и мысли, рассыпанные на страницах об'емистой книги (275 стр.),—то все эти ее положительные черты должны, несомненно, вызвать к ней внимание и интерес читателей. Но тем книга проф. Рейснера и опаснее и требует большего внимания к себе и критики: методологические грехи ее—увы!—далеко перевешивают чашку весов с ее достоинствами.

Общий ход развития мыслей автора следующий. По мнению его, марксистская теория, в противоположность буржуазному сознанию, «принципиально чуждалась создания идеологических надстроек... Во всяком случае, «идеологии» необходимо приводились в связь с известными реальными явлениями». На первый план марксизмом было поставлено «разоблачение экономических фетишей, столь блистательно начатое сокрушением товарного фетишизма» (курсив, как и всюду, наш, стр. 7). Однако по целому ряду исторических причин слишком мало внимания было уделено «опиуму права». Перечисляя ряд буржуазных историков и теоретиков, которые, по мнению проф. Рейснера, сыграли значительную подготовительную роль для марксистской правовой теории, М. А. Рейснер останавливается на Л. Кнаппе, «сделавшем то же в юриспруденции, что Фейербах сделал для религии»: согласно воззрениям Кнаппа, под давлением потребностей «создается целая система фантастических представлений, играющих роль специальных раздражителей», «всевозможные правовые фантазмы», а говоря современным языком, идеологии». Такое же внимание посвящается Петражицкому, который, хотя не исходил из общественного человека, но «во многом проточил фундамент догматической юриспруденции» и учение об интуитивном праве которого Рейснер переработал в «самое настоящее интуитивное классовое право» (стр. 17, 18, 20, 21).

Напомнив о своих заслугах по выявлению «классового интуитивного права революционных масс», М. А. Рейснер переходит в дальнейшем к положению современной марксистской юриспруденции, «представляющей изумительное извращение науки и марксовой диалектики». Строится эта литература за немногими исключениями «не по типу научного исследования», «совершенно игнорируется или перетолковывается основное учение марксизма о праве—о его идеологическом характере». Право отождествляется с «государственным приказом», «одним махом уничтожены» обычное, первобытное право, правовое сознание; классовая теория права понимается «не в том смысле, что каждый общественный класс творит и несет в себе свое классовое право, а в том, что классовое право есть

только право господствующего класса» и т. п. (стр. 29, 30). Наблюдая современное возрождение правовых понятий, проф. Рейснер «недоумевает: ...нужно ли нам право, в какой степени оно нам нужно, и можно ли мириться с тем, что мы почему-то пролетарскую диктатуру и классовый интерес перекрашиваем в какие-то загадочные правовые образы и формы» (курсив автора). «Спрашивается, почему бы на-ряду с правовым покрытием этих понятий и не допустить также и соответственного религиозного построения?» (стр. 34). М. Рейснер приходит к следующему выводу: «Перед революцией я думал, что право могло бы быть использовано нами, как революционное оружие. В настоящее время, при наличии новой экономической политики и замедления мировой революции, я склонен стать на противоположную точку зрения. Меня весьма страшат наши новые правовые увлечения,—и я склонен возвысить свой голос в тех целях, чтобы предостеречь от безмерной юридизации наших порядков, даже на основе пролетарской диктатуры» (стр. 35).

Уже вышеприведенные положения вводной главы в значительной мере выявляют точку зрения автора. Более подробное освещение она получает в исторических главах, в которых М. А. Рейснер пытается установить «связь между правом и хозяйством в его исторических формах, при чем воспользоваться теми явлениями права, которые наиболее элементарны и просты». Полемизируя с тов. Стучкой, якобы заимствовавшим свои определения права у Иеринга, проф. Рейснер протестует против сужения понятия права «от идеологической формы, присущей экономической структуре (а в частности хозяйственной апроприации вообще, считая в том числе и собственность коллективную), до весьма ограниченного во времени и пространстве понятия права, как момента, присущего исключительно одной частной собственности, едва ли не буржуазного типа и классового общества, обладающего развитым государственным аппаратом» (стр. 38). С этой целью он и пытается указать примитивные явления права, «лишенные строго классовой оболочки, но тем не менее обладающие не только ярким правовым признанием, но и судебной защитой». Цитируя ряд соответствующих мест из историков права Поста, Дареста, М. Ковалевского и т. д., проф. Рейснер приходит к выводу, что одним из древнейших способов судебного процесса является судебный поединок (стр. 44): в этом и заключается «борьба за право», которую напрасно смешивают с борьбой вообще. И тут попутно М. А. Рейснер сообщает нам, что «между человеком и материальным миром вообще не может быть никакой правовой связи», что «камни, трава и деревья, так же как и вода и реки, не могут быть лицами в юридическом смысле», «не могут вступать в правовые сделки, нести обязанности и осуществлять права» (!) (стр. 50). Но подобным же внеправовым отношением, как и к материальному миру, может быть и отношение к человеку, которое ограничивается одним «характером исключительно хозяйственных целей и характером грубого использования»: лишь со времени войн между родами борьбы, идеи реванша мы имеем идеологическую оболочку права. «Насколько причудлива (т.-е. произвольна. *И. Р.*) связь между классовыми отношениями и правовой формой, показывает и тот факт, что наиболее обширные и глубокие отношения классового господства в истории человечества (вплоть до XIX в.), а именно рабство, были лишены как раз там правового характера, где мы находим связь эксплоатации и господства между рабом и господином» (стр. 52). Частной войне родов или непрерывной кровной мести, по мнению Рейснера, придает правовой характер прекращение ее, примирение через посредство вмешательства суда. Однако тут же Рейснер признает «основной чертой юридической идеологии именно «ее ригидность» или неуступчивость: выходит, что у каждой из борющихся сторон имеется своя неуступчивая правовая идеология, и борьба не может закончиться, пока искусственно не создается между ними «идеологическая общность». Спор между двумя замкнутыми и непримиримыми «правами» завершается тем, что какое-то высшее правовое суждение привлекает к делу новые правовые ценности (? *И. Р.*), создает благодаря им новый же эквивалент, или единицы возмещения и производит акт уравновешения, обладающий свойствами бесспорного и окончательного решения (стр. 57).

Проф. Рейснер не останавливается специально на родовом обществе, историю развития которого он доверчиво передает по Э. Гроссе и М. Ковалевскому. В родовом обществе он рассматривает отдельно его внутреннюю и внешнюю стороны. В то время, как с внутренней стороны род представляется ему «замиренной средой», где поэтому «нет ни правовых отношений, ни правовой защиты», и наказание представляется единственно в форме изгнания, с внешней стороны роды представляют из себя правовые единицы, между которыми развиваются правовые отношения. Тут зарождается «посреднический или третейский междуродовой суд», разрешающий конфликты между родами суд «менее всего государственный», но уже закрепляющий правовые традиции в нормах. «Нужно быть глубоким невеждой в области права, чтобы связывать появление твердых правовых норм, этого процессуального, а слишком часто и материального выражения права в кодексах, уставах, сборниках и символических процессуальных действиях исключительно с государственным законодательством»... (стр. 69). «Таким путем за первым правом обиженного рода и за противоположным ему вторым правом обидчика явилось новое третье право—право, установленное посредником, которому первоначально без всякого государственного содействия, свободно и добровольно, подчинились обе стороны... Общее право найдено... (стр. 70). Древнейший процесс совершается «по принципу уголовного преследования»: «око за око тут царит невозбранно», это—«требование равенства в первичной форме материальной компенсации». «Идея равенства должна была быть особенно присущей первобытному коммунизму» (стр. 74, 75). Таким образом, по мнению М. Рейснера, зарождается правовая идеология, которая приспособляется к дальнейшей хозяйственной эволюции и вмещает в себе новые хозяйственные и социальные отношения. Так система композиций,—здесь, как и в ряде других случаев, Рейснер повторяет

Лафарга, — т.-е. система пропорциональной денежной оценки и возмещения преступления, могла быть достигнута лишь благодаря уравнительному пропорциональному дележу земли при господстве земельной коммуны. Здесь мы имеем уже «бесспорное влияние торгашеского духа». Равенство по справедливости «здесь достигает нового развития пропорционального отношения. Эта пропорция оказывается особенно пригодной для выражения народившихся классовых градаций» (стр. 80). Здесь мы впервые встречаемся с начатками классового права». М. Рейснер оговаривается, что не справедливость создает право, но, наоборот, «общее» право создает справедливость: «Если с точки зрения пропорционального отношения моего и чужого права к праву общему устанавливается определенное прямое или пропорциональное равенство между моим правом и чужим, и я нахожу это равенство правильным, самое решение судьи я называю справедливым. Если требование чужого права и моего права совпадают с общим правом, я называю это требование справедливым» (стр. 86). «Так устанавливается в виде общего права норма права или об'ективное право». Установление этого общего «об'ективного» права сопровождается той или иной символикой, которая впоследствии начинает переноситься на все экономические действия и факты, в виде особой их формы. «Снабженные такой формой акты, называются правовыми... Поскольку общественные отношения... организуются... при большем или меньшем участии инстинкта мести и стремления к формальному равенству они дают идеологическую надстройку, которую мы называем правовой или построенной при помощи идеи справедливости» (стр. 91, 92).

Так как проф. Рейснеру легко можно было бы возразить, что ведь внутри рода, построенного на равенстве, по его мнению, права и не существует, то он предусмотрительно оговаривается: «Право возникает не там, где равенство и притом полное уже стало реальным фактом. Сознание права является лишь тогда, когда равенство нарушено и является стремление восстановить его» (стр. 93). Это—шаг для того, чтобы иметь возможность перейти к феодализму; право «оказалось способным к необычно пестрой фабрикации всевозможных неравенств под кровом справедливого равенства». Оказывается, что «средневековье и в частности феодализм отличались совершенно исключительным развитием правового начала. Это—общее мнение ученых» (стр. 94). В отличие от отношений между рабом и его господином, между крепостным крестьянином и феодальным сеньером «признается нечто общее». «С крепостными в известной степени договариваются. С ними устанавливается некоторая почва пропорционального равенства, и свойственный им классовый интерес получает возможность формулировать свои требования под углом такого равенства и соответственной междуклассовой правды. Голое насилие и эксплоатация сменились каким-то подобием социального компромисса» (стр. 98). Оказывается, что «еще задолго до окончательного крушения общинного владения старинному равенству было нанесено много непоправимых ударов», и крестьяне вынуждены были передавать свои земли феодалу, что еще усугубилось давлением рождающегося городского капитала: «от старых

коммунистических вольностей... в запасе мужицкой правды-справедливости оставалось одно последнее положение, вернее, одна фикция, которая так характеризует собой вообще наличность правовой идеологии. И это признание равенства между крестьянами и господином в одном только пункте: в праве заключать договор на началах призрачного равноправия и столь же воображаемой свободной воли» (стр. 101). Отсюда, под давлением закрепощения, ведут свое происхождение и крестьянские войны, которые «для юриста имеют совершенно исключительное значение» и где «под религиозным флагом скрывается строго правовое содержание» (стр. 102). Требования восставших крестьян «дают нам типичный образец построения классового права. Оно здесь отнюдь не выражено господствующим классом. Наоборот, оно формулируется классом угнетенным и притом на основании его веками сложившихся прав» (стр. 103). Феодальное право вообще представляет собой шаг вперед в том смысле, что «между средневековыми людьми существует общность воззрений», они «подчиняются общему праву»: победа противника является «правовым доказательством» (стр. 110). При феодализме, таким образом, право «насыщено классовым интересом»: «договорное начало дает возможность отдельным видам классового права притти к выработке некоторого общего права, обязательного для всей страны» (стр. 115), а между тем «юристы, которые желают рассуждать по-марксистски, как раз игнорируют феодализм при своих конструкциях классового права». «Здесь именно каждый отдельный класс, а подчас его группировка создали свое собственное право, в котором выразился классовый интерес». Проф. Рейснер приходит к следующему общему выводу: «Поскольку существуют различные классовые интересы, постольку же при правовой организации общества имеются и различные системы права, из которых каждая носит строго классовый характер. Общее право есть только результат компромисса этих отдельных прав». «Так выясняется новая социальная функция права. Это есть идеология, стремящаяся к компромиссу, действительному или призрачному... Она исходит из равенства борющихся сторон, а кончает глубоким неравенством во имя справедливости» (стр. 117, 119).

При таком понимании права, каково же должно быть «соотношение между властью и правом», между правом и государством? Здесь, приведя, по своему обыкновению, ряд цитат из различных авторов относительно ранних форм власти и исходя из того положения, что «нет права без прав», проф. Рейснер указывает на то, что целый ряд случаев громадного напряжения власти лишен правовой идеологии (в семье древнего римлянина, в ранних деспотиях, в рабовладельческом строе). В законе нужно различать акт веления власти и высказывание правового характера. Власть и право—«обе эти идеологические формы являются как бы конкурирующими друг с другом». В борьбе абсолютизма с буржуазией «здесь чрезвычайно резко противополагаются две идеологические формы организации общества» власть и право. «Правовой характер власть принимает в действительности лишь там, где мы находим несколько самостоятельных и независимых органов государства, при чем для осуществления их деятель-

ности требуется необходимо каждый раз соглашение, если не официальный договор» (стр. 146).

Мы не будем здесь подробно останавливаться на изображении проф. Рейснером развития буржуазного права, которое он понимает как право торгового оборота» и где у него не выступают в такой мере спорные моменты: нужно сказать, что проф. Рейснеру, несомненно, помогла в этом отношении новейшая марксистская литература по общей теории права, на которую, однако, не делается никаких ссылок. Отметим здесь лишь пару характерных моментов. Говоря о равенстве, как об основе спроса и предложения, при полном торжестве «товарного фетишизма» Порядок природы, «естественного права» «родился отражается в нашем мозгу и дает соответственные «идеальные побуждения» в виде формы равенства, постольку экономическое отношение становится правовым» (стр. 151). На рынке мы также имеем борьбу, нарушение и восстановление равенства: «это равенство устанавливается, конечно, на основе спроса и предложения, при полном торжестве «товарного фетишизма». Порядок природы, «естественного права» «родился на рынке», но это право буржуазии «оказалось способным покрыть своим универсальным плащом и новые производственные отношения, а в частности отношения классовые» (стр. 160, 167).

Мы переходим, наконец, к тому, что проф. Рейснер называет «пролетарским правом». Оказывается, что мы имеем здесь дело с законодательством о труде в буржуазном обществе: называя его буржуазным правом, мы, по мнению автора, не отправляемся от источника правовых требований. Борьба ведется рабочими во имя отдельных правовых требований, которые получают «свое частичное воплощение в окончательном компромиссе», в «мирном договоре двух борющихся сторон», в праве, как «способе организации равенства и неравенства» (!) (стр. 183). Пролетариат «несет с собой свое классовое право и так или иначе вкрапливает его в буржуазные кодексы» (стр. 184). Такими элементами пролетарского права являются право собраний и союзов, право стачки, право коллективного договора. «Мы имеем суб'ективное право капитала, построенное при помощи своей справедливости и право труда, построенное на том же идеологическом принципе, т.-е. правовом, но имеющем в основании другой оценочный критерий, т.-е. признание основной ценности труда» (стр. 193). Поскольку мы имеем здесь в буржуазном законодательстве компромисс, «связанность чужим правом», это уже «не буржуазное право, а капиталистический правопорядок» (стр. 196).

Чтобы не задерживаться слишком долго на изложении мыслей автора, мы оставим пока в стороне рассматриваемое им советское право и обратимся прямо к выводам последней главы «Право». Их, впрочем, можно уже легко предвидеть из всего предыдущего. Право существует, таким образом, и в доклассовом обществе, где оно покоится на начале мести, как право междуродовое, которое затем развивается во внутриродовое право. «Появление классового общества кладет резкий отпечаток на правовую структуру. Право разбивается на отдельные идеологические системы классовых групп и отныне каждое из них получает свой собственный отдельный ход. Поэтому уже в сословном обществе мы находим не одно право, но столько же правовых построений, сколько имеется сословий» (стр. 245). Все эти отдельные права «складываются с замирением общества в общий правопорядок». Связь права с хозяйством несомненна, так как «каждый класс строит свое право на основе своего положения в производстве и обмене», поэтому «право есть результат хозяйственных отношений, а в частности производственных отношений. Как известно, в этом пункте марксистская теория права поддерживается рядом мыслителей из буржуазного лагеря» (стр. 248). Право—«идеологическая форма, основанная на равенстве неравного» (стр. 257). Поэтому, допуская существование родового права, наличностью которого «можно только об'яснить и последующее право земельной общины с ее первобытным коммунизмом», проф. Рейснер останавливается на вопросе, исчезнет ли в коммунистическом обществе вместе с узким кругозором буржуазного права всякое право? Проф. Рейснер приходит к положительному выводу: с одной стороны, право—идеологическая форма, со свойственными ей двойными или даже тройными отражениями и извращениями, которая должна смениться «научно-техническим выражением», с другой стороны, фактическое неравенство есть постоянный признак права, и «этим дефектом запятнано и родовое право» (стр. 258). Другим таким общим выводом проф. Рейснера является то, что при изучении развития права нужно итти от суб'ективного права к праву об'ективному, при чем—предусмотрительно оговаривается М. Рейснер—суб'ективное право «не есть чисто психологическое переживание во вкусе Петражицкого». Во-первых, мы имеем здесь «давление (?!) материальной среды», во-вторых, «психологическая установка суб'ективного права совершается здесь в качестве идеологического отражения действительности... с тем, чтобы при помощи этого идеального побуждения организовать опять-таки (?) известное коллективное действие или реальное поведение, несущее на себе определенные следы известного метода представления... Нам важна его внешняя активность, его материально выраженное поведение в материальном мире» (стр. 263).

2.

Мы, разумеется, при всех допущенных длиннотах, отнюдь не исчерпали всего обильного содержания книги проф. Рейснера, в частности не дали надлежащего представления о множестве историко-литературных ссылок и цитат, которые составляют, между тем, едва ли не большую часть книги. Но приведенных наиболее важных положений,—отнюдь не являющихся нарочито подобранными неудачными фразами!—полагаем, достаточно для некоторой их оценки.

И здесь, прежде всего, бросается в глаза тот, слишком отчетливо сказавшийся и бьющий порой через край, теоретический эклектизм, которым проникнуты все построения проф. Рейснера. Мы вовсе не хотим здесь обидеть автора и сказать, что нет внутренней последовательности, своей, так сказать, имманентной логики в проведении им своей собственной точки зрения, состоящей в воззрении на право, как на «правосознание». Но вся беда в том, что автор пытается уложить ее в прокру-

стово ложе подлинно-марксистской теории, совместить ее не только с противоречащими ей положениями, которые можно найти у Маркса и у Энгельса, но и с теми новыми соображениями о природе права, которые были высказаны за последние годы в новейшей марксистской литературе. Пытаясь «вместить многое» и заранее предупредить таким образом все могущие быть ему сделаны возражения, проф. Рейснер, естественно, оказывается не в состоянии создать из этого единое, стройное целое. Более того: в стремлении к этому, М. А. Рейснер не расценивает должным образом отдельных верных положений и мыслей, находимых им у других авторов; у него нет должного мерила, чтобы поставить на свое место и идею «эквивалентности» в праве, связанную, главным образом, с развитием обмена (см. об этом у т. Е. Б. Пашуканиса), и роль социальных компромиссов в образовании «правопорядка», и самое понятие правопорядка, как совокупности норм. Поэтому все эти отдельные верные мысли и положения получают у него своеобразное, по большей части неправильное освещение или произвольное истолкование.

Но основное, конечно: несмотря на разговоры о марксовой диалектике, отсутствие подлинно-диалектического подхода к историческому развитию классового общества, который учитывал бы все элементы зарождения этого классового общества в доклассовом и все элементы отмирания этого общества в коммунизме, который прослеживал бы «вылупливание», как говорили Маркс и Ленин, одной общественной формы из другой [1]). Этой подлинной диалектики нет у проф. Рейснера, а потому он не может понять той связи, которая существует между классовым обществом, государством и правом. Когда он пытается, напр., найти в доклассовом, родовом обществе правовые явления с ярко выраженными правовыми признаками и судебной защитой, то он не замечает, что имеет дело с теми же моментами зарождения частной собственности, классов, обмена и т. д.—одним словом, более ранних или более поздних признаков классового общества в рамках общества доклассового. Что междуродовые столкновения могут сопровождаться третейским судебным разбирательством племенных старшин или священников—в этом нет никакого сомнения. Но разве проф. Рейснер полагает, что в будущем коммунистическом обществе не будут возможны конфликты лиц и целых групп и невозможно будет их разрешение третейским путем? А ведь, согласно проф. Рейснеру, право исчезает в коммунистическом обществе. (Хотя не совсем понятно, как это оно может исчезнуть, раз эта форма «присуща хозяйственной аппропиации вообще» стр. 38). Тут автора не может оправдать и ссылка на «извращенный» характер правовых представлений, который де несовместим с обществом «фактического равенства». Но ведь то же фактическое равенство имеет место и в родовом строе. И, если, согласно проф. Рейснеру, возникающее вначале «междуродовое

[1]) Последнее сказывается, между прочим, на слишком большом доверии пр. Рейснера к цитируемому историко-литературному материалу (что должно означать «подлинно-научное» изучение истории права!): здесь Рейснер, вслед за своими вдохновителями, смешивает зачастую в своем изображении «дикарей» самые различные общественные формы: поздний патриархат, ранний феодализм, начала простого товарного производства и т. п.

право» перерождается во «внутриродовое», то мы имеем здесь дело с развитием обмена, прежде всего между родовыми общинами, а затем с развитием его внутри рода, с закреплением частной собственности и т. д. Мы имеем здесь, стало быть, не какое-то особое право родового общества, построенное по тому или иному принципу, а первый, ранний этап развития права классового общества. Никто не отрицает существования так наз. «обычного права», третейских судов и т. п. и при родовом строе, но это обычное право стоит на грани нравственности: оно—еще не право в строгом смысле слова, потому что такое «обычное право» будет иметь место и при коммунизме.

Понятие права неотделимо от понятия имущественного, классового неравенства—в этом именно смысле, а не в том, который придает ему М. А. Рейснер, Маркс и Ленин называют всякое право «правом неравенства». Оно зарождается не вне имущественных, а стало быть классовых отношений, но вместе с этими классовыми распределительными имущественными отношениями, как их формальное, идеологическое «опосредование». И если в рабовладельческом строе мы имеем классовые отношения между рабовладельцем и рабами, но в пределе не имеем между ними правовых отношений, в отличие от аналогичного им положения крепостных, то это не потому, что феодалы и крепостные де договариваются, а между рабовладельцами и рабами никакого «компромисса» их «прав» не создается: самый акт договора—явление второстепенное, последующее. Основное же то, что между крепостным и феодалом, равно как и между рабочим и капиталистом создается отношение материальной взаимозависимости, отношение, определяемое положением классов в производстве, в котором материальные производительные силы тесно связаны с противостоящей им производительной силой человека, и находящее себе выражение в отношении распределительном, имущественном.—Раб же рассматривается как «живое орудие», а потому классовое отношение между ним и рабовладельцем и не опосредывается правовой формой, как отношения распределительные и меновые: и с развитием обмена мы все еще здесь в обществе простых товаровладельцев, но не общества капиталистического найма. Поэтому, если фактические отношения классов и не всегда находят себе опосредование в правовой форме, то зато эта правовая форма всецело относится к тому, что является высшим типом классовых производственных отношений, к отношениям имущественного распределения и обмена. Мы не касаемся здесь уже того особого вопроса, что все категории классового общества—классы, частная собственность, право, государство—получают свое полное и наивысшее развитие лишь на ступени товарно-капиталистического общества, и что поэтому в более низких общественных формах мы можем искать лишь подготовительные, низшие формы права и государственности.

И здесь нужно указать, что взаимоотношения права и государства также далеко неотчетливо понимаются проф. Рейснером. Разумеется, как это указал Маркс, «право не сводится к закону»; ошибочно было бы, или, по крайней мере, явилось бы значительным упрощением, отождествлять право с одними законодатель-

ными нормами, издаваемыми государством. Акты государственной власти могут быть неправомерны с точки зрения существующих материальных общественных отношений. Право не порождается властью, но зато оно ею выявляется, декларируется, существующие «нормы» самих общественных отношений укладываются в законодательных актах государства в соответствующую рациональную, осознанную и соответствующую выгодам господствующего класса форму. Более того, на высокой ступени развития государственности—а это имеет место лишь с товарным производством и развитием торгового капитала—правовая норма начинает связываться не только с самим аппаратом власти, но и с идеологическими представлениями о «всеобщей, верховной, суверенной воле». Точно также и применение правовых норм администрацией и судебное их подтверждение классовым судом, являющимся таким же орудием господствующего класса и элементом политической надстройки, а не каким-то нейтральным «юридическим» учреждением—все это также ведет к выявлению и укреплению правовой формы. Между правом и государством, как двумя характерными особенностями классового общества, существует, таким образом, тесная связь: государство всеми своими элементами—законодательством, судом, администрацией—содействует развитию и оформлению той или иной определенной классовой же правовой формы. Сводя государство к «идеологической форме власти» (?), проф. Рейснер видит лишь противоречия этих обеих форм, но не замечает их связи, ибо не хочет видеть обуславливающего и ту и другую форму классового общества.

Если эклектизм проф. Рейснера обусловлен, главным образом, отсутствием у него правильного, подлинно-диалектического подхода к развитию классового общества и понимания связи и взаимозависимости всех сторон и элементов этого общества, то еще в большей мере именно отсутствием такого подхода об'ясняется и та особенность его социального рассмотрения, которую мы, за отсутствием подходящего термина и считаясь с последними «увлечениями» проф. Рейснера в области психологии!—позволили бы себе определить, как социальный фрейдизм. Нам представляется, что нашей марксистской критике следует обратить внимание на этот своеобразный уклон от марксистской теории, который мы иногда обозначаем как «психологизм» и который проявляется в терминологическом хотя бы отождествлении общественного сознания с сознанием индивидуальным и в неправильном понимании взаимозависимости между общественными отношениями и общественным сознанием. Здесь необходимо иметь в виду целых две особенности. С одной стороны, «бессознательное» в общественном смысле, т.-е. в том смысле, что общественное сознание не об'емлет целиком, полностью строя данных общественных отношений, хотя оно и протекает в головах сознательных и совершающих сознательные действия людей,—это бессознательное понимается в узко-физиологическом или психо-физиологическом смысле, по образцу фрейдовского индивидуального «бессознательного». На явления же общественного сознания целиком переносится психофизиологический механизм сознания индивидуального. Так, проф. Рейснеру «способы представления» кажутся не чем иным,

как «отражением в мозгу», «условными раздражителями», «фантазмами», «символикой», своего рода «сигналами» со стороны «бессознательно протекающего общественного процесса: самые «отражения» мыслителя им, как «двойные и тройные отражения», в виде ряда «этажей» и т. п. С другой стороны, указанный социальный фрейдизм не понимает связи идеологических представлений с общественными отношениями[1]). Марксистская теория, по мнению М. А. Рейснера, «чуждалась создания идеологических надстроек» (?), она «сокрушала» (?!) товарный фетишизм. Отсюда и его непонимание, зачем нам «нужны» «какие-то загадочные правовые образы»: идеология права мыслится им как нечто абстрактное, нисколько не связанное с данными экономическими отношениями, которое поэтому легко взять и отбросить в сторону за ненадобностью. Этим об'ясняется и беспомощность его в тщетных, многократных попытках «определить» право—от «точки зрения пропорционального отношения» вплоть до «социального метода наиболее простого компромисса, построенного при помощи распределения власти и вещей по принципу равенства и неравенства» (стр. 223) (??!). Правда, и здесь у проф. Рейснера имеется ряд противоречий, и местами эта абстрактность проступает у него не так отчетливо: порой, наоборот, под правоотношения, поскольку они организованы под углом зрения правовыми отношениями от склонен понимать самые экономические «равенства-неравенства». Но и здесь совершенно очевидно, что отчетливо этой связи между правовой идеологией и правовыми отношениями, того, что сами эти правовые отношения и являются, по выражению Ленина, отношениями идеологическими—он себе не представляет. А между тем, правовую идеологию, в первую очередь, нужно искать в самих общественных отношениях: она возникает вместе с ними, как опосредывающая эти материальные отношения идеологическая форма. И если в дальнейшем правовые отношения—теоретически или исторически—и представляются обособленными от опосредываемых ими

[1]) См. также статью проф. Рейснера: «Условная символика, как социальный раздражитель» («Вестн. Комм. Академии», № 9) и др. В последней своей статье «Социальная психология и учение Фрейда» («Печать и революция», кн. 3, 1925 г.) он делает уже попытку несколько отмежеваться от чисто индивидуальной психологии и от Фрейда, все же находя у последнего «революционные» и «материалистические», социологические моменты. (Крайне характерно, что тут же «борющийся» с юридической идеологией проф. Рейснер «целиком соглашается» с рядом положений о государстве крайнего нормативиста, Г. Кельзена!) Удивительно ли, что у Фрейда, при большом желании, можно отыскать и кой-какие материалистические моменты?! Но вся суть в том, что, следуя Фрейду (его „Тотем и табу"), проф. Рейснер полагает, что „сексуально окрашенное мышление", под влиянием материальных причин, переходит „в одном случае—в построении религиозной космогонии", „в другом—сексуально-мистический террор" и т. п. (Вест. К. Ак., стр 194). Общественное сознание, разумеется, имеет место нигде иначе, как в головах отдельных индивидов; но в это общественное сознание, предопределенное общественными отношениями, вовсе не следует включать все те имеющиеся у отдельных индивидов элементы сознания, в которых может проявиться природная сексуальность и т. п. Аналогичный априорный характер получает у Рейснера и развитие „универсального плаща" права. „Новая социология Фрейдизма" тем и отличается, что общественные отношение с ней как-то пропадают, растворяясь в психологической терминологии „рефлексов", „вытеснений" и т. п. Наблюдая же все эти поиски „материализма", то у Фрейда, то у Кельзена и т. д., ну как не вспомнить язвительных строк Ленина о наших махистах, которые «прочтут Оствальда, поверять Оствальду», «прочтут Маха, поверят Маху», „назовут это марксизмом"! (См. „Материализм и эмпириокритицизм").

материальных отношений, отдифференцировываются от этих последних, об'ективируются для общественного сознания, то это не значит, что мы должны забывать связь их, как формы, с их содержанием, с производственными отношениями.

У М. А. Рейснера же право мыслится лишь как «результат хозяйственных (?) отношений» (действительно, это называется далеко уйти от буржуазной науки!): его «идеологическая форма» не является «формой» какого-либо определенного «содержания». Отсюда проистекает и вся путаница, которая имеет у него место по вопросу о пресловутом «правосознании». С его точки зрения, как мы уже видели, каждый отдельный класс, а «подчас и его группировки», создают свое собственное, «интуитивное» право, выражающее их классовые интересы. Так создаются различные «системы права», различные классовые правосознания, которые определяются положением класса в производстве, и лишь в результате компромисса этих отдельных классовых прав создается общее право. Здесь проф. Рейснер, как и подобает истому фрейдисту, снова упустил из виду посредствующее звено—общественные отношения. Вовсе не так, что положение в производстве непосредственно отражается «в мозгу» того или иного класса, но отражается оно через посредство связывающего эти классы основного производственного отношения и через связанное с этим производственным отношением общественное сознание! Форма распределения и обмена в буржуазном обществе—товарная форма—предполагает этим самым буржуазно-юридическую форму для актов найма рабочей силы: а вовсе не так, чтобы получился капиталистический «правопорядок» в результате «компромисса» буржуазного и пролетарского права. Самый правопорядок—не что иное, как та же совокупность правовых отношений, рассматриваемая лишь с точки зрения «должного». Поэтому «правосознание», о котором говорит М. А. Рейснер,—еще не право: более того, оно является лишь отражением в сознании того или иного класса предопределенной самими материальными отношениями правовой формы. Что между классами идет борьба и могут иметь место компромиссы—это несомненно, но этот компромисс сказывается прежде всего на характере материальных, производственных отношений, и правовая форма вовсе не является результатом компромисса «правосознаний». Поэтому неверны рассуждения проф. Рейснера и о «пролетарском праве»: разумеется, пролетариат использовывает в буржуазном обществе правовую идеологию и его требования принимают форму правовых требований: но от этого воплощающее их буржуазное законодательство не перестает быть самым настоящим «буржуазным правом», со всеми присущими этой правовой форме особенностями.

Вся ложность позиции, занятой проф. Рейснером, сразу разоблачается перед нами, когда он, рискуя поставить себя в смешное положение, начинает полемизировать—с кем бы вы подумали?—с самим Марксом и Лениным! По мнению проф. Рейснера, Маркс, говоря о первой фазе коммунизма, что на ней еще господствует «буржуазное право», «слишком подчеркивает близость такого права к праву буржуазному... Маркс готов и эту форму пролетарского права признать в известной степени «буржуазной». Мы бы не пошли так далеко...

нам казалось бы более правильным отделить равенство, основанное на непосредственном вознаграждении трудом за труд от равенства буржуазного общества (курсив наш, стр. 202, 204). И проф. Рейснер начинает терпеливо «раз'яснять» Марксу, что хотя в переходный период диктатуры пролетариата мы имеем «компромисс» пролетарского права с буржуазным, но это уже более совершенное «равное право» и т. д., и т. п. В чем же ошибка проф. Рейснера и почему он мог оказаться в такой неловкой позиции? Да в том и потому, что для Маркса, как и для Ленина, «буржуазное право» вовсе не есть право только буржуазии, как этого хочет проф. Рейснер, но неизбежно-историческая форма правовых отношений при условиях товарного обмена или условиях, аналогичных этим последним. В этих пределах, поскольку сохраняются на первой стадии коммунизма формы распределения, напоминающие обмен и выражающие фактическое неравенство, постольку сохраняется и «буржуазное право». Разумеется, «буржуазное право», вместе с тем, является и правовой идеологией господствующего класса—буржуазии, но это потому, что сама буржуазия представляет персонификацию определенных производственных отношений. Этого не понимает проф. Рейснер, и это проявляется и во всех его рассуждениях о «советском праве».

Но здесь проф. Рейснер совершает одновременно и несомненную политическую ошибку, и его, обнаруженный нами, теоретический уклон грозит ему определенным политическим уклоном от ленинской линии в использовании права для революционного строительства. Как указывает проф. Рейснер, «правотворчество» победившего пролетариата проходило два последующих периода. Сначала—и в сем, оказывается, был повинен и сам Рейснер (стр. 21)—мы обратились к «революционному правосознанию» масс, «которое имелось в наличности уже в ноябре месяце 1917 г.», сложилось до революции. При этом проводилось резкое разграничение «между деятельностью права» в судах и борьбой с контр-революцией соответствующих органов: Ч. К., трибуналов. Подобно пролетариату, и крестьяне принесли в революцию свое классовое право и выявили его в своем «сводном крестьянском наказе». «Наш военный коммунизм был в то же время осуществлением революционных требований рабочих и крестьян»: «в самые формы неравенства была влита новая мерка — трудового начала» (стр. 216). Выражением этого периода остался наш кодекс о труде и ст. 18 «Конституции РСФСР». При новой экономической политике «пришлось усилить примесь буржуазного права и буржуазной государственности», снова возродилась буржуазия: поэтому мы имеем «некоторый компромисс трех классовых систем права», но настоящая система советского права, по мнению проф. Рейснера, не адэкватна наличному соотношению сил. Поэтому наше право «может стать реакционной силой, которая закрепит переходный период в его нэповской форме сверх всякой действительной необходимости» (стр. 224): тут особенно опасными представляются проф. Рейснеру «свойственные правовой идеологии фикции и фантазмы». Переходя к нашим кодексам, проф. Рейснер критикует целый ряд наших юридических увлечений, недостаточное выявление правосознания пролетариата, разделение на

«публичное» и «частное» право, связанное в действительности лишь с буржуазной собственностью и т. д. В последнем разделении проявилось наше «увлечение торговым оборотом»,— между тем как превалирование у нас государственного производства не подает к этому повода. «Мы не должны забывать, что гражданское или частное право это есть основное орудие вражеской нам силы на идеологическом фронте» (стр. 237); «частная деятельность есть дополнение к основному факту нашей коллективной собственности» (стр. 239). Поэтому Рейснер рекомендует нам классификацию А. Менгера на вещи потребляемые, используемые и средства производства, при чем на последние право собственности должно принадлежать исключительно государству...

Мы не будем останавливаться здесь на отдельных, быть может, и верных замечаниях проф. Рейснера по поводу наших кодексов. То, что «правовые увлечения» у нас действительно имеют место, что мы оставляем слишком мало места государственному контролю в нашем законодательстве и зачастую самым нелепым образом заимствуем буржуазно-правовую терминологию, не давая себе даже права в нее вдуматься—это слишком хорошо известно! Но дело не в этом, а в общей экономически-правовой концепции проф. Рейснера, которая политически уже устарела на 2—3 года. Можно ли говорить, что в декретах «военного коммунизма» нашло себе выражение «правосознание» пролетариата? Разумеется, можно, если только это «правосознание» расшифруем и откроем за ним нашу партийную программу. Но вот если мы зададимся вопросом, создалась ли в период того же военного коммунизма особая правовая форма, соответствующая новым производственным отношениям, а не одному только «правосознанию», то должны будем ответить на это отрицательно. Почему? Да потому, что самые новые производственные отношения только намечались в нашей системе главков, но они еще не стали в действительности основными производственными отношениями, потому что сохранился и товаропроизводящий крестьянин и прикрытые формы торговли: одним словом, для такой новой правовой формы еще не созрела почва. Но она и не могла созреть для нее, потому что мы не могли не перейти к нэпу и, стало быть, к рецепции более адэкватного ему «буржуазного права». Значит ли это, что политические особенности нашего строя не должны найти выражения в нашем праве? Нет, разумеется, но это должно быть произведено с учетом особенностей буржуазно-правовой формы. Поэтому и разделение на публичное и частное право имеет у нас практический смысл: обладание «гражданскими» правами какого-либо торговца еще не тождественно обладанию правами политическими. Однако и превосходство правового положения государства-капиталиста перед частным капиталистом должно в области этого частного права выявиться, главным образом, постольку, поскольку самое экономическое привилегированное положение превращает государство и в юридически-привилегированный «суб'ект»... (Мы оговариваемся: «главным образом», потому что, несомненно, нашим законодательством должна быть учтена монополия внешней торговли, в несудебное урегулирование конфликтов между государственными организациями и некоторые другие особенности нашего политико-экономического строя).

Вести борьбу за отчетливое выявление диктатуры пролетариата и союза его с крестьянством, против всякого рода затемняющих их, произвольных правовых конструкций, против буржуазных отрыжек, «старческих болезней правизны» в правовой теории—разумеется, одна из наших основных задач. Но одновременно не забывать и о другом пределе—нашего наступления.

Не отрицать абстрактно правовую идеологию, помнить о ее правомерности в определенных пределах, вместе с опосредствуемыми ею и используемыми нами рыночными отношениями, уметь в то же время учитывать пределы этой правомерности!.. Не вооружаться против «чрезмерной юридизации» в тот самый момент, когда мы призываем к революционной законности и когда установление на некоторый период твердых правовых норм представляется политически необходимым. И не уподобляться тем «левым» Дон-Кихотам в их «борьбе» с буржуазной культурой, в то время, как, по словам Ленина, «у нас и с буржуазной культурой дела обстоят очень слабо». И если то право, которое мы внедряем нашими кодексами, и будет местами, в отдельных частях, носить буржуазный привкус, то это не так опасно в наши дни, как «борьба» с правом—с рынком—с крестьянским товарным хозяйством—с оплотом нашего успешного социалистического развития!

Предисловие к статьям Кэннона „О природе голода“ и Карлсона „Биологическое значение голода“.

Б. Завадовский.

В № 1—2 «Под Знаменем Марксизма» за этот год мы поместили уже отрывки из книги Кэннона, освещающие физиологические процессы, лежащие в основе таких суммарных эмоциональных состояний нашего тела, как гнев, боль или страх. Теперь мы приводим еще одну главу из той же книги Кэннона (главу XIII), в которой он, базируясь опять-таки на собственных экспериментальных исследованиях, рассматривает природу чувства голода, как функцию сократительных движений желудочно-кишечного тракта. Как и в предыдущей статье, основную ценность этих идей мы видим не в их законченности и непреложности—этого здесь как раз и нет,—а в той методологической установке строгого физиологического исследования, в методологических подходах современного экспериментатора, с которыми читатель познакомится по этой главе.

В тех же целях для сравнения и в дополнение к идеям Кэннона мы предлагаем вниманию читателей нашего журнала первую главу из монографии другого крупнейшего американского физиолога—Антона Юлиуса Карлсона. Это—глава о «Биологическом значении голода» из специальной монографии Карлсона, выпущенной им в 1918 году под заглавием: «The control of a Health and Disease («Голод при здоровье и болезни») об'ем свыше 300 страниц (привожу эти данные для характеристики степени углубления этих проблем, которые достигнуты в этом отношении западными учеными). Нам кажется, что эта глава из Карлсона хорошо дополняет мысли Кэннона и сможет охарактеризовать современное направление физиологических исследований, стремящихся уяснить материальные основы психических явлений, к каковым, вне сомнения, следует отнести и такие примитивные психические движения, как чувство голода и аппетит.

Вместе с тем, я позволю себе отметить черты незаконченности и неуточненности представлений и формулировок как в изложении Кэннона, так и в особенности у Карлсона в двух сторонах их соображений.

1. Прежде всего это касается формулировок, которые даются ими для разграничения понятий голода и аппетита. В особенности это сказывается в изложении Карлсона, который несколько многословно и в то же время с многочисленными прорывами в сторону «психологизмов» и суб'ективистских терминов пытается

провести это различие и об'яснить физиологически механизм появления первого акта сосания, минуя понятие аппетита.

Между тем, весь этот вопрос может быть легко и просто понят и все ставится на свое место, если применить к нему рефлексологический анализ. С точки зрения рефлексологической «голод»—это есть комплекс безусловных рефлекторных процессов, источник возбуждения которых мы должны усмотреть, оставаясь пока в пределах фактов, данных Кэнноном, в сократительных движениях желудочно-кишечного тракта.

Совершенно естественно, что «чувство» голода и вытекающие отсюда реакции «голодного возбуждения» организма, в частности «рефлекс сосания» у ребенка, вполне укладываются в схему такого врожденного механизма физиологически детерминированных безусловных рефлексов.

Наоборот, аппетит физиологически обусловлен системой условных связей, т.-е. реакций нервной системы, связывающих в течение жизненного опыта акт еды с определенными вкусовыми, зрительными и обонятельными восприятиями. Таким образом чувство голода обусловлено непосредственными физиологическими изменениями в крови и теми импульсами, которые вследствие этого передаются в подкорковые центры мозга; отсюда—малая отчетливость и, как я бы выразился, «разлитость», «неоформленность» того об'екта, на который направлено чувство голода. Наоборот, аппетит имеет своим механизмом корковые центры мозга и сочетается непременно с конкретными условными рефлексами на определенный вид, вкус или запах того или иного кушания, поэтому он формулируется нашим сознанием в терминах гораздо более конкретных и—как это ни парадоксально—в образах гораздо более материальных. А между тем, это очень легко понять: голод—это стихийный зов живой организованной плазмы, ощущающей нехватку питательного материала и проявляющей в силу этого реакцию повышенной «беспокойной» возбудимости, но присущей всем организмам, в том числе и заведомо лишенным сознания (поскольку та же рефлексология позволяет нам совершенно конкретно связать акт «сознания» с наличием больших полушарий головного мозга). Аппетит же присущ лишь тем животным, которые обладают способностью к образованию отчетливых условных связей. Но именно потому в нашем сознании «подсознательное» чувство голода конкретизируется обычно в форме аппетита, направленного на тот или иной пробуждаемый в нашей «памяти» вид пищи. Вот почему суб'ективно рефлекс «голода» подменяется условным рефлексом «аппетита», что так затрудняет в общежитии различение этих разных по своим механизмам физиологических состояний.

Со своей же стороны мы бы сказали, что даже в устах таких последовательных и сильных биологов, какими являются Кэннон и Карлсон, правильное с методологической стороны разделение понятий голода и аппетита сильно затрудняется тем обстоятельством, что они не владеют гениальным рефлексологическим методом, подаренным нам И. П. Павловым.

На этом примере как нельзя ярче выявляется все преимущество учения Павлова об условных рефлексах перед параллельными ему системами американских бехевиористов с их методом «проб и ошибок», которым оперирует в своей статье Карлсон.

2. Второе наше замечание касается по существу уяснения природы голода, как это дается Кэнноном. Как можно видеть из его статьи, он в процессе своего анализа приходит к выводу, что чувство голода есть функция сократительных движений желудочно-кишечного тракта. И дальше он лишь вскользь упоминает о тех изменениях в составе голодной крови, которые в свою очередь воздействуют на стенки желудка, вызывая его сокращения. Между тем мы хотим подчеркнуть здесь, что именно здесь и лежат проблема и пути дальнейшего изучения этих явлений в современной постановке вопроса. Ибо, как мы выразились, несколько упрощая вопрос, Кэннон пока довел разрешение вопроса только до той ступени, когда мы можем указать тот источник нервных центростремительных импульсов, которые доводят периодически до нашего сознания голодное состояние организма. Но не может быть никаких сомнений, что эти сокращения желудка в свою очередь детерминированы теми химическими изменениями в составе крови, которые по указанию самого Кэннона непосредственно доказаны в опытах Люкгардта и Карлсона. Поэтому задача, которая стоит перед современным физиологом, который ставит своею задачей познать все звенья, образующие цепь механизмов, обусловливающих голодное чувство, лежит теперь именно в том, чтобы вскрыть характер тех изменений, которые протекают в голодной крови и влияют на изменения в сократимости желудочных стенок. Это—именно тот путь изучения химических регуляций в животном организме, который сближает задачи изучения чувства голода с теми проблемами о природе эмоций, которые Кэннон так блестяще анализирует, рассматривая их как функцию содержания адреналина в крови.

Мы считаем весьма вероятным, что и в данном случае железам внутренней секреции принадлежит существенное значение и что на этом пути можно ожидать еще интересных и существенных для нашей проблемы открытий. Именно, исходя из этих соображений, нами совместно с переводчиком этой статьи А. Г. Кратиновым и другими сотрудниками нашей лаборатории предпринята в настоящее время серия исследований, имеющая целью выяснить влияние желез внутренней секреции на движения пищеварительного канала у собак, а с другой стороны, по вопросу о состоянии этих желез в разных состояниях эмоционального возбуждения по линии работ Кэннона, изложенных в предыдущей статье.

---

1. Природа голода.

Вальтер Кэннон

(профессор физиологии Гарвардского университета).
Перевод с английского В. А. Дрофмана и А. Г. Кратинова.

На-ряду с болью и с доминирующими эмоциями страха и ярости, как агентов, определяющих поведение организма, стоит и ощущение голода. Это ощущение столь непреложно, столь неприятно и мучительно, что люди совершали преступления, чтобы его утолить. Оно вызывало каннибализм даже среди цивилизованных людей. Нередко оно влекло за собою самоубийства. Это чувство побеждало целые армии, ибо по мере усиления мук голода воинственный дух направлялся в иную сторону—в сторону удовлетворения личных, эгоистических стремлений.

В 1905 году, наблюдая на самом себе урчания, вызванные деятельностью пищеварительного канала, я имел случай заметить, что ощущение голода непостоянно, но появляется вновь и в момент его исчезновения можно часто услышать через стетоскоп довольно громкие урчащие звуки. Этот и другие факты, указывающие на то, что источником голодных ощущений являются сокращения пищеварительного канала, были опубликованы в 1911 году. В том же году в сотрудничестве с одним из моих учеников Уошберном мне удалось окончательно доказать это положение.

Аппетит и голод.

Ощущения аппетита и голода столь сложны и столь тесно связаны друг с другом, что для их правильного обсуждения необходимо предварительно ясно формулировать самые понятия. Существует взгляд, что аппетит это—первая ступень голода, умеренная и приятная ступень его; самый же голод есть дальнейшая стадия, неприятная и даже болезненная, являющаяся в результате неудовлетворения аппетита. На этом основании аппетит и голод должны были бы отличаться только количественно. Существует, однако, другой взгляд, согласно которому оба эти ощущения в основном отличны друг от друга; этот взгляд кажется нам более правильным.

Тщательное наблюдение указывает, что аппетит связан с предшествующими вкусовыми и обонятельными ощущениями пищи. Аппетит определяется вкусом и запахом, приятными или внушающими отвращение, свойственными тому или другому

пищевому веществу. Таким образом аппетит включает в себя весьма важные психические моменты. Так, напр., мы можем мысленно представить себе заранее запах ароматного бифштекса или вкус персиков и крема; одно это представление может доставить нам удовольствие. При его реализации непосредственные вкусовые и обонятельные ощущения подкрепляют удовольствие.

Как уже было указано выше, экспериментальные наблюдения над животными и людьми показали, что удовольствие от предвидения и реализации играют весьма значительную роль в пищеварительных процессах, вызывая рефлекторное отделение слюны и желудочного сока.

Среди зажиточных людей, которым доступно изобилие пищи, аппетит, повидимому, является вполне достаточным показателем потребного организму количества пищи. Мы садимся за стол, потому что обед подан, потому что тем самым мы избегаем неприятных ощущений голода и потому что стоящая перед нами пища соблазняет нас своим вкусом и запахом. Однако при менее благоприятных условиях потребности организма удовлетворяются под влиянием более сильных и более настойчивых требований голода.

Трудно описать ощущение голода, но каждому из нас приходилось иногда испытывать тупую, мучительную боль под ложечкой и в эпигастрии, которая может стать могучим фактором человеческого поведения. Как указал Штернберг, голод иногда доходит до такой степени, что побуждает к принятию даже отвратительной пищи, которая может вызвать тошноту. Голодный суб'ект стремительно набрасывается на пищу. Ему не до аппетита, его привлекает не качество, а количество пищи, которую он готов проглотить целиком.

Голод и аппетит, таким образом, значительно различаются по своей физиологической природе, по локализации и по своим психическим элементам. Можно испытывать аппетит еще и тогда, когда голод уже утолен. Кто ощущает голод, когда подается соблазнительный дессерт, и все же отказывается ли от него кто-нибудь по той причине, что голод утолен? С другой стороны, аппетит может отсутствовать, в то время, когда голод дает себя чувствовать. Разве обжора разборчив в пище? Разве мы все не знаем, что «голод—лучший повар»? Хотя оба ощущения могут существовать отдельно, тем не менее они исполняют одну и ту же функцию, появляясь одновременно и побуждая к принятию пищи. И, действительно, кооперация аппетита и голода является, повидимому, причиной того, что их так часто отождествляют друг с другом [1]).

[1]) Рефлексологически мы бы определили так, что голод—это есть комплекс безусловных рефлексов, корни которых лежат в глубоких физиологических изменениях организма и, повидимому, в изменениях в химизме крови, а аппетит в гораздо большей мере является чисто нервным процессом и обусловлен природою тех условных связей (рефлексов), которые выросли на почве вида, запаха и др. раздражений, идущих от пищи в момент удовлетворения голода. Отсюда понятно, что для пробуждения аппетита достаточно одних условных раздражителей, а голод вырастает лишь на почве физиологической ненасыщенности организма в целом. *Б. З.*

Ощущение голода.

Можно думать, что чувство голода имеет одно центральное место возникновения и несколько второстепенных. Особая тупая боль, сопровождающая голодное состояние, локализованная в эпигастрии, является обычно первичным позывом к принятию пищи. Если, однако, за этим первым позывом не последует удовлетворение, то ощущение голода может стать особенно мучительным и в то же самое время локализация его становится все более неопределенной. Последнее можно рассматривать, как наиболее существенный признак голода. Кроме тупой боли, могут появляться признаки утомления и сонливость; обморочное состояние или сильная головная боль; раздражительность и тревога. В результате ослабляется способность к планомерной работе. То обстоятельство, что эти признаки варьируются у разных индивидуумов (напр., головная боль у одного и обморочное состояние у другого) указывает, что они не являются главными признаками голода, но более или менее постоянно сопровождают последний. «Ощущение пустоты», на которое указывали как на важный элемент голода, есть скорее абстракция, чем определенное состояние сознания, а потому мы его также исключили из нашего обсуждения. Таким образом из всех вышеуказанных признаков наиболее важным и постоянным является тупая давящая боль, на которой мы детально остановимся.

Итак, чувство голода подлежит рассмотрению с психологической точки зрения, и обсуждение его возможно только на основе самонаблюдения; можно также изучать его в связи с предшествующими ему состояниями и с физиологическими условиями, его сопровождающими. Таким образом для изучения голода необходимо применять как об'ективные методы, так и самонаблюдение. Подобный психо-физиологический подход мы сохраняем во всем изложении. Раньше всего мы займемся рассмотрением наиболее известных и заслуживающих внимание теорий голода.

Существуют две главные теории голода. Первая из них утверждает, что голод есть общее ощущение, не имеющее специального места возникновения. Эта теория пользовалась гораздо большей популярностью среди физиологов и психологов, чем другая, принимающая местное происхождение голода. При изложении этих взглядов мы встретимся с целым рядом новых наблюдений, проливающих свет на эти воззрения.

Первая теория—голод, как общее чувство.

Идея, что голод является следствием общего состояния тела, покоится на том факте, что, по мере использования организмом питательных веществ, содержание последних в крови убывает. Подобную точку зрения защищал Шифф, которые предполагал, что уменьшение количества пищевых веществ в крови вызывает повышенную потребность тканей в притоке новых запасов. Это об'яснение сказывается также и на нервных клетках мозга, которые путем внутренних изменений вызывают ощущение голода. Таким образом голод является выражением общего состояния организма, как целого.

В подтверждение этого взгляда приводится три группы доказательств:

1. «Голод с течением времени усиливается»—это косвенное доказательство. Усиление голода с течением времени—явление обычное; оно вполне гармонирует с тем предположением, что поскольку нормальная потребность организма в пище не удовлетворяется, общее состояние тела и крови все ухудшается.

Хотя справедливо то, что, по мере уменьшения доставки пищевых веществ, голод усиливается, однако такое совпадение не может служить доказательством того, что чувство голода является непосредственным результатом обеднения организма питательным материалом. В самом деле, если б это было так, то мы могли бы ожидать все большего нарастания пыток голода вплоть до наступления голодной смерти. Однако этому противоречит много фактов. Голод, например, при длительном голодании, по крайней мере у некоторых лиц, совершенно исчезает спустя несколько дней.

Лючиани, тщательно отмечавший переживания голодателя Суччи, заявляет, что ощущение голода спустя некоторое время исчезает и больше не появляется. Он описывает также двух собак, которые на 3-й или 4-й день голодания не обнаруживали никаких признаков голода и относились совершенно пассивно к пище. Тигерштедт также изучал обмен веществ при голодании и нашел, что, несмотря на весьма сильную потребность в пище в первый день испытания, неприятные ощущения скоро исчезают и к концу голодания суб'екту приходится иногда даже побудить себя к принятию пищи. Суб'ект «Ж. А.», на котором производили наблюдения Тигерштедт и его сотрудники, сообщает, что на 4-й день голодания он не испытывал никаких неприятных ощущений.

Каррингтон, изучив множество лиц, которые, в целях восстановления своего здоровья, воздерживались в течение разных периодов времени от пищи, отмечает, что «привычный» голод обычно длится не больше 2—3 дней, а при употреблении большего количества воды длительность его никогда не превышает 3 дней.

Витерби, корсиканский адвокат, осужденный на смерть за политические преступления, решил избегнуть наказания, лишая свой организм пищи и воды. Он делал тщательные заметки в течение 18 дней, которые он прожил. На третий день ощущение голода прекратилось и, хотя после этого жажда время от времени появлялась, чувство голода больше не возвращалось. Подобных фактов можно было бы представить очень много, но и приведенных вполне достаточно, чтобы показать, что после первых нескольких дней голодания чувство голода может прекратиться вовсе. Исходя из теории, что голод есть проявление потребности всего организма, мы должны были бы допустить, что, по мере голодания, каким-то таинственным образом эти потребности исчезают уже на 3-й день, а вместе с ними прекращается и чувство голода. Нелепость такого мнения вполне очевидна.

2. «Голод может ощущаться даже при полном желудке» или обратно. Тщательное изучение человека с фистулой двенадцатиперстной кишки показало, что несколько измененное чувство голода наблюдается при полном желудке. В доказательство приводят известный случай, описанный Бушем. Его пациент, у которого пища вываливалась из фистулы 12-перстной кишки, испытывал голод вскоре после еды; однако это чувство сменялось сытостью, как только пищевая кашица вводилась в кишечник через дистальную часть фистульного отверстия. Так как всасывание пищи идет, главным образом, через стенки кишечника, то отсюда можно сделать прямой вывод, что ощущения пациента обусловливались не местным состоянием пищеварительного канала, но общим состоянием организма.

Всестороннее рассмотрение доказательств, почерпнутых из наблюдений над случаями дуоденальной фистулы, будет дано ниже. То обстоятельство, что по наблюдениям Буша чувство голода прекращалось, как только в кишечник вводилась пища, имеет, как мы увидим позже, весьма важное значение. Может быть, исчезновение голода после введения кашицы в кишечник не является непосредственным результатом подобного кормления, но вызывается присутствием веществ, изменяющих характер деятельности желудочно-кишечного тракта. Основание для такого рода предположения мы найдем в последующем изложении.

3. «Животные могут жадно набрасываться на пищу после перерезки блуждающего и чревного нервов»—это ложный аргумент. Третий довод в пользу теории, утверждающей, что голод имеет общее происхождение в теле, вытекает из наблюдений над животными. Путем перерезки блуждающего и чревного нервов удается полностью изолировать от центральной нервной системы кардиальную часть пищевода, желудок и тонкие кишки. Животные, подвергнутые такой операции, тем не менее, поедают предлагаемую им пищу и могут даже обнаруживать некоторую жадность. Как можно об'яснить такое поведение (элиминируя возможность местного возбуждения), если не принять теорию центрального происхождения голода.

Хотя на ошибочность этого доказательства раньше не обращали внимания, однако она легко может быть обнаружена. Мы уже видели, что аппетит, как и голод, может побудить к принятию пищи. В самом деле, животное, у которого все нервы пищеварительного тракта перерезаны, может проявлять такое же стремление к пище, как и хорошо питающийся человек, который находит удовольствие в приятном запахе и вкусе пищи и ничего не знает о муках голода. Даже после перерезки вкусовых нервов, как это имело место в опытах Лонже, возможность ощущения запаха все же сохраняется, так же как и приятные ассоциации, которые могут быть вызваны при виде пищи. Свыше 50 лет тому назад, Людвиг указал на то, что даже после перерезки всех нервов принятие пищи может быть вызвано чисто психически; и так как животное все же продолжает есть после перерезки тех или других нервов, было сделано заключение, что указанные нервы не принимают участия в ощущении голода. Так как для принятия пищи, очевидно, вовсе не требуется голода, то и самый акт еды не свидетельствует о голодном состоянии животного, а в случае перерезки нервов—не есть доказательство центрального происхождения голода.

Неосновательность допущений, лежащих в основе теории, которая рассматривает голод, как общее ощущение.

Рассмотренные до сих пор доказательства, как мы видели, мало подкрепляют теорию центрального происхождения голода. Более того, теория эта покоится на шатком основании. Так, например, нет никаких конкретных указаний на то, что на первых ступенях голода появляются сколько-нибудь заметные химические или физические изменения в составе крови. Точно также нет никаких доказательств в пользу непосредственного возбуждения серого вещества коры головного мозга химическими веществами крови. В самом деле, попытки искусственно вызвать возбуждение в сером веществе при помощи химических агентов оказались бесплодны; даже раздражение электрическим током, которое дает положительные результаты, должно быть доведено до такой силы для того, чтобы вызвать движение, что последнее скорее можно приписать возбуждению нижележащего белого вещества, чем клеткам серого вещества коры головного мозга. Нечувствительность клеток коркового вещества вовсе не согласуется с теорией, которая рассматривает их, как стражей, предупреждающих об опасности обеднения организма пищевыми веществами.

Потребности организма могут существовать и в отсутствии голода.

Против теории, рассматривающей голод как непосредственный результат обеднения организма пищевыми запасами, можно привести дальнейшие доказательства, почерпнутые из наблюдений над больными, страдающими лихорадкой. У таких больных процессы обмена протекают весьма интенсивно. Ткани тела до такой степени разрушаются, что вес больных значительно падает, и все же ощущение голода в этих условиях полного истощения совсем отсутствует.

Далее, если голодный суб'ект поедает пищу, то вскоре после этого прекращается чувство голода—задолго до того, как сколько-нибудь значительное количество питательных веществ могло быть переварено и всосано, и, следовательно, задолго до того, как кровь и общее состояние тела, если они до этого подверглись каким-нибудь изменениям, могли быть восстановлены до нормы.

Более того, лица, подвергавшиеся лишениям, свидетельствуют, что голод может быть временно подавлен проглатыванием непереваариваемых веществ. Ясно, что обрезки кожи и кусочки мха, не говоря уже о глине, которую поедали отамаки, не могли бы компенсировать огромные потери органического вещества. В виде возражения на этот аргумент, указывали на то, что центральные состояния, как правило, могут тормозиться периферическим возбуждением: так же, как, например, сон может быть рассеян смачиванием висков, точно так же и голод может быть подавлен раздражением стенок желудка. Это возражение не попадает в цель, ибо самый факт периферического торможения еще нуждается в доказательстве. Отсутствие голода во время лихорадки и быстрое прекращение голода после принятия неперевариваемых веществ еще больше ослабляет теорию, считающую, что это ощущение возникает вследствие обеднения тела питательными веществами.

Теория, что голод имеет центральное происхождение, не об'ясняет быстрое наступление и периодичность этого ощущения.

Замечено, что голод появляется внезапно. Можно бродить по лесу или работать в поле, где не требуется сосредоточенного внимания и вдруг без предупреждения можно мгновенно почувствовать приступ голода. Если это внезапное появление ощущения соответствует общему состоянию организма, то изменения последнего должны наступать столь же внезапно или должен существовать некий критический момент, сопровождаемый мгновенным появлением этого ощущения. Однако не существует ровно никаких доказательств того, чтобы в процессе обмена веществ имело место хотя бы одно из этих условий.

Другая характерная особенность голода, это—его периодичность. Ощущение голода может то исчезать, то вновь появляться в течение нескольких часов. Далее, сама интенсивность этого чувства неодинакова, но может то усиливаться, то ослабевать. В некоторых случаях колебания интенсивности могут доходить до периодической смены голода и покоя в пределах одного и того же приступа голода. Из своего собственного опыта я могу указать, что в одном случае приступы голода сменялись следующим образом:

Появление:	Исчезновение:
12—37—20	38—30
40—45	41—40
41—45	42—25
43—20	43—35
44—40	46—55
46—15	46—30 и т. д.

Также и здесь периодический характер голода заставляет предполагать периодическое обеднение пищевыми веществами. Отсутствие голода в данный момент заставляет предположить обилие пищи в организме, появление же голода спустя десять секунд, согласно той же теории, указывает на внезапное истощение запасов, а еще через десять секунд следующее прекращение голода должно было бы свидетельствовать о внезапном пополнении этих запасов. Такая пестрая смена состояний организма, может быть, и возможна, однако из того, что мы знаем о процессах обмена, столь быстрые перемены весьма мало вероятны. Таким образом периодичность голода есть дальнейший аргумент против теории центрального происхождения голода.

Теория общего происхождения чувства голода не об'ясняет его местной локализации.

Последним возражением против указанной выше теории может служить то обстоятельство, что она не об'ясняет наиболее характерный признак голода, а именно: локализацию чувства голода в гастрической области. Шифф и другие авторы, придерживающиеся теории общего происхождения чувства голода, выставляют против этого возражения два аргумента. Во-первых, они указывают на то, что ощущение не всегда локализуется в

области желудка. Шифф опрашивал солдат и выяснил, что некоторые из них указывали на шейную или грудную область, 23—на грудную кость, 4 дали неопределенный ответ и только двое указывали на желудок. Другими словами, указания на гастрическую область наиболее редки.

Другой аргумент против важности локализации чувства голода сводится к тому, что такая локализация иллюзорна. Безрукий калека может ощущать зуд, который, как ему кажется, локализован в пальцах, хотя последних он давно лишился. Тот факт, что безрукий калека может чувствовать зуд и приписывать его отсеченным частям тела, отнюдь не доказывает, что испытываемое им ощущение, действительно, возникает в этих частях. Подобным же образом, локализация болезненных ощущений при голоде в какой-нибудь особой части тела вовсе не доказывает, что это ощущение возникает именно в данной области. Таковы аргументы против теории местного происхождения чувства голода.

При обсуждении указанных аргументов вспомним, раньше всего, оговорку самого Шиффа, что число опрошенных им солдат слишком незначительно для окончательного решения вопроса. Далее, то обстоятельство, что многие из них локализовали ощущение голода в области груди или грудной кости, отнюдь нельзя считать противоречащим периферическому происхождению чувства голода. Следует помнить, что описание тех ощущений, которые развиваются в результате нарушений внутри организма, почти всегда страдают неопределенностью. Как показали Хед и другие авторы, состояние внутренних органов, вызывающих какое-нибудь ощущение, по большей части приписывается не самим внутренним органам, но соответственно расположенным кожным покровам. Однако такие показания мы вовсе не считаем бесценными потому только, что они не определяют точно источника ощущений. Напротив, мы постоянно пользуемся подобными показаниями, как основой для суждения о нарушениях внутри организма.

На второй аргумент, что локализация ощущений на периферии еще не есть доказательство его периферического происхождения, мы можем ответить, что вся сила этого возражения зависит от того количества дополнительных данных, которым мы в этом отношении располагаем. Так, например, если мы замечаем прикосновение пальца к какому-нибудь предмету, мы вправе допустить, что одновременное ощущение предмета, которое мы приписываем пальцу, есть результат соприкосновения, но ни в коем случае не чисто центральное ощущение, случайно приписанное нами периферическому органу. Точно так же и в случае голода единственное, что требуется в подкрепление периферической локализации этого ощущения,—это то, что одновременно с муками голода появляется ряд состояний организма, которые мы можем рассматривать, как источник этих мук.

Для того, чтобы доказать, что периферические условия могут определить чувство голода, попытаемся путем изучения пустого желудка установить, в самом ли деле период голода сопровождается такими изменениями, которые говорили бы в пользу теории местного происхождения голода.

Голод не вызывается пустотой желудка.

Среди тех предположений, которые высказывались в подкрепление теории периферического происхождения голода, существует одно, которое приписывает чувство голода пустоте желудка. Николаи показал с помощью желудочной фистулы, что первые признаки голода появляются, когда желудок уже совсем пуст. Однако в других случаях ощущение голода после промывания желудка появляется лишь периодически, при чем интервалы покоя колебались от $1\frac{1}{2}$ до $3\frac{1}{2}$ часов. Во время покоя, несмотря на пустоту желудка, ощущение голода отсутствовало. Тот же факт задолго до этого был описан Бомоном, который из своих наблюдений над Алексисом Сен-Мартином заключил, что голод появляется спустя некоторое время после нормального опорожнения желудка. Таким образом пустота желудка сама по себе еще не об'ясняет явлений.

Голод не обусловливается соляной кислотой пустого желудка.

Другая теория, исходящая, повидимому, из наблюдений над повышенной кислотностью (hyperaciditas) желудочного сока, сводится к тому, что болезненность ощущения голода вызывается соляной кислотой, которая в данном случае отделяется в пустой желудок. Но и эта теория противоречит фактам. Николаи сообщил, что промывные воды желудка, взятые от голодного суб'екта, нейтральны или слабокислотны. Последнее подтверждается наблюдениями Бомона и вполне согласуются с данными, полученными многочисленными экспериментаторами при исследовании желудка голодающих животных. Во время первых дней голодания вовсе не наблюдается секреции сока в пустом желудке. Далее, лица, страдающие отсутствием соляной кислоты желудочного сока (achylia gastrica), испытывают нормальное ощущение голода. Ввиду этого соляную кислоту нельзя считать причиной голода.

Голод не обусловливается напряжением слизистой оболочки желудка.

Третья теория, впервые предложенная Бомоном, пытается об'яснить происхождение голода напряжением желудочных желез. Прекращение болевых ощущений при длительном голодании ставится в связь с общим обеднением организма водой, которое отражается и на работе желудочных желез, ослабляя их напряжение[1]). Указанная теория нашла сочувствие у некоторых авторов. Так, например, Лючиани дополняет ее предположением, что нервы слизистой оболочки желудка обладают повышенной чувствительностью при отсутствии пищи; этим он пытается об'яснить происхождение мук голода. Точно так же и Валенти недавно заявил, что теория Бомона наиболее правдоподобна. Однако опытные данные, полученные указанными исследователями, не убедительны. Лючиани перерезал оба блуждающих

[1]) Быть может, более правильное об'яснение было предложено Болдыревым. Болдырев показал, что к концу второго или третьего дня голодания в желудке собак начинается отделение желудочного сока, которое длится неопределенно долго.

нерва, после предварительной их кокаинизации, Валенти же просто их кокаинизировал; собаки, обнаруживавшие интерес к пище лишь за несколько минут до операции, хотя в других отношениях вели себя вполне нормально, все же отказались от предлагаемой им пищи, ограничиваясь только обнюхиванием и облизыванием ее. Такое полнейшее пренебрежение к пище длилось неодинаково долго, но не больше двух часов. Блуждающие нервы, повидимому, проводят импульсы, вызывающие акт еды; однако нет никаких указаний на то, чтобы эти импульсы возникали в результате напряжения желудочных желез. Более того, теория напряжения не в состоянии об'яснить действие наполнения желудка непереваримыми веществами. Согласно наблюдениям Павлова и других над людьми, пережевывание и проглатывание неаппетитной пищи не вызывает вовсе секреции желудочного сока. Все же такая пища, будучи проглочена, вызывает прекращение голода; Николаи же нашел, что ощущение голода исчезает при введении в желудок зонда. Вряд ли указанные приемы ослабляют напряжение желудочных желез. Теория напряжения, далее, не об'ясняет ни быстрого наступления голода, ни его периодичности. Трудно представить себе повторное набухание и спадение желез в течение периода, длящегося несколько секунд. По этой причине мы вправе отбросить эту теорию.

Голод, как результат сокращений.

Остается, наконец, рассмотреть, как возможную причину болезненных ощущений при голоде, сокращения желудка и прочих отделов пищеварительного тракта. Эта идея не нова. Шестьдесят девять лет тому назад Вебер заявил, что «сильные сокращения мышечных волокон совсем пустого желудка, сопровождаемые максимальным спадением желудочной полости, составляют часть того чувства, которое мы называем голодом». Двадцать пять лет спустя (в 1871 г.) Фирордт пришел к тому же заключению, а с тех пор к этому взгляду присоединились Эвальд, Кнапп и Герц. Указанные авторы не сумели, однако, получить прямых доказательств, хотя Герц опирается на наблюдения Болдырева над голодающими собаками, считая, что эти наблюдения, может быть, об'ясняют то, что он называет «желудочным ингредиентом чувства голода».

Сокращения пустого желудочно-кишечного тракта.

Однако аргумент, выставляемый против теории периферического происхождения голода в силу сокращений желудочно-кишечного тракта, сводится к тому, что пустой желудок мало активен. Так, например, Шифф утверждал, что «движения пустого желудка не часты и гораздо менее энергичны, чем во время пищеварения». Лючиани приводит то возражение, что движения желудка во время пищеварения гораздо более активны, чем вне пищеварения и в пустом желудке почти вовсе прекращаются. Валенти (1910 г.) же заявил: «Мы знаем очень хорошо, что движения желудка во время пищеварения достигают максимальной интенсивности; в пустом же желудке они более редки и менее резко выражены», а потому они не могут быть причиной голода.

Однако уже давно были известны факты, говорящие против этих возражений. В 1899 г. Бетман обратил внимание на сокращения желудка после нескольких дней голодания. В 1902 г. Вольф сообщил, что через 48 часов после принятия пищи желудок кошки иногда сокращается в такой степени, что может походить на слегка увеличенную 12-перстную кишку. В подобных же условиях мною было замечено точно такое же резкое сокращение желудка—особенно в его пилорической части. Анатом Гис наблюдал то же самое. В 1905 г.[1]) Болдырев показал, что весь желудочно-кишечный тракт обнаруживает периодическую деятельность в отсутствии пищеварения[2]). Каждый период деятельности длится от 20 до 30 минут, при чем в течение этого времени происходит от 20 до 30 ритмических сокращений желудка. Последние, как указывает Болдырев, могут быть сильнее, чем во время пищеварения. Проводимые им кривые вполне отчетливо подтверждают это. Интервалы покоя между периодами деятельности длятся от $1\frac{1}{2}$ до 2 часов. Особенно замечательно наблюдение Болдырева, что при голодании, которое длится 2—3 дня, интервалы покоя постепенно удлиняются, а периоды сокращений все укорачиваются: движения прекращаются вовсе, как только начинается непрерывное отделение желудочного сока.

Сокращения желудочно-кишечного тракта, как причина голода.

Работа Болдырева появилась в то время, когда я был занят указанными выше наблюдениями над урчаниями желудочно-кишечного тракта при пищеварении. Мне казалось вероятным, что сокращения пустого пищеварительного канала могут об'яснить происхождение голодных мук, особенно в свете наблюдений Болдырева. Действительно, Болдырев сам рассматривал голод в связи с периодической деятельностью, однако он исходил из того представления, что голод может эту деятельность вызвать; но так как интенсивность и частота этих движений уменьшилась с течением времени (а, согласно его ожиданиям, они должны были бы все усиливаться), то он не усмотрел в этих явлений никакой связи[3]). Не истолковывал ли Болдырев ложно свои наблюдения? Пытаясь выяснить возможность появления сокращений, обусловленных голодом, не проглядел ли он другую возможность, а именно, что сам голод может обусловливаться сокращениями? Целый ряд наблюдений заставляет думать, что Болдырев не сумел оценить одну сто-

---

[1]) Первые работы В. Н. Болдырева появились в 1902—1904 гг. С 1905 г. впервые эти работы стали печататься в иностранных физиологических журналах (примечание *А. К.*).

[2]) Эта ссылка на работы В. Н. Болдырева не совсем точна. Болдырев считал, что в периодической деятельности принимает участие желудок и тонкие кишки, о сокращениях слепой кишки упоминает я только вскользь. Как показали дальнейшие исследования, произведенные Б. Н. Тарусовым в физиологической лаборатории ИНО в Одессе, толстые кишки не принимают участия в периодической деятельности (примечание *А. К.*).

[3]) В своих последующих работах В. Н. Болдырев ближе подошел к этой связи периодических движений и чувства голода, а работа С. В. Аничкова, произведенная в его лаборатории в 1914 г., вполне подтверждает точку зрения Кэннона (примеч. *А. К.*).

рону важных результатов, им полученных. Так, например, я заметил исчезновение болезненных ощущений голода в то время, как был слышен звук от прохождения газа вверх через кардиальную часть желудка. Доказательство того, что газ поднимался вверх, а не проталкивался вниз, можно усмотреть в том факте, что немедленно за одним урчащим звуком следовал другой. Давление, которое выталкивало газ из желудка, по всей вероятности и было причиною предшествовавшего ощущения голода. Далее, это ощущение может моментально прекратиться через 2 секунды после проглатывания небольшого количества слюны или чайной ложки воды. Если желудок не находится в состоянии сильных сокращений при голоде, то это, в согласии с наблюдениями Либа и моими, можно об'яснить как торможение сокращений актом глотания. Таким же точно образом можно было бы об'яснить и быстрое прекращение болезненных ощущений вскоре после начала еды, ибо повторное глотание вызывает непрерывное торможение[1]). Может быть, сюда же относится открытие Дюксеши, что соляная кислота вызывает понижение тонуса пилорической части желудка; наступающее с принятием пищи отделение кислого желудочного сока могло бы вызвать расслабление того участка желудка, который наиболее энергично сокращается.

Сокращение пищеварительного тракта и чувство голода у человека.

Хотя вышеуказанные факты привели меня к убеждению, что голод есть результат сокращений пищеварительного канала, все же непосредственных доказательств в моем распоряжении не было. Для того, чтобы установить возможность доказательств в пользу предполагаемой связи, Уошберн почти каждый день в течение нескольких недель вводил в желудок тонкостенный резиновый баллончик около 8 см. в диаметре, прикрепленный к резиновой трубке[2]). Баллончик оставался в желудке в течение 2—3 часов. После этих предварительных опытов введение баллончика и пребывание его в пищеводе и в желудке не вызывало никаких нарушений в моторной деятельности желудка. Чтобы произвести запись сокращений, баллончик помещался в фундальной части желудка, умеренно раздувался и соединялся с водяным манометром, который сообщался с цилиндрической камерой (шириной в 3,5 см.). На поверхности воды в камере помещался поплавок, с помощью которого записывались движения фундальной части желудка. В дни испытания Уошберн воздерживался от завтрака или же ел весьма умеренно. Опыт начинался в 2 часа. Регистрирующий аппарат устанавливался как это только что было описано. Для того, чтобы избежать всяких ошибок, которые могли возникнуть вследствие искусственного давления на баллончик, в подреберье укреплялся пнеймограф, который отмечал движение брюшной стенки. Однообразие этих

[1]) Отсутствие голода у пациентов Буша во время принятия пищи можно об'яснить таким же путем.

[2]) Николаи сообщает, что первое введение в желудок зонда вызывает прекращение голода, но при повторном введении эффект становится ничтожным.

движений должно было указывать на отсутствие особых сокращений со стороны мышц живота. Кроме того, производилась отметка времени в минутах—электромагнитный отметчик чертил прямую, при чем его можно было попеременно включать. Все эти приспособления для записи находились вне поля зрения Уошберна; последний мог включать электро-магнитный отметчик, как только начинал испытывать голод.

Иногда наблюдения начинались еще до появления чувства голода; в других случаях это чувство спустя некоторое время сменялось усталостью. Ни в одном из таких случаев не наблюдалось сокращений желудка. Но всякий раз, как Уошберн заявлял, что он ощущает голод, неизменно регистратор показывал сильные сокращения желудка. Как и в моих ранних опытах, эти ощущения иногда протекали прерывисто на протяжении периода сокращений, иногда же представляли собою непрерывный приступ голодных мук. Добытые Уошберном интроспективным путем наблюдения над болезненными ощущениями при голодании вполне согласуются с записью желудочных сокращений. За редким исключением, однако, сокращения достигали почти максимума еще до того, как появлялось ощущение голода.

Этот факт может быть рассматриваем, как доказательство того, что сокращения желудка предшествуют ощущению голода, а не наоборот, как то думал Болдырев. Каждое сокращение длилось около 1/2 мин., а интервалы между ними—от 30 до 90 сек., в среднем—около одной минуты. Весь период сокращений длился 20 мин., амплитуда же отдельных сокращений колебалась от 11 до 13; предварительно я насчитал на самом себе 11 приступов за то же время. Таким образом порядок этих величин у нас обоих один и тот же. Количество сокращений в нашем случае меньше, чем то, которое Болдырев нашел у собак; эта разница, может быть, находится в связи с более медленным ритмом желудочной перистальтики у человека по сравнению с собакою.

Как мы уже указывали, до появления голода желудок находился в покое. Иногда до начала движений протекал довольно значительный промежуток. Раз начавшись, они длились некоторое время и затем прекращались.

Ощущение голода, о котором Уошберн сообщал при появлении сокращений, прекращалось вместе с последними. Запись сокращений производилась вне поля зрения суб'екта, исключается возможность того, что они являются артефактами, вызванными самовнушением. Близкое совпадение сокращений с болезненными ощущениями голода ясно указывает таким образом, что первые явления являются источником для вторых.

Наблюдения Болдырева показывают, что во время сокращений желудка происходит и сокращение кишок. Можно себе представить, что в этих движениях принимают участие все отделы пищеварительного тракта, снабженные гладкой мускулатурой. Так, наприм., нижняя часть пищевода состоит из гладкой мускулатуры. В наблюдениях над Уошберном удалось установить, обладает ли эта часть активностью во время голода. К той части резиновой трубки, которая находилась в пищеводе, прикреплялся тонкий резиновый баллончик (палец резиновой пер-

чатки длиною в 2 см.) и погружался в желудок. Наполнив баллончик воздухом и зажав резиновую трубку с тем, чтобы не выпустить из баллончика воздух, его осторожно извлекали из желудка, пока он не достигал кардиальной части пищевода, о чем можно было судить по сопротивлению. Затем воздух из баллончика выпускался, и трубку поднимали еще на 3 см. Баллончик наполнялся вновь воздухом, при чем давление последнего доводилось до 10 см. водяного столба. Вдыхание вызывало поднятие рычажка, записывающего изменения давления; если после этого слегка вытянуть еще резиновую трубку, то при вдыхании рычажок уже не поднимается, а опускается. В первом случае, следовательно, трубка находилась над полостью желудка и ниже диафрагмы. В этом положении баллончик с поплавком (через посредство камеры в 2,3 см. в диаметре) регистрировал периодические сокращения. Отличаясь большей длительностью, эти сокращения обладают той же частотой, что и сокращения желудка.

Исследование голода, опубликованное мною и Уошберном в 1912 г., было продолжено Карлсоном (Чикаго), и его наблюдения на человеке с постоянной желудочной фистулой точно так же, как и над самим собою и своими сотрудниками [1]), вполне подтвердили наши выводы о связи между сокращением пищеварительного канала и ощущением голода. В целой серии интересных работ Карлсон и его сотрудники в значительной мере углубили наши познания в области физиологии «пустого» желудка. Они не только подтвердили существование сокращений пищеварительного тракта, но показали, что иногда эти сокращения могут переходить в судорожное сокращение желудочных мышц. Далее, выяснилось, что характерные сокращения желудка продолжаются после перерезки блуждающих нервов, т.-е. они не зависят от импульсов, идущих через черепно-мозговые автономные нервы. Недавно Люкхардт и Карлсон показали, что кровь голодающего животного после ин'екции в вену нормального животного может вызвать указанную выше судорогу или тетанус желудка, при чем этот эффект не наблюдается, если кровь взята от сытого животного. Можно считать вероятным, что в крови содержится вещество, способное возбуждать голодные сокращения желудка. Однако этот пункт нуждается в дальнейшем исследовании.

Располагая приведенными данными, устанавливающими непосредственную причинную связь голода с сокращениями желудка, удается легко разрешить большинство тех затруднений, с которыми сталкиваются другие теории. Так, напр., сразу об'ясняется внезапное наступление голода и свойственная ему периодичность—явление необ'яснимое с других точек зрения.

Во время лихорадки, сопровождаемой повышенным обменом веществ, голод отсутствует. Это отсутствие голода при лихорадке об'ясняется наблюдением Мерфи и моими: мы нашли, что инфекция, охватывающая кровеносную систему, сопровождается полным прекращением движений пищеварительного канала. Болдырев наблюдал, что в момент усталости периодические движения отсутствовали вовсе. Этим самым выражение «слишком устал, чтобы есть» получает рациональное об'яснение.

[1]) Аналогичное исследование над самим собою произведено Аничковым С. В. См. примечание на стр. 57 (примечание *А. К.*).

Патологическая форма чувства голода—непомерный голод (булимия) у нервных больных—также получает об'яснение, поскольку хорошо известно, что у этих больных наблюдается нарушение тонической иннервации пищеварительного канала.

Так как нижняя часть пищевода так же, как и желудок, периодически сокращается, вполне естественно, что лица, опрошенные Шиффом, относили это ощущение к грудной кости. Сокращение нижнего отдела пищевода также об'ясняет и тот факт, что после удаления желудка, а в некоторых случаях при переполнении желудка пищей, не прекращается чувство голода. Мыслимо, что сокращение кишок вызывает смутное ощущение голода. В самом деле, окончательное исчезновение видоизмененного ощущения голода у описанного Бушем больного с дуоденальной фистулой могло быть обусловлено пониженной активностью кишечника при введении в него пищевой кашицы.

Наблюдения, изложенные в этой главе, как уже было указано, находят много точек соприкосновения с опытами Болдырева над периодической деятельностью пищеварительного канала у голодающих собак. Болдырев нашел, что каждый период деятельности характеризуется не только сокращениями, захватывающими большую часть пищеварительного канала, но также отделением желчи, панкреатического и кишечного соков, богатых ферментами. Желудочный сок при этом не отделялся. Как только начиналась секреция желудочного сока, периодическая деятельность прекращалась. Какое значение имеет вся эта столь сложная картина? В другом месте я показал, что перистальтика желудка обуславливается расслаблением желудочной мышцы, следующим за ее тоническим сокращением. Доказательство в пользу того, что желудок сильно сокращается во время голодания (т.-е. находится в состоянии повышенного тонуса), было приведено выше [1]).

Таким образом самые условия, вызывающие голод и побуждающие к принятию пищи, приводят немедленно к перистальтике желудка, обусловленной растяжением укоротившихся под влиянием проглоченной пищи мышц. В этом отношении, быть может, имеет значение наблюдение Гаудека и Штиглера, которые показали, что желудок опорожнивается гораздо быстрее, когда пища с'едается в голодном состоянии, чем в других случаях. Иначе говоря, голод нормально есть показатель того, что в желудке наступили сокращения, необходимые для последующей пищеварительной работы; с принятием пищи эта работа начинается и прекращается чувство голода. В то же самое время в двенадцатиперстную кишку поступают панкреатический, кишечный сок, а также желчь, необходимые для процессов пищеварения. Таким образом периодическая деятельность пищеварительного канала при голодании есть не только источник болезненных ощущений голода, но в то же время подготовление пищеварительного аппарата для принятия проглоченной голодным животным пищи.

[1]) В пустом желудке и пищеводе находится газ. Вполне естественно, что они обнаруживали бы ритмические сокращения, тонически укорачиваясь под влиянием своего содержимого.

2. Биологическое значение голода.

Антон Юлиус Карлсон

(профессор физиологии У-та в Чикаго).

Перевод с английского В. А. Дорфмана и А. Г. Кратинова.

Комплекс ощущений, которые побуждают человека и высших животных к принятию пищи, называют голодом и аппетитом. С точки зрения сохранения живых организмов, принятие пищи в такой же мере важно, как и размножение. Следовательно, чувство голода является столь же основным, как и половое влечение. Действительно, если мы биологически определим голод, как совокупность условий (пожалуй, скорее, чем комплекс ощущений), ведущих к принятию пищи, то с такой точки зрения голод является более фундаментальным или примитивным, чем половое влечение (libido), так как питание необходимо для всех форм жизни, тогда как половое воспроизведение—только для некоторых.

Каков бы ни был механизм, лежащий в основе голода, стремление к пище у высших животных есть, очевидно, чувство, захватывающее их более или менее сложную нервную организацию. По этой причине, может быть, следовало бы приписывать голод, как чувство или сознательный процесс, только тем животным, которые обладают нервной системой и пищеварительным каналом. Но ведь все организмы питаются. Каковы же в таком случае те факторы, которые побуждают к принятию пищи одноклеточных животных и более просто организованных многоклеточных, не обладающих специальной нервной системой? Существует ли какая-нибудь действительная связь между теми первичными факторами, которые заставляют амебу преследовать и пожирать другой простейший организм, и механизмом голода, побуждающего голодного волка к погоне, захвату и пожиранию кролика?

Все одноклеточные животные, по крайней мере, в периоде жизнедеятельности, живут в воде, в животных или растительных соках, или внутри живых клеток других животных. В случае более простых организмов, ведущих паразитический образ жизни, условия питания, в главном, совпадают с теми условиями, которые господствуют в тканях высших животных. Иными словами, пищевые вещества растворены в среде, окружающей клетку или все животное. По Пюттеру, это одинаково справедливо для всех просто организованных существ, обитающих в воде. Неизвестно, в какой степени растворенные в морской воде органические вещества поддерживают жизнь низших животных—во всяком случае, этот фактор весьма мал или вовсе незначителен

(Бидерман, Липшютц, Керб, Моргулис). Известно, что все водные многоклеточные организмы питаются одноклеточными животными и растениями, т.-е. они поглощают в виде пищи твердые частицы. Что касается процессов поглощения твердых частиц простейшими организмами, то в этом отношении мы встречаем практически идентичные условия в случае особых фагоцитарных клеток у высших животных, хотя этот процесс, вероятно, не представляет собою процесс питания.

Чем определяется количество поглощаемой пищи и жадность у одноклеточных животных? В периоде жизнедеятельности поглощение пищи длится непрерывно, поскольку это зависит от количества пищевых веществ, окружающих организм. Питательные и непитательные частицы поглощаются без всякого различия,—правда, существует много исключений из этого правила. В некоторых случаях мельчайшие подвижные организмы, благодаря своей подвижности, проникают в одноклеточные организмы и здесь перевариваются; однако поглощение твердых частиц у простейших обусловливается активными амебоидными движениями. Усиление амебоидных движений, повышенная сократимость псевдоподий, служащих для захватывания добычи, движение ресничек как у свободноплавающих, так и у сидячих форм,—все это можно принять, как внешнее выражение состояния голода, так как этим обеспечивается снабжение пищей.

Соответствует ли действительности подобное определение голода? Дженнингс в своей работе о процессе питания у амебы вовсе не касается этого пункта, если не считать немногих случайных замечаний по поводу того, что амеба может оставаться в покойном состоянии после того, как она захватила частицы пищи; но так как еще до действительного конца пищеварения амеба снова приходит в движение, то этот короткий период покоя отнюдь нельзя считать состоянием насыщения. Ферворн полагает, что все явления, сопровождающие принятие пищи у простейших, включая сюда и известную способность выбора пищи, сводятся без остатка на автоматические движения (хемо- и стереотропизм); однако он не указывает, в какой мере степень подвижности изменяется в зависимости от степени голода. Ходж и Айкенс нашли, что реснички сувойки сокращаются равномерно круглые сутки, направляя в тело пищевые частицы: «все попытки перекормить этих крошечных животных не оказывали никакого эффекта на обнаруживаемую ими степень голода». В среде, изобилующей пищей, реснички тела туфельки сокращаются менее активно, приводя, таким образом, животное в состояние покоя, тогда как оральные реснички продолжают сокращаться с той же силой, вгоняя пищевые частицы в ротовое отверстие (Дженнингс). С другой стороны, Уолленгрен не наблюдал никаких изменений ни в движении ресничек, ни в сократимости вакуоли, ни в возбудимости туфельки во время голода, если не считать того, что при приближении к голодной смерти деятельность ресничек и вакуоли понижается.

Шеффер описал некоторые перемены в проведении инфузории трубача в промежутки между голодным и сытым состоянием. При избытке пищи тело трубача несколько сокращается, движение мембраны в большой мере ослабевает, животное сга-

новится менее реактивным на внешние раздражения и лучше различает пищевые частицы от непереваримых частиц окружающей водной среды. Степень сытости зависит, повидимому, не от количества пищи в теле, а от иных факторов. Можно думать, что истощение или голод вызывает у трубача повышенную возбудимость, усиление подвижности и жадность к пище. Не лишено возможности, что будущие исследования обнаружат подобные различия и у других простейших. Паркер нашел, что мясо или экстрактивные вещества его вызывают изменение направления удара ротовых ресничек морской анемоны, в результате чего ток воды гонит пищевые частицы внутрь глотки. Такое явление можно считать примером значительной специализации. Вызовут ли экстрактивные вещества мяса указанное обращение удара ресничек после того, как анемона насытится мясом, или другой пищей?

Что касается пищевых веществ, находящихся в растворе, то можно допустить, что скорость и количество их поглощения зависят от скорости диффузии этих веществ и от проницаемости клеточной стенки. Разбавление указанных веществ внутри клетки может повести за собой увеличение проницаемости и наоборот. Наши сведения о взаимной связи процессов внутри живой клетки и внутри одноклеточных животных столь ограничены, что мы не в состоянии предсказать, какой эффект произведет скудность пищевых веществ на амебоидное и реснитчатое движение, и только если обеднение пищей приблизится к истощению, эти движения, по всей вероятности, будут в значительной мере ослаблены. У некоторых животных частичное или полное голодание, повидимому, ускоряет обе стадии обмена веществ; однако факторы, принимающие участие в этих процессах, вероятно, значительно более сложны, чем простое непосредственное раздражение клетки.

В случае фагоцитов высших животных на сцену выступают некоторые новые факторы. Во-первых, фагоцитоз у многоклеточных животных не есть в основе своей процесс питания, а служит для разрушения клеточных остатков и чуждых организму клеток. Насколько нам известно, фагоцитарные клетки многоклеточных питаются органическими веществами, растворенными в соках тела—подобно остальным клеткам организма. Во-вторых, скорость и количество поглощенных чужих клеток отчасти зависят не от состояния фагоцитарных клеток, а от известных веществ (опсонинов), содержащихся в соках тела и воздействующих на чужие клетки. «Пищеварительный фагоцитоз» простейших, поскольку нам известно, не зависит от этого фактора. В-третьих, помимо опсонинов, отличительным признаком фагоцитирующих клеток многоклеточных является то, что они могут быть «приучены» к усиленной деятельности. Механизм этой способности до сих пор служит предметом догадок. Указанные различия в биологическом значении фагоцитоза многоклеточных и процесса питания простейших еще не означают, однако, что основной механизм фагоцитарного процесса в обоих случаях различен.

Существуют указания на то, что относительное обеднение пищей, по крайней мере, у некоторых простейших, влечет за собою повышенную подвижность (амебоидное, реснитчатое движение), а также жадность к пище и более быстрое ее восприятие. Эти явления указывают, повидимому, на повышенную возбудимость клетки—иными словами, состояние голода у простейших есть состояние повышенной возбудимости. Мы не сможем, однако, входить здесь в рассмотрение вопроса о том, каким образом голодание клетки усиливает ее возбудимость. Для тех, кто предпочитает антропоморфические представления, преследование, захват и выбор пищи простейшими есть выражение состояний сознания, аналогичных тем, которые в подобных условиях возникают у многоклеточных. Однако при настоящем уровне наших знаний более простые об'яснения не только достаточны, но и более полезны. Принципы диффузии и избирательной проницаемости или адсорбции вполне об'ясняют восприятие растворенной пищи. Избирательное поглощение твердых пищевых частиц, поскольку мы с ним сталкиваемся, есть, вероятно, унаследованный механизм, служащий для дифференциальной реакции на механические и химические раздражения. Дело усложняется при исследовании амебоидного движения и движений ресничек, усиливающихся при голодании. Румблер пытался разложить первое из этих движений на чисто физические явления поверхностного натяжения. Однако, по крайней мере, для амебы Дженнингс показал несостоятельность этой теории. Но если даже нам и неизвестны те процессы в клетках, которые лежат в основе избирательного поглощения пищи, мы все же не думаем, чтобы они по своей природе отличались от таких физико-химических явлений, как поверхностное натяжение. Гамбургер показал недавно, что кислородное голодание усиливает фагоцитоз. Однако это, по всей вероятности, не есть тот механизм, который усиливает подвижность клетки в состоянии голодания, равно как нет никаких данных за то, чтобы уменьшение количества содержащихся в клетке пищевых веществ сопровождалось кислородным голоданием.

II. Голод у растений.

Такое общебиологическое представление о голоде, вероятно, в равной мере приложимо как к низшим, или одноклеточным растениям, так и к одноклеточным животным. Однако это наше утверждение не базируется на непосредственном наблюдении. У нас накопилось множество исследований, посвященных хемотаксису и прочим тропическим реакциям низших растений (Пфеффер, Книп, Кузано, Шибата и др.). Книп приписывает бактериям чувство обоняния и вкуса и показывает, что реакции бактерий на известные химические раздражения зависят от реакции питательной среды; однако он, повидимому, не исследовал, является ли таким фактором также и количество и качество пищи в окружающей среде. Точно также в опубликованных недавно обширных исследованиях Кендалля и его учеников над обменом веществ у бактерий вовсе не рассматривается вопрос о влиянии голодания на поведение этим организмов. Зооспоры споровых растений питаются, повидимому, путем фагоцитоза, подобно одноклеточным животным, и весьма возможно, что это явление у растений в такой же мере подвержено влиянию голода, как и у низших животных. Листер следующим образом описы-

вает заглатывание микроспор и бактерий зооспорами миксомицетов:

> «В одном случае, поглотив двух бацилл и окружив их двумя отдельными пищеварительными вакуолями, зооспора в течение некоторого времени оставалась в покое. Я наблюдал за процессом переваривания этих бацилл. Приблизительно через полтора часа (покоя) зооспора тронулась с места, сильно ударяя по воде своими ресничками».

За исключением бактерий, зооспор спорофитов, группы «паразитических» растений и до некоторой степени так наз. «насекомоядных» растений, все растения питаются неорганическими веществами почвы и углекислотой воздуха, и здесь подвижность растений, если отвлечься от явлений роста, играет весьма малую роль. Растение неспособно само передвигаться с места на место, а также не обладает способностью передвигать свою пищу даже в столь малой степени, в какой обе эти способности свойственны прикрепленным животным. Мы имеем полное право говорить о голодании растений; однако, в случае высших растений нет никаких указаний на то, чтобы голодание повышало возбудимость или усиливало подвижность, т.-е. чтобы голодание вызывало биологическое состояние голода; с другой стороны, вряд ли подобные изменения помогали бы высшим растениям в их борьбе с голодом.

III. Голод у высших животных.

Чувство голода у человека представляет собою в большей или меньшей мере болезненное ощущение, локализуемое в области желудка. У нормальных людей резкая боль ощущается только при исключительно сильном голоде. Обычно же чувство голода появляется в виде неприятного давления, сопровождаемого ощущением «пустоты» в эпигастрии.

Другой характерной чертой чувства голода, известной из наблюдений над человеком, является его периодичность, даже если желудок все время остается пустым и движения индивидуума не прекращаются. Значение этого признака было особенно резко подчеркнуто Бардье, Штернбергом, Полиманти, Кэнноном и Уошберном. Можно думать, что указанная периодичность одинаково имеет место у большинства млекопитающих и птиц. У более низко стоящих животных, поскольку это было исследовано, периодическое появление и исчезновение чувства голода носит иной характер, а, может быть, и вовсе отсутствует. Некоторые лица, повидимому, одновременно с гастрическим испытывают некоторое ощущение и в пищеводе, в глотке и в жевательных мышцах. Однако, автор ни разу не испытывал указанного ощущения. Во всяком случае, они, повидимому, отличаются от ощущения, локализуемого в желудке тем, что не носят неприятный или болезненный характер. У тех видов птиц, у которых пищевод расширяется в зоб, чувство голода, вероятно, возникает скорее в зобу, чем в мускулистом желудке.

Однако, болевое ощущение различной силы, возникающее в верхней части желудка, есть безусловный элемент чувства голода. К нему часто присоединяется ряд других явлений. Наиболее частое из них—это ощущение общей прострации или слабости. Нередко же появляется головная боль, тошнота, раздражительность, неустойчивость сосудо-двигательных нервов, а иногда и обморочное состояние. Строго говоря, известная степень повышения возбудимости есть неизбежный эффект голода даже более умеренного, и ее поэтому не следовало бы причислять ко вторичным признакам голода. У нормальных индивидуумов с устойчивой нервной системой сильный голод может вовсе не сопровождаться ощущением слабости. С другой стороны у некоторых индивидуумов слабость, головная боль и общее беспокойное состояние могут вылиться в такую резкую форму, что вытесняют иногда из сознания самый фактор голода—болезненные ощущения в желудке.

Чувство голода у человека обусловлено пустотой желудка. Взрослые люди, принимающие пищу от 3 до 5 раз в день, редко испытывают голод, за исключением тех случаев, когда они заняты изнурительным физическим трудом или подвергаются сильному охлаждению. У таких людей нервные импульсы, идущие от желудка и вызывающие появление голодных мук, недостаточно интенсивны.

В последующем изложении мы покажем, что муки голода обусловлены известными тоническими состояниями и движениями желудка, при чем возникшие этим путем нервные импульсы достигают известных частей головного мозга. Поэтому чувство голода у человека требует наличия нервной системы, сократимого пищеварительного канала и чувствительных проводящих путей для установления между ними связи. Эти анатомические условия общи всем позвоночным и многим беспозвоночным, включая и кишечно-полостных.

Влияние голодания на поведение, в главном, обще всем этим животным. Главными признаками указанного влияния можно считать повышенную возбудимость и беспокойное состояние. Беспокойное состояние, вероятно, не обусловлено непосредственно сознанием, так как оно наблюдается и у животных, лишенных головного мозга (собаки, птицы). Чувство голода, достигшее большого напряжения, подавляет, повидимому, чувство страха, так как голодающее животное становится все более смелым и яростным. Обычно допускают, что голодание вызывает у человека сварливость и антисоциальные инстинкты. С другой стороны, длительный пост религиозных фанатиков делает их, как они это себе представляют, более достойными общения с богами.

У нормального человека и, вероятно, также у хищных животных, вовсе или почти пустой желудок с необходимостью вызывает чувство голода. Это не имеет, повидимому, места у жвачных животных и вообще у травоядных, ибо у них желудок никогда не остается пустым—даже при многодневном голодании. Точно так же и птицы поглощают пищу более или менее непрерывно даже в том случае, если зоб и желудок переполнены пищей. Указанные животные либо испытывают голод уже при частично опорожнившемся желудке, либо они поглощают пищу не потому, что испытывают голод, но под влиянием аппетита.

С другой стороны, чувство голода у некоторых животных может, повидимому, вовсе отсутствовать, несмотря на то, что желудок остается пустым в течение многих недель или даже месяцев. Обычно допускают, что рейнские и тихоокеанские виды лосося во время нереста подвергаются длительному голоданию, как только они входят в устье реки, несмотря на то, что

эти рыбы производят большую мышечную работу, передвигаясь против течения на сотни километров, подымаясь по водопадам и вступая друг с другом в драку из-за самки. Фойт полагал, что в этих условиях лосось не ощущает голода. В неволе некоторые животные иногда отказываются от пищи и умирают голодной смертью, окруженные обилием пищи. Позыв пустого желудка, достигнув известной силы, может разбудить спящего ребенка, человека или собаку, но он не в состоянии пробудить животное, находящееся в состоянии зимней спячки. «Гусеница,—говорит великий физиолог Галлер,—только то и делает, что ест и выбрасывает вон остаток от переваривания пищи». После того, как гусеница превратилась в бабочку, она подчас до конца своей жизни вовсе не принимает пищи, особенно если она живет недолго, несмотря на большую трату энергии при полете и воспроизведении потомства. Нельзя думать, что скудное питание или даже полное его прекращение у многих насекомых, проделавших метаморфоз, обусловлено атрофией или отсутствием пищеварительного канала. Эти особые условия связаны, очевидно, с изменениями в головном мозгу, в желудке или в приводящих путях, идущих от желудка к мозгу, которые могут быть выяснены лишь при помощи новых методов исследования; однако эти явления не опровергают вышеизложенную точку зрения о роли чувства голода в акте принятия пищи или о роли пустого желудка в происхождении этого чувства.

За исключением только что указанных специальных случаев, существует множество доказательств в пользу того, что у нормального индивидуума интенсивность и постоянство чувства голода пропорциональны степени активности и интенсивности процессов обмена веществ. Так, например, чувство голода выражено более резко у молодых растущих индивидуумов, чем у старых и инертных. Есть некоторое основание полагать, что у млекопитающихся чувство голода может появляться еще до рождения. У теплокровных животных голод усиливается при низких температурах и подавляется при резком нагревании. Обратное может быть справедливо для холоднокровных, однако экспериментальных данных на этот счет еще не существует. Указанные отношения затушевываются при разных заболеваниях.

IV. Голод, аппетит и принятие пищи.

Почему неприятная, давящая боль в желудке побуждает нас к принятию пищи? На это мы, естественно, отвечаем, что знаем, что пища утоляет голод. Иными словами, мы основываемся на личном опыте. Однако такое решение вопроса нельзя считать удовлетворительным, когда речь идет о новорожденном. Если животное и испытывает голод до рождения, то оно еще не знает, какое действие оказывает на это чувство принятие пищи. Что побуждает новорожденное животное в первый раз принять пищу? Имеем ли мы здесь дело с унаследованными рефлексами—с «инстинктом»? Гемелли и другие авторы считают чувство голода выражением «инстинкта». Животное выходит на свет из яйца или матки, одаренное главнейшими рефлексами, при чем большая их часть, может быть, уже испытана еще до вступления в новые условия существования. Среди этих рефлексов находятся и пищевые рефлексы; таковы, например, защитные рефлексы при выбрасывании изо рта невкусных или, действительно, вредных веществ. Как мы уже видели, голодное состояние желудка усиливает рефлекторную возбудимость. Это приводит к большей подвижности в случае новорожденных, способных к движению, и к большей активности пищевых рефлексов у всех остальных, что наблюдал автор на децеребрированных голубях, которых он содержал в хороших условиях в течение нескольких месяцев после операции. Когда зоб опорожняется, голубь становится беспокойным, непрестанно движется и даже пытается клюнуть пол, стенки клетки и воздух. Когда ему случается клюнуть пищу, положенную перед ним, он этой пищи, как таковой, не «узнает»; при этом он даже не раскрывает клюва. В этом отношении замечателен тот факт, что рефлекс клевания вызывается одним только чувством голода.

Новорожденный кладет себе в рот все, что находится у него под руками, проглатывая «пищу» или выплевывая ее обратно—в зависимости от ее химических свойств и от ее консистенции. Таким образом может казаться, что новорожденный ассоциирует гастрический голод с актом принятия пищи, накопляя личный опыт по методу проб и ошибок. В случае человека имеет место сознательное направление со стороны матери. Последнее, вместе с фактом подражания, вероятно, имеет место у цыплят, «обучающихся» клеванию зерна. У птенцов, клюющих пищу изо рта матери, указания последней, точно также, повидимому, играют роль первоначального фактора. Чувство голода у новорожденных млекопитающих вызывает рефлекс сосания, а у свеже или преждевременно вылупившихся птенцов—широкое разевание клюва. Эти второстепенные различия зависят, очевидно, от унаследованных рефлексов, и для их об'яснения нет нужды прибегать к понятию «инстинкта».

Согласно высказанной нами гипотезе, связь между первичным чувством голода и актом принятия пищи зиждется на личном опыте, накопленном путем «проб и ошибок». Основным фактором является усиление всех рефлексов под влиянием гастрического голода, подавление мучительных ощущений голода и сознание противоположного чувства сытости путем сосания, жевания и поглощения пищи. Эта теория требует наличия памяти—иначе каждый акт или период принятия пищи должен сызнова проходить стадию проб и ошибок.

Возникает вопрос, не играет ли у новорожденного аппетит роль связующего звена между чувством голода и принятием пищи. До сих пор вопрос о природе аппетита и о его связи с голодом служит предметом неопределенных и смутных догадок. Многие физиологи, повидимому, склонны полагать, что аппетит и голод в основе своей идентичны и отличаются только в степени—иначе говоря, умеренный голод они называют аппетитом, а сильный аппетит — голодом. Другие, однако, утверждают, что аппетит и голод отличаются друг от друга не только качественно, но и по самой природе лежащего в их основе механизма. Последний взгляд, повидимому, ближе всего к истине.

Мы знаем, что аппетит не может быть отделен от воспоминаний о пище, т.-е. ее запаха, вкуса и внешнего вида. Действительно, эти воспоминания, повидимому, доставляют нам большое

удовольствие, и «стремление», свойственное аппетиту, может быть, представляет собой только особый вид присущего нам стремления к удовольствию. Если это так, то не может быть никакого побуждения к пище, вызванного аппетитом, у новорожденного, которому до того не приходилось самостоятельно принимать пищу. Возможно, однако, что в аппетите, в виде унаследованного механизма, заложено стремление к пище, независящее от личного опыта, и когда последний приобретается индивидуумом, процессы памяти сливаются или покрываются унаследованным фактором, в результате чего оба они не могут быть отделены в сознании. Унаследованный аппетит, если таковой существует, вероятно, представляет собою, главным образом, положительный хемотропизм (к запаху, вкусу), хотя птенцы, способные разыскивать пищу тотчас же после вылупления из яйца, руководствуются при этом скорее зрением, чем обонянием.

Этот положительный хемотропизм к пище у новорожденных млекопитающих может содержать в себе элемент удовольствия. Само собой разумеется, что такой унаследованный положительный хемотропизм, усиливающий подвижность животного и направляющий его движения, совместно с унаследованными хватательными рефлексами, приводит новорожденного к принятию пищи даже в отсутствии голода. В присутствии же последнего, принятие пищи завершает опыт подавления неприятных ощущений голода путем принятия пищи. Леб и другие авторы указывают на положительный хемотропизм, как на фактор, способствующий отысканию и выбору пищи, особенно у низших животных; однако неизвестно, вызывает ли голодание у таких организмов повышенную возбудимость и двигательные реакции на специфические химические раздражения.

Мы видим таким образом, что первое принятие пищи у новорожденных или свеже-вылупившихся животных, питающихся без помощи матери, может быть об'яснено любой из вышеизложенных теорий. При наличии болезненных ощущений голода, повышающих подвижность, рефлекторную возбудимость животного и унаследованные хватательные рефлексы, ведущие к отказу от вредной или «неприятной» пищи, акт принятия пищи будет зависеть только от ее доступности для индивидуума, и утоление болезненных ощущений голода с приемом пищи устанавливается очень быстро. С другой стороны, при наличии унаследованного аппетита или положительного хемотропизма, который дает начало известным обонятельным и вкусовым раздражениям, направляющим действие рефлексов и вызывающим приятные ощущения, принятие пищи становится точно также неизбежным.

Получив первый опыт в поглощении пищи, индивидуум будет в дальнейшем стремиться к ней, побуждаемый аппетитом, т.-е. в силу того удовольствия, которое доставил ему вкус и запах пищи, или в силу голода и опыта, диктующего ему, что поглощение пищи удаляет болезненные ощущения.

До сих пор мы применяли слово «пища», большей частью ограничивая его понятием органических пищевых веществ. В более широком смысле понятие «пища» включает в себя все те вещества, которые необходимы для сохранения жизни животного. Ощущения, вызываемые лишением воды (жажда) и задержкой внешних процессов дыхания (dyspnoe), не имеют ничего общего

ни по характеру, ни по происхождению с чувством голода (обусловленным пустотой желудка), за исключением того, что все три комплекса ощущений носят в большей или меньшей мере неприятный и болезненный характер. Можно, однако, говорить о чувстве жажды по аналогии со стремлением к пище, но это не есть аппетит, аналогичный аппетиту в случае пищи. Такое различие, вероятно, обусловлено тем, что чистая вода не дает вкусовых ощущений, а, следовательно, не оставляет их в памяти. Пиво и прочие напитки дают вкусовые ощущения, и потребление их может, поэтому, и не сопровождаться действительной жаждой—аналогично тому, как известные сорта пищи могут вызывать у нас аппетит и в отсутствии голода.

V. «Солевой голод».

То, что физиологи называют «солевым голодом», обычно не испытывается человеком, если не считать того предпочтения, которое некоторые люди отдают известному содержанию соли в пище. Однако некоторые травоядные животные не проделывали бы огромных расстояний в поисках «солевых источников» только потому, что пища их недостаточно солона. Хорошо известно, что понижение содержания хлористого натрия в крови и в тканях ниже известного предела влечет за собою серьезные нарушения в жизнедеятельности организма; однако нам неизвестно, какое действие оказывают эти нарушения на сознание. Возможно, что это—скорее ощущение общей слабости и угнетения, чем специфическое ощущение, локализуемое в какой-нибудь определенной части тела, несмотря на то, что уменьшение содержания NaCl в крови понижает концентрацию HCl в желудочном соке, а вместе с тем вызывает и расстройства пищеварения.

Опыты Форстера над собаками и голубями и Лунина над мышами показали, что животные эти погибают скорее при недостаточном содержании солей в пище, чем при полном отсутствии последней. При этом наблюдаются следующие признаки: слабость и кахексия, повышенная возбудимость, дрожание конечностей, расстройства желудочно-кишечного тракта (непереваривание пищи, отказ от пищи). Подлежит сомнению, действительно ли животные и человек нуждаются в поваренной соли, если в пище присутствуют другие соли, обычно в них встречающиеся. Смис, ветеринар-физиолог, утверждает, что, «как плотоядные, так и травоядные получают вместе с поглощаемой ими пищей достаточное количество солей, несмотря на общераспространенное убеждение, что дикие травоядные животные нуждаются в натрии. Можно с уверенностью сказать, что прирученные лошади могут содержаться в неволе в прекрасном состоянии, не получая вовсе поваренной соли, кроме той, которая содержится в их обычной пище, а это количество весьма незначительно». Тем не менее, не подлежит сомнению, что травоядные животные, как дикие, так и домашние, поглощают поваренную соль, как только она становится им доступной, тогда как этого нельзя сказать о плотоядных животных. Этнография достаточно определенно указывает на то, что потребность в соли или, по крайней мере, сильное влечение к ней, развилось только у тех рас или племен, которые питаются растительной пищей. По Бунге, среди рас,

живущих исключительно, или, главным образом, на животной пище, соль либо вовсе неизвестна, либо весьма мало распространена, либо недолюбливается; в то же время обитающие в Центральной Африке племена, питающиеся растительной пищей, лакомятся солью подобно детям, обожающим конфекты. Некоторые антропологи полагают даже, что столь резко выраженная потребность в соли или в животной пище служит одним из факторов каннибализма.

Путешественник Мунго Парк описывает свои собственные переживания следующим образом: «Кончавшиеся запасы соли привели меня в угнетенное состояние. Продолжительное питание одной лишь растительной пищей вызвало, наконец, столь мучительное желание соли, что я едва в состоянии его описать». Нам не приходилось сталкиваться с длительным солевым голоданием у человека. Все же лица, принимающие обыкновенную пищу, но лишенную поваренной соли, обычно жалуются на то, что через некоторое время у них исчезает аппетит (благодаря тому, что пища становится невкусной), и появляются неопределенные расстройства во всем теле—состояние, подобное тому, какое наблюдается у людей, находящихся долгое время на одном и том же или недостаточном пищевом режиме.

Но если допустить, что травоядные животные испытывают «солевой голод», сказывающийся в виде общего угнетения и слабости или в виде особых нарушений пищеварительного канала, то каким образом животные могут догадаться, что принятие соли облегчит их состояние и, далее, как они отыскивают местонахождение соли? По всей вероятности, это зависит от памяти и личного опыта. Можно допустить, что известная соленость пищи доставляет этим животным удовольствие в силу унаследованных ими рефлексов или в силу слабо возбуждающего действия солей. По этой причине они поедают или слизывают соль, когда находят ее, независимо от действительной потребности. Далее, если действительная потребность в соли выражается в общих нарушениях организма и если животное натыкается на соль, то рано или поздно оно встречается с тем фактом, что поглощенная соль облегчает состояние организма. До тех пор, пока теленок питается молоком матери, нет необходимости вводить в его пищу добавочное количество солей. Естественно, однако, что теленок, сопровождая мать к «солевому источнику», в подражание ей или из простого любопытства, познает вкус соли и ее местонахождение еще до того, как он сталкивается с действительной потребностью в ней. Таким путем, под руководством матери, или всего стада, устанавливается личный опыт.

Физика[1]) Гегеля.

З. Цейтлин.

I. Вступительное замечание.

В известном предисловии к Анти-Дюрингу (от 1894 г.) Фр. Энгельс сопоставляет натурфилософию Гегеля с современным Гегелю естествознанием. «Гораздо легче,—пишет Энгельс,—вместе с бессмысленной чернью топтать в грязь, а là Карл Фохт, старую натурфилософию, чем оценить ее историческое значение. Она содержит много нелепостей, но фантастична не более, чем современные ей нефилософские теории эмпириков-естествоиспытателей, а что она заключала в себе много разумного, это начинают понимать с распространением теории развития. Так, Геккель с полным правом признал заслуги Тревинуса и Оксана. Что касается специально Гегеля, то он во многих отношениях стоит гораздо выше современных ему эмпириков, которые думали об'яснить всякое непонятное явление тем, что приписывали ему какую-нибудь силу—силу тяжести, силу плавления, электрическую силу и т. д. или же, где это не шло, измышляли какое-то неизвестное вещество: световое, тепловое, электрическое и т. д. Эти воображаемые вещества в настоящее время совершенно устранены, но игра с силами, против которой боролся Гегель, процветает еще в Инсбругской речи Гельмгольца. В противовес унаследованному от французов XVII в. обожествлению Ньютона, которого Англия засыпала почетом и богатствами, Гегель утверждал, что Кеплер, которого Германия допустила умирать с голоду, является настоящим обоснователем современной механики мировых тел и что Ньютонов закон тяготения уже содержится во всех трех законах Кеплера, а в третьем даже буквально выражен. То, что Гегель в своей натурфилософии (§ 270) и в дополнениях (соч. Гегеля 1842 г., т. VII) доказывает несколькими простыми уравнениями, встречается снова, как результат математической механики у Густава Кирхгофа (Лекции по математической физике, 2-ое издание, Лейпциг, 77 г., стр. 10) и по существу в той же, впервые развитой Гегелем, простой математической форме. Натурфилософы относятся к сознательно диалектическому естествознанию так же, как утописты к современному коммунизму». Эта характеристика уясняет нам как взгляды самого Энгельса, так и истинный смысл физики Гегеля. Физика эта подвергалась многочисленным нападкам. Нападающие придирались к различного рода мелочам, не будучи способными понять существенного. Развитие физики показало, однако, что

[1]) Термин «Физика» употребляется нами в общем смысле, а не в специально Гегелевском.

Гегель, действительно, в своих физических воззрениях не только стоял во многих отношениях гораздо выше современных ему эмпириков, занимавшихся «игрой с силами», но что также, несмотря на ошибки и фантастику в частностях, благодаря методу диалектики сумел в основном далеко опередить свое время. В этом нетрудно убедиться, рассмотрев физику Гегеля с точки зрения развития физических воззрений за последние ¾ столетия.

2. Пространство, время, движение, материя и сила в физике Гегеля.

История физики с полной очевидностью выявляет следующий основной факт: многочисленные сначала «особые физические субстанции» и «силы» постепенно в процессе развития «снимаются» и заменяются единой мировой субстанцией—«материей» и ее движением. Физика превращается в единую науку о движении материи. В этом смысле физика стремится к адинамизму, т.-е. неопределенное понятие силы заменяется строгим и ясным понятием пространственного движения материи [1]). Вот почему Энгельс говорит, что натурфилософия Гегеля гораздо выше воззрений современных Гегелю эмпириков, вот почему Энгельс упрекает Гельмгольца в «игре с силами» [2]). Физика Гегеля, действительно, адинамична. Согласно методу Гегелевской диалектики определению конкретного—материи и силы—предшествует определение абстрактного—пространства, времени и движения. Пространство, по Гегелю, «есть только форма, или отвлечение: именно отвлеченная форма внешности одного предмета по отношению к другому» (§ 254).

Это определение напоминает определение Лейбница: пространство—порядок сосуществования вещей. Но Лейбниц утверждал, что порядок этот не существовал бы без вещей. Гегель же

[1]) 1. Физика сводит явления к пространственным движениям материи. „Но,—говорит Энгельс („старое введение к диалектике природы"),—движение материи не сводится к одному только грубому механическому движению, к простому перемещению, движение материи, это — также теплота и свет, электрическое и магнитное напряжение, химическое соединение и разложение, жизнь и, наконец, сознание". Это положение Энгельса нетрудно понять, если признать справедливым утверждение Плеханова, что Маркс и Энгельс были спиназистами. Движение материи обладает не только известным количеством, но и качеством, и Энгельс в своем Введении выдвигает на-ряду с законом сохранения количества движения, закон сохранения качества. Теплота, например, сводится физикой к известным пространственным движениям, но эти движения обладают также известным качеством, тем именно, которое, сочетаясь с качеством движений нашего воспринимающего телесного аппарата, образует ощущение тепла. Итак, говоря, физический анализ дает одностороннее определение движения, как пространственного перемещения, биологический же (в широком смысле слова) дополняет это определение качественным моментом. Таким образом истинное понятие движения можно извлечь из всей совокупности нашего знания. Следует, однако, строго разграничивать физическую задачу определения движений материи от биологической. Путаница и смешение в этом пункте часто ведет к мистицизму. К этому вопросу мы еще вернемся в дальнейшем.

[2]) Энгельс ссылается на Густава Кирхгофа. Известно, что Кирхгоф поставил задачей своей механики (см. Предисловие) исключить механическое понятие силы, дав „чистое описание" движений в пространстве и во времени. Это „чистое описание", вполне уместное в механике, было подхвачено Махом, чтобы, исказив идею Кирхгофа, распространить „чистое описание" на все области научного познания. Неоднократно указывалось, что Мах ложно ссылается на авторитет Кирхгофа, так что мы на этом останавливаться не будем.

говорит, что «если мы вообразим себе полное отсутствие всех вещей, мы все-таки должны будем допустить, что пространственные отношения сохраняются независимо от этих последних. Бесспорно можно сказать, что пространство есть порядок, потому что оно есть не что другое, как внешнее соотношение. Но дело в том, что внешнее соотношение, составляющее сущность пространства, существует независимо от всякого реального наполнения» (§ 254). В этих определениях нетрудно узнать Гегелевскую метафизику: пространственные отношения, как об'ективные идеи, имеют известное реальное существование, не будучи еще воплощенными в материальные вещи. Если отбросить эту метафизику, то Гегелевское воззрение на пространство сделается диалектико-материалистическим.

«Прежняя метафизика,—говорит Гегель (§ 254),—старалась разрешить вопрос, есть ли пространство нечто реальное, или оно составляет свойство вещей? При этом полагали, что оно похоже на ящик, который имеет самостоятельное существование, хотя бы он ничем не был наполнен. Но пространство уступчиво, оно не оказывает никакого сопротивления. Напротив, все реальные предметы исключают совместное существование других предметов. Следовательно, реального пространства в этом смысле вовсе нет. Пространство всегда наполнено и не различается от своего наполнения. Аналогичные рассуждения мы находим относительно времени и движения. Время—это прежде всего «возникновение и исчезновение, существующее абстрагирование, Хронос все порождающий и пожирающий своих детей» (§ 258).

Движение есть перемена места (как «наличного единства пространства и времени») математической точкой (§ 261). От этих невещественных, отвлеченных понятий происходит переход к реальным предметам. Рассудок,—утверждает Гегель (§ 261),—не в состоянии понять этого перехода от идеального к реальному, от абстрактного к конкретному бытию, в настоящем случае от пространства, времени, абстрактного движения к реально движущейся материи, как «непосредственно тождественного единства пространства и времени».

Тренделенбург подверг «переход» Гегеля основательной критике, а Маркс окончательно раз'яснил эту «гайну метафизической спекуляции».

Так как диалектический материализм совершенно не нуждается в переходе от идеального к реальному, то он принимает конечные выводы Гегеля, отбрасывая его метафизику. Выводы эти таковы:

«Когда нам представляется движение, мы тотчас же спрашиваем, что движется? То, что движется, есть материя. Пространство и время наполнены материей. Пространство не соответствует своему понятию; его понятие находит свое осуществление в материи. Философия природы часто брала своей исходной точкой материю и смотрела на пространство и на время как на формы этой последней. В самом деле пространство и время суть только формы, под условием которых существует материя, как элемент реальный. Но понятие пространства и времени более отвлеченны, чем понятие материи, и потому они

должны быть рассматриваемы прежде этой последней. Исследуя их, мы находим, что материя составляет их истину.

Как нет движения без материи, так нет материи без движения».

Таким образом, если с точки зрения своей метафизики Гегель и признает, что формы бытия материи—пространство, время и движение,—как об'ективные идеи имени в известный момент диалектического развития свое самостоятельное существование, то затем они неразрывно слились с материей или—точнее—обнаружились в реальности материи: не существует пространства, времени и движения вне материи, как не существует материи вне пространства, времени и движения. Воззрение Гегеля совпадает в конечном итоге с воззрениями древних физиков, Декарта, Спинозы и, как мы полагаем, диалектического материализма.

«Взяв за исходный пункт своей физики протяженную материю и ее пространственно-временное движение. Гегель переходит к понятию количества движения. Диалектический смысл этого понятия выясняется Гегелем с замечательной отчетливостью: «Величина материи есть масса, а величина движения есть скорость. Поэтому действие материи есть продукт обоих этих факторов—массы и скорости. Скорость есть не что иное, как количественное отношение пространства и времени, которые оба идеальны, между тем как масса реальна. Так как скорость заступает действие массы и действие остается одинаковым, если масса уменьшается на столько, на сколько скорость увеличивается, то «только недальномыслие виновато в том, что рассудок не замечает их тождества, хотя оно явствует из этой смены одного из них другим. Так, например, известно, что в рычаге расстояние заменяет массу, и наоборот: в этом случае невещественная величина производит то же действие, как и соответствующая ей вещественная величина. Таким образом, величина движения слагается из двух моментов: из скорости, т.-е. определенного отношения между пространством и временем, и из массы; величина движения не изменится, если мы увеличим скорость и уменьшим массу, или наоборот—уменьшим скорость и соответственно тому увеличим массу. Кирпич сам по себе не убивает человека; он производит это действие, достигая известной степени скорости; в этом случае пространство и время убивают человека» (§ 261).

Переходя к понятию силы, Гегель подчеркивает условность этого понятия, его производность от понятия количества движения. «Говорят также,—пишет Гегель,—что материя наделена первобытными силами, и не хотят вникнуть в значение этого понятия. Но проявление всякой силы совершается во внешности и доступно чувствам. Все, что таится в силе, то обнаруживается в проявлении; и сила достигает своего внешнего проявления через посредство идеальных моментов, и именно пространства и времени.

При этом мы должны еще обратить внимание на одно, очень часто употребляемое выражение. Говорят, что силы насаждены в материи, т.-е. даны ей извне, как будто неразделность силы и материи произошла случайно, и эти последние снова могли быть разделены.

Тотчас мы сказали, что все, что есть в материи или силе, обнаруживается в пространстве и во времени, и в самом деле это обнаружение своих внутренних свойств в пространстве и во времени составляет сущность материи».

3. Гегелевская критика Ньютона.

Физика Гегеля, базирующаяся на понятиях материи и движения, считающая силу понятием условным и производным, т.-е. физика адинамическая, не могла не столкнуться с псевдо-ньютоновым динамизмом. Мы говорим псевдо-ньютоновым, потому что подлинная физика Ньютона была также адинамической, отличаясь от картезианской физики Гегеля в одном лишь, правда существенном, пункте, на котором мы остановимся в дальнейшем.

Но физика Ньютона была искажена под давлением теологии, так что сила из понятия условного и производного превратилась в мистико-метафизическую сущность.

Так как Гегелю не были известны подлинные взгляды Ньютона, а он судил о последнем на основании сложившейся традиции, то Гегель решительно выступил против псевдо-динамизма Ньютона. Критике Ньютона посвящено одно из первых сочинений Гегеля, именно диссертация «Об орбитах планет» (1801 г.).

Чтобы понять как следует основную идею этой работы, необходимо прежде всего выяснить пункт различия между физикой Гегеля и подлинной физикой Ньютона,—пункт, о котором мы упомянули выше.

Пункт этот относится к воззрению на природу обычной (т.-е. весомой) материи. Ньютон делил всю вселенскую материю на две части: пассивную (инертно-весомую) и активную (spiritus—или первая материя, эфир по нашей терминологии). Гегель же, признавая, что материя неразрывно связана с движением, не мог допустить пассивности материи в абсолютном смысле.

Ньютон считал источником сил, т.-е. движения, активную материю (эфир); так как теологии необходимо было доказать присутствие руки бога во всемирном тяготении, то эфир был изгнан из физики Ньютона, и пространство, которое Ньютон мыслил себе как относительную пустоту (наполненную не обычной, весомой материей, а спиритусом, как «чувствилищем бога»),—пространство это превратилось в абсолютную пустоту, а силы—в мистические сущности, исходящие в конечном счете от божьих мышц.

Гегель не мог, конечно, допустить, чтобы рука бога непосредственно действовала в законе притяжения. Он выразил это в парадоксальной форме, вызвавшей многократные насмешки глупцов.

«Движение небесных тел,—говорит Гегель в «Философии природы»,—есть свободное движение; небесные тела шествуют подобно блаженным богам, как говорили древние. Они не таковы, чтобы иметь принцип покоя или движения вне себя. Самостоятельная центробежная сила, как и самостоятельная центростремительная сила, принадлежит к числу метафизических бессмыслиц». Если отвлечься от этой парадоксальной формы и уяснить себе, что именно понимал Гегель под «свободным движением», то мысль Гегеля представится в ином свете. Современная

наука пришла к заключению, что инертных, пассивных масс не существует, что всякое тело—сосредоточие громадного количества внутреннего движения. На основе такого понимания Риман, например, построил теорию всемирного тяготения, а Гербер дал решение проблемы движения перигелия Меркурия, т.-е. уточнил закон тяготения Ньютона. Вот в этом именно смысл «свободного движения» Гегеля. Что значит быть свободным по Гегелю? Это значит быть активным. Постольку, поскольку вещь не пассивна, т.-е. не подчиняется всецело внешней необходимости, а заключает в себе принцип активности,—она свободна. Но свобода—только момент конкретного бытия, момент диалектический, связанный с моментом необходимости. Гегель исходил из понятия единства конкретного бытия. Всякая вещь—это, с одной стороны, «бытие в себе и для себя», но вместе с тем и «вне себя бытие», т.-е. находится в известном необходимом отношении к целому: абсолютно изолированных вещей не существует. Но что же видал Гегель в искаженной физике Ньютона? Ньютонова пассивная материя не только заключала в себе порок пассивности, но вместе с тем порок абсолютной изоляции. К этой изоляции привели Бентли-Котс, превратив эфир Ньютона в абсолютную пустоту. Это превращение привело к «метафизической бессмыслице»—сверх'естественным самостоятельным центробежно-центростремительными силам. Гегель, как диалектик, не мог допустить иного об'яснения природы, кроме такого, которое исходит из самой природы. Допустить сверх'естественные силы означало отказаться от основного диалектического постулата тождества мышления и бытия. Этот постулат (identitas rationis et naturae) и составлял предмет доказательств диссертации Гегеля. Гегель говорит поэтому[1]): «И то, и другое (т.-е. центробежная и центростремительная силы) с математически-механической точки зрения непонятно и таинственно, так как нельзя понять, каким образом бог толкает, а также каким образом всеобщее тяготение или притяжение, действующее на расстоянии, следовательно, без давления и толчка может сообщить движение телу. Математика имеет дело только с величинами, а астрономия с пространством и временем, материей и силами, небесными телами и их свободным движением: поэтому одной математики недостаточно, чтобы обосновать физическую астрономию и об'яснить путь планет. Для этой задачи нужно прибегнуть к натурфилософскому понятию материи и ее необходимого раздвоения или дифференцирования (диремции) на противоположные силы». Здесь перед нами наглядно выступают два пункта, рисующие силу и слабость Гегеля:

1) Критика Гегеля относится главным образом к Бентли-Котсу. Ньютон, полагая материю (весомую) пассивной, об'яснял центробежную и центростремительную силы активным началом—эфиром, через посредство которого и действует Абсолютный Дух. Это—обычное учение оккультизма, разделяющего мир на тело (пассивное начало), душу (активное, формирующий посредник, spiritus—эфир) и дух или разум (идею). Сам Гегель не отказался бы от такой теории и его учение не очень уж так далеко отстоит от воззрений Ньютона.

[1]) Цитируем по Куно Фишеру; Гегель, т. I, стр. 238.

2) Слабость Гегеля. Гегель не учел урока картезианцев и Ньютона. Картезианцы и Ньютон пытались постичь «физическую астрономию в последней инстанции». Эта попытка потерпела крушение и Ньютон вступил на истинно-диалектический путь постепенного овладевания природой. Но Гегель был метафизическим, если можно так выразиться, диалектиком. Его философия стремилась сделаться систематичной. Гегель хотел основать вечную метафизическую империю, в которой Абсолютный Дух обрел бы, наконец, свое самосознание. Эта империя очень смахивала на прусскую государственную машину, звенья которой в лице прусских бюрократов, казались Гегелю последним воплощением абсолютной идеи. Про Гегеля рассказывают анекдот, что он будто бы сравнивал себя с Христом—воплотившимся Логосом—и подобно Христу говорил о себе: я есмь жизнь, истина и путь. Этот анекдот—клевета, но в символическом смысле он характерен. Природа, как известно, решила посмеяться над абсолютной системой Гегеля—она сразила философа самым прозаическим «бытием в себе»—холерной бациллой. Вечная прусско-гогенцоллерновская монархия тоже погибла от бациллы времени[1]).

Второй пункт об'ясняет диалектические излишества Гегеля, которые поставили его в смешное положение. Не имея никакого понятия об истинном методе Ньютона, о поразительной глубине и продуманности Ньютонова учения о тяготении, Гегель напал на закон тяготения, который является фундаментом Небесной Механики. Прусское чванство толкало Гегеля к выдвиганию заслуг Кеплера[2]). «Открытие законов планетных путей,—говорит Гегель[3]),—составляет бессмертную заслугу Кеплера, которую Ньютон несправедливо затмил в глазах мира. Ньютон, на основании законов, найденных Кеплером индуктивным путем, построил принцип тяготения, т.-е. всеобщего притяжения или тяжести и из него дедуктивно вывел законы Кеплера». Последние слова показывают, как далек был Гегель от понимания действительного метода Ньютона. Заслуг Кеплера никто отрицать ни думает, но говорить, что закон тяготения выведен только из законов Кеплера значит отрицать великое значение принципа строго-научного доказательства[4]),—принципа, развитого впервые в приложении к теории тяготения Ньютоном и обосновавшего «Небесную Механику». Подчиняясь давлению сил систематического ума, Гегель докатывается до утверждений, что «не одна и та же сила притягивает яблоко к земле и заставляет планеты двигаться вокруг солнца» (диссертация), что планеты, в противоположность солнцу и звездам, «как непосредственно конкретные тела, суть тела наиболее совершенные» (Аристотель!)[5]), что «ме-

[1]) См. Ф. Энгельс, Людвиг Фейербах. Энгельс считает „систему" Гегеля последней системой. „С одной стороны, потому, что эта система представляет собой величественный итог всего предыдущего развития, а с другой—потому, что он сам, хотя и бессознательно, указывает нам путь, ведущий из лабиринта систем к действительному познанию".

[2]) „Гегель был немец и, подобно своему современнику Гете, порядочный филистер". (Ф. Энгельс „Людвиг Фейербах").

[3]) Философия природы, § 268 и сл.

[4]) См. наши статьи „Метод доказательства и пр." („П. З. М.", №№ 6—7 за 1924 г. и 1—2—3 за 1925 г.).

[5]) Философия природы, § 270.

жду Юпитером и Марсом нельзя искать планеты»[1]) и т. п. Последнее утверждение доставило много удовольствия филистерам, противникам Гегелевской и всякой вообще философии. Дело в том, что Гегель защищал свою диссертацию в августе 1801 года, а в январе того же года астроном Пиацци в Палермо открыл между Марсом и Юпитером планету Цереру! Несмотря на этот урок, Гегель в «Философии природы» повторяет критику Ньютоновой физики и дает «разумное обоснование из понятий» законов Кеплера. Это обоснование, по сравнению с доказательством Ньютона, прямо наивно[2]); но эта и все другие ошибки Гегеля не должны все же мешать видеть правильное зерно его критики, направленной в действительности против физики Бентли-Котса. Чтобы показать, насколько эта критика верна и далеко опередила свое время, мы приведем цитаты из первых двух, попавшихся нам под руку, современных физиков (мы могли бы число их умножить). Вот что говорит о силе знаменитый сотрудник и единомышленник В. Томсона проф. Тэт (см. «Свойства материи», стр. 7):

«Озаглавив это сочинение словами свойства материи, мы сделали уступку обычаю и удобствам изложения. Впрочем, заключающаяся здесь ошибка далеко не так чудовищна, как сохранившийся до сих пор обычай употреблять термин центробежная сила. Слово сила из-за его краткости будет часто употребляться нами, но оно в сущности не обозначает ничего об'ективного, потому что не выражает собою ни материи, ни энергии (т.-е. движения. *З. Ц.*). Это есть представление, вытекающее из «мышечного чувства» совершенно таким же образом, как вытекли из показаний других чувств идеи блеска, шума, запаха или боли. Во всех этих случаях нет ничего внешнего, об'ективного, что прямо соответствовало бы представлению». Тэт буквально даже повторяет слова Гегеля о метафизической бессмыслице самостоятельных и центробежно-центростремительных сил.

«Прежде существовало мнение,—говорит Тэт (стр. 99),—вызванное, вероятно, примерами вроде верчения на нитке камня (при чем кажется, как будто камень тянет руку), что тела имеют стремление удаляться прочь от центра вращения. Отсюда родилась центробежная сила, для уравновешивания которой потребовалась центростремительная. Термин центробежная сила укоренился в научном языке. Выражение это представляет некоторые удобства, если только его не раздваивать по смыслу, как силу и как направление из центра, а просто употреблять как указание, что для сохранения телом движения по кривой (вместо естественного пути по прямой) необходимо действие силы к центру кривизны».

Под действием силы англичане, как известно, разумеют приток известного количества движения; мысль Тэта, следовательно, такова: для того, чтобы тело двигалось по кривой, необходимо, чтобы тело получало из окружающей среды известное количество движения, направленного в конечном счете к центрам

[1]) Диссертация.

[2]) Мы говорим о „разумном обосновании из понятий", а не о математическом выводе, который отмечен Энгельсом со ссылкой на Кирхгофа.

кривизны траектории. Иначе говоря, то, что обычно называют центробежно-центростремительными силами, есть лишь указание на связанные с данным телом процессы движения в окружающей среде»[1]).

Другой знаменитый физик Фредерик Содди (см. «Материя и энергия», стр. 89), несправедливо (по существу) упрекая Ньютона в введении метафизического понятия силы[2]), говорит: «Понятие о силе и ее псевдофизическом существовании задержало на целые столетия открытие закона сохранения энергии. Существует лишь то, что сохраняется. Попытки установить закон сохранения силы были очень продолжительны, но совершенно бесплодны. В других отраслях науки понятие о силе является только обманом и камнем преткновения». История физики показывает, что физика двигается к адинамизму. Если кое-кому выгодна «игра с силами» (великолепное выражение Энгельса), то для науки она действительно является обманом и камнем преткновения. Вот почему такие ученые, как Вильям и Дж. Дж. Томсоны, Кирхгоф, Гельмгольц и, наконец, Г. Герц, делали упорные усилия, чтобы построить адинамическую физику. Величайшим завершением этих попыток является «Механика» Г. Герца, находящаяся, по понятным причинам, в пренебрежении до сих пор. Гельмгольц справедливо, однако, говорит, что механика Герца еще сыграет крупную роль в будущем. Заметим в заключение, что физика Эйнштейна по существу адинамична. Но здесь палка перегибается (последователями, которые «часто опаснее противников») в другую сторону: отвергается не только реальность сил, но и реальность движения, движение превращается в чистую относительность, что ведет, конечно, не только к физическим парадоксам, но и к идеализму.

4. Абсолютная механика Гегеля.

В предыдущих §§ мы в общих чертах охарактеризовали основы натурфилософии Гегеля.

Перейдем теперь к подробностям, дабы более точно уяснить оттенки Гегелевских воззрений. Мы начнем с Гегелевской теории тяготения или абсолютной механики. Теория тяготения Гегеля—теория философская. Многие склонны пренебрежительно

[1]) В случае вращения, например, обычного тела эта среда скрыто фигурирует в так наз. „силах упругости". В. Томсон пытался свести эти силы к вихревому движению в однородной несжимаемой жидкости. В случае всемирного тяготения одни ученые (напр., Риман) считают средой сами тяготеющие массы, а другие (напр., Лесаж, Томсон, Бьеркнес) вводят особые среды (ультрамировые атомы, эфир). Нам лично воззрение Римана представляется наиболее вероятным: тяготение обусловлено тем, что обычные массы (солнце, например, земля, планеты) не являются чем-то пассивным, а представляют огромные резервуары скрытой энергии. Современная физика установила, что энергия массы выражается произведением этой массы на квадрат скорости света ($E = m.c^2$): тяготение обусловлено непрерывным обменом энергии между массами тел. Как мы доказываем в специальной работе, это воззрение дает хорошее решение проблемы движения перигелия Меркурия, т.-е. подтверждается опытом.

[2]) Содди, впрочем, замечает: „Всеоб'емлющий гений Ньютона не мог долго оставаться в заблуждении относительно истинного значения силы; но для всякой великой мысли последователи часто бывают опаснее противников".

относиться к философскому анализу научных проблем, но история науки (особенно за последние два десятка лет) с несомненностью доказывает необходимость и важность такого анализа. Философское решение научных проблем имеет большое ориентирующее значение, хотя здесь на-лицо опасность—принимать такое решение за научное. Мы уже отметили, что заслуга Ньютона в том, что он от общего картезианского решения проблемы тяготения перешел к строго научному, положив этим конец «бесконечным фантазиям» (выражение Ньютона) картезианцев, базировавшимся на общефилософских соображениях и возможной природе тяжести. Научное решение Ньютона было положительным шагом вперед, но оно заключало в себе и момент отрицательный. Овладев формальным законом тяготения, ученые пользовались им для разработки различных вопросов, в первую очередь вопросов небесной механики, достигнув, в последней особенно области, необычайных результатов, таких, как теоретическое открытие Леверрье и Адамсом планеты Нептун. Этот успех закона Ньютона в связи с неудачей многочисленных попыток по существу об'яснить механизм тяготения приводил мало-по-малу ученых к мысли довольствоваться знанием формального соотношения и рассматривать тяжесть как существенное, прирожденное свойство материи, не подлежащее дальнейшему «об'яснению».

Попытки об'яснить механизм тяготения начали рассматриваться, как теоретически праздные и научно бесполезные; философы «чистого описания» старались подкрепить такое воззрение гносеологическими соображениями касательно природы физической теории. Но движение самой науки «снимало» Ньютонов формализм, сами факты опыта заставляли переходить от формализма к рассмотрению закона тяготения по существу. Дело в том, что закон тяготения, провозглашенный абсолютом природы, обнаружил прорехи как в области микрокосма — молякулярной сфере, так и в сфере макрокосма—небесной механике. В последней, в частности, области никак не удавалось подвести под закон тяготения различные аномалии планетных движений, из которых самая известная—это аномалия движения перигелия Меркурия. Рядом ученых были предложены различные видоизменения закона Ньютона [1]), и таким образом закон был релятивизирован. Эти видоизменения производились в большинстве случаев чисто формально, путем «нащупывания» (tatonnement), а потому оказывались в общем неудовлетворительны. Наконец, молодой немецкий ученый Гербер, отбросив частично формальный метод и положив в основу своего анализа несколько удачных идей касательно механизма тяготения, сумел в 1898 году дать рациональное видоизменение закону Ньютона и получить формулу (впоследствии полученную также Эйнштейном) движения перигелия Меркурия, формулу, которая вместе с тем удовлетворительно в общем об'ясняла и другие аномалии. Теория Гербера подверглась ожесточенной критике. Критика эта зиждилась на полном непонимании идей Гербера, на застывших метафизических понятиях, прочно укоренившихся в умах ученых, на нежелании снять покров «загадки» с закона тяготения. Между тем

[1]) См. статью Zennek'a (qravitation) в Математической Энциклопедии, т. IV.

основная идея Гербера чрезвычайно проста. Она заключается в том, чтобы рассматривать потенциальную энергию, как кинетическую по существу. Иначе говоря, теория Гербера адинамична, т.-е. рассматривает силу тяготения, как производную всеобщего движения материи [1]).

Таким образом философский подход к вопросу помог решить определенную научную задачу. Вот почему Гегелевская теория всемирного тяготения, дающая диалектико-философский анализ проблемы на основе адинамизма, представляет значительный интерес. И если бы ученые и неученые филистеры вместо того, чтобы придираться к метафизическим уклонам и фантастике Гегеля, постарались продумать то существенное, которое содержится в его воззрениях, то они убедились бы, что у Гегеля есть чему поучиться. Действительно, метод Гегеля, как правильно отметил Энгельс, совпадает с методом Кирхгофа, а метод последнего—с подлинным методом Гюйгенса—Ньютона; с той лишь разницей, что Ньютон менее формален, нежели Кирхгоф. Последний просто принимает коэффициент массы постоянным, в то время как Ньютон обосновывает это постоянство атомистической гипотезой, выведенной на основании закона падения тел Галилея [2]). Существенное в методах указанных мыслителей—это адинамизм, т.-е. они отрицали метафизическую реальность сил, а исходили из движения материи. И если у Ньютона фигурирует сила, то только в качестве вспомогательно-производного понятия, строгое определение которого представляет великую заслугу гения Ньютона.

Гегель не был знаком с подлинным методом Ньютона, ибо в противном случае он должен был бы признать гениальность этого метода, изобретенного великим Гюйгенсом и развитого столь блестяще Ньютоном.

Мы уже указали, что Гегель наполнял пространство непрерывной материей, не косной, а неотделимой от присущего ей движения. Любопытно отметить справку Мишле о том, что «первое, с чего начиналась в нем (первом очерке Гегеля по философии природы. *З. Ц.*) философия природы, был эфир».

Мишле говорит, правда, что понятие эфира у Гегеля не совпадает с тем, что под этим именем разумеют естествоиспытатели. Это действительно так, но не имеет большого значения, ибо несовпадение относится к Гегелевской метафизике: здесь мы имеем то же самое, что и в понимании понятий пространства и времени, которые согласно Гегелевской метафизике как-то существовали до своего реального осуществления в материи. Вот, впрочем, Гегелевское определение эфира:

«Идея, как тождество существования и понятия, должна быть названа абсолютной материей или эфиром. Ясно, что это наименование равнозначаще с чистым духом. В самом деле, эта абсолютная материя не есть что-нибудь чувственное; она есть чистое понятие, а существующее понятие есть дух; она носит первое имя, когда не думают о ее сущности, точно так же, как, говоря о духе, считают недостаточным его первое название, по-

[1]) Основы теории Гербера, его метод и история вопроса изложены нами в работе „Метод классической механики решения проблемы движения перигелия Меркурия", переданной нами для опубликования в „Вестник Коммунистической Академии".

[2]) См. наши статьи „Метод доказательства" и „Hypotheses non fingo". „П. З. М." № 6—7—1924 г. и 1—2—3—1925 г.

тому что не хотят вспомнить о втором его элементе, т.-е. о существовании. Будучи прост и равен себе, эфир есть неопределившийся дух, недвижный покой, или бытие, возвратившееся из разнообразия к единству своей сущности, субстанция и бытие всех вещей, бесконечная и неизменная связь, равнодушная к внешней форме и определенности и вмещающая их в себе, и по тому самому способная принять всякую форму и бесконечно изменяться. Итак, эфир не проникает во все, но сам есть все; ибо он есть бытие. Нет ничего вне его, и он не изменяется; он вмещает все в себе, единит все, он текуч и невозмутимо прозрачен. Эта чистая сущность, возвратясь к чистому бытию, разрешила в себе всякое разнообразие, оставила его позади себя, и противополагается ему. Другими словами, эфир есть то духовное по своей природе бытие, которое, возникши из разнообразия, не уяснило себе своей духовной сущности; это—чреватая материя, абсолютно отданная движению, бродящая; она, зная, что лежит в основе всего, вмещает в себе многоразличные и повидимому самостоятельные моменты, но в то же время знает, что не выходит из среды самой себя, и во всем пребывает. Поскольку эфир или чистая материя пребывает в самой себе, или есть чистое самосознание, он существует как бытие вообще, а не как раздельное и реально определенное существование. Но это неопределенное бытие определяется и переходит в определенное существование, именно приобретает раздельную внешнюю реальность. Дух, перейдя в природу, движется в элементе реальности. Необнаружившийся дух, эфир, не реален: пока он не раскрылся в реальном элементе, он еще не полон; он замкнут в своей сущности, и ему предстоит развиться в раздельных формах существования».

Чтобы уразуметь как следует этот отрывок, необходимо руководствоваться правилом В. И. Ленина: «Я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически: Гегель есть поставленный на голову материализм (по Энгельсу)—т.-е. я выкидываю боженьку, абсолют, чистую идею». Если поступить по рецепту В. И. Ленина, то Гегелевский эфир превратится в субстанцию Спинозы. Исходной точкой Гегелевской философии природы и является эта субстанция постольку, поскольку Гегель рассматривает природу как определенную ступень в развитии Абсолютной Идеи. Так как диалектический материализм отбрасывает идею Гегеля, то его философия природы, взятая «в себе», независимо от метафизики «ступеней», является философией диалектического материализма. При изложении воззрений Гегеля мы будем придерживаться порядка 1-го издания Натурфилософии. Мишле говорит, что «главная ошибка 1-го издания состояла в том, что в различных его отделах высшие (т.-е. более развитые и более сложные) явления нередко предшествовали низшим (т.-е. простейшим и менее сложным); так в механике вслед за общим тяготением следовали конечные механические явления, давление, падение, удар и инерция»... Замечание Мишле совпадает с тем, что говорит Маркс о научном методе в «Введении в критику политической экономии». Согласно Марксу метод диалектики требует скачка от высшего и сложного к низшему и простому, а затем уже возвращения к исходному пункту, как к «полной и об'ясненной конкретности». Маркс указывает, однако, что при анали-

тическом исследовании синтетическое целое должно постоянно витать необходимой предпосылкой в уме исследователя. Так как понимание Гегелевских воззрений требует уяснения его синтетической предпосылки, то мы и начинаем с Гегелевской Абсолютной Механики.

Как мы уже указали в первых §§, основное положение Гегелевской небесной (абсолютной) механики заключается в приписывании небесным телам «свободного (абсолютного) движения». Чтобы оценить как следует этот тезис, необходимо очистить его предварительно от привходящих и ненужных метафизических элементов. Метафизика Гегеля требовала, чтобы планеты были самыми «совершенными небесными телами».

«Планеты,—говорит Гегель (§ 230),—совмещают в себе отличительные свойства прочих небесных тел, и потому в механическом отношении они совершеннее всех прочих тел солнечной системы. Развитие жизни возможно только на планете. Древние народы ставили выше всего солнце и обоготворяли его. Мы нередко подражаем им, когда ставим отвлечения рассудка (так называемые высшие силы) выше конкретных форм действительного мира».

Если планеты «совершеннее» солнца, то солнечная система «совершеннее» звезд: звезды «стоят на низшей ступени материального развития (§ 268)—и всякое органическое тело стоит выше их по своему устройству. В звездах нет жизни, потому что они мертвы. Звезды нельзя даже сравнить с солнечной системой, которая организована и в которой мы впервые видим осуществление разумных законов». Если отбросить эту ненужную и давно опровергнутую наукой метафизику, то идею Гегеля о свободном (абсолютном) движении, приложенную ко Вселенной в целом, можно выразить так: Вселенная представляет собою единое и абсолютное целое или, выражаясь терминами Спинозы, есть субстанция или самопричина, т.-е. материя и движение Вселенной не обусловлены внешними причинами (силами), а являются коренным бытием. Таким образом смысл свободного движения материи в том, что понятие причины не может быть приложено к Абсолюту в целом. Вот почему в Абсолютной Механике Гегеля царит свободное (абсолютное) движение, несвободное же рассматривается в механике конечной.

Идея Гегеля не нова, но она выражена им в очень отчетливой форме. Научное ее значение громадно, так как история науки показывает, с каким трудом эта элементарная, но фундаментальная мысль проникает в умы, а ее усвоение помогло бы устранить многие мнимые метафизические «загадки», в частности «загадку всемирного тяготения». Идея Гегеля о «свободном движении» лежит в основе всех адинамических (чисто-кинетических) концепций физики[1]), в частности, в основе знаменитой «Механики» Г. Герца.

Но может быть адинамические физики Томсонов, Герца и др. устарели?

Тогда возьмем самые новейшие выводы космической физики. Основное утверждение общей теории относительности Эйнштейна заключается в том, что движение планет по эллиптическим орби-

[1]) См. статью A. Voss'a (§ 26) в IV томе Математической энциклопедии („Die Prinzipien der rationellen Mechanik").

там является именно «свободным движением»: планеты движутся по инерции в неевклидовом пространстве и никакой реальной силы притяжения не существует.

Теория относительности представляется, однако, многим неприемлемой и непонятной. Укажем тогда на новейшую работу D-r'a Nenning'a: «Космическая динамика» [1]), базирующуюся на евклидовой теории вихрей Гельмгольца—Томсона. Неннинг утверждает возможность криволинейных планетных путей, исходя из представления взаимодействия планет и эфира: «свободное» движение планеты в эфире в связи со всей совокупностью движений (вихревых) в этой среде дает криволинейные орбиты. Таким образом философское решение проблемы тяготения на основании идеи свободного движения таково: вселенская материя (эфир) находится в непрерывном движении; движения отдельных частей образуют «частные центры», которые в свою очередь об'единяются в «общем центре» и т. д.

Гегель говорит (§ 268): «Всякое тяжелое тело, по своему понятию, есть тело независимое и в то же время подчиненное своему центру. Обыкновенно превращают эти два условия, входящие в понятие всякого тяжелого тела, в две независимые силы, соответствующие силе притяжения и отталкивания—именно в силу центростремительную и силу центробежную. При этом представляют себе, что эти независимые друг от друга силы совмещаются в третьем—в самом теле, и влекут это последнее в разные стороны. Таким образом глубокое понятие о всеобщем тяготении уступает место самому произвольному представлению, и пока в учении об абсолютном движении будет господствовать теория этих пресловутых сил, до тех пор в нем не будет ни мысли, ни разума. Все эти тела и силы представляются себе независимыми друг от друга. Но, как мы об'яснили в настоящем параграфе, тела, связанные абсолютным движением, тесно соединены в одну разумную нераздельную систему. В ней главный общий центр противополагает себе другие частные центры, окруженные единичными телами—зависимость которых от первого обнаруживается в их совместном движении вокруг этого центра» (курсив везде Гегеля). Гегель справедливо указывает (§ 220), что центробежно-центростремительные силы—это полезные математические фикции: математика «представляет пройденное пространство под видом диагонали двух сил—силы центробежной и центростремительной, или разлагает его на эти мнимые силы и таким образом облегчает себе свои вычисления. Центростремительная сила соответствует радиусу, центробежная—касательной, а дуга есть диагональ этой и другой. Но не должно забывать, что эти, так называемые, силы суть не что иное, как математические линии, и что в действительности их нельзя отделить одну от другой».

Гегель решительно и вполне основательно восстает против пресловутого толчка или импульса, который должен был быть присоединен к силе тяготения для получения криволинейного движения. Этот «толчок» порожден фикцией центробежной силы и антропоморфным образом мышления, переносящим понятия

[1]) D-r Nenning, Kosmische Dynamik, München 1923 г.

узкого первичного опыта на сферу вселенной. Если обычное мышление полагает, что планеты начали двигаться по кривым вследствие центробежной силы, которая была «сообщена всем небесным телам в начале творения посредством первоначального толчка или импульса, отбросившего их в сторону», то Гегель утверждает, что «такое случайное и внешнее движение может быть сообщено косной материи, т.-е. материи, не обладающей собственной самодеятельностью; так, когда мы вертим камешек на нитке вокруг руки, он постоянно натягивает нитку и стремится улететь».

Гегель предостерегает против наиболее частой метафизической ошибки: ложных заключений от частей к целому.

Мы не будем касаться метафизических соображений Гегеля, касающихся «разумного» обоснования законов планетных движений и других подробностей его критики научной теории тяготения. Куно Фишер справедливо говорит, что «постоянные пререкания с эмпирической физикой, которыми до надоедливости переполнены примечания к философии природы Гегеля, вовсе не составляют ее достоинства, а скорее вредили и вредят ей».

Пререкания эти затемняют действительную сущность Гегелевских воззрений и дают возможность критикам придираться к нелепым и фантастическим выводам Гегелевской метафизики, вроде того, что сила тяжести больше на экваторе, или что «солнце совмещает в себе покой и движение», а потому «оно вращается, не изменяя своего места» и т. п.

Коснемся лишь еще одного существенного вопроса. Гегеля упрекают в том, что он будто бы утверждает, что солнечная система «не имеет истории», ибо, осуществляя идею свободного движения, солнечная система не находится ни в какой зависимости от причин, действующих во времени» (П. Чижов). Утверждению Гегеля противопоставляются научные теории происхождения солнечной системы. Здесь наиболее четко обнаруживается полное непонимание основной идеи Гегеля о свободном движении.

Гегель в «Введении в философию природы» (§ 247) подробно об'яснил, как необходимо отвечать на вопрос о вечности мира. «Время,—говорит Гегель,—приложимо только к конечным предметам, и оно начинается для каждого из них вместе с возникновением предмета»... «Но философия природы возвышается из сферы конечной в сферу всеобщего, бесконечного: она не следит за сменою конечных существований, но изучает то, что есть в них непреходящего и вечного. Она смотрит на мир не как на совокупность конечных существований, но изучает то, что есть всеобщего в этих конечных предметах. Вот почему она вовсе не касается вопроса о начале и происхождении этих последних».

Гегелю без сомнения прекрасно была известна теория Канта-Лапласа, на которую напирают критики. Но Гегель сознательно исключал рассмотрение вопроса из философии природы. Его Абсолютная Механика ставила себе целью не вопрос о происхождении мира, вопрос, входящий в сферу науки, а вопрос об общих законах движения материи, образующих методологический ключ к правильной трактовке проблемы тяготения. Критик Чижов сам указывает (стр. 225): «Законы абсолютной или небесной ме-

ханики представлялись ему (Гегелю) таким необходимым звеном в ряду причин законов природы, что он не мог вообразить себе времени, когда бы они отсутствовали. Такое отсутствие, по его мнению, составило бы пустоту в природе». Гегеля можно лишь упрекнуть в том, что он, обуреваемый жаждой метафизической системы, полагал, что им открыты уже законы абсолютной механики. В действительности же законы эти познаются человечеством в длительном течении времени. Но метафизические уклоны Гегеля не лишают значения ту долю истины, которая заключается в воззрениях этого великого диалектика—материалиста наизнанку.

(*Продолжение следует*).

К вопросу об особенностях исторического развития России.

(Продолжение).

М. Н. Покровский.

II. Где уже только одни исторические замечания.

Продолжаю свое маленькое исследование о том, чем держалось русское самодержавие, и что помогло этому мамонту дожить до XX века.

Перед 1905 годом, отчасти и после, у нас очень распространены были разговоры о том, колониальная страна Россия, или нет, колониальный тип развития у нас, или нет. При этом имелось в виду, что Россия сама есть колония для западно-европейского капитала. Не обращали внимания на другую сторону: что Россия есть одно из величайших колониальных государств мира: что она, колония она или нет по отношению к западно-европейскому капиталу, является обладательницей самых больших колоний, какие только имеет какое-либо другое европейское государство, исключая Англию и Францию. По площади своих колоний среди этих государств царская Россия занимала даже первое место: в то время, как площадь всех английских колоний составляла около 13 милл. кв. километров, всех французских—около 11 милл.—площадь одной Сибири превосходила 13 милл. кв. километров. По населенности, русские колонии уступали, конечно, не только английским и французским, но и голландским: но все же и население Сибири, Средней Азии и Кавказа в 1905 году доходило до 26 миллионов жителей, т. е. равнялось хорошему европейскому государству, вроде Италии (второй половины XIX в.).

Что Сибирь, Средняя Азия и Кавказ суть колонии, этого у нас многие не понимали просто потому, что учебники географии под «колониями» разумели «заморские» владения, а все перечисленные страны имели с основным ядром «Российской империи», с тем, что называлось тогда «Европейской Россией», непрерывную сухопутную связь. Поэтому многие в простоте души говорили тогда, что у России «вовсе нет колоний» или была, когда то.

только одна—«Российские Американские владения» по ту сторону Берингова пролива, да и ту в 1867 году продали Соединенным Штатам. Но с этой, школьно-географической, точки зрения нелепо было говорить и о России, как колонии Западной Европы, потому что от последней Россия тоже морем не была отделена. Если же понимать под «колонией» то, что все экономически грамотные люди понимают, т.-е. страну, менее культурную, чем метрополия, и служащую для последней источником сырья, а в новейшее время—местом, куда вывозится капитал (в эту стадию развития Россия перед 1905 годом еще не вступила), то все эти страны окажутся самыми что ни на есть образцовыми колониями, начиная с Сибири, которая уже с XVI—XVII в.в. доставляла один из самых ценных тогда видов сырья, пушнину, а позже золото, и кончая Кавказом, который в 1901 г. дал «империи» больше нефти, чем имело какое-либо государство мира, и Средней Азией, которая перед войной покрывала 50% всей потребности тогдашней России в хлопке. Это были настоящие колонии, форменные колонии, и то, что в любую из них можно было доехать из Петербурга, не садясь на корабль, только давало одну добавочную черту: колониальные нравы, в Англии или Франции отделенные от метрополии океаном, в России не были от нее отделены никакой осязаемой чертой и свободно просачивались до самого центра.

А нравы эти были, опять-таки, более первобытные, чем где бы то ни было в это время. Использование колоний, как источников промышленного сырья, это, ведь, явление нового времени, для России конца XIX—начала XX века. В расцвет захвата колониальных владений в Америке и Азии, в XVI—XVII веках, колонии просто грабили, просто отнимали у населения что было поценнее, а при малейшем сопротивлении самое население истребляли. Колониальный грабеж был неразрывной составной частью первоначального накопления. «История голландского колониального хозяйства», говорит Маркс,—«а Голландия была образцовой капиталистической страной XVII века—развертывает бесподобную картину предательств, подкупов, убийств и подлостей».

Возьмем ли мы завоевание Закавказья в 1820-х годах, или Средней Азии в 1860-х, эта характеристика Маркса будет бесподобной фотографией того, что проделывала в названных местах «не имевшая колоний» царская Россия. Вот перед нами один из самых образованных русских генералов начала XIX века, друг декабристов, Ермолов, и вот два эпизода из истории «управления» им Закавказья, эпизода, излагаемых не по какому-нибудь «памфлету», а со слов официального историка Кавказской войны, тоже русского генерала, Дубровина. 24 июля 1819 года умер «после

непродолжительной болезни» Измаил—хан шекинский (персы открыто говорили, что он был отравлен состоявшим при нем русским чиновником, и делали в этом смысле даже официальные заявления). В столицу умершего хана, Нуху, немедленно же были двинуты «для предупреждения волнений» русские войска. Затем, повествует генерал Дубровин, «главнокомандующий, под предлогом неимения прямых наследников, приказал ввести в ханстве шекинском русское управление... Вместе с тем было приказано: привести в известность ханские доходы, не изменяя ни количества их, ни порядка взноса; печать ханскую и мирзу, управляющего делами, взять под стражу, дабы пресечь ему возможность выдавать фальшивые ханские грамоты. Привести в известность грамоты, выданные Измаил-ханом на управление деревнями или на разного рода имущество, данное в собственность, описать собственное имущество хана, долженствующее поступить в казну; составить список всему ханскому семейству с обозначением состоявшей у каждого собственности, чтобы определить им приличное содержание от казны». Семейство умершего хана было попросту, таким образом, ограблено: официальные документы, на которых основано изложение Дубровина, умалчивают только об одном—какой комиссионный процент учли в свою пользу исполнители этой операции, русские чиновники, штатские и военные. Что они были здесь несколько заинтересованы, показывает всеобщая уверенность, разделявшаяся и русскими офицерами, что отравлен был Измаил-хан по прямому приказу главного военного начальника края, генерала кн. Мадатова. Этот же последний, по общему мнению, был виновником и другой не менее смелой операции, совершенной в соседнем Карабахском ханстве. Здешнего хана, повидимому, отрава не брала, и для устранения его пришлось прибегнуть к средству менее трагическому, но зато для того времени необычайно прогрессивному,—теперь мы назвали бы его провокацией. Племянника хана подговорили донести на дядю, будто тот хочет его убить, при чем, для большей убедительности, было симулировано даже и самое покушение. Немедленно было наряжено строгое следствие. Поняв, к чему клонится дело, хан бежал в Персию, предусмотрительно захватив с собой бо́льшую часть жалованных грамот императора Александра, но зато бросив все свое имущество. Тогда племянника, который уже видел себя наследником всего оставленного ханом, включая и самое ханство, преспокойно сослали в Симбирск, а «выморочное» достояние карабахской династии поступило в собственность русской казны.

К таким сложным операциям приходилось прибегать, когда дело шло о ханах и беках, т.-е. помещиках. С «простым народом» обращение было, разумеется, проще. Вот, например, в какой обстановке жили при Ермолове чеченцы на плоскости,—наиболее

близкие к нам соседи: «В случае воровства каждое селение обязано выдать вора, а если он скроется, то его семейство. Но если жители дадут средство к побегу всему семейству вора, то целое селение предается огню. Точно так же обещано поступить с селением в том случае, если жители, видя, что хищники увлекают в плен русского, не отобьют его или не отыщут; из такой деревни за каждого русского, взятого в плен, приказано брать в солдаты по два человека туземцев. Известно было, что без пособия и укрывательства самих владельцев горцы не могли проезжать от реки Сунжи, а потому по всему пространству своих земель владельцы должны были иметь постоянные караулы. Если же затем, по исследованию, окажется, что жители беспрепятственно пропустили хищников и не защищались, то деревня истребляется, жен и детей вырезывают»... «Таким образом жители, попрежнему продолжая воровство и разбои» (или даже только не сопротивляясь разбойникам, прибавим мы), «непременно истреблены будут». И это не была пустая фраза—чеченцы могли рассказать о случаях, когда за убийство одного казака истреблялись до последнего жители целого аула. «Ужасный ропот в народе на несправедливые и нерезонные поступки Пестеля (командовавшего в Чечне генерала) дошел до меня в самом начале в'езда моего в здешние провинции», писал знакомый нам кн. Мадатов, посланный расследовать дело, когда Пестель довел горцев до всеобщего восстания. «Народ говорит, что удовлетворения ни в чем не видит и даже ни одного ласкового слова от Пестеля, а слышит одни лишь только всегдашние повторения его: прикажу повесить».

А кн. Мадатов, мы только что видели, сам был человеком достаточно широких взглядов. Это, однако, все же касалось «виновных»—хотя бы в том, что русским генералам и офицерам «хотелось кушать». Но в официальной истории завоевания Кавказа мы на каждом шагу встречаем «меры воздействия», направленные против целых племен, уже без различия правых и виноватых. То у кабардинцев отнимут все земли, то у чеченцев отнимут весь корм для скота, запасенный ими на зиму, т.-е. фактически отнимут весь скот, ибо после этого им ничего не оставалось, как отдать весь скот русским, и т. д., и т. д. Как видим, в первой половине XIX в. царская империя ничем не уступала «образцовой капиталистической стране XVII столетия». Шли годы и десятилетия, Кавказ был завоеван, но «империя» продолжала держаться на той же высоте.

Вот перед нами другой выдвигающийся колонизатор, знаменитый туркестанский ген.-губернатор Кауфман. Он только что взял теперешнюю столицу Узбекистана Самарканд, взял вторично: жители, добровольно подчинившиеся при первом приближении войск генерала Кауфмана, вновь «отпали», когда русский отряд ушел дальше, а под Самаркандом появились состоявшие на службе бухарского эмира шахрисябцы. Попросту говоря, несчастные самаркандцы, по азиатскому обычаю, подчинились тому, кто был сильнее в данный момент. Они, однако, на этот раз прогадали: при всей незначительности сил, оставленных Кауфманом в самаркандской цитадели, взять эту последнюю обратно бухарцам не удалось. Город был жестоко наказан за свое непостоянство: между прочим, сожжен был огромный самаркандский базар, разгромлены мечети, минаретами которых пользовались нападающие во время осады цитадели. Что «зачинщики» были без милосердия казнены,—это разумелось само собой, при чем судопроизводство было упрощено до последних пределов возможности: комендант цитадели называл командующему войсками «виновных», а тот, покуривая папиросу, равнодушно приговаривал по поводу каждого: «расстрелять, расстрелять, расстрелять». Это показалось чересчур простым даже разделявшему взгляды военного начальства русскому художнику... Но самому начальству этого показалось мало, и оно вдобавок ко всему прочему разрешило солдатам в течение нескольких дней грабить город, не разбирая уже ни правого, ни виноватого. Один из руководивших грабежом, какой-то интендантский чиновник, так рассказывал художнику Верещагину про свои подвиги: «Зашел я с солдатами в один дом, где старая-престарая старуха нас встретила словами «аман, аман» (будьте здоровы). Смотрим, а под цыновкой, на которой она сидела, что-то шевелится. И действительно, там оказался мальчуган, лет шестнадцати. Мы его вытащили и, натурально, убили вместе со старухой»[1]).

И тут, как на Кавказе, дело не ограничивалось «виноватыми»,—принимались меры и «общего характера». «Трепет азиатов перед русским именем, рассказывает один патриотический русский путешественник, был достигнут нелегко и стоил недешево. Необходимы были беспощадные кровавые расправы с туземцами за малейшую их попытку напасть на русского, прежде чем могло установиться в стране теперешнее, вполне безопасное положение. Целые кишлаки выжигались до тла за какое-нибудь одно тело убитого русского, найденное по соседству. И иначе поступать было невозможно с народом, для которого грабеж и убийство были обычной стихией»... В другом месте наш автор находил у этого народа такую «душевную воспитанность», какой, к его огорчению, он не замечал у «простого русского человека». Но не будем ловить его на словесных

[1]) Беру все эти примеры из моей книжки: „Дипломатия и войны царской России", стр. 186—187, 204—205, 331—332. За подробностями отсылаю читателей туда же.

противоречях: вот факты, которые передал ему «один очень авторитетный русский житель Ташкента, имевший возможность со всех сторон изучить быт туземцев». «Мы нашли тут, в Туркестане, такую строгость нравов, о которой у нас и понятия не имеют. Слово самого маленького начальника для них было законом. Послушание изумительное. Честность такая везде была, что ни один дом на ночь не запирался; в Ташкенте, впрочем, и до сих пор они не запираются по старой памяти, хотя воровство удесятерилось против прежнего»... Но пятьдесят лет, прошедших со времен Ермолова, все же сказались. В Средней Азии уже не останавливались на простом, «наивном» грабеже. Были применены «последние слова» новейшей финансовой техники. С каким совершенством, ответ на это дают размеры налога, падавшего на туземцев в начале XX века, сравнительно с тем, что они платили до начала русского владычества и в первые его годы. Вот один пример: Дагбитская волость Самаркандской области и уезда. «Ранее (до 1892 года) взимаемый налог, в сумме 320 рублей, ниже размера нового налога, в сумме 5107 руб. 51 коп., на 1496,09%». Вы думаете, что это исключение? Разве лишь в смысле яркости примера: перечтите итоги по другим местностям, вы увидите 87%, 135%, 264% превышения нового поземельного налога над старым. Всюду налоги в $1\frac{1}{2}$—$2\frac{1}{2}$ раза выше, относительно, чем были тогда в самой России. Меньше всего подвергалась фискальной эксплоатации из волостей Самаркандского уезда волость Дюрткульская,—ее новые налоги выше старых всего на 43,35%. Но надо знать, что такое Дюрткульская волость. Вот что о ней говорит официальная статистика: «К началу 70-х годов в этой волости было на счету русской администрации 45 населенных мест с 976 дворами, а спустя 20 лет, в 1893 году, здесь найдено 36 населенных мест с 817 дворами, т.-е. менее на 9 селений и 159 дворов». Но из наличных дворов 225 было выморочных, а 90—сиротских. «Если ко всему этому прибавить почти полное отсутствие людей в возрасте за 50 лет и наружный крайне захудалый вид населения волости, то понятным становится»,—вы думаете, влияние русского управления на судьбу этой волости? Нет: «немаловажное значение санитарных условий» [1]).

Проходит еще 30 лет. Мы еще дальше на восток от места подвигов генерала Ермолова—в Маньчжурии. Как туда попали русские, это мы расскажем в другом месте, в настоящей связи нас интересует, как они там действовали. Мы опять берем почти официальный документ—записку одного из строителей Китайской восточной дороги (порт-артурской ветки), инженера Гиршмана, составленную в 1902 г., а относящуюся к событиям 1900—1901 г.г. Гиршман, человек деловой, притом сам бывший на войне (в Турции в 1877—1878 г.г.) соглашается, что «к войне не применима прописная мораль, и в пылу сражения или подавно штурма, грабежи являются делом вполне естественным». Но, замечает он «все-таки приходится думать, что такой пыл не может быть долговечным и во всяком случае не должен бы допускаться на продолжительное время, и что самый грабеж не должен доходить до какого-то безумного уничтожения добра только из страсти к уничтожению, и что вместе с тем должны бы приниматься меры к охранению того имущества, которое, будучи вполне бесполезно для каждого отдельного солдата, являлось бы драгоценною добычею, в смысле облегчения военных расходов (предметы интендантского довольствия). К сожалению, однако, по крайней мере, в первом периоде войны до взятия Хайчена включительно, все высказанные соображения были оставляемы без всякого внимания»....

«Приискивались предлоги к бесконечному ряду экспедиций, которые являлись столь желательными в смысле возможности новых реляций и новых представлений к наградам, но, к сожалению, также и новых грабежей и порчи тех отношений, которые так легко было поставить в лучшем виде при строгом исполнении соглашения».

А вот маленькие образчики того, что представляли собою эти самые «экспедиции»:

«Другая крупная экспедиция предпринята была в сторону Монголии, под начальством генерала Церпицкого, на основании сведений, что Хин-цань (один из вождей сопротивлявшегося русским населения) находится около Кула и оттуда руководит новыми враждебными действиями против нас. Для всякого, знающего ту невероятную быстроту, с которой в Китае всякие известия передаются без телеграфа, не могли не быть ясно, что Хин-цань, несомненно, успеет уйти из своего убежища задолго до прибытия русских войск. С другой стороны, не было также секретом крайне дружеское расположение к нам монголов, а таковое еще усилилось благодаря хорошим отношениям, установившимся между главными монгольскими ламами Мукдена и полковником Громбчевским. Благодаря этим отношениям, экспедиция была снабжена надежными китайскими чиновниками и письмами для предупреждения всяких лишних столкновений. Конечным пунктом экспедиции являлся город Куло с его древним монастырем, глубоко чтимым во всей Монголии и знаменитым своими богатствами. Все эти обстоятельства должны были, повидимому, с одной стороны, обещать самый спокойный поход экспедиции, а, с другой, внушить руководителям ее особую осторожность, дабы не терять располо-

[1]) Там же, стр. 344.

жения монголов. В первом отношении все шло как нельзя лучше: повсеместно отряды, составляющие экспедицию, находили самый лучший прием, население встречало подарками, все необходимые припасы доставлялись по минимальным ценам, и конечно экспедиция вся прошла бы таким же образом, если бы генерал-лейтенанту Церпицкому не показалось неудобным совершать поход без всяких лавров. И поэтому, судя по личному мне рассказу его при нескольких свидетелях, генерал, приближаясь к Куло, притворяется больным, и потому принимается решение войти в Куло только на другой день. Когда же китайские чиновники, приняв соответствующие меры, легли спать, генерал немедленно выздоравливает, двигается ночью на Куло и, на основании какого-то выстрела, последовавшего будто бы при подходе наших войск и вполне естественного, особенно в Китае, где ночные выстрелы служат лишь выражением бдительности сторожей города, монастырь захватывается силой; масса жителей и монахов предается избиению, а затем начинается полнейшее разграбление, в результате коего на долю самого генерала, по его собственным словам, достается не меньше 200 штук одних древних идолов из золоченной бронзы.

«Параллельно с большими экспедициями шли и малые, предпринимавшиеся, вопреки соглашению, на основании всяких самых случайных сведений о появлении хунхузов или нахождении складов оружия. Подобной готовностью нашей к экспедициям, на основании непроверенных сведений, и нашим незнанием местных условий, прежде всего, воспользовались, судя по многих рассказам, сами хунхузы (китайские бандиты, для борьбы с которыми предпринимались экспедиции); имея в виду разграбить какого-нибудь зажиточного жителя, они сами доносили о таковом, как о хунхузе и, конечно, прекрасно умели воспользоваться результатами следовавшего затем разгрома. Неудивительно, конечно, и то, что поданный генерал-лейтенантом Церпицким пример удачного парализования сопровождающих китайских чиновников нашел вскоре подражателя в лице ротмистра Булатовича. Здесь, однако, прием был упрощен, так как чиновники были попросту арестованы; затем, таким же способом и с тем же успехом, как в Куло, совершилось взятие укрепленной фанзы в 12 верстах от Мукдена, которая, как и заранее можно было знать, являлась не хунхузским гнездом, а пунктом убежища для окрестного населения в случае опасности и потому изобиловала всем лучшим добром этого населения».

На протяжении трех четвертей столетия методы действия, как видим, эволюционировали так мало, что было бы смешным педантством искать здесь какого-нибудь «социального перерождения». При Николае II, как и при Александре I, непосредствен-

ной целью русской колониальной политики было то же, что являлось такой целью для португальцев или голландцев XVII века—прямой грабеж. И было бы в высшей степени странно, если бы эти типические приемы «первоначального накопления» руководились властью более современного типа, чем европейский абсолютизм XVI—XVII столетий.

Но «голландская» политика выростала не на пустом месте—Голландия XVII века была, мы помним, «самой образцовой капиталистической страной» той эпохи, эпохи торгового капитализма. Те же следствия заставляют искать тех же причин—и участие русского торгового капитала в завоевании как Кавказа, так и Средней Азии могло быть не замечено только потому, что историю этих завоеваний писали военные люди, слишком уж далекие от всякого исторического материализма. Интересы этого капитала в Закавказьи, в начале XIX века, сознательно и официально ставились на первое место: Александр I в инструкции отправляющемуся на Кавказ Ермолову выразился, что он ставит торговые выгоды выше территориальных приобретений. Войны с Персией привели прежде всего к открытию этой, мало еще доступной тогда для европейцев, страны русским купцам[1]). Предшественник Ермолова, Тормасов, все завоевание Западного Кавказа ставил на почву торговой конкуренции с турками, от которых экономически до тех пор эта часть Кавказа зависела. Правда, попытки русских чиновников непосредственно вести торговлю кончились неудачей, но характерно, что даже военные люди видели настоящую подкладку совершавшихся им завоеваний.

Под знаменем того же торгового капитализма началось и движение русских в Среднюю Азию. В середине XVIII века инструкция так называемой «оренбургской комиссии» на-ряду с защитой границ от набегов со стороны киргизов и действительным, не только номинальным, подчинением последних России, ставила, как одну из целей этой политики, развитие торговых сношений с оседлыми соседями этих киргизов. Военные операции 30-х годов девятнадцатого века были вызваны ближайшим образом заботами об охране торговых караванов. Первая экспедиция вглубь Средней Азии—хивинский поход Перовского в 1839 г.—одним из официально признававшихся мотивов имела «ограждение русских торговых интересов в Центральной Азии», и, сопоставляя с этим мотивом другие—обеспечение спокойствия русских киргизов или освобождение русских пленных, томившихся в хивинской неволе,—слишком нетрудно угадать, что заставило правительство Николая Павловича истратить более полумиллиона рублей в этих, так далеких от центров его внешней политики, местах.

[1]) См. „Дипломатия и войны царской России", стр. 184, 193—194, 380 и сл. „Русская история с древн. времен", т. IV, стр. 30 и сл.

Недаром и самую экспедицию официально называли не «карательной»,—каковой бы она была, если мотивировать ее от хивинских набегов и грабежей, а «научной». А когда «научная экспедиция» на первый раз кончилась неудачей, «чтобы защитить своих подданных против киргизов, в 1845 году Россией было устроено в степи два новых укрепления, Тургай и Иргиз,—говорит один из историков русских походов в Средней Азии,—в короткое время здесь развилась оживленная меновая торговля».

Не добравшись до больших, центральных среднеазитских рынков, удовольствовались мелкими, местными. А когда, четверть столетия спустя, неудача Перовского была заглажена, русские войска заняли Ташкент и Самарканд, и торжественным маршем вступили в Хиву, эти победы прежде всего другого открыли настежь двери для русской торговли. После 1873 года она была об'явлена беспошлинной на всем пространстве как Бухарского эмирства, так и Хивинского ханства. Пользуясь там всеми правами туземцев—по части покупки земли, устройство складов, магазинов и т. д.—они были подсудны только русским властям, что бы они ни совершили на территории названных «независимых» государств.

Торгово-капиталистический смысл завоеваний как Кавказа, так и Средней Азии, не вызывает никаких сомнений. Как обстояло дело с Дальним Востоком?

В начале дальневосточной авантюры, закончившейся катастрофой под Мукденом и Цусимой, стоят два факта: постройка Сибирской железной дороги и основание русско-китайского банка. Оба факта тесно связаны с колониальной политикой царской империи, во-первых, и с проникновением в Китай русского торгового капитала, во-вторых.

Сооружение сибирской железнодорожной магистрали в конечном итоге сводится к основному стержню русской азиатской политики в течение всего XIX века, за вычетом первых его годов и с небольшим перерывом после Крымской войны (1853—1856 г.г.). Стержнем этим было русско-английское торговое соперничество. Уже Паскевич, торжествуя в 1827 году победу над Персией, торжествовал, в то же время победу над крупнейшим торгово-капиталистическим предприятием тогдашнего мира, английской Ост-индской компанией. После занятия нами Тавриза, писал он Николаю, агентам Ост-индской компании ничего не останется, как сесть на корабли в Бендер-Бушире (на Персидском заливе) и отправиться к себе домой в Индию. Вся история завоевания Средней Азии, от похода Перовского до занятия Мерва в 1884 году, неразрывно переплетена с русско-английским кон-

фликтом[1]). На другой день после взятия Мерва и столкновения русских с афганцами в 1885 г. Россия и Англия были на вершок от войны, и тут обнаружилось, что, в случае, если бы она вспыхнула, русские владения на Дальнем Востоке—только что, благодаря столкновению с Китаем из-за Кульджи в 1880 г., доказавшие свою реальную ценность для будущих захватов,—оказались бы наглухо отрезанными от метрополии: при отсутствии железных дорог в Сибири добраться до них можно было только морем, а морем, об этом уже никто не спорил, владела Англия. Приамурский генерал-губернатор и командующий войсками иркутского военного округа единодушно требовали рельсовой колеи, хотя бы от Томска до Забайкалья (до Томска и по Амуру надеялись еще использовать речной путь). Образованное, вследствие этих заявлений, Александром III «особое совещание»—из четырех министров, с участием начальника главного штаба—пришло к заключению, что «проложение железной дороги через Сибирь, требуя от казны огромных пожертвований, не обещает в ближайшем будущем, при ограниченном торговом движении края, положительных выгод и может окупиться лишь со временем. Но нельзя не признать, что в общегосударственном и в особенности в стратегическом отношении ускорение наших сообщений с отдаленным востоком становится с каждым годом все более неотложным. Поэтому, не предрешая ныне самого способа постройки, представлялось бы вполне соответствующим безотлагательно приступить к изысканиям участков Сибирской дороги, наиболее важных в стратегическом отношении... так как без этого наш главный порт в Тихом океане явится отрезанным от удобных сообщений с остальною Сибирью и лишенным всякой базы, и в виду преимущественного стратегического значения проектируемых линий желательно наиболее деятельное участие военного ведомства, в лице генерал-губернаторов, в производстве изысканий».

Но раз гроза войны, как-никак, прошла, а денег в казне было мало, тогдашний (1887 г.) министр финансов, Вышнеградский, скупился, и дело затягивалось. В 1890 году понадобилось «новое заявление от приамурского генерал-губернатора о затруднительности сообщения с Южно-Уссурийским краем и о невозможности обороны его за отдаленностью резервов». На докладе генерал-губернатора Александр III написал: «Необходимо приступить скорее к постройке этой дороги». Под давлением свыше Вышнеградский уже соглашался теперь дать деньги, но все же норовил затратить их хотя бы сколько-нибудь коммерчески и настаивал на постройке железной дороги сначала лишь в более населенной Западной Сибири, т.-е. очень далеко от угрожаемых

[1]) См. „Русская история с древнейших времен", т. IV, стр. 240 и сл.

берегов Тихого океана. На сторону военного ведомства стало министерство путей сообщения, для которого железнодорожное строительство, как таковое, представляло бо́льший интерес, нежели коммерческая будущность построенных дорог. В конце концов решено было начать сибирскую магистраль сразу с обоих концов, при чем закладка дальневосточного конца во Владивостоке была обставлена особой торжественностью: для этого был отправлен тогдашний (1891 г.) «наследник-цесаревич», будущий Николай II.

Так как военное происхождение сибирской дороги было вне всякого сомнения, то в рескрипте Александра III наследнику очень подчеркивалось «мирное преуспеяние» Сибири и необходимость «соединить обильные дарами природы сибирские области с сетью внутренних рельсовых сообщений». На самом деле дорога должна была служить, прежде всего, для подготовки колониальных захватов на Дальнем Востоке (благо Ближний, в лице Болгарии, только что ушел из сферы русского влияния), и внутренне-колонизационный вопрос логически стоял вторым. Провести железную дорогу по пустыне было совершенно невозможно, для нее нужна была населенная зона, и зону эту приходилось создавать.

С этого конца политика опять подходила к экономике,—и преемник Вышнеградского, Витте, ставший, быть может, преемником отчасти именно поэтому, сумел подметить связь, которой не схватил ловкий биржевой делец, управлявший русскими финансами до него. В своей записке 13—26 ноября 1892 года Витте писал:

«Принимая протяжение Сибирской железной дороги от Челябинска до Владивотсока круглым числом в 7.100 верст и полагая, что эта дорога приблизит к Европейской России только прорезываемую ею полосу не свыше стоверстного расстояния от линии в обе стороны, то и в таком случае, благодаря железной дороге, в новые условия существования становится огромная территория в 1.420.000 кв. верст—территория, превосходящая Германию и Австро-Венгрию, вместе взятые, с добавлением Голландии, Бельгии и Дании. Если сравнить эту территорию с какой-нибудь частью Европейской России, то окажется, что она по пространству превосходит все взятые вместе губернии, заключенные между Окой, Волгой, Азовским и Черным морями и Австрийскою границею, с добавлением Привислинского края, т.-е. 35 губерний. При том вся эта территория лежит в средних географических широтах (преимущественно между 50° и 57° сев. широты), по климатическим условиям не слишком резко отличается от центральных и восточных губерний Европейской России и в большей своей части представляет данные, вполне благоприятствующие развитию земледельческих и других промыслов.

В действительности, влияние Сибирской железной дороги, благодаря связи ее со всеми водными сообщениями Сибири, будет распространяться гораздо далее прорезываемой ею полосы, и не подлежит сомнению, что дорога даст могущественный толчок экономическому развитию Сибири, всюду оживит и возбудит возможные по местным условиям отрасли производительной деятельности».

Помимо того журавля в небе, который летал над Владивостоком, была синица, которая, можно сказать, сама просилась в руки русского торгового капитала. Эксплоатируемый этим последним крестьянин был экономически при последнем издыхании в европейской части «империи»: голод 1891 года был вчерашним днем, когда писал Витте. Самые тугие умы должны были задаться вопросом: что же делать дальше? Витте и указывал выход.

«Крестьянское малоземелье,—указывалось в записке,—давно уже замечаемое во многих губерниях Европейской России, несомненно, должно быть отнесено к отрицательным явлениям русской жизни: оно невыгодно для народного хозяйства, потому что в непривычных условиях существования малоземельный крестьянин становится экономически слабым, его труд менее производительным; оно невыгодно для государства, потому что экономически слабые элементы населения служат скорее в тягость государству, требуя от него усиленных попечений и не давая взамен ничего; оно, наконец, не может быть признано и нормальным, в виду массы пустующих земель, которые остаются мертвым капиталом именно по отсутствию рабочих рук и которые посему очень выгодно заселять нуждающимися в земле для приложения к ней своего труда». Наиболее целесообразным способом уменьшения малоземелья является наделение нуждающихся крестьян казенными землями в Сибири, особенно в западной части ее. «Стремление малоземельных крестьян к переселению на новые места замечается уже теперь, но носит стихийный характер; если же правительство поставит переселенческое движение в более правильные условия, то можно полагать, что заселение плодородных сибирских пустынь пойдет весьма успешно, а с появлением на месте достаточного количества рабочей силы плодородные сибирские земли приобретут, без сомнения, притягательность и для более образованных общественных слоев, которые принесут с собой и капитал, и знание, и цивилизующее влияние на окружающую среду. Таким образом Сибирская железная дорога обеспечит прорезываемому ею обширному краю одно из главных условий для развития сельскохозяйственной производительности, именно рынок сбыта и приток рабочей силы, открывая вместе путь государству к разрешению одной из наиболее трудных задач—к прочному устройству эконо-

мического быта малоземельного крестьянского населения внутренних губерний Европейской России».

Итак, дорога создавала, прежде всего, новый район торгово-капиталистической эксплоатации. Уже стесненный в своей практике обдирания мужика Европейской России, ибо здесь мужик был уже ободран до костей,—торговый капитал приобретал теперь нового «клиента» как в сибирском «старожиле», так и в спешившем ему на подкрепление «новоселе».

Но и этим выгоды Сибирской дороги еще не исчерпываются. В заключение, Витте счел необходимым «установить определенную точку зрения на торговое значение Сибирской железной дороги». В этом отношении дорога должна, с одной стороны, способствовать увеличению вывоза сибирских грузов в Европейскую Россию, а с другой—устранить те неудобства, которые приходится испытывать при перевозке европейских грузов в Сибирь, а равно благоприятно отразиться на условиях торгового оборота в пределах этого края. Но торговое значение дороги не ограничивается теми выгодами, которые она может дать немедленно вслед за открытием движения, «вероятные последствия этого предприятия следует рассматривать шире—в связи с тем основным фактором, что Сибирский путь установит непрерывное рельсовое сообщение между Европой и Тихим океаном и таким образом откроет новые горизонты для торговли не только русской, но и всемирной». «При этом для России особенно важно то обстоятельство, что она, участвуя в сообщениях Европы с странами азиатского востока на протяжении более десяти тысяч верст, может и должна воспользоваться не только всеми выгодами посредника в торговом обмене произведений востока Азии и запада Европы, но и выгодами крупного производителя и потребителя, ближе всех стоящего к народам азиатского востока. С постройкою Сибирской железной дороги не только усилится роль России на мировом рынке, но для нее откроются новые обильные источники народного благосостояния».

Как видим, Витте не уставал рекламировать «свою» дорогу, которой не умел оценить свергнутый им с финансового престола Вышнеградский (в частных разговорах Витте не скрывал, что это он «сломал шею» Вышнеградскому). Сибирская магистраль наряду с винной монополией и золотой валютой была одним из трех китов, на которых держалась политика Витте. Хронологически, постройка Сибирской дороги и его министерство совпадают: с ее началом он стал министром финансов, с ее окончанием он перестал им быть. Приведенная мною в таких больших отрывках записка, помимо своего конкретного содержания, характерна как иллюстрация подхода к делу одного из самых влиятельных

ведомств и одного из самых влиятельных людей эпохи. Железная дорога для Витте была, прежде всего другом, орудием торгового капитала и лишь в последней очереди обещала стать орудием и капитала промышленного. В то же время это было, конечно, и стратегическая дорога. Это все время твердо помнил тот, кто ее закладывал. Для Николая II дорога не имела смысла вне ее конечной военной цели. В конце концов экономика и стратегия воплотились—первая в лице Витте, вторая в лице Николая и окружавшей его безобразовской шайки. И стратегия победила своего собственного министра финансов, чтобы быть затем побежденной на настоящем, военном поле битвы с Японией.

А теперь, словами опять-таки самого Витте, расскажем, зачем был открыт Русско-китайский банк:

«Вскоре после открытия комитета Сибирской железной дороги министр финансов возбудил в комитете вопрос о торговых интересах России на Дальнем Востоке и в особенности о сношениях ее с Китаем. Имея в виду, что Китай и Япония с приближением к их пределам Сибирской железной дороги станут более доступными для сбыта русских продуктов и, в свою очередь, вероятно, примут меры к развитию своего вывоза в Россию, министр финансов полагал уже тогда своевременным всесторонне ознакомиться с условиями нашей торговли на Крайнем Востоке и изучить потребности тамошних рынков. Для достижения этой цели следовало бы, по мысли министра финансов, организовать срочное получение от наших дипломатических представителей и консулов обстоятельных сведений о ходе международного обмена и о развитии промышленности в названных государствах, так как без таких сведений едва ли возможно надеяться на серьезное расширение торговых оборотов наших на Дальнем Востоке.

К доставлению торговых сведений необходимо было бы также привлечь особых правительственных торговых агентов, а также пользоваться услугами проживающих в Китае и Японии русских купцов, успевших по личным наблюдениям основательно ознакомиться с своеобразными условиями местного экономического быта. Для изучения же наших пограничных сношений с соседними странами министр финансов признавал полезным образовать на местах особые комиссии из сведущих лиц, знакомых с этими далекими окраинами...

При производстве торговых сношений России с Китаем издавна ощущалась потребность в таком банке, который облегчал бы взаимные расчеты обеих стран. В китайских портах до того времени оперировали немецкий, французский и несколько англий-

ских банков, и русские купцы принуждены были постоянно обращаться к услугам этих банков, оставляя в их пользу весьма значительные суммы. Главною операцией русской торговли в Китае издавна являлось чайное дело. В Хон-Коу, главном чайном рынке, на долю русских приходилось в то время до 46% всего вывоза чая, и в этой отрасли торговли России всегда занимала первенствующее и вполне самостоятельное положение. Между тем платежи за чай русские торговцы должны были производить траттами на Лондон, которые реализовались либо в Шанхае, либо в самом Хон-Коу, где на время чайного сезона открывались агентства иностранных банков в Китае, при чем иностранные агентства, ввиду отсутствия конкуренции, взимали весьма высокие проценты. Размер платежей, производившихся здесь русскими фирмами в течение чайного сезона, был весьма значителен: например, за сезон 1893 г.—последнего отчетного года перед учреждением Русско-Китайского банка—из России было переведено в Китай 1.540.000 ф. ст. и 132.000 руб. серебром в слитках. С учреждением русского банка в Китае операция по переводам денег в китайские пункты постепенно могла перейти в этот банк.

Кроме того, русский банк в Китае должен был облегчить самые условия чайной торговли; при отсутствии кредита торговцы чаем должны были располагать крупным оборотным капиталом, а потому торговля эта делалась доступною только немногим очень богатым фирмам, тогда как русский банк дал бы возможность принять участие в чайной торговле и мелким фирмам, открывая им необходимый для этого кредит и, таким образом, содействовал бы привлечению к оборотам с чаем новых русских сил».

Итак, в первую голову банк должен был служить интересам русской чайной торговли. Огромным недостатком этой последней была ее ужасающая пассивность: русские платили за чай деньгами, благодаря чему при 6 миллионах р. ввоза в Китай из России получалось 39 миллионов рублей вывоза из Китая в Россию, т.-е. сальдо не в нашу пользу в 33 миллиона, в 550% всего русского ввоза. Чтобы избежать этого, Витте предполагал усилить ввоз русских продуктов в Китай. «Вместе с тем банк этот мог бы содействовать ввозу русского керосина на китайские рынки, где ему приходится выдерживать конкуренцию с керосином американским. Вообще не могло быть сомнения, что такой банк оказал бы существенное влияние на расширение торговых сношений наших тихоокеанских окраин с Китаем и на ввоз в него наших пищевых продуктов, всегда находивших себе здесь хороший сбыт».

Как видим, вывозить предполагалось отнюдь не произведения русской обрабатывающей промышленности, а керосин и пищевые продукты, т.-е. хлеб, мясо, рыбу и т. п. Чтобы банк не уклонялся от своей прямой задачи, служить русской торговле, были приняты специальные меры. «Министерство финансов заботилось главным образом о том, чтобы деятельность банка в России не отвлекала его внимания и капиталов от прямого их назначения служить развитию русской торговли на Востоке; поэтому банку вовсе не разрешены были в России операции по выдаче ссуд и открытию кредитов под залог процентных бумаг, драгоценных металлов, товаров, коносаментов и т. п.; но, взамен того, ввиду непосредственных сношений банка с азиатскими государствами, ему разрешены были некоторые операции, другим банкам не разрешаемые, как, например, покупка и продажа процентных бумаг, транспортирование товаров (прием товаров в залог с выдачею варрантных свидетельств) и даже покупка и продажа товаров, но при том лишь условии, чтобы все эти операции производились исключительно в интересах нашей торговли с Дальним Востоком и имели непосредственное отношение к тем русским фирмам, которые производят обороты свои в пределах азиатских стран. Что же касается действий банка в других европейских странах, то в этом отношении банку предоставлено было совершать все операции, разрешенные местными законами.

Если деятельность Русско-Китайского банка была сравнительно ограничена в пределах европейских стран, то тем шире и свободнее организована она для Востока. Здесь, кроме операций чисто банкового характера, банку разрешены были и такие операции, которые можно назвать торговыми, страховыми и комиссионерскими. Банку предоставлено было покупать за свой счет или по поручению частных лиц товары, принимать на себя транспортировку товаров (морскую, речную и сухопутную), страховать их от огня и от других несчастных случаев, покупать и продавать за счет третьих лиц недвижимости, учитывать векселя и выдавать ссуды не только на девять месяцев, как это установлено для других банков, но и на год, и даже выпускать собственные билеты».

Но, кроме торговца, банку не возбранялось быть и откупщиком. «Наконец, кроме всего этого банку разрешено было, с целью возможного усиления русского экономического влияния, получение платежей по податям, производство операций, имеющих отношение к местному государственному казначейству, чеканка местной монеты, а также получение концессий на постройку железных дорог и проведение телеграфных линий».

Едва ли можно найти документ, где связь железнодорожного строительства именно с торговым капиталом выразилась бы более четко. Я должен, таким образом, взять назад высказанное мною однажды (в «Русской истории в самом сжатом очерке», ч. III) утверждение, будто Русско-Китайский банк имел главной целью железнодорожное строительство и будто эту цель поставил перед Витте металлургический кризис конца 1890 годов. Устав банка был утвержден 10 декабря 1895 г., когда никаким кризисом еще и не пахло, и строительство железных дорог вытекало отнюдь не из потребностей русской промышленности, а из потребностей русского торгового капитала, как, впрочем, было и в самой России в 1860 годах.

Связь эта сознавалась, нужно сказать, и гораздо раньше. Уже в своей записке 1892 г. Витте писал, «что Сибирская железная дорога настолько приближается (в Забайкалье) к Китайской границе, что является возможность, с помощью ветви в китайские пределы, завязать непосредственный торговый обмен с внутренними весьма населенными провинциями Китая. Постройка такой ветви едва ли встретит серьезные препятствия в ближайшем будущем, а в этом случае наши торговые обороты с Китаем стали бы расширяться очень успешно, обеспечивая в то же время увеличение доходности магистральной Сибирской линии и усиливая наше значение в международной торговле с Китаем».

Таким образом, в самом конце XIX века в своей внешней политике империя «Романовых» оставалась колониальной державой наиболее примитивного типа—аппаратом торгово-капиталистической эксплоатации мало-культурных (или казавшихся мало-культурными) стран. Промышленный капитал и во внешней политике, как внутри России, шел по пятам торгового. Торговому капиталу нужны были железные дороги,—и промышленность их строила, но лишь там и постольку, где и поскольку это нужно было торговому капиталу. При этом методы действия этого торгового капитала менялись так же туго, как и методы действия русского самодержавия внутри страны. При первой заминке или просто при первом удобном случае банковые операции сменялись лихим ударом кулака: в 1896 году начал свои операции Русско-Китайский банк, а уже в 1900 на китайской территории оперировали генералы Церпицкий и Ренненкампф с братией. Но цель операций обоих типов была одна и та же: создание новых колоний, новых жертв эксплоатации русского торгового капитала.

Читатель видит, как нелепо жаловаться, что у того или другого писателя торговый капитал «заполонил всю русскую историю».

Это очень сродни жалобам на то, что у К. Маркса теория прибавочной стоимости «заполонила» всю политическую экономию. Что же делать, если эта теория так много об'ясняет в буржуазной экономике. Что же делать, если только торговым капитализмом можно об'яснить такой чудовищный факт, как переживание в России на заре XX столетия абсолютизма типа XVI — XVII веков. Другого марксистского об'яснения пока не дано, а попытки его дать привели к бессознательному плагиату у Чичерина и Соловьева, которые были весьма почтенными людьми, конечно, но только совсем не марксистами...

Вопрос о долговечности самодержавия сводится, таким образом, к вопросу о причинах, обеспечивавших в России долголетие торгово-капиталистической, т.-е. наиболее экстенсивной, форме капиталистической эксплоатации. То-есть, перед нами все тот же вопрос о причинах «отсталости» русского народного хозяйства на-ряду с чудовищно-быстрым ростом русской капиталистической промышленности. Картина колонизаторской деятельности «Романовых» потому и ценна, что она разрешает эту загадку. И экстенсивность русской капиталистической эксплоатации, и экстенсивность русского крестьянского хозяйства сводятся к одному корню, об'ясняются одним фактом: наличием на востоке огромной площади нетронутой целины, куда мог уйти от «тесноты» русский крестьянин, и куда мог пойти следом за ним русский торговый капитал. Сибирская железная дорога за десять лет в пять раз увеличила количество сибирского экспортного хлеба (с 13 милл. пудов в 1900 г. до 50—70 милл. п. перед войной 1914 г.)[1])—и пришлось даже принимать меры против «затопления» рынка сибирским хлебом путем особых ухищрений с железнодорожным тарифом. Вывоз масла с 400 пудов (стоимостью на 6000 рублей) в 1894 г., когда дороги вовсе не было, поднялся до 4,6 миллионов пудов в 1915 г. (стоимостью на 74.000.000 р.). Благодаря сибирскому маслу Россия стала второй в мире страной на международном масляном рынке (первой была Дания)—$^1/_5$ всего потребления масла Англией покрывалась Россией.

---

[1]) Вывоз хлеба из Сибири развивался таким темпом:

Года.	Милл. пудов.
1905	17
1906	28
1907	44
1908	58

При таких великих и богатых милостях, которое давало простое географическое расширение площади русского сельского хозяйства, стоило ли хлопотать о его интенсификации, о развитии у нас капиталистического сельского хозяйства с машинами, искусственным удобрением и проч.? А впереди мерещились новые обширные площади северной Маньчжурии, которую ген. Куропаткин, поддерживаемый Плеве, рассматривал именно как арену будущей русской колонизации, почему и предполагалось не пускать туда китайцев.

Диалектика процесса и выразилась в смене разных форм торгового капитализма. Создание новых районов мелкого крестьянского хозяйства для торгово-капиталистической эксплоатации было, несомненно, относительно прогрессивным типом этой последней: это уже был не простой грабеж. И этой диалектике торгового капитализма соответствовала диалектика политически обслуживавшего его самодержавия: переселенческая политика была лозунгом бюрократии, грабительская была под покровительством вотчинной верхушки всей системы. Николай и безобразовская шайка тянулись к южной Маньчжурии и Корее, странам, относительно густо населенным и богатым, куда никого нельзя было переселить, но где можно было грабить готовое. Это противоречие внутри самодержавия и выразилось в начале 1900 годов в образовании рядом двух правительств: «ведомственного»,—с Витте, Куропаткиным, Ламздорфом и т. д.,—и «вневедомственного», во главе с Николаем и Безобразовым. Оба отражали интересы торгового капитала, но двух его различных фаз.

А ниже этой диалектически построенной верхушки, давимые ею, но давя и на нее, стояли представители промышленного капитализма—фабриканты, заводчики и «левые земцы», капиталистические помещики. Это была власть завтрашнего дня, власть, шедшая на смену самодержавию, но в 1906 году добившаяся только компромисса с самодержавием, в лице правительства Столыпина.

Диалектика всего процесса на-лицо, но она отставала от диалектики народного хозяйства. В ту минуту, когда—во время империалистской войны—промышленный капитал стал подходить к власти, уже существовали все условия для следующей стадии развития, государственного капитализма. Громадный восточный пустырь, тяжелым грузом висевший на русском народном хозяйстве, всего тяжелее тянул книзу его политическую надстройку. На вопрос о причинах отсталости и приходится, прежде всего, отвечать указанием на наличие колоний и в первую очередь Сибири, но затем и Кавказа и Средней Азии. Недаром Щедрин с гениальной меткостью создал «ташкентца», как тип наиболее реакционной формы государственного насилия. И благодаря историко-географической обстановке «ташкентец» легко одерживал верх над более прогрессивными формами «государственности». И все более отстававшая диалектика верхушечного аппарата все ближе и ближе нагонялась великим и основным диалектическим противоречием: эксплоатирующего верха и эксплоатируемой трудящейся массы. Сравительно слабая — сравнительно с временами Николая I, например, сопротивляемость верхушки именно и об'ясняется раздиравшими эту верхушку диалектическими противоречиями, которые, чем ближе к нашему времени, тем становились острее. Пока дело не дошло до того, что тяжелый дух вотчинного режима стал невыносим даже для Протопопова [1])...

(Продолжение следует).

---

[1]) Т. Слепков (см. № „Большевика" от 1 июня) продолжает с достойным лучшего применения усердием ломать открытые двери, доказывая: 1) что Ленин был диалектик; 2) что русское государство, как и все вещи на свете, развивалось диалектически. Ни в том, ни в другом ни у одного русского марксиста никогда не было ни малейшего сомнения. Но спор у нас с тов. Слепковым идет совсем не об этом. Спор идет о том, представляло ли русское самодержавие (а не русское государство, т. Слепков: это две вещи разные!) в конце XIX века промышленный капитализм или же нет, а промышленный капитализм в системе, именуемой „русское государство", представлялся не самодержавием, а силами, ему враждебными (напр в 1910—1914 г. оппозиционными партиями государственной думы, — которая, конечно, была такою же составною частью „русского государства", как и боярская дума XVII в., о которой говорил Ленин). Т.-е. было ли русское самодержавие в конце XIX в. прогрессивным явлением, толкавшим вперед экономическое развитие (о прогрессивной роли промышленного капитализма для той эпохи, опять-таки, ни один марксист не спорит, спорили против этого только народники), или же оно было силой реакционной, это развитие задерживавшей. Думаю, что стоит так поставить этот вопрос, чтобы на него и ответить — и чтобы видеть, в каких безнадежных противоречиях запутываются те, кому приходится об'яснять „особенности исторического развития России" наперекор марксизму.

Ленин и проблема империализма.

Б. С. Борилин.

I.

Основной характеристикой империализма у Ленина служит определение империализма, как «высшей стадии развития капитализма, переходной—в известном отношении—к социализму»[1]). Это—«новейший капитализм» и вместе с тем «капитализм умирающий» [2]). Почему Ленин считает такую характеристику основной?

Главную причину изменений в экономике капитализма, превращающих его в империализм, Ленин видит в гигантском процессе обобществления производства, происходящем внутри капиталистического хозяйства и выражающемся в небывалом росте концентрации производства и монополий. Именно этот процесс «втаскивает капиталистов, вопреки их воле и сознанию, в какой-то новый общественный порядок, переходный от полной свободы конкуренции к полному обобществлению» [3]).

Взглянем на современный империалистический капитализм. «Это—уже совсем не то, что старая свободная конкуренция раздробленных и не знающих ничего друг о друге хозяев, производящих для сбыта на неизвестном рынке. Концентрация дошла до того, что можно произвести приблизительный учет всем источникам сырых материалов (напр., железорудные земли) в данной стране и даже, как увидим, в ряде стран, во всем мире. Такой учет не только производится, но эти источники захватываются в одни руки гигантскими монополистическими союзами. Производится приблизительный учет размеров рынка, которые «делят» между собою, по договорному соглашению, эти союзы. Монополизируются обученные рабочие силы, нанимаются лучшие инженеры; захватываются пути и средства сообщения... Производство становится общественным» [4]).

«Когда крупное предприятие становится гигантским и планомерно, на основании точного учета массовых данных, организует доставку первоначального сырого материала в размерах $^2/_3$ или $^3/_4$ всего необходимого для десятков миллионов населения...; когда из одного центра распоряжаются всеми стадиями последовательной обработки материала вплоть до получения

[1]) Ленин, Проект изменений теоретической, политической и некоторых других частей программы,—Собр. соч. т., XIV, ч. I, стр. 120.

[2]) Ленин, Империализм как новейший этап капитализма,—Собр. соч., т. XIII, стр. 334.

[3]) и [4]) Там же, стр. 253—254.

целого ряда разновидностей готовых продуктов; когда распределение этих продуктов совершается по одному плану между десятками и сотнями миллионов потребителей..,—тогда становится очевидным, что перед нами на-лицо обобществление производства..., что частно-хозяйственные и частно-собственнические отношения составляют оболочку, которая уже не соответствует содержанию...» [1]).

Уже Энгельс говорил, что нельзя употреблять попрежнему выражения «частное производство» и «отсутствие планомерности» при описании современного капитализма. «Если мы,—писал Энгельс,—от акционерных обществ перейдем к трестам, которые господствуют над иными отраслями промышленности, монополизируя их, то тут прекращается не только частное производство, но и отсутствие планомерности». Эти слова Энгельса относятся ко времени первого зарождения монополий. В гораздо большей мере их можно применить к нашей эпохе развитого господства монополистического капитализма. Теперь «некоторые основные свойства капитализма стали превращаться в свою противоположность... Экономически основное в этом процессе есть смена капиталистической свободной конкуренции капиталистическими монополиями» [2]). Поэтому Ленин называет империализм монополистическим капитализмом. Ныне уже возможен планомерный учет сырья и производства, распределение рынков. «Капитализм уже дорос до организованного надзора за отдельными предприятиями»,—восклицает Ленин [3]). Капитализм создал формы и способы учета и контроля производства. «Капитализм создал аппараты учета, вроде банков, синдикатов, почты, потребительских обществ, союзов служащих» [4]). Сюда же относятся крупные фабрики, железные дороги, профессиональные союзы.

Эти аппараты общественного учета и контроля, их формы и методы уже внутри капиталистического общества составляют материальную основу будущего социалистического общества. В виде примера можно привести банки. «Без крупных банков социализм был бы неосуществим. Крупные банки есть тот «государственный аппарат», который нам нужен для осуществления социализма и который мы берем готовым у капитализма, при чем нашей задачей является здесь лишь отсечь то, что капиталистически уродует этот превосходный аппарат, сделать его еще крупнее, еще демократичнее, еще всеоб'емлющее. Количество перейдет в качество. Единый крупнейший из крупнейших государственный банк с отделениями в каждой волости, при каждой фабрике—это уже девять десятых социалистического аппарата. Это—общегосударственное счетоводство, общегосударственный учет производства и распределения продуктов, это, так сказать,—нечто вроде скелета социалистического общества» [5]).

Люди, желающие представить учение Ленина в искаженном свете, всегда изображают дело так, будто, по Ленину, социа-

[1]) Там же, стр. 335.

[2]) Там же, стр. 305.

[3]) Там же, стр. 267.

[4]) Ленин, Удержат ли большевики государственную власть,—собр. соч. т. XIV, ч. 2, стр. 231.

[5]) Там же, стр. 231.

лизм приходит внезапно, неизвестно откуда, словно «Венера из головы Юпитера». Был капитализм, была эксплоатация, произошла революция, рабочий класс уничтожил до основания старый строй, а потом «на голой земле» воздвигнул здание социализма! Само собой разумеется, что это—сплошная клевета. Материальные предпосылки социализма создаются в процессе развития капиталистического общества. Пролетариат не изобретает сам ex nihilo форм и способов учета и контроля. Они выработаны самим капитализмом. Целый ряд аппаратов пролетарское государство берет готовыми в капиталистическом обществе, отметая лишь то, что капиталистически извращает их. Дело пролетариата есть логическое развитие тех процессов обобществления, которые происходят в недрах капитализма.

Война в еще более гигантских размерах толкнула вперед развитие процесса обобществления. Она заставила капиталистов пойти на такие мероприятия, как принудительное синдицирование промышленности государством, введение всеобщей трудовой повинности, продовольственную монополию, регулирование рынка цен, тем самым превратив монополистический капитализм в государственно-монополистический и вплотную «приблизив человечество к социализму» [1]). Ибо что такое социализм! «Меньшевики и эсеры представляют социализм чем-то далеким, неизвестным, темным будущим. А социализм теперь смотрит на нас через все окна современного капитализма, социализм вырисовывается непосредственно практически из каждой крупной меры, составляющей шаг вперед на базе новейшего капитализма» [2]). «Государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой (ступенькой) и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет» [3]).

Таким образом перерастание капитализма в империализм и государственно-монополистический капитализм доказывает, что наступление социализма уже экономически становится неизбежным. «Никакое восстание не создаст социализма, если он не созрел экономически» [4]). Но экономическая зрелость и дана империализмом. В этом и заключается переходный—в условном смысле—характер империализма. «Производство становится общественным, но присвоение остается частным» [5]). Развитие производительных сил достигло такой ступени, что им становится тесно в рамках старых производственных отношений. Империализм делается об'ективно-экономическим кануном социалистической революции.

II.

Если экономическая основа империализма заложена в монополии, вырастающей из самого процесса производства и представляющей собой неизбежный результат в развитии концентрации,

[1]) Ленин, Грозящая катастрофа и как с ней бороться,—Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 208.

[2]), [3]) и [4]) Там же, стр. 209.

[5]) Ленин, Империализм как новейший этап капитализма,—Собр. соч., т. XIII, стр. 254.

то ключ к теоретическому анализу империализма, данному Лениным, находится в его учении о монополии. В системе взглядов Ленина по вопросу об империализме учение о монополии—краеугольный камень. Наиболее коротким основным определением, которое он дает империализму, служит «монополистический капитализм». Это определение не содержит полной характеристики империализма, но указывает на основную всеопределяющую особенность его.

В понимании капиталистической монополии Ленин отнюдь не является только популяризатором других теорий, как думают многие и о всем учении Ленина об империализме. Наоборот, лишь чрезвычайно глубокое самостоятельное теоретическое понимание сущности капиталистической монополии позволило ему создать такое учение, которое обладает монолитной цельностью, хорошо отличающей его от многочисленных «ученых» теорий, построенных по всем требованиям внешней респектабельности, и которое служит чрезвычайно крупным революционным орудием в руках борющегося пролетариата.

У нас часто знают о том, что, по Ленину, империализм есть монополистический капитализм, но не знают теоретического понимания монополии, даваемого Лениным и служащего источником всех остальных теоретических положений об империализме. Анализ взглядов Ленина с этой точки зрения приобретает тем большее значение, что в основу изучения империализма монополия кладется, как основной факт современной экономической действительности, большинством экономистов, в том числе принадлежащих к «социалистическим» партиям. Любой из них видит все большее поражение хваленого принципа свободной конкуренции и замену его принципом монополии. Но далеко не всякий дает этому явлению одинаковое толкование. Между пониманием капиталистической монополии апологетами капитализма и оппортунистами социал-демократии, с одной стороны, и Лениным, с другой, существует глубокое различие, «его же не прейдеши». Несомненно, это различие определяет и противоположность выводов о сущности, характере и судьбах империализма.

Не менее важно определение теоретических взглядов Ленина и потому, что процесс развития монополий не только не прекратился в военный и послевоенный период, но приобрел еще более мощный темп. Монополистический характер господства капитала никогда не был так очевиден, как в настоящее время. Монопольная власть капиталистических союзов распространяется через границы государств и морские океаны. Монопольный обруч связывает воедино все мировое хозяйство. В гигантском росте монополий во всем мире кое-кто видит наступление новой благодатной эры для капитализма. В монополиях кое-кому маячит свет мирного пришествия социализма. Иллюзии порождаются теоретическим непониманием капиталистической монополии.

Для уяснения специфических черт ленинского понимания капиталистической монополии, весьма целесообразно остановить предварительно свое внимание на оценке, дававшейся этому явлению экономистами из «социалистического» лагеря. Противоположность взглядов настолько ярка и поучительна, что она как нельзя лучше и рельефнее оттеняет самое ценное, важное в учении Ленина.

Приведем несколько примеров.

Вот перед нами Отто Лейхтер (Dr. Otto Leichter), занявшийся специально проблемой перехода от капитализма к социализму в экономической области. Издание его книги «Хозяйственное исчисление в социалистическом обществе» (Die Wirtschaftsrechnung in der sozialistischen Gesellschaft) в известных «Marxstudien-Blätter zur Theorie und Politik des wissenschaftlichen Sozialismus», выходящих под редакцией Макса Адлера и Рудольфа Гильфердинга в Вене, дает гарантию в том, что автор марксист, находящийся на службе Второго Интернационала. Отто Лейхтер серьезно и глубоко понимает процесс изменения экономической роли рынка и конкуренции в монополистическом капитализме, в отличие от эпохи раннего капитализма. «В раннем капитализме значение конкуренции было без сомнения гораздо больше, чем теперь. Тогда капиталистическое производство со всеми своими техническими чудесами было еще «новой землей»... На рынке тогда сталкивались и разрешались противоречия высоко прогрессивной и плохо развитой производственной техники..; низкая цена, лучшее качество побивали все находящиеся на рынке продукты ремесленного производства... Тогда мы имели дело с промышленной, в особенности, технической революцией. Это была еще героическая эпоха. Теперь время промышленных революций прошло... исчезли огромные различия в способе производства... Исчезли также в развитом капитализме и «производственные тайны»[1]). Теперь каждый предприниматель знает все, что он должен знать о своих конкурентах. Отпадает и следующий момент антагонической формы конкуренции. Рабочие переходят из одного предприятия в другое и приобретают знания о лучших методах производства внутри своей отрасли... Служащие меняют часто свои места... Организаторы фабрик проходят через множество предприятий и применяют в них опыт своей организаторской деятельности... Каждый продавец информирован о всех продажных ценах в предприятиях своей отрасли... Этому служат и образцовые и товарные ярмарки и т. д. Нужно прибавить и все то, что мы называем производственным контролем рабочих и служащих в капиталистическом обществе... и что служит элементом развития к социалистическому обществу внутри капитализма... Параллельно идет хорошо известно и достаточно исследованное слияние отдельных предприятий в картели и тресты.., внутри которых антагонистическая форма конкуренции уже уничтожена»[2])...

В приведенных строках процесс ликвидации старой антагонистической формы конкуренции внутри капиталистического хозяйства, или, как выражается Лейхтер, «дефетишизации рыночного

[1]) Ср. Ленин, Грозящая катастрофа и как с ней бороться,— Собр. соч., т. XIV, ч. 2, стр. 191, где Ленин пишет: «Если торговая тайна неизбежна в мелком товарном хозяйстве, т. е. среди мелких крестьян и ремесленников, где само производство не обобществлено, распылено, раздроблено, то в крупном капиталистическом хозяйстве охрана этой тайны есть охрана привилегий и прибылей бу‹вально горстки людей против всего народа».

[2]) Dr. Otto Leichter, Die Wirtschaftsrechnung in der sozalistischen Gesellschaft. Marx Studien Blätter zur Theorie und Politik d. wissenschaftlichen Sozialismus. Herausgegeben von Dr. Max Adler und Dr. Rudolf Hilferding, fünfter Band, I. H., Wien 1923, S. 34, 35, 36.

хозяйства», изображен так красочно и убедительно, что прибавить остается очень не много. И тем не менее в этой умело набросанной картине «перерождения» клеточек рыночного капиталистического хозяйства заключается большой и опасный дефект. Процесс уничтожения конкуренции и рационализации общественных отношений в капиталистическом хозяйстве развивается далеко не так просто, безболезненно, привлекательно, как по Лейхтеру. В действительности не все идет к лучшему в этом лучшем из миров. К гармоническому организованному хозяйству нас ведет совсем не такая прямая и красивая дорога собственного самоотрицания капиталистической конкуренции. Рост рационалистических элементов в капиталистическом хозяйстве сопровождается ростом экономических противоречий во всей системе. Самое «врастание» и господство монополий есть чрезвычайно болезненный процесс. На-ряду с положительными процессами обобществления и рационализации экономических отношений растут и противоположные, отрицательные процессы, порождаемые анархией, неорганизованностью хозяйства. Все это происходит на общей основе товарного производства и взаимной конкуренции, принимающей все более ожесточенные формы. Вот этой отрицательной стороны процесса развития капиталистических монополий у Лейхтера не найти. В этом порочность всей схемы, весьма привлекательной на внешний вид.

Если учение о капиталистической монополии проходит мимо основных глубоких противоречий в существе и росте монополистических процессов, то оно неизбежно обречено на апологию. Вместо теоретического революционного диагноза получается апологетическая сказка про всеисцеляющие монополии. Такая судьба постигла большинство «социалистических» писаний о монополиях и империализме. Четкая и теоретически ясная линия отделяет от них учение Ленина.

Социал-демократическая теория и политика в вопросах частно-капиталистической и государственно-капиталистической монополии, за время, отделяющее нас от первых учеников Маркса и Энгельса, проделала интереснейший в истории цикл развития приведший к полному отрицанию «ценностей», которым когда-то она же сама поклонялась, и к ныне уже цельному извращению экономической теории империализма на струвистский манер.

Социал-демократия начала с «фронтальной» атаки на капиталистические монополии и «государственно-социалистические» заигрывания правительств (например, Бисмарка в Германии). Не поняв еще сущности развивающихся монополий, но зато видя в капиталистической конкуренции корень основных противоречий капитализма, социал-демократия становится на доктринерскую позицию «отрицания» самих монополий, так же неудачную, как позиция физического «отрицания» машин рабочими в первые годы развития машинной техники.

Эта точка зрения, революционная и доктринерски-ограниченная одновременно, получила свое выражение в следующих словах французского социалиста Жюля Гэда. «В борьбе, которую мы должны вести против существующего общественного строя, конкуренция является нашим могущественным союзником. Она делает необеспеченным существование разнообразней-

ших общественных групп, создает на-ряду с все уменьшающимся числом победителей все возрастающую массу побежденных, беспрерывно увеличивает армию недовольства и обеспечивает ей победу. Уже потому, что общественные предприятия ограничивают и даже совсем устраняют плодотворные результаты конкуренции, рабочая партия должна вести прямую борьбу против них»[1])...

Отрицательное отношение прежней социал-демократии к монополиям было вполне увязано и с борьбой против «государственного социализма» и иллюзий, вызываемых им. «Вместо того, чтобы вооружать то государство, которое, находясь в руках буржуазии, является нашим смертельным врагом,—мы должны его разоружить»,—продолжает Жюль Гэд[2]). «Вся политическая позиция нашей партии определяется борьбой (Gegensatz) с государственным социализмом»,—говорит Вильгельм Либкнехт в 1892 году на партейтаге германской с.-д. В классической блестящей формулировке выражает Ж. Гэд основное положение революционной марксистской партии: «Рабочая партия, сознательная часть нашего пролетариата, останется верна паролю: сначала революция, т.-е. политическое и экономическое низвержение господства капиталистических классов,—а уже потом общественные (государственные) предприятия, так как действительно общественные предприятия возможны только после того, как все классы сливаются в один класс производителей»[3]).

Революционная позиция социал-демократии времен Либкнехта и Гэда не позволила ей разом дать теоретически и политически правильную оценку развивающегося процесса упразднения свободной конкуренции. Но зато как поразительно правильно, что конкуренция между капиталистами является крупнейшим союзником пролетариата! Спустя добрых три десятка лет, сопровождавшихся чудовищным ростом монополий, эта давняя гэдовская формулировка указывает на самое главное противоречие капитализма, которое должно его взорвать и ныне. Конечно же, капитализм падет от двух смертельных ударов: от обострения внутренних противоречий, основанных на анархии капиталистического производства, и от возрастающего натиска пролетариата.

Как глубоко правдив поныне и другой пароль Гэда: сначала революция, а потом обобществление и развитие к социализму! Ведь это «не в бровь, а в глаз» нынешним социал-демократам, рассеявшим «иллюзии» времен Гэда и Либкнехта о возможности сопротивления монополиям, но зато «ничтоже сумняшеся» ставшим на путь движения к «государственному социализму», ибо к этой пристани так спокойно причаливает ладья капиталистической монополии.

Предоставим же слово им самим, разрушителям «иллюзий», противникам «слепо штурмующей храбрости». Уж они-то «понимают» преобразовательную роль монополистических процессов! Над «наивностью» Гэда они посмеются!

---

[1]) Jules Guesde, Services publics et Socialisme, 1883. Цитирую по сборнику „Monopolfrage und Arbeiterklasse", Berlin 1917, S. 178.

[2]) Там же, стр. 178.

[3]) Там же, стр. 179.

«Жюль Гэд,—пишет Макс Шиппель,—является ревностнейшим панегириком свободной конкуренции, (Lobredner der freien Konkurrenz), лозунга неограниченного капиталистического «laisser faire, laisser passer» во всей области организации производства для промежуточной эпохи вплоть до полного проведения цельного социализма!? Непоколебимый сторонник манчестерства вплоть до социальной катастрофы, а затем одним удивительным могучим прыжком прямо в новый мир социалистической организации производства!? До того времени никаких переходных форм (Uebergangsgebilde) и никаких вмешательств в экономические отношения с целью регулирования!?»[1]).

Таков «смешной» Гэд в изображении Макса Шиппеля. Последний совершенно свободен от подозрений в подобных «иллюзиях». Для него развитие к социализму не «внезапный прыжок» из царства свободной конкуренции в царство хозяйственного плана и социалистической организации. «Не внезапный прыжок, а постепенный процесс преобразования может создать более высокий хозяйственный строй... Дело идет, таким образом, для ближайшего времени не о плоском противопоставлении капитализма и социализма, но исключительно о выборе между переходными и смешанными формами, которые приобретают то привлекательный, то отталкивающий вид вследствие все более сильного влияния капитала или труда»[2]). Не борьба против капиталистических монополий, так как «социализм не заинтересован в раздроблении и анархии производства»[3]), а «подчинение их общественному контролю»[4]),—вот задача, которую ставит социал-демократия.

Понятно, что это принципиально изменяет и ее отношение к государству. Государству предстоит гигантская роль в этом «преобразовании» капиталистических монополий! Теперь прежнему «плоскому» противопоставлению себя государству нет места! Не сломать, а «подчинить» себе государственный аппарат! Впрочем... «после 4 августа 1914 г. об отрицании государства в старом смысле Гэда и Либкнехта,—пишет Вильгельм Янсон,—не может быть и речи... Такое отношение к государству теперь меньше, чем когда бы то ни было, может быть основой практической политики рабочего класса. Нельзя больше «отрицать» то государство, которому многие и многие тысячи из нас отдали лучшие силы (sic!) своей жизни»[5])...

Думается, довольно. Прочесть этот последний, прямо мерзостный, аргумент патриотического социализма—слишком достаточно для того, чтобы узреть путь собственного самоотрицания, пройденный социал-демократией по всем правилам диалектики! Классическая метаморфоза социал-демократии—превращение ее из партии пролетарской революции в партию государственного порядка—эволюция, проделанная социал-демократией на почве... поучительнейших споров «за или против монополии».

---

[1]) Max Schippel, Parteigeschichtliche Rückblck, S. 177. Цитирую по тому же сборнику „Monopolfrage und Arbeiterklasse".

[2]) Там же, стр. 215, 216.

[3]) Wilhelm Jansson, Für oder wider die Monopole S. 226.

[4]) Там же, стр. 227.

[5]) Там же, стр. 237.

Лучшие из социал-демократов не избегли этой участи. Каутский, Кунов, Гильфердинг... Имя Гильфердинга связано с одним из лучших трудов марксистской экономической мысли. Но это было давно... Теперь Гильфердинг тоже олицетворяет собой «последнюю новость» социал-демократической литературы по вопросу о монополиях и империализме. Но какую! То немногое, что было оппуртунистического в «Финансовом капитале» и что не могло в основном умалить значения этой книги, возведено в степень, дополнено, развито в систему современным Гильфердингом. Скромное «теоретическое» предположение прежнего Гильфердинга о возможности мирового генерального картеля стало действительностью в воззрениях Гильфердинга «послевоенной формации». Монополии привели Гильфердинга прямехоньким путем к... организованному (!) капитализму!

Гильфердинг пишет: «Военный и послевоенный периоды принесли в хозяйстве необычайный рост тенденций к концентрации капитала. Развитие картелей и трестов приняло еще более гигантские размеры. Период свободной конкуренции приходит к концу. Огромные монополии становятся решающими владыками в хозяйственных отношениях. Все теснее становится связь с банками. «Все это означает переход от капитализма свободной конкуренции к организованному капитализму... Непостоянство капиталистических отношений производства уменьшается. Кризисы или, по крайней мере, их отрицательное влияние на рабочих смягчаются... Безработица становится менее грозной, ее последствия устраняются посредством страхования» и т. д. [1]).

Мудрено ли, что, нарисовав такую сладкую идиллию расцвета организованных элементов хозяйства внутри капитализма, Гильфердинг видит единственную миссию пролетариата в том, чтобы последний добился еще только «хозяйственной демократии». А тогда... тогда наступит долгожданный социализм! Как «просто», «мирно», «прочно» подвозит нас поезд истории к социализму, по Гильфердингу! Какой удивительно «милый», этот социализм Гильфердинга! Такой «чинный», «естественный», развивающийся на основе «имманентных» экономических законов!

Шиппели, Янсоны, Куновы, Каутские, Гильфердинги и легионы социал-демократических писателей изображают капиталистическую экономику империализма в виде неуклонно эволюционизирующего в сторону социализма хозяйства. Но обострение и воспроизводство экономических противоречий, а постепенное накопление элементов организованного хозяйства внутри капитализма—вот тот путь, которым человечество придет к новому общественному строю. Вся серия политических измен и теоретических ревизий марксизма со стороны социал-демократии основывается на этом «коренном» положении. От него все качества. Да иначе и быть не может. Здание оппортунистического «марксизма» построено со своеобразной цельностью, отдельные его части прилажены друг к другу. Фундамент этого здания составляет экономическая теория. В ней социал-демократами произведена коренная ревизия революционного учения Маркса о капитализме. Подобно Струве и другим русским «легальным марксистам» 90-х г.г., международная социал-демократия превратилась в апологета капиталистических отношений.

[1]) R. Hilferding, Probleme der Zeit, S. 1, 2, 3,—„Gesellschaft", Nr. 1 April 1924, Herausgegeben von Dr. Hilferding.

Преодоление оппортунизма требует прежде всего полного разоблачения «подвигов» социал-демократии в области экономической теории.

III.

Большая теоретическая заслуга Ленина состоит в том, что он со свойственной ему ясностью и определенностью обнаружил полный разрыв с марксизмом социал-демократических писателей об империализме. «Теоретическая критика империализма у Каутского потому и не имеет ничего общего с марксизмом, потому и годится только как подход к проповеди мира и единства с оппортунистами и социал-шовинистами, что эта критика обходит и затушевывает как раз самые глубокие и коренные противоречия империализма; противоречие между монополией и существующей рядом с ними свободной конкуренции, между гигантскими «операциями» финансового капитала и «честной» торговлей на вольном рынке; между картелями и трестами, с одной стороны, и некартеллированной промышленностью—с другой, и т. д.» [1]).

Из приведенного места видно, в чем Ленин усматривал основное противоречие монополистического капитализма. По Ленину, для империализма характерно не господство одних монополий, а борьба, глубокая, жестокая, безысходная борьба между монополиями и существующей рядом с ними конкуренцией, анархией, неорганизованностью. Эта борьба и должна погубить империализм. Именно это затушевывают Каутский и К°. Именно это подчеркивает неустанно Ленин. Нет ничего более ошибочного, как не видеть этого главного отличия учения Ленина об империализме.

«Монополии, вырастая из свободной конкуренции, не устраняют ее, а существуют над нею и рядом с ней, порождая этим ряд особенно острых и крупных противоречий, трений, конфликтов» [2]).

«Капиталистическая монополия—монополия, выросшая из капитализма и находящаяся в общей обстановке капитализма, товарного производства, конкуренции, в постоянном и безысходном противоречии с этой общей обстановкой» [3]).

«Новый капитализм, пришедший на смену старому, характеризуется чертами чего-то переходного, какой-то смеси свободной конкуренции и монополии» [4]).

«Соединение противоречащих друг другу «начал»: конкуренции и монополии и существенно для империализма» [5])...

Можно было бы привести еще огромное количество подобных мест из Ленина. Но и приведенные выше неоспоримо свидетельствуют о том, что теоретический анализ монополистического капитализма, данный Лениным, тем и отличается от всех осталь-

[1]) Ленин, Империализм,—Собр. соч., т. XIII, стр. 328.
[2]) Там же, стр. 305.
[3]) Там же, стр. 314.
[4]) Там же, стр. 2-5.
[5]) Ленин, Проект изменений теоретической, политической и некоторых других частей программы,—Собр. соч., т. XIV, ч. 1, стр. 121.

ных, что, по Ленину, империализм есть глубокая, внутренняя, безысходная борьба, порождающая неисчислимое количество других противоречий, между монополией и свободной конкуренцией. Это—принципиальная граница между воззрениями Ленина и других «критиков империализма». Именно под этим углом зрения на учении Ленина необычайно ярко освещается вся бешеная непримиримая борьба Ленина против всяческих извращений марксистского понимания империализма.

Было бы, однако, неверным сказать, что Ленин выковал свою теорию монополий и империализма только в борьбе с социал-демократическим оппортунизмом. Ленин был решителен и в борьбе со сторонниками теории так называемого «чистого империализма». Взгляды наших товарищей, которые делали из теории империализма орудие для оправдания своего отказа от программы-минимум; которые в наступлении империализма видели доказательство того, что ряд проблем рабочего движения эпохи капитализма свободной конкуренции, как-то: национальная проблема, вопрос о демократии и т. д.,—сняты самой жизнью, подобно тому, как ряд основных характерных черт старого капитализма ушли в прошлое истории, которые превращали учение об империализме в средство обоснования «ультра-левой» политической и экономической фразы и до, и после революции,—находили у Ленина категорический отпор.

Ленин в 1916 г., вскоре после написания своей основной книги об империализме, считает необходимым резко и решительно откликнуться на один из подобных «анализов» империализма, сделанный П. Киевским (Ю. Пятаковым), квалифицируя его, как «образчик карикатуры на марксизм» [1]). В феврале 1917 г., отзываясь об «ультра-левых» ошибках тов. Бухарина, основанных на его невполне правильном понимании империализма, Ленин пишет по этому поводу иронически в письме к А. Коллонтай о «соблазнах» и «опасностях» для некоторых товарищей, заставляющих их «спотыкаться кажинный раз на эфтом самом месте» [2]). Позже вплоть до VIII с'езда партии, при обсуждении вопросов партийной программы, Ленин считал своим долгом, на-ряду с борьбой против «радикального» предложения об упразднении программы-минимум, всегда выступить и против «неверных обобщений об империализме», против «книжного изложения финансового капитализма», против изображений в теории какого-то «цельного», «чистого империализма», который «будто бы насквозь переделал» капитализм и при наличии которого задача экономического преобразования общества пролетариатом после революции была бы «во сто тысяч раз легче», но который «в действительности никогда и нигде не существовал и существовать не будет» [3]).

Освещение вопросов теоретической полемики об империализме, имевшей место в рядах нашей партии с «левыми», в настоящее время отнюдь не является просто бесполезным воспоминанием старых разногласий. Теоретическая проблема капиталистических монополий и империализма теперь сызнова стала во весь рост перед рабочим движением всего мира и требует чрезвычайной теоретической ясности. Неверные трактовки, казавшиеся раньше лишь «книжными», «схематичными» и безобидными, в действительности теперь могут породить целый ряд ложных представлений о самой сущности империализма и линии его развития. При этом «левые» теоретические уклоны в трактовке империализма на практике могут, а часто неизбежно должны, сочетаться с «правым» непониманием задач и условий политической борьбы пролетариата.

Центральная ошибка в понимании империализма, в которой Ленин обвинял «левых», состояла в теоретически неправильном и не соответствующем действительности представлении о монополистическом капитализме, как о такой стадии в экономическом развитии, которая будто бы в основном переделывает или почти переделывает отличительную особенность старого капитализма—анархия, обмен, товарное хозяйство, кризисы и т. д.—т.-е. все то, что свойственно капитализму, как обществу, основанному на частной собственности и анархии производства.

Самым распространенным в этом отношении ошибочным взглядом является представление о так называемых «государственно-капиталистических трестах», наиболее полно выраженное у тов. Бухарина, но встречающееся и у ряда других авторов [1]). «Капиталистическое народное хозяйство,—пишет т. Бухарин,—превратилось из иррациональной системы в рациональную организацию, из бессуб'ективного хозяйства в хозяйствующего суб'екта...» [2]). «Организованно распределяемый внутри страны продукт» не является уже товаром, и становится таковым лишь постольку, поскольку его бытие связано с существованием мирового рынка» [3]). «Организация производственных отношений финансового капитализма» приближается к типу «универсальной государственно-капиталистической организации, с уничтожением товарного рынка, с превращением денег в счетную единицу, с организованным в государственном масштабе производством...» [4]).

Подобных же взглядов придерживается и Н. Осинский. Подводя итоги своему анализу государственно-монополистского капитализма, Осинский пишет: «Итог: отмирание капитализма, как товарного хозяйства, в котором приспособление производства к потреблению создается путем спроса и предложения на рынке и конкуренции независимых собственников, а рабочая сила составляет товар...» [5]).

Аналогичная «нота» звучит и у Л. Крицмана в его новой книге «Героический период великой русской революции», в ко-

---

[1]) Ленин, О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме»,—Собр. соч., т. XIII, стр. 340.

[2]) Ленинский сборник, т. II, стр. 282.

[3]) Доклад Ленина о партийной программе на VIII с'езде РКП,—Собр. соч., т. XVI, стр. 112, 114, 115.

[1]) Ниже приводимые цитаты взяты из книг, не служивших непосредственно предметом полемики с тов. Лениным, так как они были написаны позднее. Но в них мы имеем наиболее законченные формулировки взглядов «левых».

[2]) Н. Бухарин, Экономика переходного периода, 1921, стр. 14.

[3]) Там же, стр. 15.

[4]) Там же, стр. 34.

[5]) Н. Осинский, Строительство социализма, 1918, стр. 13.

торой он считает, что капитализм «эволюционировал» от «анархического товарного производства» к «планомерному», «натуральному производству» [1]), и что в этой сфере «хозяйственное строительство пролетариата выступает не как революция, а как продолжение эволюции, организационной работы старого общественного строя» [2]).

Вышеуказанным авторам государственно-монополистический капитализм рисуется в виде единого организованного целого, в виде хозяйственной системы, уничтожившей анархию производства в пределах государственной территории, в виде «государственно-капиталистического треста». Внутри этого треста, как внутри всякого треста, уже нет конкуренции, товарного хозяйства, кризисов, порождаемых внутренними противоречиями. Что же является ошибочным в подобной картине?

Конечно, не то, что свободная конкуренция имеет тенденцию к превращению в монополию, что современный капитализм характеризуется господством монополистических союзов, а не индивидуальных собственников, и что государство превращается в «служанку» монополистических групп капиталистов. Ошибочное определяется тем, что в жизни рядом с монополиями продолжает существовать свободная конкуренция, что монополистические группы продолжают вести,, ведут между собой ожесточенную борьбу на рынке, что на-ряду с «общностью» интересов монополистических групп внутри государства, между ними есть глубокие противоречия интересов, и что самое определение «государственно-капиталистический» трест можно принять только cum grano salis. Названные авторы «переоценивали» эволюцию капитализма к к упразднению товарного хозяйства и «не дооценивали» глубоко заложенную в капитализме анархию производства, основанную на частной собственности. Переход от анархического к планомерному производству отнюдь не так прост для строя капиталистических собственников. Он не может произойти в рамках последнего. Для этого нужна революция не менее насильственная и глубокая, нежели экономическая экспроприация экспроприаторов.

Есть еще один момент, который ставит под сомнение теорию «государственно-капиталистического треста». Это—существование сельского хозяйства, колоний и доминионов. Современное капиталистическое «народное хозяйство» представляет собой чрезвычайно сложный экономический комплекс, особенно потому, что оно не может жить ни без «аграрного дополнения» внутри метрополии, ни без доминионов и колоний, входящих тоже составными частями в «народно-хозяйственный» организм. Именно это обстоятельство делает особенно непригодной теорию «государственно-капиталистического треста». Во взаимоотношениях между индустрией и сельским хозяйством, метрополией и колониями получает свое выражение непрекращающаяся борьба монополии и свободной конкуренции, империализма и молодого неискушенного капитализма. Эти отношения никак, конечно, нельзя подвести под категорию отношений технического разделения труда между частями одного единого комбинированного треста.

[1]) Л. Крицман, Героический период великой русской революции, стр. 58.

[2]) Там же, стр. 99.

Но теория «государственно-капиталистического треста» оказывается неверной не только потому, что она не видит общей базы капитализма, на которой вырастает «государственно-капиталистический трест», существующий рядом с монополией свободной конкуренции, борьбы между и внутри монополистических союзов на данной государственной территории, наличия отнюдь не монополистически организованной сельско-хозяйственной и колониальной периферии, являющейся постоянной питательной основой для нового капитализма. Ее уязвимость ярко обнаруживается также при попытке применения ее в области теоретического анализа мировой хозяйственной системы империализма. Самой актуальной проблемой в кругу вопросов мировой экономики империализма является проблема единого мирового капиталистического треста. Возможен ли таковой? Идем ли мы действительно к «организованному» мировому капитализму под эгидой американского капитала, как проповедуют партии Второго Интернационала? Или красивая теоретическая концепция господ Гильфердингов находится в непримиримом противоречии с фактами неорганизованности, борьбы, конкуренции, на которых основан и которых не в силах уничтожить капитализм?

Вряд ли теория «государственно-капиталистического треста» может служить хорошим орудием для борьбы против подобных иллюзий. Абстрагируясь от основных трудностей развития монопольных процессов внутри народного хозяйства, от сложной экономической действительности анархического капиталистического хозяйства, на основе которой устанавливают свое господство монополистические союзы внутри страны, эта теория расчищает путь для подобного же «теоретизирования» в вопросах создания мирового капиталистического треста. Если бы действительно все мировое хозяйство представляло собой только совокупность связанных мировым рынком нескольких государственно-организованных трестов, то возможность образования мирового треста была бы необычайно велика. Тем более, если вспомнить о наличии «синдикатов государственно-капиталистических трестов (Лига наций и пр.)», в которых «тенденции к организации хозяйства выступают за пределы отдельных государств» [1]). При подобном положении была бы вполне вероятна та перспектива, которую имеет в виду и сам тов. Бухарин. После окончания мировой войны, в случае победы одной коалиции держав над другой, «капиталистический строй имел бы много шансов выпрямиться; «залечив раны», т.-е. возобновив сношенные и разрушенные части постоянного капитала, капиталистический способ производства получил бы возможность некоторого дальнейшего развития, и притом в высшей, более централизованной форме, чем до сих пор» [2]).

В живой действительности, однако, дело обстоит не так. «Эра соглашения» в мировом капиталистическом хозяйстве встречает на своем пути гораздо больше затруднений. Противоречие и борьба между свободной конкуренцией и монополией внутри «государственно-капиталистических трестов», постоянная диспропорция между индустрией и сельским хозяйством, огромный хозяйственно неорганизованный колониальный мир, входящий в каждый «государственно-капиталистический трест», противоречия и

[1] Н. Бухарин, Экономика переходного периода, стр. 36.

[2]) Там же, стр. 4[illegible].

неравномерности в развитии отдельных предприятий, отраслей производства, стран, монопольное давление организованных капиталистов на «диких», монопольная эксплоатация немонопольно продаваемой рабочей силы,—все это вдесятеро труднее делает соглашение и борьбу между государственными единицами в вопросах рынков сбыта, сырья, капиталов, рабочей силы.

В лице «государственно-капиталистических трестов» мы имеем не организованные планомерные хозяйства, в собственном смысле слова, а форму монополистического господства финансово-капиталистических групп данного государства на общем базисе старого капитализма и конкуренции. В экономической жизни отдельных стран самым существенным является переплетение монополии и свободной конкуренции, рост монополий и организованности на фоне и в противоречии с частной собственностью и анархией производства, победить которые окончательно империализм не может.

Насколько не соответствуют действительности схемы «государственно-капиталистических трестов» показывает, например, следующее построение тов. Бухарина в его книге «Империализм и накопление капитала». Возражая Розе Люксембург, он считает нужным, между прочим, аргументировать вызовом в свидетели «государственного капитализма». «Представим себе коллективно-капиталистический строй (государственный капитализм), где капиталистический класс об'единен в единый трест, и где, следовательно, перед нами организованное, но в то же время антагонистическое, с точки зрения классов, хозяйство»[1]). Здесь нет «анархии производства», а есть рациональный, с точки зрения капитала, план». «Никакого кризиса перепроизводства, несмотря на «недопотребление» масс, здесь получиться не может... ибо заранее дан как спрос со стороны каждой отрасли производства по отношению к другой, так и потребительский спрос»[2])...

Конечно, тов. Бухарин абсолютно прав в том, что, несмотря на недопотребление масс, но при соблюдении соответствия предложения и спроса, производства и потребления, кризиса совершенно не будет. Но где в мире существует «государственный капитализм», подобный «государственному капитализму тов. Бухарина»? Какой «государственно-капиталистический строй» совсем упраздняет «анархию производства»?[3]). В каком «государственно-капиталистическом» обществе заранее дан спрос производственный и спрос потребительский? Подобного «государственно-капиталистического» строя нигде, ни в одной стране никогда не существовало. Это—вымышленное, несоответствующее «грешной» действительности экономическое общество. В подобном экономическом обществе, конечно, кризисы были бы невозможны. Но и подобное экономическое общество тоже невозможно.

Правда, тов. Бухарин делает раз'яснение для «грамотного читателя», что такой «государственный капитализм» есть «абстрактный, «идеальный» тип общественной структуры, а не эмпирически данное общество»[4]). Но для чего нужен в экономической науке

[1]) Н. Бухарин, Империализм и накопление капитала, стр. 83.
[2]) Там же, стр. 84.
[3]) Почему «анархия производства» заключена в кавычки, непонятно!
[4]) Там же, стр. 87.

такой «идеальный» тип «организованного, но антагонистического общества»? Какую познавательную ценность он имеет для нас? Подобная «абстракция» имела бы смысл только в том случае, если бы она соответствовала основной тенденции в современном капиталистическом обществе. Но этого-то как раз и нет. Основной тенденцией капиталистического строя является не процесс превращения его из анархического в планомерно организованный хозяйственный строй. Этого произойти не может без революции, глубокой, основной, в корне изменяющей основы капиталистической экономики. Основная тенденция капитализма—это все большее обострение экономических противоречий, все более острое столкновение растущих производительных сил с капиталистической анархией производства, все большее несоответствие между вырастающими на почве капиталистической неорганизованности процессами обобществления и этой самой неорганизованностью.

Монополии составляют только наслоение на капиталистической экономике, но существа и тенденции ее они изменить не в силах. Извне и изнутри отдельных производств, отраслей, стран монополистические процессы пересекаются в капиталистическом обществе противоположными процессами, характеризующими несоответствия, неорганизованность, конкуренцию капитализма. На мировом рынке борьба этих двух процессов принимает наиболее острые, гигантские, яркие формы. Поэтому неорганизованность мирового хозяйства так очевидна для всякого беспристрастного наблюдателя. Но ошибочно было бы отсюда делать вывод, будто бы внутри государственно-капиталистических хозяйств неорганизованность уже упразднена. Наоборот, мировая анархия капитализма есть не что иное, как сгущенная, концентрированная анархия глубоких основ капиталистических отношений во всех странах.

Вот как Ленин отзывается о теории «чистого империализма»: «Главнейшие и наиболее существенные особенности капитализма, как общественно-экономического строя, *не* изменены в корне империализмом, эпохой финансового капитала. Империализм является продолжением развития капитализма, его высшей стадией»... «Империализм не перестраивает и не может перестроить капитализм снизу доверху. Империализм усложняет и обостряет противоречия капитализма, «спутывает» со свободной конкуренцией монополии, но устранить обмена, рынка, конкуренции, кризисов и т. д. империализм не может»[1]).

«Империализм есть отживающий, но не отживший капитализм, умирающий, но не умерший. Не чистые монополии, а монополии рядом с обменом, рынком, конкуренцией, кризисами,—существеннейшая особенность империализма вообще».

«Теоретически неправильно выкинуть (из партийной программы) анализ обмена, товарного производства, кризисов и т. п. вообще и «заменить» этот анализ анализом империализма, как целого. Ибо такого целого нет. Есть переход от конкуренции

[1]) Проект изменений теоретической, политической и некоторых других частей программы,—Собр. соч., т. XIV, ч. 1, стр. 120.

к монополии, и гораздо правильнее будет, поэтому, гораздо точнее воспроизведет действительность такая программа, которая оставит общий анализ обмена, товарного производства, кризисов и пр., добавляя характеристику выростающих монополий. Именно это соединение противоречащих друг другу «начал»: конкуренции и монополии и существенно для империализма, именно оно и подготовляет крах, т.-е. социалистическую революцию»[1]).

«Чистый империализм, без основной базы капитализма, никогда не существовал, нигде не существует и никогда существовать не будет. Это есть неверное обобщение всего того, что говорилось о синдикатах, картелях и трестах, финансовом капитализме»[2])... «Никогда в мире монополистический капитализм без свободной конкуренции в целом ряде отраслей не существовал и не будет существовать. Описать такую систему это значит написать систему, оторванную от жизни и неверную... Империализм и финансовый капитал есть надстройка над старым капитализмом»[3]).

IV.

Прежде чем перейти к рассмотрению главных выводов, которые Ленин делает из своего понимания капиталистической монополии, необходимо остановиться еще на одном моменте. Как мы видели, Ленин подчеркивает капиталистический характер монополии. Монополии, даже в их государственно-капиталистическом выражении, не могут упразднить окончательно ни частной собственности, ни конкурентной борьбы между капиталистами.

На первый взгляд может показаться, что подобная точка зрения мало отличается от воззрений тех экономистов, которые не видят преобразовательно-революционизирующего значения монополий, подготавливающих переход к более высокому социалистическому общественному строю. «Естественно напрашивается вопрос, к чему «переходит» этот новейший капитализм, но поставить этот вопрос буржуазные ученые боятся»[4]).

Виднейший буржуазный экономист Лифман, сосредоточивший свое исключительное внимание на картелях и трестах и считающийся лучшим буржуазным специалистом по вопросам финансового капитализма, действительно и не ставит этого вопроса. В росте монополий он не только не усматривает признаков подготовления предпосылок для социализма, но, наоборот, считает монополию таким же «изначальным» принципом деятельности индивидуального хозяйства, как и конкуренцию. В статье[5]), особо посвященной вопросам теории монополии, он говорит: «Конкуренция и монополия существуют рядом друг с другом»[6])... «Целью каждого отдельного хозяйства, очевидно, является монопольное положение»... «Но монополия ведет к конкуренции. С другой стороны, конкуренция ведет к монополии»[1]). «Монополия есть высший результат (der Gipfel) конкуренции, а всякая конкуренция в конечном счете есть не что иное, как стремление к монополии»[2]). И наконец: «Монополия не в меньшей мере является организационным принципом обмена, чем конкуренция»[3]).

[1]) Там же, стр. 121.
[2]) Ленин, Доклад о партийной программе на VIII с'езде РКП,—Собр. соч., XVI, стр. 112.
[3]) Там же, стр 114.
[4]) Ленин, Империализм,—Собр. соч., т. XIII, стр. 265
[5]) R. Liefmann, Konkurenz und Monopoltheorie, — «Archiv für Sozialwissenchaft u. Sozialpolitik», 41 Bd., I. H.
[6]) Там же, стр. 123.

Монополия и конкуренция, по Лифману, сосуществуют, переходят друг в друга, порождают друг друга. Чем сильнее конкуренция, тем она все более расчищает почву для монополии, и, наоборот, чем интенсивнее монополисты используют свое положение, тем острее становится конкуренция. Монополия и конкуренция прекрасно дополняют друг друга. Сочетание их в хозяйственной действительности—вот экономический идеал, воодушевляющий Лифмана и вытекающий, по его мнению, из основных побуждений всякого хозяйствующего суб'екта. Монополия и конкуренция у Лифмана возведены в «ранг» основных принципов не только капиталистического хозяйства, но и всякого экономического строя, ибо обмен—в такой же степени принадлежность человеческого общества, в какой не является принадлежностью собак и других животных[4]).

Понятно, что с подобным теоретическим «анализом» существа капиталистической монополии ничего общего не имеет Ленин. Монополистический капитализм, по Ленину, есть высшая историческая фаза в развитии капитализма, от которой дальше нет иного пути, «перехода», как к социализму. Монополии и соответствующие им изменения материально подготовляют социализм. Общество, доросшее до учета, надзора, контроля, до величайшей концентрации при капитализме, тем самым созрело для «введения» социализма. Мы видели, как Ленин считает историческую подготовку социализма растущими процессами обобществления основным экономическим изменением в эпоху империализма. Установление исторического «превращения», происходящего в сфере капиталистической экономики, есть большое отличие марксистского анализа империализма от всякой буржуазно-либеральной à la Liefmann «теоретической» болтовни.

С этой точки зрения представления экономистов о конкуренции и монополии, как о «вечных» принципах в деятельности хозяйствующих суб'ектов, служат лишь доказательством ограниченности буржуазного кругозора, неспособного понять современное хозяйство в его историческом своеобразии. Когда Лифман говорит, что монополия всегда есть конечная цель всякого отдельного хозяйства, то должно быть совершенно ясным, что между таким пониманием монополии и историческим пониманием их нет ничего сходного. Монополии, как общественное экономическое отношение—Tauschkonstellation, по выражению Лифмана—есть глубоко историческая категория, характерная для новейшей фазы капитализма, а отнюдь не «извечный» принцип хозяйственного поведения. Смешение одного и другого понимания есть простая игра слов, а не экономический анализ.

[1]) Там же, стр. 137.
[2]) и [3]) Там же, стр. 139.
[4]) Как известно, А. Смит считал, что какое-то сверхестественное существо снабдило человека способностью к обмену, в противоположность животным.

Исторически формулированное понимание монополий отделяет Ленина не только от экономистов типа Лифмана, но и от всей плеяды социал-демократических писателей, которые как раз исторического характера капиталистических монополий понять не сумели, и поэтому и исторические черты империализма видеть не способны. Что капитализм дорос до монополий, что монополии есть противоположность конкуренции, что капитализм «перерождается»,—это с удовлетворением включают в свой анализ оппортунисты. Но что монополии создают новый этап в развитии капитализма, который на новой исторической ступени в неизмеримо более острой форме воспроизводит основные противоречия капитализма, что империализм в новой монополистической скорлупе делает еще более невыносимым существование капитализма,—об этом они скромно умалчивают, скрывая тем самым исторически преходящий характер империализма.

На основе теоретического понимания исторической формы капиталистической монополии, Ленин построил все учение об империализме. Все остальные черты империализма—господство финансового капитала, роль банков, борьба за рынки, экспорт капитала, раздел мира, паразитизм новейшего капитализма и т. д.—не только базированы у Ленина на понимании монополистического характера империализма, но и легко выводятся из этого понимания. Тот, кто понял основное в империализме—господство монополий на общем фоне частной собственности и конкуренции—легко поймет и всю систему империализма.

Какие же выводы делает Ленин из своего понимания монополий?

Центральный вывод состоит в том, что империализм не только не упраздняет внутренних противоречий капитализма, вытекающих из частной собственности и анархии производства, но еще более обостряет их. Только апологеты империализма могут развивать мысль, будто господство финансового капитала ослабляет противоречия внутри мирового капитализма [1]). Поэтому Ленин не устает в течение империалистической войны доказывать самое элементарное, казалось бы, марксистское положение, что «капитализм есть частная собственность и анархия производства» [2]). Ленин выдвигает его против ренегатов марксизма, империалистических утопистов, упростителей империалистической системы и любителей «миролюбивых» лозунгов, вроде лозунга Соединенных Штатов Европы.

«Устранение кризисов картелями есть сказка буржуазных экономистов, оправдывающих капитализм во что бы то ни стало. Напротив, монополия, создающаяся в некоторых отраслях промышленности, усиливает и обостряет хаотичность, свойственную всему капиталистическому производству в целом; несоответствие в развитии земледелия и промышленности, характерное для капитализма вообще, становится еще больше. Привилегированное положение, в котором оказывается наиболее картелированная, так наз. тяжелая индустрия, особенно уголь и железо, приводит в остальных отраслях промышленности «к еще более острому отсутствию планомерности», как признается Ейдельс, автор одной

[1]) Ленин, Империализм, т. XIII, стр. 310.
[2]) Ленин, О лозунге Соединенных Штатов Европы, т. XIII, стр. 132.

из лучших работ об «отношении немецких банков к промышленности» [1]).

«Усиленно быстрый рост техники несет с собой все больше элементов несоответствия между различными сторонами народного хозяйства, хаотичности, кризисов» [2])..

«Распределение средств производства (в эпоху финансового капитала) совсем не «общее», а частное, т.-е. сообразованное с интересами крупного и в первую голову крупнейшего монополистического капитала, действующего в таких условиях, когда масса населения живет впроголодь, когда все развитие земледелия безнадежно отстает от развития промышленности, а в промышленности «тяжелая индустрия» берет дань со всех остальных ее отраслей» [3]).

«Со стороны торгово-промышленных кругов нередко слышатся жалобы на «терроризм банков»... В сущности это—те же жалобы мелкого капитала на гнет крупного»... Только в разряд «мелких здесь попадают целые синдикаты»! «Старая борьба мелкого и крупного капитала возобновляется на новой, неизмеримо более высокой ступени развития» [4]).

Как несравненно далеко это глубокое понимание Ленина анархичности капиталистического производства от даже самых революционных писателей об империализме! Характерным для Ленина является, что он еще в 90-х г.г. со всей решительностью и ясностью выставлял анархию капиталистического производства, как неот'емлемое основное качество капитализма, лежащее в основе всех противоречий капитализма. Это об'ясняет поразит'ную монистическую цельность всех теоретико-экономических взглядов Ленина. В то время, например, как еще «ортодоксальный» Каутский [5]), а позднее Роза Люксембург искусственно выпячивали в теории рынков и кризисов только один момент—противоречие между производством и потреблением, у Ленина этот момент гармонически вплетается в общую систему анархии капиталистического производства [6]). Поэтому Ленин больше всех сумел понять революционный смысл марксова учения о капитализме, а позже с таким искусством применить метод и учение Маркса к теоретическому анализу империализма. Учение Ленина об империализме является действительным продолжением, развитием экономического учения Маркса в эпоху новейшего капитализма.

Ни одно из противоречий капитализма, вытекающих из анархии производства, не исчезает в эпоху империализма. Они еще более обостряются и осложняются новыми противоречиями. Противоречие между организованностью отдельных отраслей производства и неорганизованностью всего производства, между картелированными и некартелированными частями хозяйства, между тяжелой индустрией и легкой, между сельским хозяйством и промышленностью, между производством и потреблением,—все эти

[1]) Ленин, Империализм, т. XIII, стр. 257.
[2]) Там же, стр. 257.
[3]) Там же, стр. 263.
[4]) Там же, стр. 269.
[5]) См. Каутский, Теории кризисов.
[6]) Очень хорошо это подмечает тов. Бухарин. (Империализм и накопление капитала, стр. 87).

противоречия принимают колоссальные размеры и остроту при империализме.

На противоречиях, основанных на монополистическом характере империализма, следует особо остановиться. Противоречие между монополией и конкуренцией в системе Ленина стоит во весь рост. Монополия и конкуренция не мирно сосуществуют рядышком, а ведут ожесточенную борьбу. Мнение о мирном «сожительстве» монополии и конкуренции обще всем буржуазным экономистам. Мы уже приводили выше Лифмана, рисующего идиллию гармонического союза монополии и конкуренции. В действительности сосуществование и поглощение друг другом монополии и конкуренции создает новые неисчислимые противоречия. Ленин именно глубокое противоречие, заложенное в монополиях, подчеркивает со всей силой.

«Одним из недостатков марксиста Гильфердинга является то, что он сделал шаг назад по сравнению с немарксистом Гобсоном. Мы говорим о паразитизме, свойственном империализму». «Монополия неизбежно порождает стремление к застою и загниванию: поскольку устанавливаются, хотя бы временно, монопольные цены, постольку исчезают до известной степени побудительные причины к техническому, а след., и ко всякому другому прогрессу, движению вперед; постольку является, далее, экономическая возможность искусственно задерживать технический прогресс». «Тенденция к застою и загниванию, свойственная монополии... действует... в отдельных отраслях промышленности, в отдельных странах, а на известные промежутки времени, она берет верх»[1]).

Совершенно понятно, почему господство монополий приводит к паразитизму, застою. Это и есть противоречие между господством монополий и сохранением частной собственности, которую империализм не в состоянии упразднить. И понятно из вышеизложенного, почему «марксисты», подобные Гильфердингу, этого противоречия монополистического капитализма увидеть не смогли. Монополии, упраздняя конкуренцию, вводят нас спокойно и гладко прямо в организованное общество—таков главный «их» тезис. Монополии, материально подготовляя социализм, не только не упраздняют, но обостряют и дополняют в огромной степени противоречия капитализма—таков главный тезис учения Ленина.

Понимание паразитического характера монополий чрезвычайно важно, так как оно позволяет легко проникнуть в существо очень многих характернейших особенностей империализма. К таким особенностям, например, принадлежит закономерное «превращение», происшедшее с конкуренцией, ее формами и методами. Монополии в экономике необходимо считаются с монополистическими, насильственными, захватными средствами борьбы, методами конкуренции[2]). «Перед нами уже не конкуренционная борьба мелких и крупных, технически отсталых и технически передовых предприятий. Перед нами удушение монополистами тех, кто не подчиняется ее гнету, ее произволу»[3]). «Отношения господства и связанного с ним насилия—вот что типично для «новейшей фазы» капитализма», вот что с неизбежностью должно было про-

[1]) Ленин, Империализм, т. XIII, стр. 314.
[2]) Там же, стр. 309.
[3]) Там же, стр. 254.

истечь и проистекало из образования всесильных экономических монополий»[1]).

Конкуренция не просто упраздняется[2]). Она упраздняется и остается существовать. Но, что важно, преобразуются также радикально самые формы конкуренции. Конкуренция делается насильственной, превращается в борьбу орудиями, далеко не экономическими и не прогрессивными. Интересно, что об этом изменении формы конкуренции[3]) молчат или чрезвычайно мало говорят оппортунисты.

Так же точно, как тенденции к техническому застою и изменению форм конкурентной борьбы, из факта господства монополистических союзов вытекает и монопольная эксплоатация монополистически не организованных частей капиталистического хозяйства. Монополии становятся тем более сильными, чем большее количество немонополистических областей хозяйства находятся в сфере их эксплоатации. Отсюда происходит вся колониальная политика монополистических союзов, монопольный раздел между ними всего мира, ожесточенная борьба за рынки. Империализм—это монополистическое господство групп капиталистов над огромными колониальными и полуколониальными областями. Такова картина империализма, если взять последний в мировом масштабе. Империализм превратился в паразитический гнет государств-монополистов над миллионами колониального населения.

Только Ленину удалось проникнуть в существо империализма, как мировой системы господства «культурных» государств над «некультурными» областями и странами, и тем самым обнаружить величайшее внутреннее противоречие, на котором построен империализм. Случайно ли это? Конечно, нет. Никто, кроме Ленина, не понял так глубоко сущность капиталистической монополии и поэтому не сумел раскрыть картину чудовищной эксплоатации, гнета, насилия, паразитизма, характерных для империализма. Никто не сумел с такой определенностью установить, что «капитализм дозрел и перезрел», что он пережил себя и стал реакционнейшей задержкой человеческого развития..., что он свелся к всевластию горстки миллиардеров и миллионеров, толкающих народы на бойню для решения вопроса о том, германской или англо-французской группе хищников должна достаться империалистическая добыча, власть над колониями, финансовые «сферы влияния» или «мандаты на управление» и т. п.»[4]).

[1]) Там же, стр. 255.
[2]) Именно так «просто» смотрит на процесс развития монополий O. Leichter. (Die Wirtschaftsrechnung in d. sozialistischen Gesellschaft, Wien 1923 г.).
[3]) Тов. Бухарин не совсем правильно об'ясняет в «Экономике переходного периода» перенесение центра тяжести конкурентной борьбы на методы силового давления тем, что борьба в эпоху финансового капитала идет не между однородными предприятиями, а комбинированными трестами, именно между «государственно-капиталистическими комбинированными трестами», где метод дешевых цен вообще не применим. Дело в том, что основное значение в этом вопросе, конечно, имеет монополистический характер новейшего капитализма. Как совершенно правильно замечает тов. Бухарин в своей последней работе «Империализм и накопление капитала», проблема конкурентной борьбы даже между предприятиями, производящими однородную продукцию, «стоит существенно иначе при монополистической форме капитала», чем при капитализме свободной конкуренции. В этом и заключается гвоздь.
[4]) Ленин, Ответ на вопросы американского журналиста, т. XVI, стр. 286.

V.

Какое актуальное значение для борьбы рабочего класса имеет теоретическое учение Ленина, показывает вся сумма революционно-политических положений ленинизма, которые на нем основаны.

Сюда относится, прежде всего, непримиримая борьба против защитников «теории сверх'империализма». «Казенному воспеванию прелестей «организованного капитализма» [1]), проповедям социал-соглашателей о предстоящем наступлении «фазы прекращения войн» и «общей эксплоатации мира интернационально-об'единенным финансовым капиталом» [2]), Ленин противопоставлял свою теорию империализма, безжалостно бичующую все противоречия империализма и обнаруживающую всю теоретическую и политическую фальшь идей о «мирном ультраимпериализме».

Теория ультраимпериализма, по мнению Ленина, «разрывает решительно и бесповоротно с марксизмом». Ибо как можно говорить «марксистским» языком о необходимости наступления мирного сверх'империализма, когда главным законом капитализма является «неравномерность и скачкообразность в развитии отдельных отраслей, предприятий, стран» [3]), когда «финансовый капитал не ослабляет, а усиливает различия в быстроте роста разных частей всемирного хозяйства», и когда главным принципом капитализма в борьбе и в соглашениях есть принцип силы участников, величины капитала, обще-экономической, финансовой, военной мощи [4]).

Пусть капиталисты добьются соглашения раздела мира между собой. Но ведь «делить нельзя иначе, как по силе»! «Проповедывать «справедливый» раздел на базе капитализма есть прудонизм, тупоумие мещанина, филистера». «А сила изменяется с ходом экономического развития. После 1871 года Германия усилилась раза в 3—4 быстрее, чем Англия и Франция. Япония раз в 10 быстрее, чем Россия. Чтобы проверить действительную силу капиталистического государства, нет и не может быть иного средства, кроме войны... При капитализме невозможны иные средства, как кризисы в промышленности, войны в политике» [5]).

Вот почему Ленин называет мнение о возможности мира между народами при капитализме «теоретически совершенно вздорным, а практически софизмом, способом нечестной защиты худшего оппортунизма» [6]). Конкретно-историческая особенность империализма заключается в том, что он представляет не господство одного сверх'империализма, а господство и конкуренцию нескольких империализмов [7]). «Поэтому «интер-империалистские» или «ультра-империалистские» союзы—в какой бы форме эти союзы ни заключались, в форме ли одной империалистической коалиции против другой, или в форме всеобщего союза всех империалистских держав—являются неизбежно лишь «передышками» между войнами. Мирные союзы подготовляют войну и в свою очередь вырастают из войн, обуславливая друг друга, рождая перемену форм мирной и немирной борьбы из одной и той же почвы империалистических связей и взаимоотношений всемирного хозяйства и всемирной политики» [1]).

[1]) Ленин, Империализм, т. XIII, стр. 270.
[2]) Там же, стр. 310.
[3]) Там же, стр. 284.
[4]) Там же, стр. 329.
[5]) Ленин, О лозунге Соедин. Штатов Европы, т. XIII, стр. 132.
[6]) Ленин, Империализм, т. XIII, стр. 294.
[7]) Там же, стр. 308.

Эти слова Ленина и поныне служат лучшей отповедью мечтателям о наступлении эры «организованного» капитализма. Нет иного выхода из мира капитализма в мир сознательно организованного общества, как на пути социалистической революции. Империализм довел противоречия капитализма до высшей и наиболее острой формы, сделав его реакционным и особенно невыносимым его гнет. Не сказку об «организованном» капитализме, а революцию, пролетарскую социалистическую революцию противопоставит империализму пролетариат.

«И чрезвычайно высокая ступень развития мирового капитализма, вообще, и смена свободной конкуренции монополистическим капитализмом, и подготовка банками, а равно союзами капиталистов, аппарата для общественного регулирования процесса производства и распределения продуктов, и стоящий в связи с ростом капиталистических монополий рост дороговизны и гнета синдикатов над рабочим классом, гигантское затруднение его экономической и политической борьбы; и ужасы, бедствия, разорение, одичание, порождаемые империалистической войной,—все это делает из достигнутой ныне ступени развития капитализма эру пролетарской социалистической революции» [2]).

Если ленинская теория считает неизбежным крах капитализма и социалистическую революцию, то, с другой стороны, ей совершенно чужды элементы революционного фатализма. Крах капитализма наступит не в результате пришествия некоего «об'ективного предела», срока, знаменующего абсолютную невозможность дальнейшего развития капитализма. Именно на такую позицию необходимо сбивается учение о накоплении капитала и империализме Розы Люксембург. Причину краха капитализма она видит в исчерпании некапиталистической среды, без которой невозможно, по ее теории, расширенное воспроизводство вообще. Наступление этого момента и есть «об'ективный предел» развития капитализма.

Для учения Ленина подобное механическое предопределение конца капитализма неприемлемо. Капитализм падет от все большего обострения внутренних противоречий, на которых построен капитализм с раннего детства, но которые делаются неизмеримо губительнее в последнюю эпоху капитализма. Монополистический характер новейшего капитализма—вот что доводит эти противоречия до высшей ступени развития. Высший момент напряжения этих противоречий и есть момент краха капитализма и социалистической революции.

Роза Люксембург не видела основной исторической черты империализма—его монополистического характера. Это не позволило ей определить и действительные причины гибели капитализма. Увлеченная «об'ективным пределом» капитализма, вы-

[1]) Там же, стр. 329.
[2]) Ленин, Проект изменений теоретической, политической и некоторых других частей программы, т. XIV, ч. 1, стр. 116.

мышленным ею в основе неверной теории накопления, Роза отвлекла свое внимание от главных исторических противоречий империализма. И «чистый» и «смешанный» капитализм новейшего времени воспроизводится с колоссальными трудностями, издержками, противоречиями. Этот главный момент Роза упустила из виду. Отсюда неправильность ее теории империализма и далеко не революционный в действительности смысл ее. Замечательно верно об этом пишет тов. Бухарин: «Тут налицо удивительный теоретический парадокс: теория Розы Люксембург, которая хочет быть ультра-революционной и которая дает действительно великолепное, рукою гениального мастера сделанное описание колониальной эксплоатации,—эта теория по существу дела, т.-е. в своем теоретическом ядре, смазывает и затушевывает и капиталистическую действительность»[1]). Наоборот, учение Ленина, далекое от «фаталистического» предсказания гибели капитализма от «третьих лиц», подчеркивающее, как мы видели, что «империализм есть умирающий капитализм, но не умерший еще», далекое от всякого упростительства в вопросах капиталистического краха,—с величайшей силой, в ослепительно ярком свете, на основании теоретического анализа, обнажает наиболее глубокие и острые противоречия империализма.

По этой же причине различна и практическая роль учения Ленина и Розы в вопросах политики и стратегии рабочего класса. Наиболее выпукло это проявляется в крестьянской и национально-колониальной проблемах.

Неотвратимым выводом из учения Ленина об империализме является идея рабоче-крестьянского блока и союза пролетарской революции с колониальными восстаниями. Именно господствующий монополистический характер империалистической эксплоатации делает крестьянскую и колониальную проблемы вопросами «жизни и смерти» для империализма и для пролетариата. Гениальной заслугой Ленина является то, что он выдвинул идею рабоче-крестьянского блока еще в первой русской революции, задолго до империалистической войны, послужившей моментом наивысших обострений противоречий империализма, как системы новейшего капитализма. Но непростительной ошибкой было бы поэтому рассматривать крестьянский вопрос в системе ленинизма вне связи с учением об империализме. В учении об империализме, как и в империалистической действительности, идея рабоче-крестьянского блока получает свое окончательное подтверждение и историческое оправдание. Из мысли о случайном, исторически благоприятном сочетании революции пролетариата и крестьянской войны, о котором говорил еще Маркс, она превратилась в острейшую жизненную проблему пролетарской революции, без разрешения которой невозможна победа последней.

Логически закономерно непонимание крестьянской проблемы сторонниками Розы Люксембург и теории «чистого империализма». И те и другие проходят мимо отношения монополии и свободной конкуренции, как основного общественно-экономического отношения эпохи империализма, не замечая вместе с тем главного противоречия империализма—между монополией и конкуренцией, между монополистически организованной и неорганизованной частями мирового капиталистического хозяйства. А здесь как раз и лежит корень крестьянской и колониальной проблем.

[1]) Н. Бухарин, Империализм и накопление капитала, стр. 107.

То же самое нужно сказать и о национальной проблеме. Ленин поставил национальный вопрос так широко и глубоко, как не осмеливался до него сделать ни один социалист. Это случилось потому, что эпоха империализма выдвинула вопрос о национальном угнетении, порабощении, эксплоатации в таком виде, в каком он не стоял никогда в истории. Империализм—это господство кучки «передовых» финансово-капиталистических государств над миллионами колониальных рабов. Удивительно ли, что Ленин лучше всех понял всемирно-историческое значение этого вопроса?

Важно отметить, что такой подход к национальному и крестьянско-колониальному вопросам дал возможность Ленину познать мировую пролетарскую революцию в конкретно-историческом своеобразии ее условий. Этого никому не удавалось сделать. Между тем, Ленина «принято» упрекать в «беззаботности» в отношении учета об'ективных условий пролетарской революции. Нет ничего более неправильного, чем такой упрек. Пусть вдумаются все «умники» из Второго Интернационала в нижеследующие слова Ленина, доказывающие его блестящее понимание реальных условий мировой революции.

«Социальная революция не может произойти иначе, как в виде эпохи, соединяющей гражданскую войну пролетариата с буржуазией в передовых странах и целый ряд демократических и революционных, в том числе и национально-освободительных движений, в неразвитых, отсталых и угнетенных нациях. Почему? Потому, что капитализм развивается неравномерно, и об'ективная действительность показывает нам, на ряду с высокоразвитыми капиталистическими нациями, целый ряд наций, очень слабо и совсем неразвитых экономически. П. Киевский абсолютно не продумал об'ективных условий социальной революции с точки зрения экономической зрелости разных стран»[1])...

Вопрос об экономической и политической зрелости отдельных стран к социалистической революции, вопреки «обычному» мнению, нашел у Ленина наиболее вдумчивую трактовку, так как ему удалось проникнуть в необычайную сложность экономических и национальных отношений в эпоху империализма. Разговоры про диктаторство в Коминтерне московских «уравнителей» больше всего распространены среди наших врагов. А в действительности, вот как Ленин говорил о движении отдельных стран к социализму:

«Все нации придут к социализму, это неизбежно, но все придут не совсем одинаково, каждая внесет своеобразие в ту или иную форму демократии, в ту или иную разновидность диктатуры пролетариата, в тот или иной темп социалистических преобразований разных сторон общественной жизни. Нет ничего более убогого теоретически и более смешного практически, как «во имя исторического материализма» рисовать себе будущее в этом отношении одноцветной сероватой краской: это было бы суздальской мазней, не более того»[2]). И далее: «Мы не знаем

[1]) Ленин, О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме», т. XIII, стр. 370.

[2]) Там же, стр. 379.

и не можем знать, какому числу угнетенных наций понадобится... внести свою лепту в разнообразие форм демократии и форм перехода к социализму»[1]).

И вопрос о разнообразии национальных форм перехода к социализму и вопрос о разнообразии форм экономического строительства после революции в любой из стран получает, с точки зрения ленинского учения, наиболее ясное и правильное разрешение. На этой стороне значения учения Ленина об империализме до сих пор останавливали меньше всего внимания. В действительности же это учение дает в руки руководящую нить для ответа на сложнейшие проблемы экономического строительства пролетариата.

Теперь, после нескольких лет революции для нас всех ясно, что так же точно, как было бы теоретически и практически убогим красить однообразной краской будущее социалистической революции в разных странах, не менее убого представлять себе хозяйственное строительство пролетариата после революции в любой стране в виде немедленного создания одной единственной, однообразной хозяйственной формы, одного единственного «исполинского общественного предприятия»[2]). Дело оказывается гораздо сложнее. Пролетариат вынужден, на-ряду с развитием национализированного общественного хозяйства, допустить существование разнообразных несоциалистических форм хозяйства в переходный период. Такой ответ, проверенный опытом нашей революции, целиком базируется на учении Ленина об империализме. Не «цельный», «чистый» империализм, «насквозь» монополистический, «насквозь» уничтоживший свободную конкуренцию, преподнесен пролетариату историей накануне социалистической революции. «Чистого» империализма никогда не было и не будет. Империализм есть сочетание монополии и конкуренции, передовых и отсталых форм хозяйства, финансового капитализма и старого «неорганизованного» капитализма. Империализм—это совокупность разнородных экономических частей. Поэтому разнообразие и сложность хозяйственных элементов накануне пролетарской революции является исторически данным фактом. Такова империалистическая действительность, которая может быть неприятна[3]), но с которой ничего не поделаешь.

«Из этой разнокалиберности, из этого построения из разного материала, как это ни неприятно, мы не выскочим в течение долгого периода». А «когда выскочим... тогда уже будем жить в социалистическом обществе»[4]). «Для реорганизации всего мира, для реорганизации большинства стран потребуется много и много лет. А это значит, что в тот переходный период, который мы переживаем, мы из этой мозаичной действительности не выскочим. Эту составленную из разнородных частей действительность отбросить нельзя»[5])...

Наконец, учение Ленина об империализме дает возможность поставить и разрешить еще одну существеннейшую актуально-

[1]) Там же, стр. 380.
[2]) Так думает, например, W. Greiling. Marxismus und Sozialisierungstheorie, S. 99, Berlin 1923
[3]) Ленин, Доклад о партийной программе на VIII с'езде РКП,—т. XVI, стр. 115.
[4]) Там же, стр. 113.
[5]) Там же, стр. 115.

политическую проблему пролетарской революции, проблему изолированной победы социалистической революции в одной стране. Интересно, что наиболее умные и проницательные буржуазные экономисты и политики отмечают чрезвычайную важность этой проблемы. Например, Людвиг Мизес пишет по этому поводу: «Еще либералы не обращали достаточного внимания на огромное препятствие (в политической борьбе)—национальную проблему. Социалисты же совершенно не видели, что это препятствие бесконечно больше для социалистического общества»[1]). «Более поздние марксисты, правда, признали, что нужно считаться также и с той возможностью, что по крайней мере некоторое время будут существовать рядом друг с другом независимые социалистические общества (Отто Бауэр). Но если мы признаем это, тогда надо итти дальше и иметь в виду также тот случай, когда одно или несколько социалистических обществ может существовать рядом с хозяйственным миром, в основном построенном на капиталистической основе»[2]).

Ленин имел перед глазами перспективу изолированной пролетарской революции еще во время империалистической войны. Анализ империализма, основанного на крупнейших несоответствиях, приводил Ленина к мысли о возможности именно такой победы революции. Ведь различны не только формы перехода к социализму, но различен и темп развития революции в разных странах. Иначе и не может быть в мире капиталистической анархии.

В 1915 году Ленин поистине пророчески намечал такой путь развития пролетарской революции: «Неравномерность экономического и политического развития есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального, капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстание против капиталистов, выступая в случае необходимости даже с военной силой против эксплоататорских классов и их государств»[3]).

Какой исторической правдой оказались эти слова Ленина! Чем шире разворачивается борьба пролетариата за социализм, тем становится все более ясным, что окончательная победа социализма может быть только результатом длительного цикла побед, поражений, войн пролетарских государств, в борьбе с капитализмом «привлекающих к себе и поднимающих восстание угнетенных классов других стран».

VI.

Учение Ленина об империализме может рассматриваться с трех основных точек зрения.

Прежде всего оно нуждается в изучении под теоретико-экономическим углом зрения. Сугубо важное значение теперь при-

[1]) Ludwig Mises, Die Gemeinwirtschaft, Jena 1922, S. 213.
[2]) Там же, стр. 212.
[3]) Ленин, О лозунге Соединенных Штатов Европы,—т. XIII, стр. 133.

обретает точное определение главных контуров теоретических взглядов Ленина. Капитализм, получивший тяжелое ранение в годы империалистической войны, еще жив, и, несмотря на колоссальнейшие затруднения, бешено сопротивляется атаке пролетариата. Судорожно стараются капиталисты стабилизировать экономические и политические отношения. Удастся ли им это? Куда пойдет дальше развитие капитализма?

Ответов на эти вопросы можно искать только на основе теоретико-экономического изучения развивающихся процессов. Слишком очевидна крупнейшая роль, принадлежащая в этом отношении ленинскому учению об империализме. Ни в коем случае не допустимо беззаботное отношение к теоретическим взглядам покойного учителя. Ни в коей мере нельзя допускать смешения, синтезирования, разводнения ленинского учения с чуждыми теоретическими элементами [1]).

Для этого, само собой разумеется, нужно тщательным образом проработать, освоить, систематизировать все высказывания, мысли, работы Ленина по вопросу об империализме. Следует хорошо помнить, что экономическая теория империализма лежит в основе системы ленинизма.

Второй и наиболее часто встречающейся точкой зрения при рассмотрении ленинского учения является анализ его революционно-практического значения. Эта сторона освещена до сих пор наиболее полно. Необходимо только всегда связывать эту часть учения с теоретико-экономическими воззрениями Ленина. В настоящей статье мы старались доказать, что только самостоятельное теоретическое понимание существа монополистического капитализма позволило Ленину сделать революционно-политические выводы, которые характеризуют прикладную революционную часть ленинизма. Более того, такое понимание предопределило эти выводы.

Наконец, третья точка зрения, которая освещает не менее ценную сторону в учении Ленина—это оценка его с точки зрения определения путей экономического строительства пролетариата после революции... Еще у Маркса можно установить тесную внутреннюю связь между его учением о капитализме и теми экономическими мероприятиями, которые он предлагал на другой день после революции. Достаточно для этого вдуматься в систему мер экономического характера, предлагаемых в «Коммунистическом Манифесте» [2]). Но эпоха, в которую жил Ленин, уже поставила вопрос о «перерастании» капитализма в социализм, как основную практическую проблему современности. Поэтому учение Ленина об империализме дает неизмеримо больше ответов

[1]) Образцом чудеснейшего «синтеза» взглядов Ленина и Розы Люксембург является книжка Пилецкого «Две теории империализма». Насколько понял автор этой книги теоретические взгляды Ленина, показывает то, что он монополии относит к второстепенным признакам империализма.

[2]) Совершенно правильно говорит W. Greiling (Marxismus und Sozialisierusgstheorie, 1923) на стр. 24: «Из мероприятий, предложенных в конце Коммунистического Манифеста, и из отношения Маркса к Парижской Коммуне, бесспорно вытекает, что полную централизацию средств производства в обществе проводит только сам пролетариат после революции». Но из этого явствует, что Greiling неправ, когда приписывает Марксу представление об «одном единственном исполинском общественном предприятии» для первой стадии социалистического строительства.

для решения задачи экономической революции пролетариата. В понимании Ленина монополистического капитализма так, как он есть, со всей сложностью и разнородностью его составных экономических элементов с его чудовищными противоречиями, несоответствиями, несоразмерностями в развитии отдельных его частей,—в потенции заложено разрешение целого ряда основных вопросов экономической революции пролетариата. Учение о государственно-монополистическом капитализме—необходимая предпосылка для понимания экономического строя при диктатуре пролетариата.

Эта сторона учения Ленина вводит нас в область проблем экономики переходного периода, имеющих для нас исключительно научный и практический интерес.

Реформизм и колониальная политика.

М. Рубинштейн.

I.

Одним из важнейших социальных корней реформизма в рабочем движении основных капиталистических стран, в первую очередь Англии, является подкуп рабочей верхушки в метрополии за счет части колониальной сверх-прибыли. Как известно, как раз на эту сторону обращали внимание еще Маркс и Энгельс, писавшие, что «нет возможности сдвинуть с места революционизирование английского пролетариата, пока Англия не потеряет своей индустриальной монополии» [1]).

Для нашего периода особенное внимание обращал на эту проблему Ленин, в предисловии к немецкому и французскому изданию своей книги об империализме давший необычайно яркое и концентрированное изложение самой сути вопроса:

«Капитализм выделил теперь горстку (менее одной десятой доли населения земли, при самом «щедром» и преувеличенном расчете менее одной пятой) особенно богатых и могущественных государств, которые грабят простой «стрижкой купонов»—весь мир. Вывоз капитала дает доход 8—10 миллиардов франков в год, по довоенным ценам и довоенной буржуазной статистике. Теперь, конечно, много больше.

Понятно, что из такой гигантской сверх-прибыли (ибо она получается сверх той прибыли, которую капиталисты выжимают из рабочих «своей«» страны) можно подкупать рабочих вождей и верхнюю прослойку рабочей аристократии. Ее и подкупают капиталисты «передовых» стран—подкупают тысячами способов, прямых и косвенных, открытых и прикрытых.

Этот слой обуржуазившихся рабочих или «рабочей аристократии», вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему миросозерцанию, есть главная опора II Интернационала, а в наши дни главная социальная (не военная) опора буржуазии. Ибо это—настоящие агенты буржуазии в рабочем движении, рабочие приказчики класса капиталистов (labour leutenants of the capitalist class), настоящие проводники реформизма и шовинизма. В гражданской войне пролетариата с буржуазией они неизбежно становятся в немалом числе

[1]) Кроме переписки Маркса и Энгельса, этот вопрос затронут Марксом в III томе „Капитала", при разборе явлений, противодействующих тенденции нормы прибыли к понижению (глава «Внешняя торговля») и Энгельсом в известном предисловии ко 2 изданию «Положения рабочего класса в Англии».

на сторону буржуазии, на сторону «версальцев» против коммунаров. Не поняв экономических корней этого явления, не оценив его политического и общественного значения, нельзя сделать ни шага в области решения практических задач коммунистического движения и грядущей социальной революции [1]).

В области колониального вопроса с особенной яркостью проявлялась сделка рабочей аристократии и бюрократии с империалистской буржуазией, представлявшей известные выгоды небольшой части рабочего класса за счет полнейшего предательства интересов всей остальной его массы.

Мы не можем здесь останавливаться на различной и значительно менявшейся на протяжении истории роли колоний для основных капиталистических стран. Они были, поочередно или одновременно, об'ектами непосредственного разграбления, источником дешевого сырья, рынком для товаров метрополии и поставщиками дешевой рабочей силы. Наконец, в послевоенный период все бо́льшую, во многих случаях решающую, роль начинает играть экспорт капитала в колонии.

Совершенно несомненно, что тесно спаянные с государственным аппаратом капиталистические группы, имеющие в колониях фабричные предприятия, плантации, железные дороги и т. п. за счет получаемых там огромных прибылей и ничем не ограничиваемой эксплоатации, наконец, в общегосударственном масштабе за счет выкачиваемых из колоний налогов и прямого их ограбления, могли несколько уменьшать давление на верхушку рабочего класса в метрополии, связывая ее этим с империалистской колониальной политикой.

Кроме того, для Англии, Голландии, отчасти Франции и Бельгии, колонии долгое время давали приют некоторой части избыточной рабочей силы. Пока индустриализация колоний была еще на самых первых стадиях своего развития и даже искусственно тормозилась капиталом метрополий, верхний и средний командный состав молодой колониальной промышленности (а также армии, полиции, административного аппарата и т. п.) состоял исключительно из белых. В Англии набирались из рабочей среды мастера, надсмотрщики, квалифицированные рабочие для Индии, Южной Африки и других, разбросанных по всей земле, великобританских колоний. Им обещали значительные оклады, на государственной службе пенсии, возможность полного господства над подчиненными им туземцами, добавочной эксплоатации их в свою пользу. И, действительно, где-нибудь на плантациях в колониальной глуши белые надсмотрщики являются как бы феодальными господами над трудом и жизнью туземцев. Кроме того, колонии, расположенные вне непосредственно тропического пояса, долгое время давали возможность поглощать часть избыточного состава европейского пролетариата в качестве сельско-хозяйственных колонистов. Таким путем во многих странах Европы, в особенности же в Англии, капиталисты имели возможность долгое время отвлекать в эту сторону внимание рабочих, в первую очередь наиболее активной и предприимчивой молодежи. Им твердили на каждом шагу: забудьте о классовой борьбе, посещайте вечерние технические курсы, экономьте, копите деньги на проезд—и для вас

[1]) Ленин, т. XVII, стр. 248.

в колониях будут неограниченные возможности. И хотя в действительности колониальная «карьера» удавалась очень немногим (общее число белых рабочих в Британской Индии не превышает 100—150 тысяч), хотя и эти возможности сокращаются с каждым годом, они несомненно оказывали значительное психологическое воздействие на известные слои рабочего класса Европы.

Гораздо более широкие слои английских рабочих были втянуты в орбиту колониальной политики вследствие надежды на развитие промышленности, работающей на колониальные рынки. Экспорт из Англии в колонии составлял до войны около 1/3 общего ее экспорта. Целые отрасли промышленности работали, главным образом, на колониальные рынки и угроза быстрого усиления безработицы связывала квалифицированных рабочих этих отраслей, а косвенно и весь рабочий класс, с колониальной политикой буржуазии. И если для Франции, Бельгии, Германии и др. экспорт в колонии был как абсолютно, так и относительно ничтожен, рабочая аристократия связывала все же с развитием колониальных приобретений надежды на промышленный расцвет в метрополии и, следовательно, возможность урвать из него кой-какие крохи и для себя.

II.

Эта заинтересованность рабочей аристократии в колониальных приобретениях буржуазии и вызвала соответствующую политику II Интернационала. Уже международный конгресс в Амстердаме в 1904 г. принял по докладу комиссии об Индии двусмысленную резолюцию, в которой «конгресс признает право жителей цивилизованных стран обосновываться в странах, население которых находится на низших стадиях развития». Характерной иллюстрацией отношения II Интернационала к колониям может служить борьба по колониальному вопросу на международном социалистическом конгрессе в Штуттгарте (в 1907 г.), когда резолюция, принятая большинством колониальной комиссии, начиналась фразой: «Конгресс устанавливает, что польза или необходимость колоний в общем, в особенности же для рабочего класса, значительно преувеличивается. Конгресс, однако, не отклоняет принципиально и навсегда всякую колониальную политику, которая при социалистическом (!) режиме может действовать цивилизаторски» [1]).

Докладчик комиссии, пресловутый Ван-Коль, вспоминал на конгрессе, как о давно прошедших временах, период, «когда мы верили в теорию катастроф», и раз'яснял, что колонии необходимы, так как иначе нельзя противодействовать перенаселению Европы и нечего делать с растущим европейским производством. Ему на подмогу выступил Бернштейн (во время англо-бурской войны горячо защищавший английских джингоистов) с законченной программой «позитивной социалистической колониальной политики». Те же басни рассказывал Давид и, хотя первый пункт предложения колониальной комиссии был отклонен 127 голосами против 108, социал-империалистское меньшинство в практической политике социалистических партий одержало несомненную победу еще задолго до войны. Характерно, что в это меньшинство

[1]) Jnt. Sozial. Kongress, Stuttgart, Verlag «Vorvarts», Berlin 1907.

и на штуттгартском конгрессе входили делегации основных стран, владеющих колониями (Германия, Бельгия, Голландия, большинство английской и французской делегации). Против предложения комиссии были мелкие страны (кроме Америки и России), не имеющие колоний. Даже Бебель держался в вопросе о колониях весьма двусмысленно, поддерживая цивилизаторскую колониальную политику, «которая может быть культурным делом». Как известно, соц.-дем. фракция рейхстага в 1904 г. воздержалась при голосовании кредитов на войну с гереро, отказалась от выступлений при решении германского правительства принять участие в подавлении китайских «беспорядков» и всячески тормозила выступление масс во время инцидента в Марокко в 1911 г. Партейтаги германской соц.-демократии неизменно принимали по вопросу о колониальной политике двусмысленные оппортунистические резолюции, сводившиеся к поддержке лозунга Бебеля «равноправие всех государств в колониях», игравшего на руку, относительно обделенной колониями, германской буржуазии. Внесенное на один из партейтагов предложение создать при партии колониальную комиссию встретило по протоколу лишь «смех» делегатов [1]). Отдельные более откровенные ревизионисты шли в этом вопросе гораздо дальше, открыто выступая за захват вооруженной рукой «справедливой доли в колониях».

Мы не останавливаемся подробнее на отношении к колониальному вопросу германской с.-демократии, так как при всем его принципиальном интересе оно потеряло в настоящее время практическое значение, вследствие потери Германией всех ее колоний. Надо лишь отметить, что поднятая за последние месяцы германской буржуазией колониальная шумиха (организация специальных «колониальных недель», выставок, с'ездов, агитация за обращение к Лиге Наций с просьбой о возвращении Германии колоний, как «подобает всем цивилизованным народам»), не встречает со стороны с.-д. никакого отпора; отдельные видные с.-д. проявляют к этой кампании совершенно явное сочувствие. Гораздо важнее для нас в этом отношении колониальная политика английского рабочего движения.

III.

Как мы уже упоминали, влияние колониальной политики на рабочие массы сильнее всего в Англии. Размеры Великобританской колониальной империи, роль колоний в экспорте и импорте метрополии и др. делают вполне понятным тот факт, что как английское профдвижение, так и образовавшаяся в 1900 г. рабочая партия всецело плыли по фарватеру британского империализма. Их политика в вопросах колоний в лучшем случае ничем не отличалась от политики либералов.

Эта политика не изменилась и после войны. Опять-таки, в лучшем случае, она сводилась к воспитанию в массах английских рабочих того отсутствия интереса к положению колониальных рабочих, той пассивности по отношению к империалистской политике Англии, которую с таким трудом приходится теперь преодолевать даже в своих рядах революционному меньшинству

[1]) Noske, Kolonialpolitik der Socialdemokratie, Berlin 1914.

английского пролетариата и которая фактически играет на руку буржуазии.

Но на верхах английского тред-юнионизма и рабочей партии это содействие колониальной политике буржуазии является гораздо более активным. С чрезвычайной яркостью это сказалось во время 9-месячного «опыта» рабочего правительства. Если в отдельных отраслях внутренней политики рабочее правительство делало хотя бы жалкие, крохоборческие попытки мелких административных реформ, то в области колониальной политики оно всецело продолжало «славные» традиции своих предшественников. Об этом, еще в самом начале деятельности правительства Макдональда, было совершенно откровенно заявлено «рабочим» министром колоний, виднейшим профсоюзным вождем и героем «черной пятницы»—Томасом. В своей речи на банкете в честь принца Уэльского он изрек:

«За последние 5 дней наша страна пережила нечто в роде бескровной революции. Крупные перемены произошли без всяких потрясений и беспорядков. Британский финансовый и торговый мир продолжает работать дальше, как будто ничего не произошло. Меньше всего перемена правительства обеспокоила принца Уэльского и его славного отца, потому что они знали, что патриотизм и любовь к Британской империи, служение и долг перед государством не являются делом или монополией определенного класса или определенного верования. Все это говорит о том, что эта старая страна и эта старая империя будут существовать дальше. Мой предшественник на посту руководителя колониями, герцог Девонширский, без колебания передал мне все свои обязанности и весь свой опыт, несмотря на то, что нас разделяют политические и социальные воззрения. Я надеюсь, что в будущие годы наследники нынешнего правительства смогут о нем сказать, что мы ничего не сделали такого, что ослабило бы Британскую империю, которой мы все так гордимся. Я принял порученную мне должность с гордостью, потому что я вспоминаю те дни, когда я был 10-летним уличным мальчиком, и с благодарностью по отношению к конституции, делающей возможным, чтобы вчерашний чистильщик машин ныне стал министром. Такая широта конституции должна быть защищена, и империя, имеющая такую конституцию, должна быть сохранена».

Совершенно аналогичные по содержанию заявления неоднократно делались и главой рабочего правительства, Макдональдом.

Практическая колониальная политика Англии в этот период вполне соответствовала этим заявлениям. Рабочее правительство боролось с индийским национальным и рабочим движением так же, как и его предшественники, неоднократно подчеркивая и показывая на деле, что британские власти в Индии (персонально оставшиеся неизмененными) встретят полную поддержку при подавлении революционных выступлений. В Месопотамии британские аэропланы продолжали бомбардировку «бунтующих» деревень. Макдональд категорически отказался вывести английские войска из Египта и Судана, не желая итти в вопросе об египетской автономии ни на шаг дальше, чем консерваторы и либералы. В его инструкциях верховному комиссару Египта, консервативному лорду Алленби, социал-империалистская подоплека рабочего правительства выступает с особенным цинизмом. Аппарат колониального управления остался в целом совершенно нетронутым, всосав лишь (и всецело переварив) несколько видных профессионалистов, вроде известного О-Грэди, назначенного губернатором Тасмании.

Колониальная политика рабочего правительства была одной из позорнейших страниц его бесславной деятельности. Но она лишь отражала как империалистические предрассудки широких рабочих масс Англии, так и непосредственную заинтересованность их верхушки в колониальной эксплоатации.

Однако экономические взаимоотношения Англии с ее колониями в результате войны и послевоенного развития значительно изменились. Быстрый рост промышленности почти во всех колониях, все большая их экономическая самостоятельность и вытекающие из нее стремления к политической независимости постепенно расшатывают гордое здание Британской империи.

Вследствие этого британский капитал все в меньшей степени может системой мелких уступок удовлетворять экономические требования хотя бы верхушки английских рабочих и этим смягчать в метрополии классовые конфликты и противоречия.

Что еще важнее, Англия все более перестает быть центральной промышленной мастерской гигантской сырьевой и аграрной империи.

Для метрополии этот неумолимо развивающийся процесс предвещает дальнейшее сокращение промышленности, затруднения сбыта, усиление безработицы.

Английская буржуазия частично компенсирует эти процессы путем усиления экспорта капитала в колонии, обеспечивающего ей другим путем сохранение прежних прибылей. Общая сумма английских капиталов, вложенных за границей, оценивается в настоящее время в 3 миллиарда фунтов, а официальная оценка прибылей, полученных таким путем английскими капиталистами составляла за 1924 г. 220 миллионов фунтов [1]). Эта сумма вместе с доходами от других форм так наз. «невидимого экспорта» покрывала пассивность торгового баланса. Эта сумма годовой сверхприбыли одной лишь Англии почти равна, приведенной выше из книги Ленина, цифре довоенных доходов от вывоза капитала всех империалистических государств. Значительную часть этих доходов от экспорта капитала дают Англии ее колонии.

Так, по данным индийского буржуазного экономиста Нараяна [2]), английские капиталы, помещенные в Индии до 1910 г. включительно, составляли 365 миллионов фунтов стерлингов. Для настоящего времени эту цифру надо увеличить во много раз. На это указывают хотя бы данные об акционерных обществах, зарегистрированных вне Индии, но работающих в пределах Британской Индии. Подавляющее большинство этих обществ были английскими. В 1911 г. капитал этих акц. обществ составлял 72 миллиона фунтов, в 1920—1921 г.г. уже 495 миллионов фунтов. Экспорт капитала из Англии в Индию после войны дает огромный скачок вверх. Сумма ежегодного вывоза капитала в Индию еще в 1919 г. составлявшая лишь $1\frac{1}{2}$ миллиона фунтов, в

[1]) «Times trade supplement», 2. мая 1925 г.
[2]) Бридж Нараян, Народное хозяйство Индии, «Моск. Раб.», 1925.

1923 году составляла уже 25 миллионов, а в 1922—даже 36 миллионов. Все более усиливающаяся за последние годы конкуренция с туземным индийским капиталом и особенно начало таможенной покровительственной политики Индии еще более усиливают экспорт в Индию английского капитала (вместо товаров) и постройку им в Индии фабрик для удержания местного рынка.

Для рабочего класса Англии этот выход не сулит ничего хорошего. Следовать в колонии вслед за капиталом английский рабочий не может, так как его встретит там ожесточенная конкуренция туземной рабочей силы, также начавшей выделять достаточно широкую квалифицированную верхушку. Английская эмиграция в колонии сокращается с каждым годом, и все разговоры английской буржуазии о ее усилении, вплоть до грандиозных планов «эвакуации» в колонии 1½ миллиона безработных, являются лишь блеффом.

Все это делает психологически понятным тот факт, что верхушка английской рабочей аристократии в известном отношении становится более империалистической, чем буржуазия, и социал-предательские лакеи спешат превзойти господ в преданности империи и настойчивости попыток к ее консолидации.

Правда, не следует, как теперь это часто делается, переоценивать темп экономического распада Британской империи. Старый британский лев таит еще в своих когтях большие силы. Английская буржуазия делает судорожные усилия, чтобы задержать и предотвратить распад империи.

Эти усилия, хотя бы они в конечном счете и оказались безнадежной попыткой задержать колесо истории,—на более или менее длительный период, могут все же оказаться хотя бы частично успешными. Достаточно отметить, помимо лихорадочной военной и дипломатической деятельности британских агентов на Ближнем и Дальнем Востоке, хотя бы грандиозную работу, фактически, английского нефтяного треста Шелла по спайке английской империи путем дополнения ее рассеянных по всем морским путям вселенной угольных станций нефтяными. Как мы уже упоминали, во всей этой лихорадочной работе английского империализма он находит себе вернейшего помощника в реформистском рабочем движении.

В частности, надо отметить новые колониальные проекты Болдуина, стремящегося связать Британскую империю с доминьонами путем особых торговых соглашений, на деле равносильных системе имперских пошлин (Imperial preferance), которую даже консервативное правительство, провалившееся на этом в 1923 г., не решается еще выставить открыто. План Болдуина имеет в виду создание имперского экономического комитета, торгующего в метрополии пищевыми продуктами доминьонов за счет сокращения иностранного импорта. Делая доминьонам известные экономические уступки, Болдуин стремится взамен обеспечить возможность стратегической консолидации империи.

Не входя здесь в подробное обсуждение этого плана и в анализ его внутренних противоречий, нам важно лишь отметить, что все эти проекты, несомненно являющиеся одной из последних надежд британского империализма, встретили живейшую поддержку английского рабочего движения. Независимая рабочая партия, вожди рабочей партии, включая ее левое крыло, «Дэйли

Геральд» и др. дружно расхваливают план Болдуина, об'являя его «социалистическим мероприятием».

Этот последний штрих политической программы английского рабочего движения является лишь последовательным выводом его систематических стремлений связать рабочих Англии с их эксплоататорами против колониальных рабочих и к соответствующей поддержке всех мероприятий концентрированного финансового капитала и его приказчика—буржуазного государства.

Чрезвычайно характерной иллюстрацией отношения английских профсоюзов (и, несомненно, большинства организованных рабочих) к колониальному вопросу является дискуссия об «условиях труда на Дальнем Востоке» на Гулльском конгрессе тред-юнионов в 1924 г. [1]). Отчет Генерального Совета конгрессу повествует о любопытной сцене происшедшего еще в апреле 1924 г. приема министром торговли Сиднеем Веббом специальной делегации Генерального Совета во главе с Перселлем, пред'явившей требование о снятии с британских судов западнее Суэцкого канала всех азиатских моряков. Для того, чтобы при этом не проскочили китайцы, указывающие на то, что они родились в Гонконге и являются британскими подданными, представитель союза моряков и кочегаров заявил, что их надо подвергать такому экзамену в английском языке, «которого не выдержит ни один китаец, если он не кончил Кэмбриджа или Оксфорда». Такому же карантину должны подвергаться арабы, которые «еще опаснее для британских моряков». Достопочтенный Сидней Вебб, вынужденный лавировать между интересами судовладельцев, предпочитающих дешевый цветной труд, и групповыми интересами белых моряков, отделался от делегации ничего не говорящими фразами.

На Гулльском конгрессе вопрос был поднят снова и, наряду со слащавыми речами об «ужасных» условиях труда на Востоке и призывами к Альберу Тома из Международного Бюро Труда «изучить» этот вопрос, раздавались откровенно шовинистические заявления о необходимости искоренения цветной опасности, в частности из «моральных» соображений о многочисленных маленьких метисах, бегающих теперь по английским портовым городам.

В результате, Гулльский конгресс, в области международного профдвижения несомненно бывший значительным шагом вперед, по колониальному вопросу принял единогласно с особо подчеркнутым единодушием реакционнейшую резолюцию, гласящую:

«Настоящий конгресс протестует против продолжающегося пользования трудом китайцев и другой дешевой рабочей силой из Азии на английских пароходах и предлагает Генеральному Совету конгресса обратиться к правительству с тем, чтобы оно внесло законопроект, запрещающий наем этих рабочих на британских судах, плавающих к западу от Суэцкого канала. С'езд также требует, чтобы правительство в то же время приняло меры к репатриации безработных азиатов, находящихся в различных портах нашей страны»...

[1]) Report of the 56 annual congress of trade-unions in Hull.

Мы так подробно остановились на этом, на первый взгляд мелком, вопросе, так как он является характерным отражением не только настроений верхушки английских рабочих по отношению к своим колониальным собратьям, но и взаимоотношений между белыми и цветными рабочими там, где им приходится работать бок-о-бок. На последнем вопросе мы еще остановимся в дальнейшем, при описании основ реформизма в самих колониях.

Но прежде необходимо отметить роль белых рабочих в английских доминьонах, где, за исключением Южной Африки, они составляют большинство пролетариата. Доминьоны, особенно усилившиеся экономически во время войны, постепенно становятся все более самостоятельными государствами, во многих отношениях соперничая со своей метрополией. Но в то же время, в общем и целом, они все еще служат как бы промежуточными звеньями аппарата британского империализма, его лишь начинающими действовать за свой страх и риск помощниками. Мы видим в послевоенный период развитие самостоятельного или полусамостоятельного империализма доминьонов, проявившегося хотя бы в методах хозяйничанья австралийского правительства в Новой Гвинее, Южно-Африканского—в переданных ей Версальским миром бывших германских колониях Юго-Западной и Восточной Африки. Империалисты доминьонов стремятся превзойти своих европейских учителей, вводя в своих новых владениях открыто рабские формы труда.

И в этой своей колониальной политике молодой капитализм доминьонов встречает еще более активную поддержку рабочих организаций, чем великобританский империализм в Англии. Так, например, кампания, поднятая местной буржуазией в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и даже в Индии за введение защитных пошлин, находит широкую поддержку организованных рабочих. Основной лозунг рабочих организаций доминьонов — «защита от иностранного труда». По отношению к европейскому труду рабочие союзы доминьонов пытаются добиться этой цели, отгородившись защитными пошлинами от европейских товаров; по отношению к дешевому труду китайцев—путем ограничений эмиграции. Состоявшийся в прошлом году всеавстралийский рабочий конгресс единодушно высказался за повышение пошлин. В 1925 г. рабочая пресса Австралии подняла широкую кампанию протеста против передачи правительством в Англию сооружения «австралийских» броненосцев, доказывая выгоды постройки их «у себя».

Словом, повсюду в доминьонах мы видим, проявляющееся в еще более явных формах, чем в Европе, соглашение верхушки белых рабочих со «своей» буржуазией во славу успехов отечественного капитализма. Наиболее ярким проявлением этих соглашений являются пресловутые рабочие правительства Австралии и Новой Зеландии или нынешнее коалиционное правительство Южной Африки, где 2 рабочих министра стремятся побить рекорды социал-империалистского лакейства.

IV.

В значительной степени сходным с Англией, но в соответственно меньших размерах, было влияние колониальной политики на рабочее движение Голландии. Эта старая колониальная страна когда-то господствовала на Индийском океане и владела значительной частью нынешних английских владений. Ее колониальная империя значительно сократилась, но все же обладание богатейшими островами Индонезии с площадью в 730.000 англ. миль и населением в 50 миллионов, т.-е. в 7 раз большим метрополии, является еще до сих пор неиссякаемым источником сверхприбыли. Еще 100 (!) лет тому назад прибыль, принесенная Нидерландам Ост-Индской компанией, владевшей Индонезией, оценивалась в голландском парламенте в 2 миллиарда гульденов, не считая «незаконных» поборов чиновников и т. п. Сумма по тому времени грандиозная. В 1884 г. пресловутый «долг чести» Фан-Ден-Берха исчислялся в $1\frac{1}{2}$ миллиарда гульденов [1]). В настоящее время одни лишь банки дают многие сотни миллионов ежегодно. Плантации, транспортные предприятия и др. дают неизменно 40—50% годовой прибыли. Общая сумма иностранного капитала, вложенного в Индонезии, составляет около пяти миллиардов гульденов, а ежегодная сверхприбыль не меньше 300—500 миллионов. Правда, эксплоатация в Индонезии ведется теперь в международном масштабе и голландскому капиталу приходится делиться с английским и американским, но все же голландский капитал составляет 70% всех капиталов, вложенных в предприятия Индонезии; кроме того на его долю остается не мало хотя бы посреднических доходов косвенно связывающих и выдающих буржуазии рабочее движение метрополии. Это сыграло немаловажную роль в устойчивости голландского реформизма, его значении в международном рабочем движении, в частности превращении этого относительно провинциального уголка Европы в центр Амстердамского Профсоюзного Интернационала. Немудрено, что голландские с.-д. во главе с Рульстрой и реформистское профдвижение являются горячими защитниками колониальной политики, разумеется, прикрашивая ее «цивилизаторской» оболочкой.

Место не позволяет нам останавливаться на отношении реформистского рабочего движения к колониальной политике других европейских государств—Франции, Бельгии, Италии и др. При всем различии экономической и военно-стратегической роли колоний для буржуазии соответствующих стран, политика реформистов в колониальном вопросе более или менее аналогичны вышеприведенным примерам. Надо подчеркнуть лишь отношение бельгийской соц.-демократии к вопросу о Конго, как ярко отразившееся в гнуснейшей книге [2]) б. министра труда Вотерса о его поездке в «нашу» колонию, «облагодетельствованную бельгийской цивилизацией».

V.

В еще более отчетливых и откровенных формах, чем в Европе, «рабочий империализм» и соучастие верхушки рабочего класса в колониальной политике буржуазии проявляется в Соединенных Штатах Америки.

---

[1]) Тан Малакка, Индонезия. Госиздат, 1925.
[2]) J. Wauters, Le Kongo au Travail, Bruxelles 1924.

После всего изложенного нами раньше о характере американских рабочих организаций, в особенности профсоюзов[1]), это и не удивительно.

Соединенные Штаты сравнительно поздно вступили на путь колониальных завоеваний. За короткий срок в пару десятков лет они прибрали к своим рукам все, что было возможно, т.-е. не находилось еще в руках других крупных империалистических хищников. В их руки перешли Куба, Филиппины, Гаити, Порто-Рико. В результате войны и послевоенного роста мощи Соединенных Штатов вся Центральная Америка стала фактической колонией американского капитала. Его щупальцы все крепче охватывают Южную Америку и протягиваются на Дальний Восток, вовлекая его в орбиту своей колониальной политики.

Вся эта экспансия от начала до ее современных форм шла при активнейшей поддержке Американской Федерации Труда, в свое время благословившей испанскую войну и ее завоевания. Недаром представителей АФТ, об'езжающих теперь средне-американские вотчины, местные губернаторы, «президенты» и парламенты встречают с царскими почестями, пушечными салютами и т. п.

За услуги, оказываемые капиталу в проведении его империалистических задач, организованная верхушка рабочих Соединенных Штатов получила вознаграждение в виде согласия правительства на ограничение иммиграции.

Правда, эта подачка значительно ослабляется посредством иммиграции дешевого цветного труда косвенными путями и переселения негров в северные промышленные штаты, но самый лозунг «защиты от иностранного труда» продолжает в Соединенных Штатах играть не малую роль в создании психологии рабочего империализма. Метод, при помощи которого американская профбюрократия содействует империалистической политике капитала, помимо широчайшей агитации внутри страны, воспитания рабочих масс и особенно молодежи в духе «американизма», законодательного давления, требования постройки новых военных судов, всеобщей воинской повинности и т. п., состоял в воздействии на рабочее движение стран, где американский капитал начинает орудовать. АФТ систематически стремится это молодое рабочее движение развратить, подкупить, распылить, словом, перестроить по образцу своих собственных организаций и этим с головой выдать врагу—капиталу Соединенных Штатов. Для систематического проведения этой работы должна была служить с такой помпой созданная Гомперсом Панамериканская Федерация Труда. Созданная в конце 1918 года и об'единяющая осколки рабочих организаций стран, всецело зависящих от капитала Соединенных Штатов, она помещается в здании АФТ, руководится ее аппаратом и всеми средствами проводит ее колонизаторскую политику.

Правда, как об'единение действительно рабочих организаций, Панамериканская Федерация является в значительной степени комедией. На свои конгрессы она набирает большей частью подставных делегатов из чиновников американских консульств, решительно никого не представляющих. Протоколы конгрессов, как и финансовые отчеты правления не опубликовываются,—повидимому, и не ведутся,—благо, американский дядюшка готов оплатить все расходы.

[1]) «Под Знаменем Марксизма» № 3—Социальные основы реформизма и «Красный Интернационал Профсоюзов»—№ 2—3—Тенденции реформистского профдвижения.

Единственные организации, действительно входящие в Панамериканскую Федерацию, помимо АФТ,—это Федерация Труда Мексики и союзы Сан-Доминго и Порто-Рико. Но это ничуть не мешает проведению при ее помощи американской империалистической политики, особенно в наиболее зависимой от капитала Соединенных Штатов Центральной Америке. В Южной Америке Панамериканская Федерация лишь начинает свою «работу», встречая, особенно в Аргентине, ожесточенное сопротивление. Для того, чтобы лучше подойти к рабочим организациям латинской Америки, гомперсовская идеология подкрашивается «для экспорта» отдельными революционными фразами, несколько приспособляющими ее к туманным революционным тенденциям южно-американского синдикализма. Но, несмотря на эту защитную окраску, характер Панамериканской Федерации все же достаточно откровенно выпирает наружу. Поэтому ознакомиться с ее «идеологией» и формами услуг, оказываемых ею американскому капиталу, лучше всего, приведя несколько цитат из первоисточников—статей и заявлений основателей и вдохновителей Панамериканской Федерации. Вот, например, выдержки из передовицы Гомперса под характерным заглавием «Стремление служить» [1]) (американскому капиталу? *М. Р.*): «Создание Панамериканской Федерации Труда со стороны Американской Федерации Труда дало последней возможность внести свою значительную лепту в дело американского благосостояния и прогресса. Панамериканская Федерация Труда является единственной из всех существующих международных организаций рабочих, не связанной политической философией революционного характера и не враждебной правительствам тех стран, профсоюзы которых входят в нее. Это—единственная чисто экономическая международная организация рабочих, и она поэтому имеет наиболее крепкий и существенный фундамент из всех международных организаций.

«Наиболее замечательным и исторически важным является содействие, оказанное Панамериканской Федерацией Труда установлению демократического и конституционного правительства в мексиканской республике за последние 4 месяца. Это вполне соответствовало желаниям и целям Мексиканской Федерации Труда, мексиканской секции Панамериканской Федерации. В течение всего восстания, руководимого Адольфом дела-Хуэрта, Мексиканская Федерация Труда находилась в постоянной связи и переписке с Панамериканской Федерацией Труда и проводила общую политику...

«Панамериканская Федерация Труда первая потребовала от американского правительства воспрещения вывоза оружия мексиканским повстанцам, при чем это требование было скоро проведено в жизнь. В то же время Американская Федерация Труда откомандировала специальных организаторов для того, чтобы следить за границей и морскими портами в попытке предотвратить контрабандный вывоз оружия.

[1]) American Federationist, 1924, июнь.

«Панамериканская Федерация Труда является результатом проявленного Американской Федерацией Труда в течение многих лет интереса к благополучию рабочих всех американских республик и необходимости создания общей опоры для всех национальных профсоюзных движений для того, чтобы они могли действовать совместно по вопросам, задевающим их общие интересы. Это есть конкретное выражение политики Американской Федерации Труда в связи с международными отношениями на американском континенте.

«Хотя главным интересом и целью Панамериканской Федерации Труда является защита и укрепление прав и интересов рабочих панамериканских стран, она также принимает вполне законный интерес во всем том, что задевает благосостояние различных народов западного полушария, и в поддержке добрососедских отношений между этими народами и их правительствами.

«Одним из наиболее важных достижений Панамериканской Федерации Труда является устранение, в значительной мере, существовавших в течение многих лет недоразумений между Соединенными Штатами и большинством латинско-американских республик.

«Панамериканская Федерация Труда является самым мощным средством для реабилитации Соединенных Штатов, ее национальных идеалов и учреждений в умах латинско-американского населения западного полушария. Простой и достаточной причиной этого является то, что в своих отношениях с различными американскими республиками она ничего не добивается и ничего не берет, а рассматривает их всех единственно с целью быть им полезной».

Еще откровеннее выбалтывает смысл существования Панамериканской Федерации один из агентов Гомперса в Латинской Америке, Иглезиас,—руководитель союзов Порто-Рико [1]):

«Деятельность Панамериканской Федерации Труда, с самого ее основания направленная к установлению близких отношений и большего доверия и сочувствия среди народов латинско-американских республик и Соединенных Штатов, проводилась в крупном масштабе и польза ее неоценима. Правительство Соединенных Штатов до сих пор не считалось с тем, каким мощным орудием создания доброжелательности и искренней дружбы и увеличения популярности Соединенных Штатов в качестве миролюбивой нации, является участие Американской Федерации Труда в работе Панамериканской Федерации. Никакая другая организация не имеет той возможности завоевать доверие и дружбу наших южных соседей, как Американская Федерация Труда при посредстве Панамериканской Федерации Труда. Недовольство и недоверие к Соединенным Штатам, культивируемые среди латинско-американских народов теми американцами, единственным интересом которых является погоня за долларом, в сильной степени смягчаются влиянием, выступлениями и решениями Панамериканской Федерации Труда и искренним обменом мнений и впечатлений со стороны представителей рабочих делегаций, посетивших за последние несколько лет некоторые из стран Латинской Америки, наиболее важной из которых была делегация Американской Федерации Труда, посетившая Мексику в 1918 г. (когда Мексика была полна германской пропагандой). Трое членов тогдашней делегации, назначенной президентом Гомперсом, нашли мексиканскую атмосферу насыщенной предрассудками, созданными пропагандистами, враждебно настроенным по отношению к Америке. Однако, после того, как они открыто об'явили о целях своего приезда, им удалось завоевать сочувствие и доверие мексиканских рабочих к великому недовольству всех тех, кто делал все возможное, чтобы препятствовать работе делегации.

[1]) American Federationist, 1924, ноябрь.

«Когда станет возможным послать делегацию Американской Федерации Труда во все страны западного полушария в тех же целях, которые преследовались президентом Гомперсом при посылке рабочих миссий в Мексику и Центральную Америку, народы этих стран получат возможность полностью оценить работу Панамериканской Федерации Труда и ее задачи в странах западного полушария и в результате популярность и престиж Соединенных Штатов в качестве страны, любящей справедливость, будет укреплена среди этих латинско-американских народов».

Это откровенное лакейство тем более характерно, что американский хозяин третирует своих агентов, совершенно не стесняясь, и в каждой мелочи предает элементарнейшие интересы туземных рабочих Центральной Америки. Вот, например, заявление Гомперса об «условиях жизни и работы в зоне Панамского канала» [1]), куда он ездил по поручению Портландского с'езда АФТ вследствие волнений, вызванных резким ухудшением условий труда по правительственному приказу 1922 г.:

«Зона Панамского канала, представляя собою коммерческий пункт, является в то же время военной зоной, в такой же мере, как и любая крепость или военный пункт какой-либо другой части Соединенных Штатов, и мы считаем сомнительным, следует ли нанимать на работу в наших аванпостах на Тихом Океане людей, не являющихся американскими гражданами. Возможно, что при найме иностранного «дешевого труда» можно кое-что с'экономить, но мы вынуждены заключить, что это является скряжничеством наихудшего типа. Это может оказаться более дорогим, чем можно себе представить или вообразить. Зона Панамского канала не является простым делом прибыли; она представляет собою великого защитника американских прав, интересов, благоденствия и безопасности. Из того, что мы видим здесь, становится совершенно ясно, что с военной точки зрения канал почти совершенен. Но мы не можем побороть то чувство, что без изменений некоторых условий остается большая слабость, могущая стать опасностью изнутри».

Из всех этих цитат становится совершенно ясной роль Панамериканской Федерации Труда, прокладывающей и облегчающей американскому империализму дорогу на юг, разведывающей там почву, всеми мерами пытающейся оказать давление на массы туземных рабочих, заставить их беспрекословно подчиняться политике американских банкиров.

[1]) American Federationist, 1924, III.

С'езд Эль Пазо был предсмертной «лебединой» песнью Гомперса. На нем получила свое окончательное завершение пресловутая «доктрина Монроэ Труда», означающая, что АФТ будет бороться всеми мерами против попыток эксплоатации рабочих латинской Америки кем-либо другим, кроме своих «родных» американских капиталистов.

После смерти Гомперса продолжение его дела попало в верные руки.

Кроме Иглезиаса, физиономия которого ясна из вышеприведенной цитаты, преемником Гомперса в Панамериканской Федерации стал Матвей Волл, которому принадлежит следующая оценка с'езда в Эль-Пазо: «Важнейшей особенностью с'езда в Эль-Пазо была тесная кооперация рабочего движения Соединенных Штатов, Мексики и Канады. За этим должны последовать тесные связи трех правительств и народов. Без сомнения я предвижу «доктрину Монроэ Труда». Под ней я понимаю совместное противодействие попыткам иностранного капитала или иностранного труда найти опору в концессиях, собственности или экономических принципах и стремлениях Америки».

Опираясь на сильный аппарат АФТ и, что еще важнее, на мощную поддержку американской буржуазии, Панамериканская Федерация несомненно будет продолжать свою «работу» по прежнему пути.

Выдачу мексиканского рабочего движения американским концессионерам она уже провела с несомненным успехом, подавив сопротивление коммунистов.

Профдвижение Канады давно уже является органической частью так называемых интернациональных союзов Соединенных Штатов, ничем не отличаясь от них по характеру, развращенности и подкупности. Это крайне облегчает американскому капиталу проникновение его в Канаду, развивающееся после войны с каждым годом.

Недаром представитель интернациональной ассоциации машинистов проводит на канадских государственных железных дорогах пресловутый план Балтимора—Огайо.

В еще более широком масштабе рабочий империализм АФТ сказывается в ее содействии проведению плана Дауэса—этой грандиозной попытке американского капитала обеспечить преобладание Соединенных Штатов в колонизации Германии, а затем и почти всей Европы. Не говоря уже о полнейшей и безоговорочной поддержке плана Дауэса, пропаганде за него и т. п. (все это проделывает и II и Амстердамский Интернационалы), АФТ начала хитроумный шахматный ход для воздействия на европейское рабочее движение.

Европейские реформисты и сами в восторге от миротворческого плана агента Моргана. Он для них—последняя соломинка, последняя надежда на стабилизацию европейского капитализма при помощи животворящего «солнца доллара». Но американские рабочие империалисты, следуя директивам своих хозяев пытаются еще более подтолкнуть усердие и рвение европейских реформистов. Отсюда на все том же с'езде в Эль-Пазо лобызания Гомперса с представителем АДГБ Грассманом, толки о сближении АФТ с Амстердамом, надежды правого крыла Амстердама на финансовые субсидии АФТ, могущей на эти цели получить от

Моргана и К° неограниченные средства. В заботах о прибылях своих хозяев, американская рабочая аристократия перестает сознавать, что, переборщив в этом вопросе, она подрезывает свою же социальную основу, содействуя экспорту финансового капитала Америки в европейские предприятия и, таким образом, косвенной конкуренции дешевого европейского труда.

Она разделяет в этом отношении столь частую и по сути неизбежную социальную слепоту буржуазии. К тому же верхушка рабочей аристократии, определяющая тактику ее организаций, как мы видели, настолько срослась персонально с капиталистической олигархией, что надеется на долю участия в непосредственных прибылях от экспорта капиталов.

VI.

Еще с большей ясностью сказывается подкуп верхушки рабочего класса колониальной прибылью непосредственно в самих колониях, где капитал использовывает белое рабочее население в качестве своего жандарма, верного погоняла цветных рабов.

Яркие иллюстрации этого положения мы можем найти в любой колонии, от глухих уголков Центральной Африки до быстро, с чисто американским темпом, развивающихся по пути индустриализма областей Южной Африки, Индии, Голландской Индии, Китая и др.

Проследим взаимоотношения белых и цветных рабочих более подробно хотя бы на примере Южной Африки. По переписи 1921 г. [1]), в ней имелось 1.561.982 белого населения и 5.148.948 туземцев. В промышленности и горнозаводском деле общее число белых рабочих составляет 36%, цветных—64%, при чем лишь в нескольких высококвалифицированных производствах (типографии) число цветных туземцев меньше 50%, а в обработке сырых материалов они составляют 91%. Среди с.-х. пролетариата туземцы составляют, понятно, подавляющее большинство (358.973 туземцев и 54.621 белых).

Несмотря на быстрый рост категории так наз. «белых бедняков» (poor whites), приток обнищавшего и сознательно разоряемого капиталом черного земледельческого населения несравненно выше. За последние годы «белые бедняки», большею частью разорившиеся голландские фермеры, принуждены браться за любые работы, оплачиваемые немногим выше туземцев. Но, в общем, большинство белых рабочих, главным образом, англичане, работают еще в качестве надсмотрщиков, мастеров и квалифицированных рабочих, занимая привилегированные должности, доступ к которым они самым тщательным образом охраняют от неквалифицированной массы цветных.

Разница в зарплате белых и цветных рабочих огромна. В 1920 г. 39.813 белых рабочих было выплачено более 14½ миллионов фунтов стерлингов, а 281.078 туземных и цветных рабочих лишь 8.292.620 фунтов. В среднем зарплата туземцев в 5 раз меньше оплаты белого рабочего, но во многих важнейших отраслях производства (золотые и алмазные россыпи) белый полу-

[1]) Цифровые материалы взяты из Statesmen Yearbook, South African Yearbook и докладов южно-африканской компартии...

чает в 10 раз выше черного, кое-где даже в 15 раз. В каменноугольных копях зарплата белых по данным 1920 г. колеблется от 20 до 30 шиллингов в день, а зарплата цветных—от 40 до 60 шиллингов в месяц. Дешевизна труда цветных рабочих поддерживается рядом хитроумных правительственных мероприятий, из числа которых надо отметить насильственную пролетаризацию земледельческих племен путем сокращения их земельного фонда, огромные денежные налоги, в некоторых районах законы о принудительном труде (не менее 3 месяцев в году за пределами округа), наконец, сложные правила о паспортах для туземцев (Pass Law), приводящие к тому, что черный должен под угрозой ареста соглашаться на любую предложенную ему работу на любых условиях. Все эти правительственные мероприятия, продиктованные концентрированным капиталом во главе с об'единением горнозаводских предпринимателей, встречают живейшую поддержку белого рабочего населения, в особенности рабочей партии и профсоюзов. Последние стремятся лишь дополнить их созданием так наз. цветных барьеров, устанавливающих определенное соотношение цветного и белого труда в основных производствах и в определенных профессиях. Эти цветные барьеры уже не соответствовали целям крупного капитала. Они были прорваны в потоках крови восстания на Ранде 1922 г., вызванного требованием предпринимателей уничтожить цветные барьеры и заполнить ряд полуквалифицированных профессий цветными.

«Дворцовая революция» в Южной Африке—переход парламентского большинства в руки коалиционного правительства с участием рабочей партии—вызвала новое усиление тенденций к укреплению цветных барьеров и изоляций квалифицированного белого пролетариата, зубами держащегося за свои привилегии и ведущего откровенную «политику рабского труда». Это им кажется более легким, чем совместные с цветными организация и борьба. Новые законы в этом направлении, вошедшие в силу в 1925 г. и делающие невозможным доступ туземцев на ряд работ горной промышленности, были одной из причин недавнего восстания негритянских племен.

Довольно сильные союзы белых рабочих, в первую очередь союз горняков, тщательно изолируются от туземцев, не принимая их в свою среду и усиленно культивируя расовые предрассудки. Предприниматели чрезвычайно умело разжигают эту «расовую» вражду, использовывая туземцев на роли штрейкбрехеров при забастовках белых и при помощи белых рабочих срывая выступления туземцев.

О социал-империалистических выступлениях рабочей партии и профсоюзов Южной Америки мы уже упоминали выше.

Во всей этой картине мы видим в необычайно ярких и законченных формах по существу те же взаимоотношения квалифицированной рабочей аристократии и остальной массы пролетариата, которые мы уже разбирали на примере ряда стран Европы и Америки. Расовые различия, затемняя картину в сознании широких рабочих масс, по существу не меняют ее социального содержания.

Почти аналогичное положение мы находим и в Британской Индии, где немногочисленный белый пролетариат (около 15.000 на фабриках и 80.000 на ж. д.), вывезенный из Англии, долгое время почти монополизировал места мастеров, надсмотрщиков и квалифицированные работы, особенно на жел. дорогах. Как пишет тов. Рой, «эти рабочие показали себя достойными членами класса эксплоататоров; оседая в Индии, они растворялись в среде колониальных повелителей. Английская рабочая аристократия непосредственно помогала капиталу эксплоатировать громадную массу туземных неквалифицированных рабочих, получавших жалкие гроши, за счет которых платились первым высокие ставки и награды» [1]). Немудрено, что эти белые рабочие и их организации были опорой самого беспросветного реформизма, важнейшим оплотом английского владычества. Правда, за последнее время индусы начинают вытеснять белых из ряда квалифицированных профессий. В особенности быстро идет вытеснение англичан туземной интеллигенцией во всех областях интеллектуального труда. За последнее время замещается индийцами даже высший административный персонал на предприятиях. Но это лишь еще крепче бросает белых рабочих на защиту английского империализма, создавая в то же время в индусской интеллигенции и служащих основную опору реформистского крыла национального движения.

То же мы видим и в Голландской Индии, где союзы белых рабочих и служащих, в особенности ж.-д. чиновников, насчитывающие около 60.000 членов, систематически играют роль штрейкбрехеров и вернейших помощников голландского владычества.

Отдельные примеры, по существу, таких же взаимоотношений мы найдем во всех уголках земли вплоть до каждой колониальной плантации, где белый надсмотрщик составляет важнейшее орудие империализма.

Фактически тот же самый характер носят взаимоотношения белого и черного труда в Соединенных Штатах. Вообще, как мы уже видели, борьба с дешевым цветным и иммигрантским трудом является одним из основных символов веры рабочей аристократии, сплачивающим ее вокруг реформизма теснее и прочнее всяких теорий. В несомненно широком масштабе эта борьба захватывает и бросает под руководство реформистских вождей и гораздо более значительные массы белых неквалифицированных рабочих, находящихся часто не в лучшем положении, чем цветные рабы, но легко поддающихся на удочку классовой розни.

VII.

В заключение мы должны остановиться на вопросе, имеются ли известные социальные основы для возникновения реформизма среди туземного пролетариата колоний. Может ли из его среды развиться аналогичная европейская рабочая аристократия, подводящая более или менее широкую социальную базу под владычество в колониях европейского капитала или растущее влияние туземной крупной буржуазии? Этот вопрос имеет огромное значение для всего будущего мирового революционного рабочего движения, для темпа развертывания тех гигантских решающих классовых битв, в период которых вступило человечество после мировой войны.

---

[1]) Рой, Новая Индия, Гиз, 1923.

При отвлеченной постановке вопроса известная социальная база для развития туземной рабочей аристократии и, следовательно, реформистского рабочего движения в колониях несомненно может создаться.

Современная промышленность переносится в колонии в своих новейших формах, воспринимая как бы в готовом виде основные достижения техники и экономики и, таким образом, как бы перескакивая через ряд этапов, пройденных Европой или переживая их ускоренным темпом.

Мощный размах этого развития, быстрота индустриализации создают относительно значительную потребность и в квалифицированных рабочих, все в больших размерах покрываемую за последние годы из рядов туземного пролетариата. Эти рабочие, более или менее резко выделенные из своей прежней среды, сразу становящиеся как бы посредниками капитала по эксплоатации своих собратьев, выделяемые хотя бы показным налетом европейской «цивилизации» (языка, грамоты, одежды и т. п.), дают очень благоприятную почву для передачи влияния буржуазии на широкие массы трудящихся. Точно так же, как промышленность и технику, страны молодого капиталистического развития воспринимают в относительно готовом виде и формы организации борющихся классов, их методы борьбы и идеологии. По мере того, как растет и становится хотя бы потенциальной силой пролетариат колоний, нет поэтому недостатка в попытках буржуазии подкупить и развратить верхушку туземных рабочих, применяя «последнее слово техники» этого развращения из европейской и американской практики. Разделение заработной платы, использование церкви, школы, прессы, разжигание национальных противоречий—все пускается в ход. За самые последние годы мы видим также все более настойчивые попытки европейского и американского реформизма найти себе в колониях хоть какую-нибудь опору. Амстердамский Интернационал, английская рабочая партия, французские социалисты и реформистская Конфедерация Труда, прежде игнорировавшие самое существование колониального пролетариата, за последнее время начинают им усиленно интересоваться и искать путей к связи с «благонамеренными» элементами в колониях.

Известные зародыши реформизма в колониях (помимо упоминавшихся выше организаций белых рабочих) несомненно имеются и теперь.

Явно реформистскую окраску носят, например, так называемые всеиндийские конгрессы профсоюзов», созданные по образцу своего британского прототипа и всецело находящиеся в руках националистов самого умеренного толка.

Их идеология прекрасно отражается в заявлении председателя II конгресса (в 1921 г.) Баптиста, сказавшего, что «политическая позиция конгресса должна быть очищена от крайнего индивидуализма и большевизма и следовать по золотой дорожке фабианизма». А этот II конгресс, происходивший в угольном районе Джари, был относительно самым «революционным». Дальнейшие конгрессы всецело идут по пути умереннейшего реформизма, идеалом которого является Женевское Бюро Труда. Немудрено, что председателем Исполнительного Комитета, избранного последним конгрессом в феврале 1925 г., является англий-

ский либеральный миссионер Эндрьюс, известный своей филантропической деятельностью среди туземных рабочих. Практика всеиндийских конгрессов соответствует их идеологии, проявляясь в торможении и срыве стихийных стачек доведенных до отчаяния рабочих, напр., текстильщиков Бомбейского округа в начале 1925 г. Все это делается, разумеется, «в интересах национальной промышленности».

В том же духе идет в настоящее время усиленная подготовка к образованию рабочей партии Индии, при чем ее инициаторы на специально созванной конференции «рабочих лидеров» заранее предупреждают от каких бы то ни было разговоров об интернационализме, коммунизме и т. п. «Нашей основой должен быть национализм, без которого социализм не может прогрессировать. Мы должны остерегаться подчеркивания рабочей точки зрения, так как это содействовало бы иностранному капиталу» [1]).

Еще более ярким примером реформизма в рабочем движении колоний являются, напр., профсоюзы Филиппин, всецело стоящие под влиянием Гомперсовской идеологии и прекрасно воспринявшие его методы. Такого же сорта отдельные (еврейские) профсоюзы Палестины, примкнувшие недавно к Амстердамскому Интернационалу и ведущие резко шовинистическую политику по отношению к массе неквалифицированных арабских рабочих.

Но, несмотря на наличие в колониях отдельных зародышей реформизма, в общем и целом, ряд обстоятельств делают невероятной возможность создания в колониях сколько-нибудь широкого влиятельного реформистского движения туземного пролетариата.

Развитие современного капитализма в колониях в его новейших формах соединяется там с напоминающим период первоначального накопления в Европе стремлением поднять норму эксплоатации до крайних пределов, задержать, так явно сказывающуюся в Европе, тенденцию нормы прибыли к понижению и для этого сохранить чисто крепостнические рабские формы труда. Как совершенно правильно отмечает т. Бухарин, основная причина погони мирового капитала за колониями—не абстрактная проблема «реализации» Розы Люксембург, а разница в оплате труда, стремление выжать максимум прибавочной стоимости из дешевых рабочих рук [2]).

Таким образом для подавляющей массы колониальных рабочих перспективы выделения сколько-нибудь широкой аристократии, подкупаемой крохами сверхприбыли и служащей оплотом капиталистического порядка, очень мало вероятны.

Все это, на фоне пошатнувшегося капиталистического равновесия в мировом масштабе, не оставляет времени для пролетариата колониальных и полуколониальных стран пережить свою эпоху реформизма. Кроме того, и революционная идеология переносится в колонии в относительно готовом виде, сразу находя в них многомиллионную опору в лице масс пролетариата и нищего крестьянства, для которых нет исхода в сотрудничестве

---

[1]) Labour Gazette Bombay, 1925, март.

[2]) Империализм и накопление капитала, Госиздат, 1925. См. также М. Рубинштейн, Современный капитализм и организация труда, глава V: Эксплоатация труда в колониях.

с капиталом, которых капитализм не в состоянии подкупить крохами колониальной сверхприбыли.

Мы видим таким образом, как неумолимый процесс экономического развития колоний создает в Европе глубокий кризис реформизма (особенно английского), выбивая из него одну из основных социальных опор. Бросая небольшую верхушку рабочей аристократии в об'ятия еще более махрового и цинично откровенного социал-империализма, этот процесс в то же время постепенно освобождает от влияния реформизма значительные массы шедших за ним рабочих.

В то же время в самих колониях капиталистическое развитие создает массы молодого, органически революционного пролетариата, связанные с сотнями миллионов придавленного империализмом и поэтому также об'ективно революционного крестьянства.

Таким путем колониальная политика, бывшая одним из важнейших орудий обогащения и процветания европейского капитализма и соответственно этому питательной средой реформизма рабочей аристократии, становится в наше время ахиллесовой пятой мирового капитала.

(К столетию со дня смерти Сен-Симона 15 мая 1825 г.—15 мая 1925 г.).

Ранний пророк „организованного" капитализма [1]).

И. Фендель.

I.

Habeant sua fata libelli. Имеют свою судьбу книги, имеют свою судьбу и мыслители, и идеологические системы. Но трудно найти мыслителя, жизненная и историческая судьба которого была бы столь капризна, подвергнулась бы столь разнообразной оценке со стороны критиков и поклонников, как судьба Сен-Симона и его идеологической системы.

Перевоплощенный Сократ, посланник божий в своих собственных глазах, полусумасшедший разорившийся аристократ для одних, величайший гений для других; энциклопедическая голова, с одной стороны, и фантаст, излагающий видения своего бреда, хотя бы и полного гениальных намеков—с другой; до недавнего времени безусловный, неоспоримый член триумвирата великих социалистов-утопистов, а в последнее время то трезвейший реалист с социалистическими тонами, то оригинальный автор оригинальной философии истории—не утопист и не социалист; то сплошное отрицание—не утопист, не социалист, не оригинальный мыслитель, не оригинальный философ истории—и, наконец, своеобразный идеолог крупной индустрии в пореволюционной Франции, Сен-Симон стал, в конце концов, некоей, уже целое столетие творимой, легендой [2]).

Необходимо отметить, что научное расшифрование этой легенды стало возможным лишь сравнительно недавно—после большой предварительной кропотливой библиографической и исторической работы, направленной к определению того, что именно из огромной хаотической груды сен-симонистской литературы принадлежит собственно Сен-Симону и что является оригинальным творчеством его учеников, которые в порыве религиозно-мистического энтузиазма ревнителей новой школы-церкви свои собственные построения отнесли целиком на счет основателя школы.

---

1) Статья представляет часть работы о Сен-Симоне, находящейся в печати.

2) В настоящее время—после работ Мукле, Экштейна, Кунова, а в наши дни Волгина—реальное лицо полулегендарного французского мыслителя вырисовывается с полной ясностью. Это лицо не социалиста, а раннего пророка „организованного" капитализма.

Общеизвестна крайне интересная, полная глубочайших переживаний и потрясений, жизнь Сен-Симона.

Отпрыск стариннейшей аристократической семьи Франции, ведшей свой род от Карла Великого, молодой граф Анри-де-Сен-Симон, в юности ученик Д'Аламбера, пилигрим к Руссо, принимает участие в американской борьбе за освобождение, бредит грандиозными проектами (предвосхищая в конце XVIII в. идею Панамского канала), мечтает о создании великого научного труда.

Бурно приветствует он вначале Великую Революцию. Разорив его, как феодала, она отталкивает его своими эксцессами и в то же время обогащает его, развязав силы буржуазного порядка, методами буржуазного накопления (спекуляция национальными имуществами).

Следует период щедрого меценатства, блестящей утонченно-эпикурейской жизни в кругу избранного общества научных, артистических, политических светил Франции; период накопления энциклопедических знаний, как средства для осуществления «особой миссии»—создания монистической позитивной системы наук.

К 1805 г. наступает крах, Сен-Симон разорен, и до последних дней жизни он вынужден бороться с нищетой, порой доходя до отчаяния (в 1823 г. он покушается на самоубийство).

Но в эти именно тяжелые годы он создает все, что делает его бессмертным в истории социальной мысли.

В яркой индивидуальности Сен-Симона нашла сложный и богатый отзвук эпоха революционная по преимуществу, эпоха политической и промышленной революции во Франции, перехода к современному капитализму.

Сознательная жизнь Сен-Симона охватывает собою интереснейший период новейшей истории Франции (и всей Европы вообще), всю эпоху Великой французской революции, консульства, империи и реставрации.

Эпоха Сен-Симона, по существу говоря, может быть характеризована в целом, как эпоха бурного «становления» (выражаясь Гегелевским термином) буржуазно-капиталистического порядка во Франции. Муки родов капиталистического порядка и попытки их сократить и смягчить—вот что составляет содержание этой эпохи. Основной конфликт ее—конфликт между растущими буржуазными производственными отношениями и поддерживающей остатки феодальных отношений политической надстройкой—осложняется внутренними конфликтами «третьего сословия» и грозит призраком выступления на арену истории четвертого сословия. Отсюда общий тон эпохи—неразрешенность исторической задачи и идеологическая сумятица.

По существу говоря, политическая задача революции для буржуазии (мы имеем в виду, главным образом, промышленную буржуазию, которой принадлежало ближайшее будущее—в силу закона естественного развития капиталистического общества) была как будто разрешена конституцией 1791 г.—в полном соответствии с интересами этого класса. Но это разрешение оказалось только номинальным, ибо для фактического закрепления конституции в борьбе с общеевропейской коалицией сил старого порядка необходимо было радикальное решение крестьянского вопроса, неизбежной оказалась диктатура низших классов; а эта последняя была вынуждена (такова диалектика истории) творить дело капиталистического класса антикапиталистическими методами, вызывая, с одной стороны, иллюзию социального равенства в пределах товарного общества, а с другой (вне прямой цели), увеличивая кадры капиталистов, так сказать, военного происхождения с хищнической идеологией периода первоначального накопления. Победоносное завершение революционных войн, в конце концов, удаляет якобинского мавра, сделавшего свое дело, возвращает власть буржуазии, но с тем, чтобы армия, при помощи которой буржуазии удалось покончить с красным призраком, создала, в свою очередь, для охраны нового буржуазного порядка особую форму диктатуры—централизованную военно-бюрократическую монархию Наполеона.

Под благодатной сенью внутреннего гражданского правопорядка и блестящих успехов Наполеоновского оружия растет и крепнет французская промышленность, вместе с ней и промышленная буржуазия, но одновременно растет и крепнет, вырастая под покровительством того же победоносного оружия, новая знать, не только одаренная титулами, которые революция как будто похоронила навеки, но, что существеннее, деньгами и огромными земельными владениями.

Так случилось то, что буржуазия в процессе борьбы с феодальной собственностью, столкнувшись с угрозой собственности буржуазной, своими же собственными руками создала военную монархию, начавшую реставрировать феодальную собственность. Создались таким образом элементы того ублюдочного буржуазно-феодального строя, каким явился строй Франции периода реставрации. Возвращение Бурбонов, подарок полуфеодальной еще Европы растущей буржуазной Франции, не могло свести Францию с рельс капиталистического развития; основные социальные завоевания революции, заложившие основы капиталистического строя, не могли быть аннулированы, политика реставрационного правительства в общем и целом должна была следовать по пути насущнейших интересов основных групп буржуазии—преимущественно денежной и крупнейших магнатов производства угля и железа. Но масса крупной и средней промышленной буржуазии была вне «легальной страны», интересы вернувшейся феодальной эмиграции вкупе с новой знатью преимущественно определяли собою внутреннюю и внешнюю политику правительства. Любопытно то обстоятельство, что юная еще на французской почве идея парламентаризма уже переживает серьезный кризис. В роли защитников парламентаризма оказываются ультра-роялистские политические представители феодальных элементов французского общества (Шатобриан), а в роли защитников королевской власти выступают либералы, представители буржуазии (Бенжамен Констан создал даже особую теорию «нейтралитета» королевской власти, которой, согласно этой теории, предоставляется много серьезных прерогатив).

Несоответствие между политической слабостью промышленной буржуазии и ее удельным весом в экономике страны ощущается тем острее, что этот удельный вес именно в эпоху реставрации, вопреки ее феодальной политической надстройке, растет очень значительно и заметно.

Все исследователи экономической истории Франции этого периода[1]) единогласно констатируют рост французской промышленности и значительное повышение уровня ее технического базиса.

Расцвет промышленности в Наполеоновскую эпоху был в значительной степени эфемерным, искусственным, он питался военными победами, и поражения свели его на-нет. Открытие границ в 1814—1815 г.г. довершило печальную картину, вызвав иностранную конкуренцию, главным образом, английскую, с которой технически слабая французская промышленность, почти не вышедшая еще из стадии мануфактуры и домашне-капиталистической системы, не могла бороться. Усиленная протекционистская политика могла лишь смягчить кризис, но действительный выход был лишь в переходе на высшую техническую базу. Несколько цифр, приводимых Левассером, характеризует этот переход довольно ярко. Потребление каменного угля в 1812 г. равнялось 900.000, в 1820 г.—2.300.000 тонн. В 1819 г. во Франции имеются уже 350 доменных печей и 498 плавильных заводов с производством в 14.500 тонн чугуна и 64.000 тонн железа. Вводятся машины в прядильном, ткацком деле, книгопечатании и др. производствах.

Правительство реставрации, вопреки ее ублюдочному характеру, вынуждено в силу неизбежной логики самосохранения вести в основном экономическую политику, нужную буржуазии, но буржуазия не чувствует в этом правительстве органа своего классового господства. Миллиард франков вознаграждения эмигрантам вызывает глубочайшее возмущение,—не рациональнее и естественнее было бы соответствующее «поощрение» промышленному классу? Законопроект о печати непосредственно затрагивает интересы типографской промышленности—политика с экономикой сталкивалась тут непосредственно. Вопрос о приведении в соответствие политики и экономики висел, таким образом, в воздухе. Опыт французской революции учил тому, как это делается. Но тот же опыт учил и другому—как опасно вызывать дух революции. Либералы времен реставрации, либеральные идеологи-историки оправдывали революцию 1789 г. Тьерри, Минье, Гизо, гордятся деяниями своих революционных отцов. История их устами осуждает феодальный класс, считая его после революции живым мертвецом.

Революционные действия в борьбе с феодализмом защищаются с чрезвычайным усердием, но от самого действия удерживает тяжелое воспоминание о «санкюлоте». А этот «санкюлот» в эпоху реставрации начинает превращаться в пролетария. Пролетариат начинает именно в это время складываться в особый класс. Рост промышленности вызывает его к жизни, противопоставляя всем другим классам, как особый класс со своими особыми интересами.

На заре своей жизни в капиталистическом обществе он вынужден особенно тяжко ощущать свое специфическое положение в этом обществе. Безработица, низкая заработная плата, дорого-

[1]) Более подробную характеристику эпохи Реставрации с точки зрения социально-экономических отношений и положения рабочего класса см. в ст. Петрова: „Французский рабочий класс в эпоху Реставрации“ (Труды института красной профессуры, т. 1). Цитирую в дальнейшем Левассера и Олара в этой статье. *И. Ф.*

визна, правовые ограничения—все соединяется для того, чтобы усугубить жалкую участь пролетария, живущего изо дня в день продажей своей рабочей силы. Безработица усиливается введением машин. Полицейские донесения констатируют, что этот трудолюбивый класс стал праздным не по своей вине, ибо он хочет работать».

Вообще говоря, положение рабочего класса в эпоху реставрации ухудшалось вследствие того, что только путем переложения издержек технического переворота на рабочий класс, путем низкой заработной платы, усиленной эксплоатации и пр. полагалось начало капиталистическому прогрессу Франции. Все попытки рабочих организоваться в целях взаимопомощи подавлялись самым свирепым образом. Правительство реставрации в этом отношении стояло вполне на почве буржуазного «правопорядка»: закон Ле-Шапелье 1791 г., уголовный кодекс Наполеона, рабочие книжки и т. п. скорпионы, уготовленные революционной французской буржуазией пролетариату, правительством реставрации блюдутся тщательно.

Что касается настроения рабочих масс в изучаемый период, то Олар характеризует его как состояние крайней апатии. Полицейские донесения, сообщая о бедственном положении рабочих, отмечают полнейшее их спокойствие.

Вот несколько таких донесений: «Рабочий класс бедствует потому, что ему не хватает работы, но притязания ему чужды, кровавые химеры революции далеки от него» (13 декабря 1816 г.). «Этот настолько многочисленный класс, где все еще можно встретить следы революционного опьянения, продолжает давать пример полного подчинения, от которого революция было его отучила, но деспотизм вновь вернул на пользу отеческой монархии» (12 января 1817 г.). «Народ более не революционен, он боится следовать крамольным подстрекательствам. Ему ничего не нужно, кроме хлеба и работы» (10 октября 1817 г.). «Народ научился чувствовать страх, и на набережных теперь можно найти больше политической сдержанности, чем в салонах» (9 мая 1819 г.). «Хотя рабочие вообще сильно страдают от застоя в торговле и производствах, они спокойны и не высказывают ни недовольства, ни дурных намерений» (7 марта 1820 г.).

Все же следует отметить частичные выступления против машин—в 1814, 1817—1819 г.г. отдельные стачки, всегда, конечно, быстро подавляемые.

Требования рабочих часто весьма реакционного характера, узко-корпоративного: удаление женщин с работы, увольнение иногородних, установление твердых цен на пучки шелка, надзор за производством в деревне и пр.

Не удивительно, что, при таком общем «благонравном» поведении народных масс, у наиболее решительных и энергичных представителей промышленной буржуазии является мысль о политическом руководстве этими массами, об использовании их в политической борьбе. Бутенко в ст. «Перелом в истории реставрации Бурбонов» («Анналы» № 3) отмечает следующие любопытные факты.

В 1825 г. в ряде местностей Франции стали в большом количестве возникать среди рабочих общества взаимопомощи при содействии местных либеральных фабрикантов.

На семейное торжество, устроенное братьями Казимиром и Огюстеном Перье по поводу женитьбы Ремюза на дочери Огюстена—торжество, обратившееся в либеральную демонстрацию—были приглашены рабочие корпорации Гренобля, при чем по окончании праздника Казимир Перье роздал каждой корпорации по 200 франков. Владельцы типографий поощряют манифестации рабочих в связи с законопроектом о печати.

Таким образом, ко времени окончательного сформирования сен-симоновской идеи промышленного строя,—а они, как увидим, сложились в эпоху реставрации,—классовые отношения были таковы, что при политически совершенно индифферентном крестьянстве, всецело ушедшем в дело использования завоеваний революции, французский город, в особенности Париж, является ареной борьбы широких кругов средней и крупной промышленности, отчасти финансовой буржуазии с живыми остатками феодального строя, завладевшими правительственным аппаратом; борьба эта питается, главным образом, неуверенностью буржуазии в прочности ее завоеваний при дальнейшем политическом преобладании феодалов. В этой борьбе часть буржуазии, наиболее решительная, пытается опереться на рабочий класс, подверженный всем бедствиям первых шагов капиталистического строя, но политически совершенно апатичный, распыленный и неорганизованный.

Чрезвычайно богатая сдвигами социально-политического характера эпоха Сен-Симона богата и сдвигами идеологического порядка. XVIII век был веком радикального рационализма. Идеологи революционной буржуазии сумели применить принципы детерминизма и материализма лишь в пределах индивидуальной психологии—это нужно было для сокрушения теологической твердыни старого порядка—но они не сумели сделать выводы из этого принципа в отношении к общественному человеку, ибо в интересах буржуазии было сделать индивида творческой личностью, преобразующей среду по индивидуальным рационалистическим критериям истины, права, справедливости. Та же буржуазия в учении Кондорсе выдвинула идею безграничного прогресса.

Революция, зашедшая дальше устремлений буржуазии, сменившись феодальной реакцией, вызвала переоценку ценностей.

Буржуазный индивид с'еживается под холодным душем суровой революционной действительности; за его спиной, совершенно ощутимо для него, выступают какие-то, не от него зависящие силы. Индивидуалистический детерминизм XVIII века сталкивается с общественным детерминизмом, историзмом и реализмом эпохи реакции. Бональд учит, что общество есть особое существо, организм, имеющий свои цели; люди лишь орудия для осуществления этой цели, следовательно, не общество для человека, а человек для общества. Ту же мысль развивает и де-Местр: общество, его форма и судьба не зависят от человеческой воли. По де-Местру, люди вообще—абстракция, «нет людей на свете». «Я видел французов, итальянцев, русских—что касается человека, то я об'являю, что никогда в жизни его не видел».

Человек может модифицировать все лежащее в сфере его активности, но создать он ничего не может ни в физическом, ни в моральном мире. Он может посадить, срубить дерево, но не создать дерево. Он не может создать даже конституции. Конституция—это совокупность органических условий, необходимых для жизни народа, и поэтому не есть вещь, которая может быть произведена по воле и по принуждению, как камин или машина или предмет меблировки. Конституция—естественная вещь [1]).

В области экономической мысли неоспоримым авторитетом является Сэй, вульгарный буржуазный экономист, умеренный манчестерец, из блага промышленников «логически» выводящий благо всего общества.

Но что особенно характерно для Франции эпохи Сен-Симона—это пышный расцвет наук, математики, астрономии, физики и химии, физиологии и пр. Особенно это относится к периоду собственно революции. Созданный Конвентом «Институт», долженствовавший заменить старые академии, ставил себе задачи «совершенствовать науки и искусства путем непрерывных изысканий, опубликовывать открытия, сноситься с отечественными и иностранными учеными обществами, а также руководить научными и литературными работами, направленными к общей пользе и славе республики». Вокруг этого Института сосредоточилась блестящая плеяда ученых астрономии и математики: Лаплас, Ланланд, Лагранж и Монж, химик Бертоле, Ламарк, Кювье, зоолог Сент-Илер, и т. д., и т. п. Астрономия, математика, физика, химия, физиология в этот период делают грандиозные завоевания. Завоевания теории быстро делаются достоянием практики. Разум человеческий, казалось, достигает высших пределов, безграничный прогресс наук открывает блестящие перспективы человечеству.

II.

Таковы основные социально-экономические черты и общественное настроение эпохи, в которой развивалась социальная мысль Сен-Симона.

Вершины своей высшей зрелости и законченности эта мысль достигла в построении так наз. «промышленной системы» и тесно связанного с нею «нового христианства». Решительный шаг к увенчанию своего идеологического здания Сен-Симон делает по существу лишь в 1817—18 гг. в «Письмах к Американцу».

Годы 1814, 1815 и 1816—переломные в ходе развития сен-симоновской философско-исторической и социально-политической концепции. Они знаменуют собою переход от первого периода развития учения Сен-Симона—периода подготовительного, поисков позитивной системы социальных наук и социального порядка (1802—1814)—ко второму, когда эта система обретена, наконец, как «промышленная»; обоснованию ее, уяснению и пропаганде посвящено последнее десятилетие жизни Сен-Симона.

Каковы же итоги работ мысли Сен-Симона за первый период? С чем подошел он к построению своей системы? В рамках данной статьи можно отметить лишь самое общее.

Резче и ярче, но все еще не достаточно энергично, выдвигаются интересы торгово-промышленного класса, заявляющего притязания на поощрение и уважение со стороны правительства и определенно недовольного привилегиями дворянства. Старое туманное («Письмо жен. обитателя»). Деление на собственников

[1]) Flint, Historical Philosophy in France, p. 371.

и несобственников сменяется более четким делением на собственников—торговцев, промышленников, купцов, собственников—дворян с привилегиями; не владельческие классы. Таким образом момент противоставления собственников несобственникам уступает место постановке вопроса о противоречиях внутри самого класса собственников.

Идея всеобщего европейского мира, координации всех сил просвещенных народов Европы для выполнения культртрегерской миссии по всему земному шару—в целях всеобщего блага и разрешения внутренней социальной проблемы—должна стать той связующей общей идеей религиозного характера, без которого невозможно крепкая, прочная социальная организация. Земной рай, намеченный еще в «Письмах жен. обит.», здесь рисуется как золотой век впереди в результате активной работы всех прогрессивных элементов общества.

Сен-Симон все быстрее и смелее спускается с заоблачных высот, на которых он не переставал чувствовать земли, к грешной земле, которую он не перестает поднимать до своих умозрительных высот.

Годы 1814—1815 переломные в ходе развития Сен-Симоновской философско-исторической и социально-политической концепции. С этого пункта он все решительнее и последовательнее движется к созданию «промышленной системы»—увенчанию своего идеологического здания. Поэтому представляется целесообразным здесь подвести некоторые итоги первому периоду развития Сен-Симоновского учения.

Идейные интересы Сен-Симона всегда были, по существу, связаны с живыми интересами «человеческого рода». Не только в юношеских планах грандиозных предприятий, но и в своих поисках единой философской системы он раньше всего и прежде всего имел в виду, если отбросить в сторону его суб'ективные, подчас маниакального свойства, переживания, главным образом, благо «человечества». Необычайные успехи и завоевания человеческого разума, с одной стороны, и острейший социально-политический кризис, с другой, толкают его мысль в сторону искания выходов из кризиса путем дальнейших побед человеческого разума. Эти победы несомненны в области наук о природе—позитивный метод, метод опыта, наблюдений обусловил эти победы. Необходимо этот метод приложить к «науке о человеке». Но дело идет не о человеке индивидууме—об'екте физиологии,—дело идет об общественном человеке, целых общественных организмах, исторических нациях, государствах. Эти именно организмы чем-то болеют, страдают, потрясаются в корчах революционных «ужасов». Кризис этот длителен; утихла революционная буря, но общество европейское еще не вошло обратно в пазы, из которых вышло с начала революции. Войны, продолжение революции, еще потрясают мир. Всеобщее недовольство царит повсюду. Революция не сказала своего последнего слова. Внизу общественной пирамиды огромная масса «несобственников», потерпевшая поражение в своих «химерах о равенстве», загадочно молчит.

Для Сен-Симона источники этого незавершенного кризиса ясны с самого начала. Это—прежде всего кризис сознания. Человечество в своем умственном развитии дошло до стадии, когда элементы позитивной системы знания вообще и знания об обще-

ственном человеке в частности на-лицо. Но из них надо создать (точнее: постигнуть) эту систему, и в этом задача дня, и в этом же выход из кризиса, ибо самый процесс постижения и оформления этой системы неизбежно влечет за собою соответствующий процесс социальной реорганизации. Таким образом идеологический кризис есть причина социально-политического; разрешение одного влечет за собой разрешение другого.

Несомненный материалист в вопросах естествознания, Сэн-Симон выступает как несомненный же идеалист в понимании исторического процесса и его движущих сил. История движется развитием идей, развитием религиозных (научных; в известном смысле Сен-Симон их отождествляет) систем, но каждая из этих систем составляет неизбежное звено в общей цепи развития человеческой мысли—фетишизм неизбежно развивается в метафизические системы, а эти последние—в позитивные. Сен-Симон—сторонник идеи прогресса Кондорсэ. Но он головой выше его в умении оценивать явления исторически. Он не осуждает явлений прошлого (религия, средние века) с точки зрения тех успехов, которых человеческий разум достиг сегодня. Он умеет понимать эти явления в их исторической связи и детерминированности.

Исторический детерминизм Сен-Симона, даже идеалистический, дал ему возможность в дальнейших анализах исторического процесса сделать серьезные шаги по пути приближения к материалистическому пониманию истории. Значительно меньше ясности в социальных взглядах Сен-Симона. Он видит борьбу классов и в прошлом и в настоящем, но, во-первых, это у него—производное от различия в уровне просвещения, во-вторых, сама классификация классов чересчур еще смутна и упрощена: собственники и несобственники—вот основное деление. К концу первого периода, однако, в «Письме к доктору Бугону» и «Реорганизации европ. общества» Сен-Симон детализирует понятие собственников, выделяя в них группу привилегированных бездельников и рантье, которым он противопоставляет торгово-промышленное сословие, как более полезное и нуждающееся в поддержке правительства.

Это противоречие к концу рассматриваемого периода отводит на задний план противоречие между собственниками и несобственниками, резко отмеченное еще в «Письмах женевского обитателя» (1802).

Эпоха реставрации с ее основным конфликтом между промышленной буржуазией и возродившимися остатками старого порядка, на фоне промышленной революции, окончательно повернула внимание Сен-Симона от вопросов чисто идеологического порядка к вопросам социально-экономическим, политическим и тактическим. И историческое и социальное учение Сен-Симона, обогащаясь новым эмпирическим материалом, вырастает мало-по-малу в более или менее цельную, ясно выраженную систему.

«Письма к американцу» помещены в сборнике, носящем характерное название и не менее характерный эпиграф: «Индустрия или политические, моральные и философские исследования в интересах всех людей, занятых полезными и независимыми работами». Эпиграф: «Все при помощи индустрии, все для нее».

Американская революция, американский строй служат Сен-Симону отправной точкой зрения для построения первых основ своей промышленной системы.

Моя цель, говорит Сен-Симон, изучать движение человеческого разума, чтобы вслед затем работать над усовершенствованием цивилизаций. Изучение причин и судеб французской революции, опыт американской революции и американского строя ведут к открытию основного принципа политики, как положительной науки, способствующей усовершенствованию цивилизации.

В самом деле, события в Америке в конце XVIII ст. были направлены к установлению наиболее прекрасного и простого социального порядка, когда-либо существовавшего. В чем главная прелесть этого порядка? Это, прежде всего,—наиболее полная и устойчивая индивидуальная свобода. Что же такое свобода? Свобода «для людей», занятых в промышленности, заключается в отсутствии того, что стесняет производство, что мешает наслаждаться произведенным. Общество же есть совокупность и союз людей, занятых полезными работами (стр. 177) [1]).

Единственная форма подчинения, приемлемая для производителей—это подчинение закону собственного интереса, который в обществе с развитым разделением труда выражается в законе свободного обмена. Американский строй с его абсолютно-религиозной терпимостью, полным отсутствием каких бы то ни было следов феодализма, привилегированных слоев, мирным хозяйственно-промышленным направлением политики, общим демократическим духом нации есть та благодатная почва, на которой выросло «прекраснейшее из растений»—промышленная свобода. Ей соответствует рост национального благосостояния и улучшение положения всех членов нового общества. Растет население, просвещение и богатство.

В этом же направлении, собственно говоря, идет и развитие французского общества. Задачей революции было окончательное уничтожение феодально-теологических учреждений, открытие путей к строю, наиболее благоприятствующему промышленности: она и «казалась сначала чисто промышленной», но скоро потеряла этот характер, и столько благородных усилий, которые должны были создать свободу, создали лишь тиранию якобинцев и военный деспотизм (стр. 181).

Это случилось потому, что промышленники с самого начала революции не сами взялись за дело защиты своих интересов, а поручили это адвокатам, «которых идеи и абстракции привлекали больше, чем действительность и факты». Отсюда, при отсутствии у французского народа каких-либо традиций свободной политической борьбы, свободных учреждений, при «античном» университетском воспитании, появление химерических теорий уравнения («пусть исчезнут вдруг границы полей, и не будет больше собственности; каждый захочет владеть всем»): для Сен-Симона это—вреднейшая утопия, нарушающая все основы здорового социального порядка («целью страсти к равенству было разрушение социальной организации») (стр. 193).

В итоге адвокатского правления у власти оказалась невежественная толпа «людей последнего класса», охваченных «страстью к равенству», появились буйство, кризис и пр. Революция,

[1]) Цитируем по двум русским изданиям сочинений Сен-Симона, под редакцией Святловского и Волгина, соответственно отмечая *С.* и *В.*

таким образом, оказалась незаконченной, феодально-теологические учреждения еще не совсем разрушены. Получился ублюдочный порядок, когда старые принципы не в состоянии уже более служить связью общества, а новые не могут развернуться при наличии «ржавчины чуждых элементов». Органическая связь нового общества ясна—это промышленная идея (только в этом нужно искать нашего спасения и окончания революций).

Этот новый промышленный строй есть строй, наиболее благоприятствующий промышленности, под каковой следует понимать совокупность всех видов полезных работ—теоретических и практических, умственных и физических. Политическая экономия—отныне единственное основание политики, вернее, она будет включать в себя всю политику, как науку положительную. Отныне «наука о человеке» и, следовательно, наука об общественной политике обрели единый научный принцип—примат производственных интересов.

«Существует известный род интересов, сознаваемый всеми людьми, интересов, направленных на поддержание жизни и благосостояния» (стр. 204). Производство полезных вещей — единственная разумная и положительная цель, которую могут ставить себе политические общества (стр. 203), принцип уважения производства и производителей бесконечно более плодотворен, чем принцип уважения собственности собственников (стр. 204).

Найден, таким образом, верный критерий при оценке всех учреждений, общ. явлений и пр. Политика становится положительной наукой, ставящей себе целью установление порядка вещей, «наиболее благоприятного для всех видов производства», для промышленности в широком смысле этого слова. Общество—производственный союз. Воры, паразиты и бездельники, потребляющие, ничего не делая, по мере прогресса цивилизации должны исчезнуть.

Что представляет собою развивающийся строй, наиболее благоприятствующий промышленности?

Этот строй есть правление, где «политическая власть имеет силу и деятельность лишь в направлении, необходимом для устранения всего того, что мешает полезным работам, правление, где все подчинено тому, чтобы рабочие, соединение которых составляет истинное общество, могли непосредственно с полной свободой обмениваться между собою продуктами их различных работ, такое, наконец, правление, где общество, которое лишь одно знает, что ему приличествует, чего оно хочет и что оно предполагает, было бы так же единственным судьей достоинства и полезности работ и вследствие этого, чтобы производитель лишь от потребителя ожидал оплаты своего труда, вознаграждения за свою услугу, какова бы она ни была. Мы хотим лишь облегчить естественный ход вещей. Мы хотим, чтобы люди отныне делали сознательно, непосредственными усилиями и более плодотворным образом то, что до сих пор делали они, так сказать, без своего ведома. Медленно, нерешительно и не плодотворно (стр. 194).

Правительство, по существу говоря, думает Сен-Симон,—дорогое зло, но необходимое, ибо опыт показал (особенно опыт

французской революции), что есть зло еще более дорогое—это беспорядки, отсюда—предпочтение меньшего зла, правительства, которое, однако, должно стать возможно более дешевым и возможно менее назойливым, опекающим и пр. Борьба собственников, производителей с собственниками на правах рождения—вот в чем Сен-Симон видит основную злобу дня, сюда направляется его мысль.

В знаменитой «Притче» (параболе то же) (1819 г.) современное общество подвергается жесточайшей критике, как общество, перевернутое вверх ногами (le monde renversé),—общество, в котором непроизводительные классы, паразиты, господствуют над теми, которые, собственно говоря, и составляют подлинное общество.

Линия разреза идет по участию в производстве материальных и духовных благ. Все участники производства (сюда входят ученые, артисты и ремесленники—artisans) [1]) суть «единственные люди», работа которых действительно полезна обществу. В класс непроизводительный С.-Симон помещает все придворное общество, высшее чиновничество, помещиков, рантье,—словом, всех тех, кто на правах рождения основывал свое богатство и собственность, а не на личных заслугах перед обществом. В «Притче» очень ярко изображается перевернутый мир, где воры, преступники, безнравственные, неспособные, ленивые люди господствуют над цветом нации, работниками наук, искусств и ремесла, где, короче говоря, трутень господствует над трудолюбивыми пчелами.

Вопрос о судьбах промышленного класса во Франции и его отношении к живым остаткам старого порядка Сен-Симоном ставится в «Притче» ребром, и весьма заостренно—настолько даже, что убийство герцога Беррийского в 1820 г. (имя его упоминается С.-Симоном в «Притче» в числе тех, от потери которых Франция не потеряла бы ничего, если не считать огорчений доброго сердца французов) вызвало арест Сен-Симона, как морального соучастника убийства.

Он был оправдан и не без оснований, ибо Сен-Симон—ярый противник всякого насильственного образа действий. Влияние идеи, пропаганда, идейно-моральное воздействие—вот его тактические средства.

Одновременно с критикой «ублюдочного» социал-политического порядка Франции, борьбой с остатками феодального строя Сен-Симон продолжает углублять свою идею «промышленного строя», не забывая при этом о проблемах тактического порядка—мобилизации общественного мнения и общественных сил.

Промышленный строй есть строй, наиболее близкий к понятию общества, как такового, т.-е. как совокупности и союза работников, стремящихся к возможно лучшему и полному удовлетворению своих материальных и духовных потребностей. Счастие общества определяется степенью этого удовлетворения, а эта степень, в свою очередь, определяется совокупным комбинированным воздействием наук, искусств и ремесл на вещи, на природу. Таким образом выясняется и задача общественной ор-

[1]) Под последними, по раз'яснению автора, следует разуметь не только простых рабочих, но вообще всех занимающихся материальным производством: земледельцев, фабрикантов, коммерсантов и всех служащих или рабочих, которых они нанимают (стр. 171).

ганизации и самое ее устройство. Задача—наилучшим образом комбинировать воздействие наук, искусств и ремесл на природу. Не трудно представить себе, говорит Сен-Симон, какой поразительной степени процветания могло бы достичь общество при такового рода устройстве (В. 8) [1]). Ведь люди до сих пор тратили массу энергии в борьбе меньшинства и большинства и, кроме того, оказывали на природу индивидуальное обособленное воздействие.

Даже при таких неблагоприятных условиях человечество сумело достигнуть довольно высокой степени благосостояния. Что же будет, если люди перестанут господствовать друг над другом и об'единенными коллективными усилиями (людей и целых народов) будут воздействовать на природу?

«Воздействие человека на человека всегда само по себе вредно для человечества вследствие вызываемой им двойной траты сил; оно полезно постольку, поскольку оно является побочным и поскольку приводит к усилению его воздействия на природу» (197).

При таком порядке вещей, при таком направлении общественной организации разрешится постепенно и вопрос о правительстве.

Теперь, когда формула «труд на счастие общества» расшифрована, раскрыта в том смысле, что «общество стремится к процветанию посредством наук, искусств и ремесл», общество управляется уже не людьми, а научными принципами, в которых нет произвола, которые нужно постигнуть и затем им следовать. Те, которые выполняют общественные функции, таким образом, ограничены законами необходимости; их «управляющая власть», как власть повелевающая, ничтожна. Правители в этом случае, очевидно, наиболее способные, ибо вопросы управления, это—вопросы научного порядка, требующие определенных знаний и квалификации.

При существующей политической системе наилучшее, это—невмешательство правительства в вопросы общественного благосостояния. Его задача поддерживать порядок. При новой системе, где основное стремление есть стремление к общественному процветанию, функции поддержания порядка будут иметь подчиненное значение и будут все уменьшаться по мере увеличения общественного благосостояния. «Только тогда бывает нужен большой правительственный аппарат для поддержания порядка, когда политическая система не стремится определенно к общественному процветанию, потому что в этом случае на народную массу неизбежно приходится смотреть, как на врага существующего порядка. Когда же ясно для всех повышается благосостояние, массы населения представляют тогда пассивную силу, которой почти одной достаточно для обуздания противообщественного меньшинства». (В. 12).

Правительственная (повелевающая) система постепенно будет отмирать, останется лишь система административная (управляющая).

Так Сен-Симон, наметив концепцию промышленного строя еще в «Письмах американца», в «Теории общественного устрой-

[1]) «Теория общественного устройства» (1819 г.).

ства» выясняет основной принцип этого строя со стороны его общественного содержания и регулятивного механизма.

Новая система, имеющая определенную цель—процветание общественного благосостояния через комбинированное действие наук, искусств и ремесл—имеет все преимущества, но нужно показать ее реальность в перспективе будущего. Сен-Симон берет на себя задачу установить, что система «естественно должна осуществиться в жизни в настоящее время в силу самого хода событий и в силу законов развития человеческого ума».

Научная политика основывается на согласованных рядах исторических фактов, для анализа настоящего различия в нем элементов старого и элементов восходящего будущего нужно внимательное изучение прошлого. Нужен исторический обзор достаточно широкого масштаба. Сен-Симон обещает сделать «замечательные обобщения»[1]) на основе обзора эпохи от средних веков до наших дней. Средние века, как исходный пункт, берутся в силу того соображения, что в эту именно эпоху начинают формироваться современные общества.

В чем сущность средневекового общественного порядка? Светская власть, а вместе с ней и собственность, как движимая, так и недвижимая, находится в руках военного сословия. Духовенство—монопольный руководитель духовной жизни (положительной науки еще нет). Промышленники—вначале рабы военного сословия. Этот общественный строй находился в полном соответствии «с состоянием цивилизации того времени». Война была главным занятием населения, а промышленность находилась еще в младенческом состоянии. Отсюда главенствующая роль военного сословия. Единственно сравнительно просвещенное сословие—духовенство—естественно стало главенствующим в духовной жизни.

Этот строй, однако, с течением времени стал подкапываться двумя (подчеркнуто мною. *И. Ф.*) нарастающими силами—развитием промышленного класса и положительной науки. Это развитие шло уже в недрах феодального общества.

Промышленный класс даже в рабском состоянии понемногу путем упорного труда, терпения, бережливости и изобретательности накапливает известное состояние; военное сословие, в силу своих собственных интересов—наилучшего использования продуктов промышленного труда, освобождает личность промышленников. «Освобождение общин открыло широчайший путь для развития промышленности, которая делает все большие и большие успехи. Расширяется круг потребностей, промышленники богатеют, а дворяне разоряются, передавая им мало-по-малу большую часть своей собственности. С ростом промышленности падает значение войны, как занятия, падает роль и значение военного сословия—дворянства (мало того, с изобретением пороха военное дело становится в полную зависимость от промышленности). Королевская власть в своей борьбе с феодалами опирается на промышленный класс, и таким образом и хозяйственное и политическое значение промышленного класса непрерывно растет за счет

[1]) И делает это обобщение в «Промышленной системе» (1821 г.).

феодального. Параллельно этому процессу перемещения собственности и нарастания силы промышленного класса идет другой процесс—в духовной области. Здесь идет развитие опытных наук, внесенных в Европу арабами; духовенство отстает от этого научного движения, которое перешло в руки нового класса людей—ученых. И здесь происходит то же, что и в светской области. Ученые увеличивают свой авторитет, особенно в просвещенных классах, которые не довольствуются уже средневековой богословской пищей; духовенство, власть и влияние которого основывалось на превосходстве просвещения, утеряв это превосходство, теряет и власть и влияние.

Краткое резюме исторического обзора по Сен-Симону таково: «Как светская, так и духовная власть перешла в другие руки. Действительная светская власть сосредоточена в настоящее время в руках промышленников, духовная же в руках ученых; эти два класса являются притом единственными, которые оказывают реальное и постоянное влияние на общественное мнение и поведение народа» (*В.* 27).

Вот это то изменение в соотношении сил в светской и духовной областях, изменение в самом основании общества и было основной причиной французской революции. Происхождение ее следует приурочить к моменту раскрепощения общин и развития опытных наук. Задачей французской революции было по существу заменить старый политический строй новым, соответствующим новому состоянию общества и новому социальному строю. Это должны были сделать новые классы—промышленники и ученые. Революция в общем не закончена. Современный кризис—кризис перехода. Старая система рушилась, новая еще не сформировалась. Надо немедленно же энергично приняться за организацию новой системы, ибо современное положение европейского и, в частности, французского общества чудовищно.

Кто и как должен взяться за дело организации новой системы?

Здесь С.-Симон считает нужным выдвинуть момент эмоциональный в своей тактической пропагандистской программе.

Борьба за новую систему должна стать великим идейным, моральным и эмоциональным движением.

«Идеи и чувства неизбежно связаны друг с другом и соответствуют друг другу. Всякое великое движение в области идей вызывает подобное же движение в области чувства. С этой точки зрения любовь к человечеству является подобием и необходимой помощницей философии. Чтобы вызвать великое философское движение, имеющее своей целью перемену общих идей, необходимо, чтобы все люди способные к благородным и возвышенным чувствам, развили широкую филантропическую деятельность» (*В.* 21—22).

Итак, филантропы—друзья человечества, «люди, одаренные благородными чувствами», без различий их социального положения и возраста, все войдут в великое движение. Основной принцип этого движения—по существу тот же, который положен в основу христианской религии,—«все люди должны видеть друг в друге братьев, должны любить и помогать друг другу», иначе говоря, все народы и все люди должны содействовать общему благосо-

стоянию человеческого рода». Новое христианское движение есть 4-й период в истории эволюции христианской основной идеи.

«Христианство теперь вступает в 4-й период—период организации новой духовной и светской власти. Духовная власть будет состоять из членов академии наук и др. достойных академии лиц, они займутся общественным воспитанием и общественным обучением. Основа воспитания—евангелическая мораль любви к ближнему. Она расширяется в сторону сообщения положительных знаний, в зависимости от того времени, какое смогут проводить в школах дети разных имущественных классов» (подчеркнуто мной. *В.* 44).

Управление светскими делами будет передано «руководителям мирных работ». Эта «администрация» будет миролюбивой и дешевой, так как сами управляющие будут в этом лично заинтересованы.

Таким образом, нет сомнения, что при содействии всех «друзей человечества» (в данном случае прямых агентов Вечного) политическая власть перейдет в руки тех, кто уже теперь распоряжается почти всей совокупностью общественных сил, кто в повседневном труде направляет физические силы общества, кто творит его денежные ценности, наконец, тех, кто беспрерывно умножает его умственную мощь (*В.* 45).

Какими средствами будут пользоваться друзья человечества в деле преобразования общества? Единственное средство—проповедь устная и письменная. Этой пропагандой должна быть увлечена королевская власть—исконная союзница промышленного класса в борьбе с феодалами.

Энтузиазм—величайший порыв, необходимый в великом движении к новому строю. Нужны не благоразумные и умеренные люди, годные лишь для мелких реформ, нужны люди, воодушевленные страстью, как первые христиане.

В поисках энтузиастов Сен-Симон готов допустить к движению даже представителей крайних партий—якобинцев или бонапартистов, если они добровольно откажутся от своих ересей.

«Апостол Павел начал с того, что был одним из ревностных врагов христианства».

Можно констатировать, что в целом практический общественный идеал Сен-Симона—промышленная система—разумеется как общественный союз, в целях достижения наибольшего благосостояния под руководством ученых и руководителей мирного труда, под которыми следует понимать по всем признакам фабрикантов, банкиров, купцов—«капитанов промышленности и торговли». Уничтожение классов, повидимому, не предполагается, судя по тому, что существует различное образование для лиц разных имущественных классов.

Верный своей положительной оценке организационной роли христианства в средние века и религиозных систем в частности (как идейно-чувственных систем), он свою практическую программу переводит на язык христианской морали, строит соответствующую историческую схему (без этого Сен-Симон обойтись не может) развития христианства, как положительного общественно-организационного явления, и все движение за промышленную систему и самую систему вводит в рамки некоего нового

христианства 4-го периода, представители которого—надклассовые и надпартийные «друзья человечества».

Во 2 части «Du Système Industriel» (Oeuvres, XXII, p. 185 etc.) Сен-Симон высказывает несколько мыслей, проливающих свет на то, какое содержание вкладывает он в термин «ассоциация», часто им употребляемый, дававший повод к определенным заключениям по вопросу о «социализме» Сен-Симона.

Уяснение этого необходимо для понимания сущности сен-симоновского «промышленного строя».

«Всякая ассоциация (подчеркнуто мной. *И. Ф.*) людей, имеющая определенный характер, от самой простой до самой сложной, необходимо является военной или промышленной, ибо не может быть настоящей ассоциации без общей цели деятельности, существуют же только две цели деятельности, возможные как для коллектива людей, так и для индивидуума, а именно: завоевание (la conquête) или труд (le travail).

Всякая нация, не организованная определенно для одной или другой из этих целей, не образует настоящей политической ассоциации, она является лишь аггрегатом индивидуумов, имеющим ублюдочный характер («caractère latârd»).

С этой точки зрения современный строй (строй эпохи реставрации) является для Сен-Симона ублюдочным, ибо конституция его не военная и не индустриальная, именно потому, что хочет быть одновременно и той и другой, не есть настоящая конституция.

«Разум указывает и факты подтверждают, что военная конституция—конституция первого этапа цивилизации. Она необходимо соответствует состоянию незнания законов природы, из чего вытекал недостаток средств воздействия на природу в целях модификации его на пользу человеку. Но по мере того как эти законы открываются, и воздействие на природу увеличивается, общество идет мало-по-малу из мрака военной конституции (устройства), которая постепенно модифицируется к промышленному устройству—настоящему конечному назначению цивилизованного рода человеческого» (ibidem, p. 186).

Таким образом термин «ассоциация» Сен-Симоном уясняется здесь как синоним общества, социального коллектива, вся организация которого обусловлена единой определенной целью. Поскольку современная ему Франция (и др. страны в той или другой мере) в своей организации смешивает в себе две различные, противоположные по смыслу и содержанию цели—военную и промышленную, постольку она еще не есть «ассоциация». «Промышленный строй» Сен-Симона, т.-е. общество, организованное на принципе производства прежде всего и раньше всего, организованное таким образом, чтобы этот принцип получил наилучшее выражение и осуществление (для этого необходима соответствующая координация деятельности разных классов общества),—это и есть строй промышленной ассоциации.

Таково одно понимание Сен-Симоном термина «ассоциация».

На тех же цитированных страницах «Du Système Jndustriel» мы встречаем новое употребление того же термина, давшее Мукле основание явственно услышать у Сен-Симона (socialistische Klänge) социалистические тона.

Момент, когда промышленное устройство (constitution industrielle) зрело, может быть определен с известной точностью по следующим двум основным признакам:

1) В подавляющем большинстве наций индивидуумы втянуты (engagés) в более или менее многочисленные промышленные ассоциации и связаны между собою—промышленными отношениями—по два, по три и т. д., что делает возможным образование из нее общей системы, направляя ее к великой общей промышленной цели, для достижения которой они сами (многочисленные ассоциации. *И. Ф.*) между собой координируются соответственно их соотносительным функциям.

2) Наблюдение над законами природы в полном ходу.

Когда общество достигло такого пункта и оно не окружено нациями чисто военными, оно приближается к промышленному устройству (р. 185—186).

Что касается Франции, то эти признаки зрелости для промышленного устройства уже на-лицо.

Сен-Симон это утверждает: «...со времени освобождения общин и введения арабами в Европу наук, основанных на наблюдении, Франция делает непрерывные и все возрастающие шаги вперед к промышленной системе, в то время как военная система в той же мере дезорганизуется. Наконец, Франция в настоящее время (aujourd'hui) достигла пункта, когда она должна принять промышленное устройство, ибо выше названные основные условия в настоящее время целиком выполнены» (подчеркнуто мной. *И. Ф.*).

Конкретно: 1) из 30 миллионов французов 29½ миллионов—промышленники, образующие между собой различные ассоциации, достаточно обширные и достаточно комбинированные друг с другом; 2) изучение природы идет активно во всех областях: в астрономии, физике, химии и физиологии; 3) наций, окружающие Францию, не все еще в достаточной степени имеющие эти два великих условия, тем не менее все уже очевидно воодушевлены той же тенденцией, они в том же периоде их цивилизации (186—187).

Несомненно, что «промышленные ассоциации» современной Сен-Симону Франции (по двое, по трое и т. д.), представляющиеся ему элементами «общей системы, направленной к единой цели», нельзя понимать, как социалистические ассоциации,—таковых не было.

Сен-симоновские «ассоциации» в данном случае являются не чем иным, как теми формами хозяйственных об'единений, каковыми характеризуется всякое более или менее развитое товарное общество—мелкие («по двое, по трое»), средние и крупные мастерские мануфактуры, фабрики и т. п. (так называемое «сложное сотрудничество» товарного общества).

Устранение всего, что мешает свободной производственной деятельности этих «ассоциаций» (прежде всего остатков феодализма), координация деятельности этих многочисленных ассоциаций, соотносительно их функциям под компетентным руководством «сведущих лиц»—вот как, повидимому, рисуется Сен-Симону строй «промышленной ассоциации».

«L'organisateur» дает еще одно весьма существенное место для уяснения этого термина.

«В военном обществе народ—подданный, в промышленном он «социетарен» (sociétaire), но в товариществе (coopération), в которое все участники привносят способности и вклады (mise), царит настоящая ассоциация (подчеркнуто мной. *И. Ф.*), и в ней нет другого неравенства, кроме неравенства способностей и вкладов, каковые оба необходимы, т.-е. неизбежны, и желать устранения которых было бы смешно и гибельно. Каждый получает ту меру значения и выгоды (bénéfices), которая соответствует его способности и его вкладу [1]).

Экштейн в своей статье: «Der alte und der neue Saint-Simon» [2]) говорит по этому поводу (стр. 432): «Ясно, что это состояние, которое должна осуществить индустриальная система, есть не что иное, как капитализм в манчестерском его понимании». Это утверждение, по меньшей мере, легкомысленное. Ибо манчестерство представляет себе экономический строй «спонтанейным» (Шарль Жид), при котором благосостояние общества является производным от благосостояния отдельных индивидуумов, в свободной игре экономических сил на рынке достигающих этого благосостояния.

У Сен-Симона, однако, постановка вопроса совершенно иная: для него благосостояние индивидуумов есть производное от успешно координированной производственной деятельности общества в целом. Другой вопрос, как по Сен-Симону эта координация происходит; мы увидим в дальнейшем, что это—не социалистическая координация, но сделать из Сен-Симона манчестерца нет никакого резона.

Действительно, если отбросить те моменты сен-симоновского учения, в которых определенно и ясно указывается на необходимость некоего планомерного, целевого руководства производством, то могло бы показаться весьма соблазнительным представить сен-симоновскую социальную концепцию доведенной до логического предела манчестерской теорией, в которой «спонтанейность» товарного общества подчинена такой закономерности, которая самое анархичность этого общества превращает, в конце концов, в некую высшую гармонию—стройнейшую координацию совершенно свободных и независимых экономических сил (есть основание думать, что не Сен-Симон, а Прудон проделал такого рода умственную эквилибристику, но это между прочим).

В учении Сен-Симона уже на-лицо достаточно элементов сознательного руководства производством данного общества сведущими лицами. В связи с вопросом о так наз. «манчестерстве» Сен-Симона, нелишним будет привести его критику либеральной теории общества («Промышлен. система»).

Эта теория основным принципом общества считает свободу. Но это, говорит Сен-Симон, «пустая метафизическая идея». В ней нет конкретного содержания. Она не цель, а следствие осуществления другой, более содержательной цели—всяческого развития материальных и духовных богатств общества. В человеческом общежитии свобода может состоять лишь «в возможно широком и беспрепятственном развитии материальных и духовных способностей, полезных ассоциации» (*B.* 19).

[1]) Oeuvres, XX, 151.
[2]) Grünbergs Archiv, 2 Jahrgang.

«С прогрессом цивилизации,—отмечает Сен-Симон,—растет и разделение труда во всех областях человеческой деятельности, уменьшается, значит, индивидуальная зависимость друг от друга, но увеличивается связь каждого с массой. Так как хорошо координированная система требует тесной связи частей и зависимости их от целого, то принцип индивидуальной свободы, стесняющий действие массы на личность, не может быть положен в основу новой политич. системы, задачи которой—комбинировать воздействие всех производительных сил общества на природу». Вряд ли эти рассуждения Сен-Симона можно счесть манчестерскими! Но сен-симоновское «координирование» и «комбинированное воздействие» не есть и социализм.

На вопрос, как достичь физического благополучия, которое дает новая система, Сен-Симон дает недвусмысленный ответ: «Необходимо поощрять возможно больше земледельческую, промышленную и коммерческую деятельность, необходимо покровительствовать им. Надо вдохновлять приманкой частных выгод всякие предприятия по устройству каналов, дорог и мостов, как и работы по осушению, распашке и орошению. Не надо придираться к барышам, которые получаются от трудов, приносящих пользу государству, следует не смущаясь уступать эти барыши целиком частным лицам, предпринимающим эти работы» (*В.* 56) [1]).

Таким образом здесь уясняется, что коллективное и комбинированное воздействие на природу (см. «Теория общественных устройств») отнюдь не исключает самого широкого частного предпринимательского «грюндерства», оно даже поощряется большими барышами, которых «не следует смущаться». Это дает весьма интересный оттенок в понимании сен-симоновского общественного идеала.

Последние работы Сен-Симона «Катехизис промышленников» (1823—24 г.), «Рассуждения литературные, политические, философские и промышленные» (1825 г.) и «Новое христианство» (1825 г.) с разных сторон уточняют идею «Промышленной системы» и «Нового христианства», развитую, как мы уже видели, в более или менее ясной форме в «Промышл. системе» (1821 г.).

Характерным и новым для последних работ Сен-Симона, с точки зрения уяснения сущности сен-симоновского пром. строя, является выдвижение на первый план, на-ряду с проблемой устранения «ублюдочного» порядка, проблемы «многочисленного беднейшего класса».

«Промышленный класс», в который Сен-Симон зачисляет (см. «Катехизис») земледельцев, фабрикантов и купцов (при чем под фабрикантами разумеются и предприниматели и рабочие), есть единый класс трудящихся, производителей в противопоставлении всем паразитарным элементам общества—классу «oisif», намеченному еще в знаменитой «Притче».

---

[1]) «О старой и новой политической системе» (1822 г.).

Партия промышленного класса, партия индустриалистов, включает в себя и рабочих. Но рабочий класс уже особая проблема.

Сен-Симон в начале своей публицистической деятельности сильно оттенял класс несобственников, опасный и волнующийся, противопоставляя ему всех собственников («Письма женевского обитателя»). Позже, в период первоначальной разработки своей промышленной системы («Письма к американцу», «Притча» и др.), Сен-Симон переносит все внимание на борьбу между производительными и паразитарными слоями общества; несобственники, как труженики, оказываются союзниками собственников-производителей в борьбе с собственниками-паразитами. Еще в «Письма американцу» Сен-Симон, стремясь завербовать в группу «свободомыслящих» собственников, напуганных призраком нового якобинского восстания, успокаивает их, указывая, что эти опасения неосновательны, ибо «пролетарии разоружены» (стр. 147). «Пролетарии» еще не составляют для него специальной тактической проблемы.

В «Катехизисе» это—уже проблема и весьма серьезная. «Промышленная система», т.-е. господство промышленного класса (точнее, «наиболее способных предпринимателей») над всеми остальными элементами общества, является к 1823—24 г. для Сен-Симона фактом в том смысле, что все уже созрело для этой системы; промышленному классу не хватает лишь четкой «идеологии» и соответствующей организованности.

Новый исторический анализ возвышения промышленного класса (анализ, показывающий большое продвижение к материалистическому пониманию истории, но не достижение его) даэт ему вернейшее доказательство неизбежности близкой победы промышленного класса.

Партия индустриалистов, в которую все сторонники промышленного строя организуются, победит. Но одним из условий этой победы является единение внутри промышленного класса, внутри партии этого класса.

Об'единение предпринимателей и рабочих—вот что существенно необходимо. Каков характер этого об'единения?

«Лица, стоящие во главе промышленных предприятий, суть природные покровители рабочего класса; покуда фабриканты будут об'единяться отдельно от рабочих, покуда они не будут говорить о политике языком, понятным последним, мнение этого очень многочисленного, но и весьма невежественного еще класса, не будучи направляемо своими естественными вождями, останется в постоянной опасности подпасть под влияние интриганов, которые пожелают вызвать революцию, даже захватить власть» (С. 340).

«Если рабочие разрушают мастерские в Англии, то это потому, что фабриканты для их успокоения прибегают к помощи вооруженной силы и недостаточно заботятся о том, чтобы обуздать их насильственные страсти путем раз'яснения им их истинных интересов; именно потому, что фабриканты оставляют их в неведении относительно их политических и частных интересов, радикалы могут вовлечь их в бунт, стоивший им столько жизней в Манчестере» (ibidem).

Во Франции, думает Сен-Симон, соглашение с рабочими произойдет скорее, чем в Англии, где рабочих подчиняют силою, между тем как это можно было бы достигнуть «позитивной моралью», т.-е. заботой предпринимателей о благосостоянии всего общества, в том числе и «многочисленного невежественного класса».

Правильно понятые интересы «способнейших» совпадают вполне с интересами всего общества. Руководство обществом и должно быть поручено им.

«Забота об интересах всего общества, как в материальной, так и в моральной области, должна быть вверена людям, способным принести наиболее общую и положительную пользу» (В. 114).

Эти «способнейшие руководители» общества—наиболее крупные, удачливые предприниматели, деловые люди.

«Конституция» промышленного строя составлена так, чтобы решающее влияние принадлежало не «писакам и фразерам», а деловым людям, «использовывающих консультации позитивных ученых».

Сен-Симоновский промышленный строй—строй классовый, иерархический. В 1825 году, последний год жизни, в отрывке «Об общественной организации» (В. 154) Сен-Симон говорит: «Общество часто сравнивают с пирамидой. Мы допускаем, что народ должен быть размещен в виде «пирамиды».

Пирамида, рекомендуемая Сен-Симоном, отличается от старой пирамиды тем, что в ней нет позолоченных слоев, раньше стоявших наверху,—слоев паразитарных («придворная знать старая и новая, богатые тунеядцы и все правители, начиная с первого министра до последнего канцеляриста-служащего»). Эти позолоченные слои (из простого гипса) выбрасываются, наверху остается «великолепный алмаз, венчающий пирамиду (королевская власть), а снизу вверх идут по своей ценности: рабочие, занимающиеся ручным трудом—основание пирамиды; руководители индустриальных работ, ученые, совершенствующие процессы производства и расширяющие его область, и люди искусства, накладывающие печать хорошего вкуса на все продукты производства»,—первые слои, воздвигнутые на рабочем основании.

Сен-Симон настроен в общем и целом весьма оптимистически, касаясь вопроса о перспективах промышленного класса.

«Рассуждения» (1824 г.)—яркая картина ультра-оптимистической теории прогресса. Характерен самый эпиграф к ним: «Золотой век, который слепое предание относит до сих пор к прошлому, находится впереди нас» (В. 131).

Сен-Симон твердо верит, что его «промышленная система», руководимая способнейшими организаторами-предпринимателями, сумеет соответствующей координацией и комбинацией производственных сил обеспечить и «моральное и физическое благополучие» всего общества.

Лишь одно обстоятельство тревожит его: поведение пролетариев. Но оно целиком, по его мнению, зависит от поведения меньшинства, от первых слоев общественной пирамиды.

Нужно принимать меры к тому, чтобы сами пролетарии были заинтересованы в общественном спокойствии. Для этого нужно, прежде всего, «отнести к важнейшим государственным расходам

те затраты, которые необходимы для доставления работы всем здоровым людям в целях обеспечения их физического существования» (В. 160). Кроме того, надо обеспечить пролетариям получение позитивных знаний и разумных развлечений.

Тогда общество получит организацию, «вполне удовлетворяющую здравомыслящих людей всех общественных классов» (В. 160). Наступит полнейшее спокойствие, не придется больше бояться мятежа, не надо будет больших армий. Прекратятся и войны, ибо незачем будет нападать на «тридцать миллионов счастливых людей».

Таким образом в 1825 году, почти после четверть-векового разрабатывания вопроса о преобразовании европейского общества в целях выхода из кризиса, Сен-Симон приходит к созданию классового общества, из состава которого из'яты непроизводительные классы (в эпоху Сен-Симона, главным образом, классы «феодально-теологические»). Руководящая роль в этом обществе принадлежит средним слоям (в новой системе—верхним)—промышленникам и ученым, которые на основе богатств, создаваемых под их просвещенным руководством пролетариями, в своих же собственных интересах, управляют общественной пирамидой таким образом, чтобы общее благосостояние всех слоев, в том числе и основания пирамиды, росло и развивалось и тем обеспечило пирамиду от таких суровых неприятностей, как, например, Французская революция.

«Новое христианство», предсмертная проповедь пророка промышленного строя, представляет собою попытку внесением момента религиозного экстаза увлечь имущие классы на путь реформ в пользу многочисленного и беднейшего класса населения.

Для Сен-Симона религия—ценнейшая общественно-связующая сила, соединение идеи и чувства. В «Промышленной системе» Сен-Симон определенно выдвигает новое христианство, христианство четвертого периода, как некую наполненную позитивным научным содержанием религию, под сенью которой новые христиане, «друзья человечества», организуют промышленную систему, а основной принцип христианской морали о любви друг к другу комментируется модернизированно как принцип под'ема благосостояния всего общества.

В «Новом христианстве» Сен-Симон оттеняет момент помощи беднейшему классу, как основную задачу дня. Идеал нормальной «общественной пирамиды» для него вполне ясен. Неизбежность и близость осуществления этого идеала, подготовленные всем предшествующим ходом исторического развития, тоже не подлежат сомнению. Но новое общество Сен-Симона классовое, он иначе себе не мыслит его, и это же классовое общество должно быть вообще обществом, т.-е. производственным союзом для организованной комбинации сил на борьбу с природой в целях достижения всеобщего физического и морального благополучия.

И личный опыт (несомненная холодность «руководителей промышленности» к выполнению моральных обязанностей по отношению к «многочисленному и беднейшему классу населения»—Сен-Симон испытал это на себе, когда перестал в связи с его «морализированием» получать субсидии на издание «L'Industrie»), и нарастающие факты бедствий рабочего класса (в 1825 г. чувствовалось приближение серьезного экономического кризиса)—

все это заставляет Сен-Симона, отодвинув на задний план очередные задачи промышленного «класса» в его борьбе с феодальной реакцией, обратить все внимание на взаимоотношения руководящей и руководимой групп, «единого» промышленного класса». И если в предшествующих работах Сен-Симон приводит рациональные доказательства необходимости забот о пролетариях, то в «Новом христианстве» Сен-Симон бьет тревогу и взывает уже не только к разуму жаждущего и ищущего спокойствия промышленника, но и к его добрым христианским чувствам. Сен-Симон выступает в роли апостола истинного христианства, на знамени которого братская любовь людей друг к другу занимает первое место.

С точки зрения реального осуществления этого лозунга, все существующие религии, по мнению Сен-Симона, еретичны, ибо отступают от этого лозунга.

Только «Новое христианство», опирающееся на новейшие достижения положительных наук, имея во главе способнейших к великим делам людей, сумеет разрешить величайшую проблему дня—улучшение положения бедных.

В «священном союзе», на который еще в «Пром. системе» Сен-Симон возлагает надежды по устроению нового общества, Сен-Симон разочаровался. Государи—не христиане, а преемники кесаря; власть кесаря не может быть основой общественной организации; власть Священного Союза не есть христианская власть. Все ее деяния не в пользу, а во вред бедным.

«Государи, станьте добрыми христианами, прислушайтесь к гласу бога, говорящему вам моими устами. Об'единенные во имя христианства, сумейте выполнить все обязанности, которые оно полагает на власть имущих. Помните, что оно предписывает им употребить все силы на то, чтобы возможно быстрее увеличить социальное счастие бедняка» (В. 211).

Сен-Симон считает первым долгом озаботиться о том, чтобы «новое учение не толкнуло бедный класс к актам насилия против богатых и правительств» (В. 206).

С другой стороны, богатые и сильные должны понять, что «новое учение совершенно не идет в разрез с их собственными интересами, ибо улучшить моральное и физическое существование бедного класса явно невозможно другими средствами, кроме тех, которые приводят к увеличению наслаждений богатого класса» (В. 206), что их интересы по существу совпадают с интересами народных масс, что они принадлежат к классу работников, являясь в то же время его естественными вождями» (В. 206).

Принятие «нового христианства», т.-е. принятие за основу политики улучшения положения беднейшего класса, есть по существу принятие промышленной системы Сен-Симона, которой он думает открыть путь к широчайшему развитию производительных сил общества. «Новое христианство», это—та же «Промышленная система», углубляющая вопрос об участи живого фундамента живой общественной пирамиды.

Никаких изменений в самое построение пирамиды не вносится. Дело идет лишь о том, чтобы «лучшие» слои, опирающиеся на фундамент, в своих же интересах не забывали о том, что участь их и всей пирамиды зависит все же от прочности и спо-

койствия основы здания (многочисленного, беднейшего и невежественного класса).

Круг идей Сен-Симона завершен. В предсмертных словах своим ученикам он подтверждает это: «Плод созрел, вы его сорвете... Мой последний труд, «Новое христианство», не будет понят немедленно. Думали, что религия должна исчезнуть, потому что католицизм одряхлел. Это—ошибка: религия не может исчезнуть из мира, она только... преображается... Вся моя жизнь сводится к одной мысли: сделать возможным всем людям свободнейшее развитие их способностей... через 48 часов после нашей второй публикации [1]), партия рабочих образуется... будущее принадлежит нам».

15 мая 1825 г. вдохновленного пророка новой религии «Промышленного общества» не стало.

III.

Обращаясь к суммарной и подытоживающей характеристике сен-симоновской «Промышленной системы» (наилучшего, по его мнению, устройства) (социально-политическому идеалу Сен-Симона), мы не можем не усмотреть в ней в об'ективном смысле чего-либо иного, кроме идеализированного (урегулированного) капиталистического общества. Радикально очистившись от остатков феодализма, французское общество полностью развивает свои производительные силы на основе использования всех достижений современной науки и техники под руководством и при руководящем содействии частной и общественной инициативы просвещенных промышленников. Таким образом решается, между прочим, и проблема многочисленнейшего и беднейшего класса, благосостояние которого есть производное от общего развития производительных сил (проблема эта сделалась центральной для Сен-Симона лишь в последние годы жизни).

«Промышленный строй» Сен-Симона представляет собою идеальное капиталистическое общество, в котором классовые противоречия доведены, по мысли идеологов этого общества, до минимума путем филантропической христианской патриархальной опеки «капитанов промышленности» над подчиненными им работниками «ручного труда»—опеки, обеспечивающей последним непрерывный труд, материальный достаток и разумные развлечения—залог спокойствия, прочности и незыблемости общественного порядка. Политическая форма этого общества есть комбинация правительственно-полицейской системы, выполняющей функции ночного сторожа капиталистического общества (все ослабевающей по мере упрочения общественного порядка) и научно-технического административного порядка—непосредственного правления крупнейших капиталистов при посредстве технической интеллигенции высшей квалификации.

В хозяйственном отношении это, по мысли Сен-Симона,—общество «организованного» типа, но не в смысле общественной организации производства и общественного присвоения: в нем сохраняются и частное производство и частное присвоение. «Организованность» сен-симоновского промышленного общества сво-

[1]) Об издании «Producteur».

дится к управляющей (экономической и политической) роли руководящей группы организаторов производства, что должно обеспечить растущую роль комбинированных предприятий, планомерно использующих технические достижения современной науки. Об'ективно это—гениально предвосхищенная «организованность» капиталистического общества монополистической стадии, эпохи империализма и государственного капитализма.

Идеологической скрепой этого общества является модернизированное христианство, обеспечивающее высшим классам общества научное мировоззрение—основу господства, а низшим—веру в божественное происхождение существующего строя, скорпионы которого должны смягчаться христианскими добродетелями «руководителей мирных работ».

Таков, несомненно, об'ективный смысл социально-политической концепции Сен-Симона, в переводе ее на язык потенциального воплощения в реальной действительности.

Для нас совершенно ясны социально-исторические корни учения в той его части, которая выдвигает и решает проблему «промышленной системы» в ее резком противопоставлении элементам старого порядка. Анализ эпохи Сен-Симона дает на это вполне определенный ответ. Совершенно не случайна та поддержка, которую Сен-Симон получал от группы видных промышленников и банкиров в тот период, когда основным мотивом его литературных выступлений был лозунг «все для индустрии, все через нее», когда он ярко и энергично обличал паразитарные («теологически-феодальные») элементы общества. Сен-Симон в этот период был вполне «созвучен» французской либеральной буржуазии эпохи реставрации. Но совершенно не случаен также и тот поворот покровительствовавшей Сен-Симону группы буржуазии, который последовал, когда Сен-Симон перестал ограничиваться гимнами «индустриализму» и начал «морализировать», напоминать (впрочем, весьма робко и лойяльно) о некоторых «моральных обязанностях» по отношению к «многочисленнейшему и беднейшему классу населения». Отказ в субсидии, публичное отречение от Сен-Симона (письмо к обер-полицмейстеру) были ответом на «завиральные идеи» Сен-Симона. Об'ективный смысл Сен-Симоновского учения, в развитом его виде, по сути дела предвосхищал некоторые черты капитализма не на первой, но на последней ступени его развития, современной скорее нам, чем Сен-Симону,—попытки «организовать» и урегулировать анархию капиталистического способа производства.

Необходимо выяснить, какая же общественная группа Франции эпохи реставрации, т.-е. Франции периода начала подлинного капиталистического развития, могла выдвинуть учение, в котором имелись бы идеи следующего порядка: общество представляется, как закономерно исторически развивающийся организм, интересы которого превалируют над частными интересами индивидуумов, при чем лишь частные интересы «способнейших» совпадают с интересами целого; научная религия, научно-теократическая схема общественной организации; право на труд для пролетариев, выдвигание на первый план интересов производства (сравнительно даже с интересами собственности), комбинированного воздействия на природу. Такой общественной группой была высококвалифицированная техническая и организаторская интеллигенция; именно из этой среды выходят ученики Сен-Симона, именно здесь он находит чуткую и внимательную аудиторию. Инженеры, банкиры—вот кто прислушивался к Сен-Симону, вот кто, в свою очередь, направлял мысль Сен-Симона в определенном направлении.

Это—не простые товаропроизводители, в бешеной рыночной борьбе ощущающие свою индивидуальность, как носители исключительных суверенных прав; это—организаторы хозяйства; они хорошо чувствуют закономерность общественного процесса, они уже организуют отдельные моменты этого процесса, исходя из анализа целого; они живо ощущают органическую связь различных слоев общественной пирамиды, сознавая себя, соответственно своему производственному значению, ценнейшим из этих слоев. Интересы производства доминируют над вопросами собственности при всем пиететe к последней.

В этой именно группе легко могут родиться иллюзии возможности разрешения проблемы «четвертого сословия» путем интенсивного развития производительных сил, при сохранении капиталистического порядка.

Если вставить эту общественную группу в рамки сен-симоновской эпохи, эпохи после Великой Революции, обнаружившей воочию преходящий характер политической и других надстроек, обнажившей анатомию «гражданского общества»; если принять во внимание величайшую потребность, особенно сильную у «мыслящих реалистов» этого времени, в организационной и идеологической скрепе вышедшего из пазов общества,—станет понятным происхождение материалистических моментов исторической концепции Сен-Симона, с одной стороны, его научная религия—с другой.

Сен-Симон—отпрыск Карла Великого, социальная жертва буржуазной революции, мыслитель-интеллигент par excellence, принявший новый мир в его прогрессивных перспективах,—в указанной группе и ее настроениях мог найти основные элементы своего мировоззрения.

Только отсюда шел для него свет, ибо только здесь он мог найти источники своего положительного социального построения на дымящихся развалинах революции.

IV.

Вышеприведенный анализ социальных взглядов Сен-Симона с достаточной ясностью, надо полагать, отвечает на вопрос о «социализме» Сен-Симона.

Действительно, надо давать уже чересчур расширительное толкование понятию «социализм», чтобы Сен-Симоновское учение счесть социалистическим.

Между тем, в «Коммунистическом Манифесте» Маркс и Энгельс говорят «о собственно-коммунистической и социалистической системе Сен-Симона, Фурье и Оуэна», при чем всех они подводят под рубрику «критическо»-утопического социализма и коммунизма. Таким образом Сен-Симон попадает в великую социалистически-коммунистическую троицу и в анналы истории социализма неизменно входит.

По части коммунизма Сен-Симон стоит вне всяких подозрений—достаточно вспомнить его отвращение к «химере равенства» и пр.

В этом отношении он—антипод Оуэну, но он не является и критиком капиталистического общества (в чем, между прочим, особенная сила и значение Фурье), он—беспощадный критик лишь феодального общества, стоящего на пути «промышленной системе» (т.-е. идеализированному и урегулированному капиталистическому строю).

У Сен-Симона нет ни «фантастического описания будущего общества, ни серьезных критических элементов, затрагивающих все основания существующего общества», что должно быть свойственно по «Комм. Ман.» системам, числящимся под рубрикой критическо-утопического социализма и коммунизма». Маркс и Энгельс в «Комм. Манифесте» в оценке Сен-Симона не избегли воздействия традиции, через Лоренца Штейна отразившей Сен-Симона в памяти нескольких поколений, как социалиста-утописта. Впоследствии Маркс и Энгельс сопроводили эту оценку серьезными оговорками. «Не следует вообще забывать, что лишь в последней работе «Новое христианство» Сен-Симона прямо выступил от лица рабочего класса и об'явил его эмансипацию конечной целью своих стремлений. Все его более ранние произведения фактически представляют лишь прославление современного буржуазного общества в противоположность феодальному или прославление промышленников и банкиров в противоположность маршалам и юристам, фабриковавшим законы в наполеоновскую эпоху. Какая разница по сравнению с одновременными сочинениями Оуэна!» (Маркс, «Капитал», т. III, ч. 2, Госиздат, 1923 г., 145—146).

По поводу этой оценки Энгельс говорит: (ibidem, примеч.): «При переработке рукописи Маркс несомненно сильно изменил бы это место. Оно навеяно ролью ех-сен-симонистов в эпоху 2-й империи, где как раз в то время, когда Маркс писал эти строки, долженствующие спасти мир кредитные фантазии школы реализовались по исторической иронии в виде спекуляции неслыханного дотоле размаха. Впоследствии Маркс говорил лишь с удивлением о гении и энциклопедической голове Сен-Симона. Если последний в своих ранних произведениях игнорировал противоположность между буржуазией и пролетариатом, едва нарождавшимся тогда во Франции, если он причислял часть буржуазии, занятой производством, к travailleurs, то это соответствует также воззрению Фурье, стремившегося примирить капитал и труд, и об'ясняется экономическим и политическим положением тогдашней Франции. Если Оуэн в этом пункте видел дальше, то лишь потому, что он жил в другой обстановке, среди промышленной революции и уже сильно обострившихся классовых противоречий». Энгельс, пытаясь смягчить оценку Сен-Симона, сделанную Марксом, об'ясняет «слабости» Сен-Симона, но, как социалиста, он его не спасает.

Если уже пожелать спасти социалистическую честь Сен-Симона, то классификация социалистических систем, даваемая «Коммунистическим Манифестом», предоставляет эту возможность, но с большими потерями для этой чести. Это будет консервативный или «буржуазный социализм», точнее—«менее систематическая и

более практическая форма этого социализма», которая «старается отвратить рабочих от всякого революционного движения, утверждая, что не те или другие политические изменения, а лишь преобразование материальных условий жизни, экономических отношений может принести пользу рабочему классу. Но под преобразованием материальных условий жизни этот социализм понимает вовсе не уничтожение буржуазных условий производства, возможное только путем революции, а административные улучшения, совершающиеся на почве этой же самой организации производства, следовательно, ничего не изменяющие в отношениях капитала к наемному труду и в лучшем случае только уменьшающие для буржуазии издержки ее господства и упрощающие государственное хозяйство» (см. «Комм. Маниф.», 3-е изд., ред. Рязанова, стр. 97).

Но причисление и по этому «социалистическому» разряду возможно с очень большой натяжкой, ибо ведь по существу основной мотив социального учения Сен-Симона состоит не «только в устранении социальных бедствий, вызываемых капиталистическим строем, сколько в упрочении этого строя, устранении всего того, что мешает его развитию. Социальные бедствия, по Сен-Симону,—скорее продукт недоразвития капиталистического общества, и он зовет «на выучку к капитализму», своим индустриализмом об'ективно воспевая гимн развивающемуся капитализму Франции.

Подведение в «Комм. Ман.» под рубрику социализма обычных буржуазно-реформаторских учений имеет свое историческое об'яснение. Его дает Энгельс в предисловии 1890 г. к «Комм. Ман.»; об'ясняя, почему манифест получил название коммунистического, а не социалистического, он говорит:

«Во время его появления, мы не могли его назвать социалистическим манифестом.

«В 1848 г. социалистами назывались два разряда людей: с одной стороны, приверженцы различных утопических систем и, особенно, оуэнисты в Англии и фурьеристы во Франции, при чем и те и другие выродились тогда в простые, постепенно вымиравшие секты.

«С другой стороны, к социалистам принадлежали тогда всякие социальные прожектеры, которые различными панацеями и всевозможными заплатами стремились устранить общественные бедствия, не причиняя ни малейшего неудобства ни капиталу, ни прибыли. В обоих случаях это были люди, стоявшие вне рабочего движения и искавшие поддержки скорее у «образованных классов.

«Напротив, та часть рабочего класса, которая, убедившись в недостаточности простых политических переворотов, требовала коренного переустройства общества, называла себя тогда коммунистической.

«Это был еще мало обработанный, лишь инстинктивный, подчас грубоватый коммунизм; но он был достаточно силен для того, чтобы породить две системы утопического коммунизма: во Франции «икарийский» коммунизм Кабэ, в Германии коммунизм Вейтлинга. Социализм означал в 1847 г. буржуазное движение, коммунизм—движение рабочих. Для социализма, по крайней мере,

на континенте были отперты двери салонов, перед коммунизмом они были крепко заперты» (К. М., 3-е изд., ред. Ряз., стр. 54—55).

Ясно, что при таком понимании «социализма» Сен-Симон, особенно Сен-Симон периода «Нового христианства», имел все основания быть отнесенным к социалистам. Великий же социалистический триумвират он вошел не столько по своим заслугам, сколько по заслугам Базара и Анфантена (в особенности первого), скромно стушевавшимся за величественной «энциклопедической головой» учителя—учителя, которого они превратили в пророка новой религии.

Но так же ясно, что, при том понимании социализма, которое мы имеем установившимся в наше время, социальная система Сен-Симона не удовлетворяет минимальному требованию социалистической системы: в ней нет, прежде всего, общественной собственности на орудия и средства производства.

При сохранении же частной собственности на орудия и средства производства всякие другие «социалистические ноты» (socialistische Klänge), несомненно имеющиеся на-лицо у Сен-Симона, намеки на плановое общественное производство, всеобщая трудовая повинность, единая общественная цель в виде блага всех, комбинированное воздействие на природу не только не являются социалистическими, но могут прекрасно уживаться с капиталистическим обществом,—и, что любопытнее всего, именно на высшей ступени его развития.

Социальные настроения и чаяния высококвалифицированной технической организаторской интеллигенции на заре капиталистического развития Франции об'ективно прекраснейшим образом выразили потребности будущего капиталистического общества монополистического периода. Государственно-капиталистические тресты, концерны империалистической эпохи, фактически руководящая власть «капитанов промышленности», во время войны во имя «общего блага» вводящая всеобщую трудовую повинность, разве это не есть осуществление сен-симоновской «промышленной системы»? Несомненно да, в ее хозяйственно-административной стороне. Правда, на этой же ступени развития монополия создает новый класс «oisif», паразитарный класс рантье.

Но здесь мы наблюдаем соответственно и интересный процесс возрождения сен-симоновских идей—не только в части положительной, но и в части отрицательной—резкой борьбы с паразитарными элементами современного общества; паразитарными даже с точки зрения слоев, близко стоящих к господствующим классам опять-таки высококвалифицированной технической организаторской интеллигенции. Эта общественная группа вновь выдвигает, конечно, в модернизированном виде, основные идеи Сен-Симона о способах сцепления воедино общества, вышедшего из своих пазов.

Современный военный и послевоенный хозяйственный социальный и идеологический кризис рождает аналогичные настроения и потребности. «Многочисленный беднейший класс» времен Сен-Симона стал величайшим, могущественным классом современного общества—пролетариатом, уже организовавшим себя в господствующий класс на территории, равной $^1/_6$ части земного шара, и недвусмысленно стремящимся сделать это фактом для всего земного шара.

На этой раскаленной почве все обостряющейся классовой борьбы, на фоне перманентного кризиса капиталистического общества наиболее здоровые и дальновидные элементы капиталистического руководящего круга—а они имеются главным образом в высшей организаторской верхушке—ищут выхода, спасения тонущего капиталистического корабля и... находят его в ряде идей, в существенном повторяющих основные мысли Сен-Симона, идей об «организованном» капитализме.

Мы имеем яркие иллюстрации в подтверждение факта возрождения основной социальной концепции Сен-Симона.

Перед нами небольшая книжка Вальтера Ратенау «Новое хозяйство». «Новое хозяйство» Ратенау появилось в последний год войны; в своих построениях он исходит еще из предположения, что война кончится вничью, он не предвидит катастрофы Германии, но ясно сознает одно: «сгорает старый хозяйственный строй, и близится время, когда загорится также старый фундамент общественного порядка» (77). Это не значит, что Ратенау понял неизбежность социализма. Его новый общественный строй, как сейчас увидим, есть реформированный и «организованный» современный капитализм. Основной мотив Ратенау: интересы хозяйства—производство выше всего; «хозяйство ныне не является более частным делом, но общественным».

«Социальным последствием войны будет постепенный переход через новый хозяйственный строй к новой форме социального расслоения общества» (8).

Война нанесла огромные удары хозяйству; в частности во время войны произошло перераспределение имущества за счет среднего сословия. Появились «нувориши», беспринципные хищнические элементы,—они процветают; зато в упадке среднее сословие, которое очень ценно, ибо оно «является источником значительной части нашей научной, технической, публицистической и литературной интеллигенции, среднего государственного и частного чиновничества; его пролетаризация была бы для нас связана с духовным обнищанием до того времени, покамест не удалось бы развязать интеллектуальные силы пролетариата» (12).

Итак, мы видим у Ратенау, как и у Сен-Симона, констатирование кризиса, искание выхода в под'еме, прежде и пуще всего, хозяйства, высокую оценку трудовой интеллигенции параллельно с резкой критикой паразитарных элементов общества (у Сен-Симона эти последние поставлялись остатками феодального общества, у Ратенау—махровой почвой военного времени).

Беспредельной экономической свободе, думает Ратенау, будет положен конец—и в этом, по его мнению, положительная сторона неминуемой ожесточенной классовой войны.

Мы помним, что и Сен-Симон, начавший свой «индустриальный период гимном прекрасному растению—промышленной свободе», под конец, когда внутренние противоречия внутри промышленного класса стали его тревожить все сильней и сильней, в свою «промышленную систему» стал все больше и чаще вносить элементы общественного интереса, комбинации экономических сил, некоей плановости производства. Манчестерцем, сторонником беспредельной экономической свободы Сен-Симон не был.

На точку зрения необходимости ограничить эту экономическую свободу становится и Ратенау.

Во избежание острейших социальных конфликтов надо поднять заработную плату и повысить жизненные условия (ср. Сен-Симон в его «Письмах женевского обитателя» и позже—то же). А это возможно лишь одним путем: надо увеличить производство, повысить производительность труда. Ни существующий строй (т.-е., повидимому, капиталистическое общество не «организованное». *И. Ф.*), ни коммунистический этой задачи не разрешают (27).

Каков же строй, к которому общество идет?

Ответ Ратенау гласит: он будет, как и ныне, основан на частном хозяйстве, но ограничен в своей свободе. Он будет также проникнут общественной волей, как проникнуто ею всякое коллективное человеческое творчество, исключая до настоящего времени только хозяйственное. Его будет проникать мораль и ответственность.

«Народное хозяйство может также вестись планомерно; на основе научной организации, под влиянием регулирующих сил и принципов оно в состоянии произвести во много крат больше того, что ныне дает хаотическая борьба всех против всех; будучи освобождено от трений и острых конфликтов, без спекуляции на низменные инстинкты и без вознаграждения за рвачество, оно сможет сосредоточиться на наиболее важном и необходимом, оно сможет доставить низшим слоям народа вместо вековой вражды свободное сотрудничество» (27—28).

Итак, бургфриден на основе увеличения производительности труда, роста общественного богатства, как следствия планомерной организации народного хозяйства (при сохранении частного хозяйства)—рецепт Ратенау вполне сходен с сен-симоновским. Недостаточное развитие капитализма не дало еще Сен-Симону материала для более точной конкретизации своей «промышленной системы». Он дает лишь намеки. У Ратенау, «капитана промышленности» эпохи высшего развития капитализма, конечно, есть материал для более конкретной картины будущего общества—он проектирует Федерацию Синдикатов, управляющую в контакте с государством. «Новое хозяйство» будет об'единенным общественной волей частным хозяйством, которое, для органического об'единения его частей, для преодоления внутренних трений и для увеличения своей производительности и силы, будет нуждаться в содействии государства (69).

Но это будет не кастовое, а народное государство.

Как же Ратенау понимает это «народное государство»?

Свои мысли о судьбах государства Ратенау ярко выражает в другой своей брошюре «Der Neue Staat» (Berlin 1919). «Государство должно со скорбным удивлением (mit ärgerlichem Stauen) понять, что его повелевающее действие, внешняя политика, все больше и больше и, наконец, всецело становится слугой неполитической функции, хозяйства (12, 13); «после войны и политическая политика (politische Politik) даст еще некоторые театральные представления, затем отступит, а на ее место станет международная хозяйственная и социальная политика» (14).

«Современное государство уже больше не является только государством. Из волевой общности (Willensgemeinschaft), нации, политической, военной, религиозной и правовой общности, оно переразвилось (überentwickelt) в культурную, образовательную, обменную и в хозяйственную общность (Wirtschaftsgemeinschaft).

Вспомним, что и Сен-Симон выдвигал ценную мысль об отмирании правительства, как исключительно повелевающего органа, растворяя его в экономике, что и он требовал полноправия пролетариев, примиряясь с неизбежным злом парламентаризма, презирая его болтовню.

Как же обстоит дело с социальной справедливостью в новом обществе? Сен-Симон призывал к этой справедливости, не совсем бессознательно усугубляя с этой целью религиозный момент. Он верил в возможность ее при сохранении частной собственности, господства промышленников (руководителей), сохранения экономического неравенства.

Ратенау по этому вопросу говорит: «Общественное хозяйство само по себе не устранит социальной несправедливости, но оно приспособится ко всякому будущему социальному строительству и смягчит некоторые существующие ныне жестокости. Оно будет препятствовать чрезмерному росту отдельных состояний, успех спекулянтов и паразитов, произволу частных монополий, длящейся всю жизнь и переходящей по наследству праздности, вредной для общества страсти к наживе, опасности уничтожения среднего сословия, невыносимому напряжению классовой борьбы, оно будет способствовать проникновению промышленности моральными началами. Все же оно ни в чем не будет похоже на государственное принудительное учреждение или на коммунистическую казарму, ибо оно сохранит полностью индивидуальное мышление и индивидуальную ответственность» (74).

Ратенау переложил на отчетливый язык XX века более или менее смутные чаяния Сен-Симона в начале XIX в. Интеллигенты-организаторы хозяйства, идеологи организат. интеллигенции в период острого общественного кризиса, один на заре капитализма, другой на закате его, перекликаются так, что при всем различии эпох созвучие получается разительное.

Ратенау ни слова не говорит о Сен-Симоне. Нельзя, следовательно, утверждать, что он читал его. Но тем разительнее сходство их социальной концепции, вытекающее: 1) из сходства тех общественных групп, идеологию которых отражает тот и другой, 2) из сходства (mutatis mutandis) основных проблем, поставленных перманентным социально-политическим и экономическим кризисом переходного периода.

Но на родине Сен-Симона, во Франции, мы встречаемся в настоящее время с целым течением, уже открыто считающим себя сен-симонистским.

Любопытные данные по этому поводу сообщает нам книга: «Le Neo-Saint-Simonisme et la vie sociale d'aujourd'hui. Par Marc Bourbonnais». Paris 1923.

В 1920 г. Габриэль Даркэ издает журнал «Producteur» (так назывался первый периодический сен-симонистский орган с 1825—26 г.)...

В № 1 редактор говорит о «grand trouble» современной эпохи. Эпохи появления первого «Producteur» (1825—26 г.) и второго (1920 г.) аналогичны. Война 1918 года, как и война 1815 года,

оставили очаги без хозяев и земли без жатвы, «социальную неустойчивость, движение масс, вообще недовольство».

Новый «Producteur», по мысли редакции, должен отражать наилучшим образом «беспокойство тех, кто составляет цвет общества и в особенности техников» (l'inquiétude de ceux qui constituent l'élite et plus particuliarement de techniciens).

Техника и интеллект (La Technique et L'Intelligences) охвачены каким-то болезненным чувством, аналогично тому, что было и у первых сен-симонистов.

Усилия «Producteur» привели к отысканию лекарства от этой всеобщей болезни, характерной для избранных (élite), для общества нашего времени.

«Народ жаждет устойчивости (stabilité), улучшения (amélioration). Что сейчас нужнее всего? Инициатива, дух предприимчивости. Гигантский катаклизм 1914—1918 г.г.—основа нео-сен-симонизма. Основной бог современности—бог производства (Le dieu Production); он замещает собою божество распределения (la divinité de repartition). Бурбоннэ характеризует некоторых руководителей нео-сен-симонистского движения.

«Габриэль Дарнэ»—один из лучших умов современности. Квалифицированный ум и крупный предприниматель (grand créateur d'affaires), как и его друг, Фердинанд Гро. Последний представляет собою настоящий тип производственника (producteur). Его активность распространяется в обширных программах на все области производства: взрывчатых веществ, авиации, удобрении, азота, электричества, рудодобываний, механической и др. индустрии.

Основная задача «Producteur»—литературное выражение экономической науки, которая позволит установить факты общественного недомогания и их причин, а это приведет—и в этом цель нео-сен-симонистов—к излечению болезни.

Вокруг «Producteur» могут сгруппироваться лучшие умы.

И средство лечения уже не будет исходить от ученого, проповедывающего «pro domo», не от деловых людей (l'hommes d'affaires), опирающихся на солидную компетенцию. Это средство будет одновременно результат эмпиризма и логики, в особенности же результатом наблюдения.

«Так как все сводится к производству (подчеркнуто мною. *И. Ф.*), то важно использовать все творческие силы, заставить их работать во-всю, вскрывая при этом анахронизмы и ошибки, препятствующие их свободному проявлению.

Для нео-сен-симонистов кажется одинаково химеричной и невозможной диктатура какой-либо из двух ныне борющихся сил: как диктатура пролетариата, так и диктатура «патроната».

Руководителем должен явиться производственник (высший тип патроната и шефа предприятия). Почему же именно он? Потому, что он находится в наилучших условиях для понимания взаимоотношений людей в их насущнейших нуждах. «Он охватывает все дело производства, видит функционирующими все колеса. Он должен уметь сберегать, а чтобы получать, он обращается к банкирам; он должен обращаться к науке, чтобы воспринять дело; для реализации его—к техникам и рабочим; для сбыта—к торговле.

Производственнику все ясно во всех областях производства. Мало того, он видит перед собой все великие реальности, он своим взором проникает и в политическую и в социальную область, он видит ежедневно, чем и как обусловливается экономическая и социальная политика, но он вне партий и идеологий. Наиболее удобная точка зрения для изучения действительности, это—точка зрения производственника (именно такую принимает и доктрина нео-сен-симонистов), «это была, между прочим, и точка зрения первой школы сен-симонистов».

Нео-сен-симонисты говорят: пусть не спрашивают нашего мнения по вопросам внутренней или внешней политики, мы можем ответить пока на это лишь словами: уголь, азот, удобрение, белый уголь, кредит, организационное бюро, техническая культура, общая культура... это политика не в современном смысле слова, а политика производственника.

Производство и еще раз производство—такова мысль Сен-Симона.

Этот нео-сен-симонистский гимн производству и производственнику живо напоминает нам сен-симонистский гимн индустриализму и индустриалам.

Не только послевоенный кризис во Франции создал почву для возрождения идей Сен-Симона. Аналогия заходит еще дальше. Эпоха Сен-Симона была для Франции эпохой промышленной революции. Вот основа его индустриализма. Основа для возрождения сен-симоновского индустриализма в наше время во Франции несомненно опять-таки та промышленная революция, которую вторично переживает Франция. По существу, ведь именно после войны 1914—1918 г.г., получив эльзас-лотарингскую железную руду и Саарский угольный бассейн, с великими надеждами на использование рурского угля, Франция из страны по преимуществу сельско-хозяйственной, страны с отсталой сравнительно промышленностью, становится на путь мощного индустриального развития.

Французская технически-организаторская интеллигенция высококвалифицированного типа и откликается на этот факт возрождением сен-симонизма; идеология Сен-Симона приходится с соответствующими изменениями вполне по плечу и по духу этой общественной группе современной Франции. Об'ективный смысл этих взглядов—опять-таки интересы капитализма, переходящего на высшую ступень развития, к стадии «монополистического капитализма», в глазах его идеологов «организованного капитализма».

Учение Сен-Симона как нельзя лучше подходит для этого периода капитализма, когда он пытается отдалить свою гибель попыткой «организоваться», путем этой организации создав базу для урегулирования обостряющихся социальных конфликтов.

В современном сен-симонизме, отражающем суб'ективные настроения производственной интеллигенции высшего ранга, нет и грана социализма, как не было социализма и у Сен-Симона.

Но ведь ученики Сен-Симона создали несомненно социалистическую систему, правда, построенную не демократически, а иерархически, но систему все же социалистическую, ибо орудия и средства производства являются в ней общественной собственностью?

Как необходимо строго отличить Сен-Симона от его школы, так необходимо отличать соответственно и их влияние на последующую социальную мысль. В нео-сен-симонизме, нами отмеченном, нашел свой отклик Сен-Симон. Он вполне созвучен той группе производственной интеллигенции, которая самым тесным образом переплетена с высшей группой капиталистов в собственном смысле. Ратенау—яркий образ такого тесного переплетения капиталиста и высококвалифицированного интеллигента-организатора производства. Социализм сен-симонистской школы ему чужд. Тут следует отметить интересную мысль, высказанную Волгиным, по поводу социальной базы сен-симонистской школы. Школа вербовала своих адептов, главным образом, в низших кругах демократической технической интеллигенции, входившей раньше в республиканские общества. Этот средний и низший слой технической интеллигенции и был социальной базой сен-симонистской школы. Именно этот слой, более близко стоящий к пролетариату, и мог легче уловить, оттенить противоречия внутри сен-симонистского «промышленного класса», развить теорию классов и, с другой стороны, легче притти к построению социалистической системы.

Эта несомненно правильная оценка социальной базы сен-симонистской школы дает нам ключ к пониманию ряда явлений в социалистическом движении новейшего времени—эпохи 2-го Интернационала и наших дней.

Внимательный анализ оппортунистических течений современного социализма (это стоило бы специального исследования) несомненно показал бы нам рост влияния на социалистическую мысль средних и низших слоев интеллигенции, примкнувшей к пролетарскому движению. Эта группа, которой ко 2-й четверти XIX в. вполне соответствовал социализм сен-симонистской школы, нашла к концу XIX в. свое прибежище повсюду в оппортунистических фракциях социалистических партий.

Духовное родство каутскианских и гильфердинговских «ультраимпериализма» и «социализации», чрезвычайной примиритель ности по отношению к капитализму, крайней боязни «издержек революции», при полной вере в организаторские способности современных капиталистических шефов и возможность и даже необходимость стабилизации капитализма, наивной веры в пацифистскую миссию «Лиги Наций»—духовное родство с сен-симонистским социализмом несомненно. Вырождение социал-демократии в глашатаев социального мира, по-просту говоря, в непосредственных слуг капиталистического общества, вполне аналогично вырождению сен-симонистской школы. В эпоху 2-й империи «долженствующие спасти мир» кредитные фантазии школы реализировались, по исторической иронии, в виде спекуляции неслыханных дотоле размеров» («Капитал», т. I, ч. 2, стр. 146, прим. Энгельса).

Сен-симонисты, отбросив увлечения молодости, стали прекрасными дельцами—финансистами, банкирами, промышленниками (Анфантен, Перейры с их «Credit mobilier» и пр.).

Разложение социал-демократии дало нам плоды еще посочнее—вроде «барматовщины» в Германии.

Внимательный анализ «Всеобщей организационной науки» (Тектологии) Богданова и его «социализма» вскрыли бы, что социальной базой богдановщины является технически-организаторская интеллигенция, та база, которая выдвинула сен-симонистский социализм; что в «богдановщине» мы имеем дело с возрождением элементов сен-симонистского социализма (учение об организаторах).

После всего вышесказанного ответ на вопрос о месте Сен-Симона в истории социализма не представляет затруднений. Сен-Симон—не социалист, но в его учении есть ряд моментов, которые, будучи развиты его школой, главным образом Базаром и Анфантеном, и поставлены в плоскость классовой борьбы в капиталистическом обществе, из которого феодальные остатки уже более или менее удалены, составили элементы социалистической системы. Поскольку история социализма не может пройти мимо сен-симонистской школы, постольку она не может пройти и мимо тесно связанного с этой школой Сен-Симона. Это не подлежит сомнению, но так же верно и то, что на-ряду с Фурье и Оуэном следовало бы поставить не Сен-Симона, а Базара. Но Сен-Симон входит в историю социализма и другим, более важным путем. Он оплодотворил рядом блестящих идей так называемую «философию истории», подготовив почву для стержня современного научного социализма—материалистического понимания истории, формулированного Марксом и Энгельсом.

Энгельс отмечает в «Анти-Дюринге» (изд. 1918 г., стр. 230), что «рассматривать французскую революцию, как классовую борьбу между буржуазией, дворянством и неимущими, было в 1802 г. весьма гениальным открытием. В 1816 г. он (Сен-Симон) об'являет политику наукой о производстве и предсказывает полное растворение политики в экономии. Если тут только в зародыше обнаруживается понимание того, что экономическое положение есть базис политических учреждений, то все-таки уже ясно выражена идея о превращении политического правления над людьми в управление вещами и в руководство процессом производства... Мы находим у Сен-Симона гениальную широту взгляда, благодаря которой у него в зародыше содержатся почти все, почти и не строго экономические идеи позднейших социалистов».

Как не может пройти мимо Сен-Симона история социализма, так не может обойти его и историк социальной мысли вообще. Сен-Симон богатыми пригоршнями разбрасывал глубочайшие идеи, касающиеся человеческого общества и его истории. Если эти идеи уже непосредственно не могут питать пролетариата, стоящего на марксистской точке зрения, то изучение их полезно и необходимо и для понимания марксизма, требующего понимания его истории, полезно и необходимо также для понимания многих идеологических процессов, протекающих в других классах общества, что для революционного пролетариата и потребностей его борьбы совсем не безразлично.

Пролетариат не может не отметить столетия со дня смерти Сен-Симона, последней предсмертной мыслью которого была мысль о судьбах рабочего класса.

„Неосенсимонизм“ и реформистский синдикализм.

Г. Зайдель.

I.

В истории человечества едва ли найдется имя, которое подобно Сен-Симону возбуждало бы столько противоречивых суждений и споров. К столетию со дня смерти этого, по словам Маркса, «гения и энциклопедический головы» мы не имеем даже в марксистской литературе прочно установившегося и общепринятого мнения о наследии Сен-Симона. А между тем, интерес к этому несомненно оригинальнейшему мыслителю Франции не только не ослабевает, но по мере отдаления от эпохи, в которую жил Сен-Симон, все возрастает. В лагере марксистов мы имели за последнее время солидное исследование Фридриха Муклэ, интересные изыскания Экштейна и Кунова, небольшую, сжатую, но полную новых плодотворных мыслей работу Волгина, ряд статей в журналах. Мы не можем здесь заниматься разбором всех этих работ [1]), так как это отвлекло бы нас слишком далеко от непосредственной нашей задачи. Отметим только, что наиболее убедительной нам кажется точка зрения В. Волгина [2]), рассматривающего Сен-Симона, как мыслителя, в учении которого на-ряду с апологией индустриализму есть зародыши идей социалистических. Эта диалектическая характеристика учения Сен-Симона кажется нам наиболее приемлемой, кстати, вполне об'ясняющей на первый взгляд противоречивые суждения Маркса о Сен-Симоне, рассматривавшего последнего то как утописта-социалиста, то как певца и пророка капиталистического общества. С точки зрения, выставленной и обоснованной т. Волгиным, вполне понятно также и то обстоятельство, что школа сен-симонистов, выработавшая довольно стройную социалистическую теорию и пошедшая гораздо дальше своего учителя, черпала свои взгляды, казалось бы, глубоко отличные от взглядов Сен-Симона, у последнего и упорно приписывала своему учителю собственные идеи.

Как известно, сен-симонисты выродились впоследствии в лакеев и слуг капиталистического строя, и финансовая деятель-

[1]) См. ст. Фридлянда, Анри де-Сен-Симон—идеолог индустриализма («Под Знаменем Марксизма», 1923 г., № 10), где излагаются мнения указанных авторов, а также мнения Маркса, Энгельса, Плеханова. См. также нашу рецензию на работу В. Волгина в «Под Знам. Марксизма», 1925 г., № 1—2, где дается изложение точки зрения последнего автора.

[2]) В. Волгин, Сен-Симон и сен-симонизм,—есть два издания «Кр. Нови» и «Комм. Академии».

ность братьев Перейра знаменует собою кульминационную точку в той эволюции, которую совершила эта некогда социалистическая школа. И тем не менее было бы неверно совершенно отрицать влияние сен-симонистов на рабочее движение. Обыкновенно ссылаются на неуспех мастерских, которые сен-симонисты устраивали в 30-е годы, на ярко оппортунистическо-католическую проповедь Бюше, благотворительно-буржуазный характер его производительных товариществ и идеологию его детища, журнала «Atelier», давшего впоследствии пышные ростки в лице рабочего Корбона и других «зубатовского» типа «рабочих» лидеров. Это все верно, но, во-первых, отнюдь не свидетельствует об отсутствии влияния сен-симонистов на рабочих, по крайней мере на некоторые ремесленные круги французского пролетариата, а, во-вторых, исследователи обыкновенно проходили мимо других явлений в среде рабочего класса, несомненно связанных с идеологией сен-симонизма. В частности, небезынтересно будет здесь привести небольшое, но очень яркое место из находившегося во власти сен-симоновской идеологии рабочего журнала «La Ruche Populaire», начавшего выходить в 1839 году. Вот, что говорится в одной из статей этого журнала: «Около ста рабочих, признавая, что сейчас не существует ни одного журнала, где освещались бы хорошо их нужды, а, кроме того, почти все современные журналы имеют целью больше спекулировать существующими мнениями, чем освещать их своим читателям,—образовали что-то вроде Конгресса, чтобы сознательно разобрать все социальные теории, созданные до нынешнего дня, и сделать попытку подойти к образованию системы, способной реально улучшить условия бедного класса, чтобы покончить со старой и неопределенной политикой и окончательно конструировать социалистическую партию Трудящихся» (le parti socialiste des Travailleurs) [1]).

Такое категорическое заявление в рабочем журнале, находящемся под несомненным влиянием сен-симонистских идей, свидетельствует по крайней мере о том, что исследователями недоценено влияние школы сен-симонистов на некоторые круги рабочих во Франции в эпоху 30—40-х г.г. Сен-симонизм рядом положений своей теории упирается в пролетариат, по крайней мере в определенные слои пролетариата, близкие к ремесленным [2]), но своим учением об иерархии, религиозными фантазиями и выступлениями против коммунизма давал обоснование идеологии технической интеллигенции, которая (интеллигенция), перерождаясь по мере укрепления капитализма, входила в поры капиталистического общества в качестве необходимой организаторской силы и превращалась в апологетов и слуг капитализма.

Из двойственности учения Сен-Симона вытекает и двойственность идеологии сен-симонизма, хотя ученики в своих построениях пошли значительно дальше своего учителя. Эта двойственность сен-симоновского учения создает возможность интерпретировать его по разному. Вот почему буржуазная мысль, зашедшая в тупик перед лицом неразрешимых противоречий эпохи конца

[1]) «La Ruche Populaire»—journal des ouvriers rédigé et publié par eux—mêmes. Sous la direction de Vincard, 2-e Numero, 1e Janvier 1840.

[2]) В журнале «La Ruche Populaire», напр., принимали участие и предприниматели—ремесленники, но больше там сотрудников-рабочих: типографов, бронзовщиков, портных и пр., т.-е. ремесленники и ремесленный пролетариат.

капитализма, стремится «возрождением» и «обновлением» сен-симонизма подвести базу под свою реакционную идеологию. Буржуазии подает руку реформистский синдикализм, с своей стороны «интерпретирующий» Сен-Симона по своему образу и подобию. Противоречия в учении Сен-Симона служат на пользу этому новому альянсу между буржуазией и реформистами. Наша задача будет состоять в том, чтобы показать, как на базе так называемого «неосенсимонизма» происходит этот указанный трогательный буржуазно-реформистский альянс.

II.

Один из виднейших теоретиков реформистского синдикализма Максим Леруа, выпустил книгу, посвященную Сен-Симону, под названием «Le socialisme des Producteurs, Henri de Saint-Simon»[1]. По существу это не столько исследование об учении Сен-Симона, основанное на изучении каких-либо новых или малоизвестных источников, сколько попытка подогнать систему Сен-Симона под теорию и идеологию реформистского крыла французского рабочего движения.

«Сен-Симон,—пишет Леруа,—открывает все дороги мысли XIX, а затем и нашего века. Без него нельзя себе мыслить ничего. Позитивизм идет от него через его ученика Конта; через Сен-Симона, который много занимался физиологией, ведет путь к Клоду Бернару; марксистский социализм идет от него так же, как и от Рикардо,—не потому ли Энгельс отдавал дань уважения его «гениальной прозорливости», что воспользовался ею? Он (Сен-Симон) предвидел современный банковский режим, а также индустриализм. А это слово, которое заставляет дрожать старый общественный порядок: «производитель»—оно сорвалось с его пера, всецело уже охваченного революционным гневом будущего поколения»[2].

Во всем этом отрывке центр тяжести лежит не в первой половине, где указывается (с явным преувеличением по отношению к Марксу) влияние Сен-Симона на последующих мыслителей, сколько в однозном слове «производитель», которое Максим Леруа склоняет на все лады на протяжении своей работы о Сен-Симоне. «Социализм производителей», эта гибкая формула, понадобилась Леруа для того, чтобы скрыть за ней свой беззубый реформизм, свою отнюдь не революционную концепцию, свое истинно-соглашательское бессилие.

«Сен-Симон—непосредственный философ политической экономии,—пишет далее Леруа.—Его мысль совершенно неполитическая (курсив наш. *Г. З.*); поэтому он не оставил после себя школы исследователей (?!), как, напр., Монтескье—либеральную школу, или Руссо—школу монтаньяров. Его занимало только производство и в этом его оригинальность»[3]. Это подчеркивание неполитичности системы Сен-Симона—второй излюбленный прием Леруа, который продолжает на словах твердить анархо-синдикалистские зады, отнюдь, однако, не отказываясь в действительности от политики в духе и стиле французских лонгетистов.

1) Maxime Leroy, Le socialisme des producteurs Henri de Saint-Simon. Paris 1924.
2) Ibid., стр. 3.
3) M. Leroy, op. cit, стр. 5.

Совершенно ясно, почему далее наш новый адепт Сен-Симона с удовольствием развивает давно уже ставшую реакционной, но имевшую известное прогрессивное значение в 20-е г.г. XIX столетия двухклассовую систему (феодалы и промышленники) Сен-Симона. «Сен-Симон,—подчеркивает Леруа,—изобрел (курсив Леруа. *Г. З.*) новые социальные функции, новое экономическое равновесие. До него в обществе видели только собственников или подданных; уважали только прибыль и власть; думали только о поддержке авторитета правительственного центра над провинциями. После его изобретения стали требовать от каждого человека отчета о выполненном, стали отделять бездельников от трудящихся»[1]. Справедливо превознося знаменитую «Параболу», он пишет: «Эти триста строчек представляют собою все, то есть наиболее совершенного в иронии Стендаля, в знании Маркса, во вдохновении Фурье или Прудона, в резкости бабуистов»... Но это восхваление мешает Леруа критически отнестись к теории классов Сен-Симона.

«Сен-Симон освободил труд от его проклятия, сделав его общественным; он общественен, так как является обязанностью, распространяющеюся на всех; самым фактом потребления человек поставлен в необходимость трудиться полезно на благо общего прогресса. Он обесчестил праздность»... И в припадке восторга перед «Параболой» Леруа всецело принимает деление Сен-Симона на праздных и трудящихся... «Праздные—это священник, военный, неэксплоатирующий собственник, рантье. Трудящиеся—это индустриалы, негоцианты, ремесленники, землеробы, банкиры, ученые, артисты»...—повторяет вслед за Сен-Симоном Леруа, прибавляя, как бы мимоходом: «список, который должен быть изменен со временем с «прогрессом просвещения»[2].

Этот список, несмотря на огромный к первой четверти XX века «прогресс просвещения», мало изменяется под любвеобильным пером Леруа. Он вынужден прибавить к этому списку рабочий класс, который, как известно, не выделялся в определенную группу Сен-Симоном,—нельзя же теперь без рабочих: в эпоху диктатуры пролетариата мудрено их забыть—но оставляет и относит к «трудящимся» весь букет господствующих групп и групп, сливая всех в «производителей». Немало страниц посвящает Леруа доказательству правильности и необходимости такого именно деления. В главе, называющейся «Профессиональное правительство», Леруа пишет: «Он (Сен-Симон)—первый теоретик профессионального государства, и, без сомнения, он также первый приравнял нацию к обществу производителей, а гражданина—к участнику в промышленности. В государстве он видел «мастерскую»—сравнение, принятое Прудоном, у которого это заимствовала Всеобщая Конфедерация Труда под пером генерального секретаря Жуо через 50 лет, не зная имени его изобретателя... Он рассматривал государство, как дело, поэтому он говорил не «правительство», а «администрация»[3].

1) Ibid., стр. 56.
2) Ibid., стр. 56—59.
3) Ibid., стр. 69.

капитализма, стремится «возрождением» и «обновлением» сен-симонизма подвести базу под свою реакционную идеологию. Буржуазии подает руку реформистский синдикализм, с своей стороны «интерпретирующий» Сен-Симона по своему образу и подобию. Противоречия в учении Сен-Симона служат на пользу этому новому альянсу между буржуазией и реформистами. Наша задача будет состоять в том, чтобы показать, как на базе так называемого «неосенсимонизма» происходит этот указанный трогательный буржуазно-реформистский альянс.

II.

Один из виднейших теоретиков реформистского синдикализма Максим Леруа, выпустил книгу, посвященную Сен-Симону, под названием «Le socialisme des Producteurs, Henri de Saint-Simon»[1]). По существу это не столько исследование об учении Сен-Симона, основанное на изучении каких-либо новых или малоизвестных источников, сколько попытка подогнать систему Сен-Симона под теорию и идеологию реформистского крыла французского рабочего движения.

«Сен-Симон,—пишет Леруа,—открывает все дороги мысли XIX, а затем и нашего века. Без него нельзя себе мыслить ничего. Позитивизм идет от него через его ученика Конта; через Сен-Симона, который много занимался физиологией, ведет путь к Клоду Бернару; марксистский социализм идет от него так же, как и от Рикардо,—не потому ли Энгельс отдавал дань уважения его «гениальной прозорливости», что воспользовался ею? Он (Сен-Симон) предвидел современный банковский режим, а также индустриализм. А это слово, которое заставляет дрожать старый общественный порядок: «производитель»—оно сорвалось с его пера, всецело уже охваченного революционным гневом будущего поколения»[2]).

Во всем этом отрывке центр тяжести лежит не в первой половине, где указывается (с явным преувеличением по отношению к Марксу) влияние Сен-Симона на последующих мыслителей, сколько в одиозном слове «производитель», которое Максим Леруа склоняет на все лады на протяжении своей работы о Сен-Симоне. «Социализм производителей», эта гибкая формула, понадобилась Леруа для того, чтобы скрыть за ней свой беззубый реформизм, свою отнюдь не революционную концепцию, свое истинно-соглашательское бессилие.

«Сен-Симон—непосредственный философ политической экономии,—пишет далее Леруа.—Его мысль совершенно неполитическая (курсив наш. *Г. З.*); поэтому он не оставил после себя школы исследователей (?!), как, напр., Монтескье—либеральную школу, или Руссо—школу монтаньяров. Его занимало только производство и в этом его оригинальность»[3]). Это подчеркивание неполитичности системы Сен-Симона—второй излюбленный прием Леруа, который продолжает на словах твердить анархо-синдикалистские зады, отнюдь, однако, не отказываясь в действительности от политики в духе и стиле французских лонгистов.

1) Maxime Leroy, Le socialisme des producteurs Henri de Saint-Simon. Paris 1924.
2) Ibid., стр. 3.
3) M. Leroy, op. cit, стр. 5.

Совершенно ясно, почему далее наш новый адепт Сен-Симона с удовольствием развивает давно уже ставшую реакционной, но имевшую известное прогрессивное значение в 20-е г.г. XIX столетия двухклассовую систему (феодалы и промышленники) Сен-Симона. «Сен-Симон,—подчеркивает Леруа,—изобрел (курсив Леруа. *Г. З.*) новые социальные функции, новое экономическое равновесие. До него в обществе видели только собственников или подданных; уважали только прибыль и власть; думали только о поддержке авторитета правительственного центра над провинциями. После его изобретения стали требовать от каждого человека отчета о выполненном, стали отделять бездельников от трудящихся»[1]). Справедливо превознося знаменитую «Параболу», он пишет: «Эти триста строчек представляют собою все, что есть наиболее совершенного в иронии Стендаля, в знании Маркса, во вдохновении Фурье или Прудона, в резкости бабувистов»... Но это восхваление мешает Леруа критически отнестись к теории классов Сен-Симона.

«Сен-Симон освободил труд от его проклятия, сделав его общественным; он общественен, так как является обязанностью, распространяющеюся на всех; самым фактом потребления человек поставлен в необходимость трудиться полезно на благо общего прогресса. Он обесчестил праздность»... И в припадке восторга перед «Параболой» Леруа всецело принимает деление Сен-Симона на праздных и трудящихся... «Праздные—это священник, военный, неэксплоатирующий собственник, рантье. Трудящиеся—это индустриалы, негоцианты, ремесленники, землеробы, банкиры, ученые, артисты»...—повторяет вслед за Сен-Симоном Леруа, прибавляя, как бы мимоходом: «список, который должен быть изменен со временем с «прогрессом просвещения»[2]).

Этот список, несмотря на огромный к первой четверти XX века «прогресс просвещения», мало изменяется под любвеобильным пером Леруа. Он вынужден прибавить к этому списку рабочий класс, который, как известно, не выделялся в определенную группу Сен-Симоном,—нельзя же теперь без рабочих: в эпоху диктатуры пролетариата мудрено их забыть—но оставляет и относит к «трудящимся» весь букет господствующих групп и группочек, сливая всех в «производителей». Немало страниц посвящает Леруа доказательству правильности и необходимости такого именно деления. В главе, называющейся «Профессиональное правительство», Леруа пишет: «Он (Сен-Симон)—первый теоретик профессионального государства, и, без сомнения, он также первый приравнял нацию к обществу производителей, а гражданина—к участнику в промышленности. В государстве он видел «мастерскую»—сравнение, принятое Прудоном, у которого это заимствовала Всеобщая Конфедерация Труда под пером генерального секретаря Жуо через 50 лет, не зная имени его изобретателя... Он рассматривал государство, как дело, поэтому он говорил не «правительство», а «администрация»[3]).

1) Ibid., стр. 56.
2) Ibid., стр. 56—59.
3) Ibid., стр. 69.

Оправдывая Сен-Симона за то, что он отдавал исполнительную власть банкирам, Леруа заявляет: «Сен-Симон высказывается за банкиров; но он отдает высшую власть в иерархии практикам наиболее высокой интеллектуальной дисциплины». «Заметьте,—цитирует Леруе, наш автор Сен-Симона, с явным сочувствием,—что банкир—только рука; мозг—у индустриалов и аргистов; они—творцы». Мы дальше увидим, что это последнее изречение Сен-Симона является гвоздем всей философии «неосенсимонизма» и реформистского синдикализма: именно, высококвалифицированная, техническая интеллигенция, по существу, составляет один из главных устоев социальной базы реформистского синдикализма. Конечно, Леруа не может же просто отождествить свою философию с теорией Сен-Симона, для вида он вносит в нее и некоторые поправки, но эти поправки очень мало изменяют в теории учителя. «Само собой очевидно,—спешит заявить Леруа,—он (Сен-Симон) мыслил правительство производителей не в нашей современной синдикалистской форме, но в форме достаточно близкой к нашей, чтобы заслужить название пред-синдикалистского (pré-syndicaliste)[1]). При чем Сен-Симон выразил эту мысль достаточно ясно и точно. Он думал передать власть индустриалам путем организации парламента не похожего на наш политический парламент. Он предсказал «профессиональную цивилизацию, профессиональную администрацию»,—это предсказание осуществляется в наше время. «Точно так же, как феодальная армия конструировала гражданского главу по своему образу, современный завод создал своего администратора в пылающем огне тяжелой индустрии; Ратенау, Стиннес, Форд, Лушер продолжают сен-симонистскую мечту до дверей самых непосредственных и живущих реальностей Комитета Тяжелой Промышленности (Comité des Forges)»[2]).

Эта фраза замечательна: она свидетельствует о том, до чего дошли реформистские вожди, славословящие героев Рура и инфляции, палачей рабочего класса, как новый тип «не праздного» индустриала, долженствующего осуществить власть в «профессиональном государстве».

III.

Конечно, нашему трубадуру «профессиональной цивилизации» необходимо одобрить свою стряпню сладеньким блюдом из... религии. Не религии в старом смысле этого слова с богом, обрядами, попами и молитвой, а новым религиозным идеализмом в стиле и духе «Нового христианства» Сен-Симона. Отмечая, что последний именно в «Новом христианстве» больше всего говорил о всеобщем братстве, об интересах «бедного класса», Леруа заключает: «Сен-Симон предвидел, что индустриальное человечество нуждается в идеализме, чтобы осуществить это братство, и что оно создает согласие с системой знаний и промышленности в религиозном идеализме, который, однако, не будет подражать старым формам: без бога, попов и культа. Идеализм, который останется наукой, новой наукой (курсив Леруа. *Г. З.*), идеализм, который привяжет человека к земле так же крепко, как старая вера его привязывала к небу»[1]).

[1]) M. Leroy, op. cit., стр. 73.
[2]) Ibid., стр. 87.

Этот стопроцентный идеализм, носителем которого об'являет себя Леруа, нужен массам потому, что «современный человек нуждается в вере». Если марксизм, напр., как писал Антонио Лабриола, «это—научное (курсив Леруа. *Г. З.*) и отраженное об'яснение пути, который проходит наше гражданское общество», то он (марксизм) перестает быть наукой по мере того, как он сдает своим об'яснениям форму эмоциональной веры», по мере того, как «эти об'яснения становятся символами в народной душе», становятся «бесспорной истиной, спасительными словами, божественными словами»... Только наблюдая действительность, мог Маркс установить законы прибавочной стоимости, концентрации частной собственности, кризисов. Но эти законы, которые он наблюдал как ученый, Маркс формулировал в виде символов веры (en croyances, en symboles); и они были восприняты рабочим классом именно в этой символической форме...»[1]) (курсив наш. *Г. З.*).

Итак, некоторая часть человечества, люди науки, господа Леруа—они воспринимают действительность вслед за Марксом, не нуждаясь ни в каких богах, ни в каких религиях, без всякой дозы «религиозного идеализма»; для масс же, для черни нужна, необходима религия: «современный человек нуждается в вере», рабочему нужен этот наркоз. Одним словом, религиозное остается и поныне «важнейшим стимулом общественного движения». Религия нынешняя отличается от католической только тем, что «католик сперва верит, а потом наблюдает; марксист сначала наблюдает, а потом верит»... «Благодаря социализму, в частности марксизму, наука и промышленность сделались элементами религии»[3]). Это разделение человечества на «благородных» и «чернь», это противоставление научного мышления аристократов духа и религиозного восприятия трудящихся масс чрезвычайно характерно для реформистского социализма и синдикализма, смотрящего сверху вниз на рабочий класс, опекающего его, думающего за него, боящегося его самостоятельности, творческой мысли, его независимых действий.

Возрождая «новое христианство» Сен-Симона, наш строитель новой реформистской иерархии, конечно, отвергает всякую обрядность и культ. Искусство должно заменить внешнюю сторону старой религии, художник—вот новый священник этого «нового христианства». «Сен-Симон считал, что художник, тоже производитель (курсив Леруа. *Г. З.*), в таком же роде, как промышленник и ученый, должен, как и они, быть управляющим, администратором общественных дел... В наше время сверх производительности (de productionisme outrancière), перед лицом социализма-коммунизма, почти исключительно занятого материальным улучшением,—сен-симоновская мысль получила свое истинное значение в цивилизации: затерянные посреди жестоко индустриализированного послевоенного мира, художники почувствовали с особой остротой свою силу, свой инстинкт соправителей,

[1]) M. Leroy, op. cit., стр. 45.
[2]) Ibid., стр. [illegible]
[3]) [illegible], стр. [illegible], 101.

который им предрекал Сен-Симон в начале XIX века. И они об'единились с другими интеллектуалами в Конфедерацию Интеллектуальных Работников,—знак солидарности и средство освобождения, в ячейку близкого управления профессиональными спосспособностями, возвещенное уже учителем Огюста Конта» [1]).

Мы увидим ниже, что представляет собой Конфедерация Интеллектуальных Работников, о которой с таким восторгом пишет Леруа. Это—организация, ничего общего с пролетариатом не имеющая, чисто буржуазного, мы бы сказали, аристократического типа. Леруа ухватывается за нее, чтобы тем сильнее подчеркнуть свой ныне реакционный идеал, который он позаимствовал у Сен-Симона. Ибо, если в начале XIX века мысль Сен-Симона о главенстве художников и ученых имела некоторое прогрессивное значение в противопоставлении феодализму, если союз между наукой и пролетариатом, провозглашенный еще Лассалем, сохраняет свое огромное значение и сейчас,—то идеал, выставляемый Леруа, идеал верховенства идеологов, полное забвение интересов пролетариата, является реакционным в подлинном смысле этого слова. Можно только посмеяться над восторженными дифирамбами Леруа: «При помощи художников и ученых будет сохранена старинная красота, бескорыстный культ истины в то время, как будет укрепляться новое индустриальное мироощущение, которое Сен-Симон завещал изобрести и заставить полюбить» [2])... «Индустриальное мироощущение» Лушеров и Стиннесов, их «бескорыстный культ истины», который будут сохранять художники и ученые, организованные Леруа,—какая умилительная картина для всех ренегатов пролетариата, возглавляемых международным реформизмом!

Для завершения картины Леруа интерпретирует мысль Сен-Симона о всеевропейском конгрессе. Теперь мы говорим—заявляет Леруа—Лига Наций, сверхгосударство. Сен-Симон мечтал о «профессиональном обществе наций», он исключал из этого парламента «бездельников и болтунов: он думал о профессиональной палате, потому что составлял ее только из негоциантов, ученых, магистратов и администраторов, избранных их корпорациями» [3]). Аббат Сен-Пьер тоже предлагал такое общество наций, но мыслил его в виде парламентарного дипломатического конгресса. Нынешняя Лига Наций похожа больше на сен-пьеровскую, но все же она есть при всем своем несовершенстве первый шаг наций по пути к осуществлению мысли Сен-Симона и ныне дело идет «только о ее усовершенствовании» (курсив наш. *Г. З.*). Так, в лоне «усовершенствованной» Лиги Наций, в которой заседают Стиннессы, Лушеры, Форды, художники и ученые, находят господа Леруа осуществление своих идеалов. Этот «неосенсимонизм», действительно, ничем не отличается от идеалов самых заправских империалистов, творцов Версальского мира.

IV.

В своей книге о Сен-Симоне Максим Леруа только подвел итог ревизии синдикализма, который до войны при всех своих

[1]) M. Leroy, op. cit., стр. 122.
[2]) Ibid., стр. 122.
[3]) Ibid., стр. 129.

недостатках, обладал и рядом достоинств: его непримиримое настроение по отношению к буржуазии, его боевой антимилитаризм, его проповедь всеобщей стачки, даже его антипарламентаризм—все это не мало привлекало известную часть рабочего класса, стихийно сопротивлявшегося парламентскому кретинизму социалистических партий, особенно во Франции.

Максим Леруа вместе с Жуо и Мергеймами во время, а в особенности после войны постарались вытравить из синдикализма все эти привлекательные черты. Модный ныне лозунг конструктивного социализма, апологетом которого являлся Макдональд, а за ним совсем уже недавно Чернов [1]) (наши отечественные «конструктивисты» всегда опаздывают), еще в 1919 г. был провозглашен секретарем Всеобщей Конфедерации Труда Франции, Жуо. «Совершить революцию—это значит предпринять обширную конструктивную работу,—заявил он на заседании конфедерального национального комитета 21 июля 1919 г.—Наше мировоззрение не может ограничиться выжидательно-катастрофической гипотезой, которая предоставляет самой катастрофе определяющую роль по отношению к новому порядку и социальному равновесию... Всеобщая Конфедерация Труда озабочена тем, чтобы выступить не только с критикой, но еще—и более всего—с конструктивной теорией..., имеющей в виду не только национальный, но и общечеловеческий интерес»... Прежний лозунг «разрушать, чтобы свободнее создавать», должен быть заменен новыми лозунгом: «организовать, чтобы иметь возможность лучше разрушать» (organiser pour mieux pouvoir dertuire»)... [2]).

В качестве нового конструктивного плана Жуо была выдвинута идея создания «Экономического Совета Труда», состоящего из представителей кооперативов, профессиональных союзов, техников промышленности, торговли и земледелия и национальной федерации чиновников. С этим проектом Жуо обратился к Клемансо, который, однако, отверг его предложение. С приходом к власти Эррио последний пошел навстречу этому проекту, имеющему целью новое одурачивание рабочих масс. Таким образом старое отрицание синдикализмом сотрудничества с государством, отрицание политики вообще, было отвергнуто реформистским синдикализмом. Практические планы Жуо нашли свое теоретическое выражение в работах Максима Леруа.

Мы видели, как он восхваляет непо литичность Сен-Симона, как он толкует его идею государства «производителей». Это не мешает ему, однако, подводить теоретическую базу под худший вид политики—соглашение с капиталистическим государством. В своей книге «Les techniques nouvelles du syndicalisme», вышедшей еще в 1921 году, Леруа проводит параллель между синдикализмом 1900 и 1920 годов. Он пишет: «В 1900 году над всей деятельностью рабочих господствует одна великая идея: всеобщей стачки. В 1920 г.—проект индустрализованной национализации отраслей общественной безопасности. В 1900 г.—деструктивная идея; в 1920 г.—идея конструктивная» [3]). Несмотря на кажущуюся противоположность между этими двумя идеями,

[1]) См. мою статью «Конструктивное убожество» в «Воинств. мат.», № 3.
[2]) См. Discours prononcé au Comité confédéral national (21 juillet 1919).
[3]) M. Leroy, Les techniques nouvelles du syndicalisme, Paris 1921, стр. 4.

по мнению Леруа, существует внутреннее единство и связь: «это—более антитеза формулы, чем идея. Двум этим датам соответствует наличность двух способов проявлений одной и той же мысли, в основе своей постоянно остающейся революционной и конструктивной» [1]).

Провозгласив единство двух доктрин, прямо противоположных друг другу, Леруа продолжает: «Борьба между умеренными и экстремистами скрывает от нас это реальное единство. Временами рабочий класс кажется более революционным; в другие моменты—более реформистским. Под реформизмом нужно рассмотреть скрытый революционаризм, а под резкими порывами экстремистов находить устойчивые элементы постоянного реформизма» [2]). Что у реформизма, представителями которого являются Леруа и Жуо, не имеется и тени революционаризма,—видно из дальнейших рассуждений нашего «неосенсимониста».

Будучи учеником известного французского правоведа Дюги, Леруа посвящает много места изменению юридической природы современного общества, взаимоотношений между государством и обществом. «Произошла,—говорит он,—действительная деконцентрация (déconcentration) профессиональная и гражданская в наших частных и публичных институтах. Государство не обладает больше всей властью; не вся свобода принадлежит гражданину» [3]). Не изолированный гражданин является носителем свободы, а группа. Теперь уже власть перешла также и «к профессиональным группам, которые не довольствуются только защитой интересов заработной платы и рабочего времени», а «имеют смелость направлять духовные и материальные интересы, корпоративную и гражданскую дисциплину, коллективные права производства (metier), которые они представляют, устанавливать совместно свое место в обществе—сверх индивидуальных интересов их членов. Группа является судьей, администратором, законодателем» [4])...

Эта теория «деконцентрации», выдвинутая Леруа, нужна ему для того, чтобы обосновать свой отказ от революционных действий. «Эти группы,—пишет он далее,—федерации или конфедерации, поднимают свой голос по мере того, как их мощь увеличивается; и они претендуют на осуществление части власти в правительстве под видом советов часто повелительных, иногда же в форме подлинного административного и законодательного сотрудничества. Мы присутствуем,—торжествует Леруа,—теперь при образовании новой революционной (?! *Г. З.*) техники» [5]).

Раз власть государственная «деконцентрируется», раз «группы» отвоевывают у государства шаг за шагом влияние на ход общественных дел, то отсюда ясно, что можно и должно терпеливо ждать, пока вся власть перейдет окончательно в руки этих «групп»,—не надо никаких насильственных действий, никаких революций. Поэтому Леруа приветствует, конечно, мысль Жуо о создании «Экономического Совета», как он выражается, «по сенсимоновскому образцу, при участии всех интеллектуальных и

[1]) Ibid, стр. 5.
[2]) Ibid, стр. 5.
[3]) Ibid, стр. 12.
[4]) Ibid, стр. 13.
[5]) Ibid, стр. 13.

экономических сил нации» [1]). Он и не скрывает, что под властью «групп» надо понимать все «живые силы» нации, что синдикализм должен наполнить новым содержанием формулу: «le syndicalisme suffit à tout»; она выражала раньше только «честолюбие одной категории производителей, она стремится сейчас охватить все богатство мысли и действия всех производителей». Синдикализм должен теперь изменить свою программу действий: раньше синдикализм организовывал только одну группу труда... Теперь он открывает широко двери техникам и либеральным профессиям, а также творцам звуков и форм, социологам и экономистам... Синдикат расширяется до того, чтобы совпасть (coincider) со всеми истинно живыми и творческими шагами технического производства и научным и художественным знанием» [2]). От прежней теории революционного синдикализма, таким образом, не остается ничего, совершенно стираются последние пролетарские черты его учения—торжествует старая формула Сен-Симона, формула в наше время имеющая только реакционный, контр-революционный характер и смысл.

V.

Ревизия синдикализма, произведенная Леруа и его единомышленниками из реформистской Конфедерации Труда, характеризуется еще одной чрезвычайно показательной чертой: новым пониманием «идеи труда».

«После 1884 года,—пишет Леруа,—обозначение профессионального интереса стало употребляться в духовном смысле (s'est spiritualisée); идея труда перестала пониматься узко, как просто мускульное усилие (курсив наш. *Г. З.*); она возвысилась вплоть до технической интеллигентности, вплоть до воображения художника и изобретателя». Этим определением Леруа как бы подчеркивает, кого он считает пролетарием: речь идет не просто о рабочем, а рабочем, поднявшемся выше мускульного труда, т. е. о рабочей аристократии. «Никогда народ,—продолжает Леруа,—не ограничивает своего мировоззрения одними материальными интересами... Конфедерированный рабочий стремится связать свою частную задачу с работой всей своей корпорации, всех корпораций вообще, со всей нацией» [3])...

Забвение классовых интересов пролетариата—характернейшая черта современного реформизма. Это забвение одевается в разные пышные формулы, вплоть до интересов международных, исторических, вечных, всего человечества в целом и пр., и пр. Имея дело только с рабочей аристократией, защищая, по существу, интересы этой небольшой группы в среде рабочего класса, группы, тесно связанной с интересами капиталистического строя в целом, реформизм в формуле Сен-Симона о роли «интеллектуального труда» находит оправдание своим идеям. Сочувственно цитируется Жуо, который на Орлеанской конференции в 1920 году сказал: «Чего мы хотим? Мы хотим, чтобы антагонизм, постаревший друг против друга работников мысли и мускульных

[1]) M. Leroy, Les techn. nouv., стр. 8.
[2]) Ibid, стр. 18, 19.
[3]) Ibid, стр. 169, 170.

работников, исчез; мы хотим об'единить мозговое и физическое устремление духом общего интереса». К этому заявлению Жуо Леруа прибавляет, что Всеобщая Конфедерация Труда сделала большое усилие, «чтобы сделать интеллигенцию частью правительства; можно предвидеть, что эта часть будет все больше возрастать по мере того, как В. К. Т. в целом станет все более конструктивной» [1]).

Одним словом, авансы в сторону «интеллектуалов» со стороны реформистов достаточно заманчивы—реформисты как бы говорят «интеллектуалам»: вступите в союз с рабочей аристократией и мы сумеем побороть при поддержке остальных «корпораций» в стране—т.-е. буржуазии—гидру революции, призрак диктатуры пролетариата, которую, кстати, Леруа называет идеей «прошлого, а не будущего», похожей на «многоголовый бонапартизм».

Надо констатировать, что реформисты сделали довольно внушительные успехи в деле привлечения на свою сторону «интеллектуалов». Выше мы указывали на надежды, которые Леруа связывает с фактом образования так наз. Конфедерации Интеллектуального Труда (Confédération de Travailleurs Intellectuels—сокращенно С. Т. I., отсюда название «сетеисты»). Эта Конфедерация организовалась 21 марта 1920 года и об'единяет писателей, инженеров, артистов, художников и пр. По словам Сажере, она насчитывает около 150.000 человек. Непосредственной целью «сетеисты» ставят себе улучшение своего материального положения: установление минимума заработной платы, типовых договоров, разбор конфликтов между издателями, напр., и писателями и пр. Им удалось даже сорганизовать группу защитников «сетеистов» в парламенте, в которую входили на-ряду с Эррио депутаты из группы «Action Française». Вот как описывает Жюль Сажере причины образования этой Конфедерации. По мнению этого автора книжки «Le syndicalisme intellectuel», интеллектуалы образуют в современном обществе особый класс. Этот класс родственен рабочим, так как и интеллектуал и рабочий произошли от ремесленника. «Теоретически,—пишет Сажере,—есть много точек соприкосновения между артистом, как, напр., художник или скульптор, и ремесленником. Оба должны прежде всего развить свои руки». Скульптор должен упражняться в тяжелой работе, он должен знать, как обращаться со своим резцом, как натачивать его, лепить глину и пр. [2]).

Разница между художником и ремесленником заключается в том, что художник дает концепцию (conception), а выполнителем является ремесленник или рабочий. «Когда предпринимают производство во многих экземплярах вещей, фабрикация которых также была почти монополией ремесленников,—мебель, горшки и пр.,—необходимо прежде всего установить модель, которую потом дублируют, если только не выбрали модель из уже существующих: вот это установление модели и есть дело артиста, интеллектуального работника. Принцип разделения труда здесь, таким образом, следующий: человек устанавливает план произведения, не участвуя даже в его выполнении, выполнители проводят, не участвуя нисколько в придумывании (conception) этого плана. Создавать, изобретать—вот современная экономика, вот характер интеллектуального труда в противоположность физическому труду, который только повторяет чужую модель» [1]).

[1]) Ibid, стр. 124.
[2]) Jules Sageret, Le syndicalisme intellectuel ,son rôle politique et social, Paris 1922, 5-e edit., p. 9.

Вспомним, как Леруа славословит не просто мускульный труд, а труд, «поднявшийся вплоть до художника и изобретателя», и нам станет ясно, что мы имеем дело у «сетеистов» с той же социальной категорией, что и у реформистских синдикалистов. Сажере относит характер изобретательности также и к людям, занимающим посты управляющих или высших функционеров. Таковы инженеры, главные сотрудники в торговле или в банках, бюрократы министерств—«одним словом, люди, принимающие участие в публичном или частном управлении». И эту «важнейшую фракцию» интеллектуальных работников,—жалуется Сажере,—конфедерация труда не принимает в члены. Между тем, она является главнейшим из элементов в обществе, который «нельзя заменить механическим изобретением, так как без «творческого духа», присущего интеллектуалам, общество не может существовать» [2]).

Эта масса интеллектуалов имеет свои экономические интересы, а между тем, после войны они оказались в весьма плачевном положении. «Как докладывал Вендель в 1920 г. во Франции типограф получал больше, чем романист, ротативист больше, чем журналист, землекоп больше чем инженер, конторский мальчик больше заведующего конторой». А главное, «эти люди были главнейшими создателями победы. Во время войны они были одна костной системой армии». Они строили окопы, планировали поля сражения, доставляли снаряжение и продовольствие. От них зависел дух и самочувствие армии [3]).

Кончилась война, и о них позабыли. Между тем как пролетариат своими стачками заставил повысить заработную плату рабочим, заработки интеллектуалов были обесценены». «О работниках мысли просто забыли». Вот тогда-то,—замечает Сажере,—зародилось среди интеллектуалов—«классовое» сознание. Была рождена Конфедерация Интеллектуального Труда. Таковы причины появления на свет этой новой «классовой» организации, этого об'единения из высших спецов французского капитализма, которую приветствует от всей души Леруа. По уставу Конфедерации Труда эти лица не могут быть приняты в члены синдикатов,—но этот устав писался до войны, когда «идея труда понималась узко», ныне, когда новоявленный «неосенсимонистский» гений вождей реформистского синдикализма окончательно выбрасывает классовое содержание из профессионального движения, рождение «сетеистов»—организации спецовской аристократии—провозглашается, как новый шаг по пути победы «конструктивной» идеи.

VI.

Пропагандой «неосенсимонизма» в собственном смысле этого слова занимается, кроме реформистских синдикалистов и «сетеистов», группа лиц, возобновивших в 1920 г. «Producteur». «Между

[1]) Jules Sageret, op. cit., стр. 11.
[2]) Ibid., стр. 12, 19.
[3]) Ibid., стр. 21.

обоими «Producteurs»,—пишет Марк Бурбоннэ,—между обеими доктринами существует тесная связь, почти единство. В Европе в 1920 г., также как и в Европе 1820 г., развалины были, увы, безграничны... Война окровавила поля в 1915 г., как и в 1815 г. Мрачный и печальный мир, полный разочарований, оставил очаги без хозяев, а землю—без жатвы. Здоровое процветание страны было разрушено, промышленность обезглавлена, торговля остановилась. Не хватало рабочих рук, также и орудий производства, разрушенных в 1920 г., как и в 1820 г.»[1]).

В то же самое время «великая смута» охватила страну: движение масс, охваченных разочарованием, угрожало спокойствию капиталистической Франции. Вот в это-то время и родился «Producteur», поставивший себе целью, как выражается Бурбоннэ, «предпринимать, чтобы вдунуть жизнь в обескровленное тело нации... Как и в 1820 г., в 1920 г. необходим был дух инициативы, дух предприимчивости»[2]). Как же мыслят себе издатели «Producteur'a» осуществить этот «дух предприимчивости»?

Использованием индивидуальных и коллективных сил, правильным их определением и расстановкой, установлением также дела, требующего выполнения во всей его сложности... А затем облегчение этого использования и новое строительство посредством улучшения общественных орудий производства (l'outillage sociale), понимая под этими орудиями производства, кроме обычных, учреждения, энергию, знание, страхование, кредит и пр.[3]).

Задача почтенная, охватывающая совокупность всех отраслей общественной жизни. На кого же думают опереться в своей реформаторской деятельности «неосенсимонисты»? Да все на того же «производителя», который уже знаком нам по Сен-Симону и склонялся на все лады Леруа. Так как и диктатура хозяев и диктатура пролетариата—«обе одинаково химеричны, одинаково невозможны», необходимо стать на другую точку зрения. Производитель является типом более высоким, чем хозяин или предприниматель, он «наилучше всех расположен в мире, чтобы понять отношение людей в их глубокой и живой необходимости». Он господствует над всей областью производства, он наблюдает функционирование всего его механизма. Он нуждается в сбережениях и для получения их обращается к банкирам; он должен обратиться с призывом к людям науки (à l'intelligence) для постановки дела. Для его реализации он принужден обратиться к техникам, к ручному труду; для обращения—к торговле. В качестве потребителя, одновременно сберегателя (épargnant), он замыкает круг экономики. Одним словом, положение «производителя» дает ему, по мнению «неосенсимонистов» из «Producteur'a», наиболее удобную возможность «изучать реальность», и ставит его «вне партий и идеологий». Вот почему его называют иногда реакционером, а в других случаях—революционером; наконец, такой была точка зрения первой школы сен-симонистов»[4]).

После этого вступления группа издателей «Producteur'a» заявляет, что она рассматривает всякое промышленное дело «больше, как коллективное, чем индивидуальное». С точки зрения

[1]) Marc Bourbonnais. Le néo-sain-simonisme et la vie sociale d'aujourd'hui, Paris 1925, стр. 5—6.
[2]) Ibid., стр. 7.
[3]) Ibid., стр. 10.
[4]) Ibid., стр. 11.

наших «коллективистов» надо различать два момента во всяком ведении промышленного предприятия. Во-первых, момент планировки, изобретательности (celle de la conception), «всецело индивидуальный и оригинальный»... во-вторых, момент «функционирования» предприятия; и в этом случае «управляющая мысль, душа предприятия является еще элементом индивидуальным», хотя этим не убавляется ни работа инженеров, ни труд рабочего, которые каждый в своей сфере тоже действуют индивидуально, но над ними господствует чья-то мысль, ими управляет чья-то воля»[1]). Таким образом, следуя сен-симонистской идее,—заявляет Бурбоннэ,—дело «производителя» является синтезом между «чистой интеллектуальностью и полезной техникой».

От «коллективизма» «неосенсимонистов», таким образом, ничего не остается: вся роль отводится интеллектуалу, «душе предприятия», при чем не технической интеллигенции, вообще, но высшей технической интеллигенции,—управляющему предприятием, истинному и настоящему «производителю». Как мы видим, мысли «неосенсимонистов» из «Producteur'a» сродни идеологии Леруа, особенно «сетеистов», с той только разницей, что «Producteur» более четко и определенно указывает на социальную верхушку капиталистического строя, как базу «неосенсимонизма».

«Из каких категорий,—спрашивает далее Бурбоннэ,—формируется новый человек? Из рабочей, интеллигентской, хозяйской. И те и другие могут быть среди новых людей. Новый человек имеет одно имя: «производитель». На обычном языке производителем является всякий, кто творит. Но неосенсимонистская концепция отдает предпочтение промышленному производителю (курсив наш. *Г. З.*), так как он господствует в современную эпоху, которая становится все более и более экономической, так как его действия являются двигателем деятельности всех других людей»[2]).

Этого «промышленного производителя» Бурбоннэ прямо называет «избранным» (élite). «В современном мире, столь причудливом и сложном,—прибавляет наш автор,—только широко охватывающий взор избранника может обнять всю общественную совокупность». Этот «избранный», этот современный «производитель» может обеспечить свое будущее и достичь поставленных им целей только в том случае, если он «реорганизует кредит, создаст систему интегрального страхования, увеличит знания и, наконец, последует примеру, который ему показывает современный мир: сорганизуется сам[3]). Посмотрим теперь, как мыслят себе конкретно проведение этих универсальных реформ «неосенсимонисты» из «Producteur'a».

VII.

«Неосенсимонисты» из «Producteur'a» изобрели новый вид синдикализма, который они называют «синдикализмом сберегателей» (syndicalisme des épargnants). В чем смысл этого нового «синдикализма»? Для того, чтобы понять этот смысл, надо ознакомиться с «политической экономией» «неосенсимонистов», нарочито придуманной их лидерами: Даркэ, Гро, Бурбоннэ и другими.

[1]) Ibid., стр. 19.
[2]) Ibid, стр. 26.
[3]) Ibid., стр. 26.

Под термином «блага»,—пишет Бурбоннэ,—обыкновенно понимают два различных понятия: богатство (richesse) и благосостояние (fortune). Нынешняя, наличная стоимость какого-либо предприятия образует богатство, тогда как, напротив, его благосостояние зависит от изменений, которые могут произойти и в будущем... Предприятие может давать убыток, и может преуспевать. Этим двум понятиям, богатство и благосостояние, соответствуют два вида сбережения. Один вид сбережения—положительный, который служит для образования кредита и как бы предназначен для превращения богатства в благосостояние, а другой—отрицательный: накопление, которое превращает благосостояние в богатство [1]).

Имея в виду это положительное сбережение, которое он называет «творческим сбережением» или сбережением-благосостоянием, Гро выдвигает новую форму овладения кредитом, которым ныне распоряжаются банкиры и плутократия. Против этой плутократии мы находим у Бурбоннэ достаточно резких слов: он называет их спекулянтами, людьми, думающими лишь о личной выгоде, держащими вследствие своей экономической мощи все общественное мнение, прессу, всю интеллигенцию, весь цвет нации в своих руках. Все прежние лекарства против бесчестной плутократии ни к чему не приводили до сих пор и ни к чему не приведут. Единственная возможность вырвать экономическую власть из их рук—это создать «синдикализм сберегателей».

Сберегателями могут быть и на самом деле являются все граждане. Правда, рабочий может сберегать только «на черный день», на случай болезни, смерти, при помощи страхования или накопления. Это как будто и не «творческое сбережение», но надо принять во внимание, что рабочий на эти сбережения воспитывает будущих работников, которые, участвуя в производстве, станут сами как бы «сбережением-благосостоянием». Что касается либеральных профессий, то у них есть «творческое сбережение» в виде «изобретательности» и «инициативы» [2]).

Посредством какого процесса,—спрашивает Бурбоннэ,—переходят деньги сберегателей в руки финансиста? При помощи механизма вкладов. Ни один сберегатель обыкновенно не знает, что делается с его деньгами. Ими распоряжается плутократия. Сберегатели, об'единившись в синдикат, будут чрезвычайно многочисленными, сумеют взять в свои руки управление финансами, распределение их по своему желанию, сведя на-нет, таким образом, банкиров. Ведь, «каждый потребитель есть сберегатель. Каждый человек, который, получая деньги, сохраняет часть, производит сбережение... Кроме того, с той точки зрения, что всякий гражданин, всякий потребитель является сберегателем, стирается грань «между хозяином, техником, чиновником, коммерсантом» [3]).

При помощи этой наивной махинации, «неосенсимонисты» из «Producteur'a» думают разделаться с плутократией и превратить финансистов в «наемного слугу» «синдикализированного сберегателя». Жалкие «ученики» Сен-Симона! Как велик был учитель по сравнению с этими эпигонами: придавая огромное значение банкам, которые держат в своих руках главные нити экономической жизни, Сен-Симон исходил из гениального предвидения будущей роли банков в развитии промышленности. Последователи Сен-Симона преувеличили и довели до абсурда мысли своего учителя, но даже братья Перейра—истинные великаны по сравнению с нынешними «неосенсимонистами», мечтающими при помощи своих жалких «синдикатов сберегателей» изменить систему кредита в капиталистическом строе.

[1]) M. Bourbonnais, op. cit., стр. 55—56.
[2]) Ibid., стр. 58.
[3]) Ibid., стр. 66.

Характерно, что наши «неосенсимонисты» очень много говорят об «Интеллектуальном Кредите», который должен возглавляться соответствующими представителями из Конфедерации Интеллектуального Труда («сетеистов») и служить для поддержки будущих «промышленных производителей», для выращивания в особых условиях «изобретательских» талантов, которые помогут современности выйти на широкую дорогу подлинного социального строительства. Ибо, раз плутократия отойдет на задний план, система кредита будет находиться в руках самих потребителей-граждан, вести управление этим кредитом и всем «благосостоянием» страны будут «интеллектуалы»—«мозг нации», которые вместе с тем представляют собою и главных управителей предприятий, дающих им «концепцию», «инициативу», «творческий дух»,—то собственно вопросы строительства и обеспечения блага всех общественных групп будут осуществлены полностью.

Кстати, несколько слов об одном важном «политико-экономическом» открытии, которым «неосенсимонисты» собираются удивить мир. Оказывается, что ни один из прежних экономистов не мог дать правильного об'яснения термину капитал. «Капитал отличается от богатства... которое есть не что иное, как реальная стоимость в данный момент, при чем не принято в расчет будущее... Идея капитала вызывает идею предприятия; она заключает в себе понятие времени, богатства, «в могуществе», т.-е. благосостояния»... Капитал, таким образом,—не что иное, как богатство в действии (richesse effective) [1]). А так как пустить в действие какое-либо предприятие может только интеллектуал или глава предприятия, то отсюда ясно, какие выводы можно сделать из нового определения капитала. «Адам Смит, Прудон, К. Маркс не признавали ценности труда главы предприятия, организатора производства» (курсив мой. *Г. З.*). Хозяин предприятия—такая же, если не более важная, часть во всей совокупности общественного строя, как и рабочий, инженеры и проч. Все они—«производители», «сберегатели», и в этой точки зрения интересы у них общие.

Поэтому неудивительно, что «неосенсимонисты» отрицают классовую борьбу и считают, что можно обойтись без всяких столкновений между предпринимателями и рабочими. А так как выше всего на свете они ставят интересы промышленности, производства вообще, то мы находим у них восхваления штрейкбрехерских, фашистских организаций, созданных после войны во всех странах буржуазией (так называемая «техническая помощь»). Нужно отметить,—пишут они,—могучее движение, явившееся следствием революционной угрозы всеобщей стачкой: основание Гражданских Союзов для охраны общественных служб. Почему

[1]) M. Bourbonnais, op. cit., стр. 19.

критической работы, данной марксистами по части отдельных философов и добавить разбор и критику тех систем, о которых у нас меньше говорилось. Поэтому я и называю свою работу «смелой попыткой, так сказать, завершить предшествующую критическую работу». Вполне сознаюсь, что подобного рода попытка не может быть делом одного человека. Для такого рода работы нужна коллективная деятельность целого поколения. «Мы далеки от того,—говорю я в докладе,—что в этом первом опыте... мы сможем выполнить всю программу до конца. Мы сможем сосредоточить свои силы только на основных пунктах» [1]).

Такова моя нескромность.

Но перейдем к существу дела.

Отношение теории к методу.

Первый пункт расхождения между мной и т. Каревым касается проблемы теории и метода.

Расхождение в самом деле есть. «Что такое по Энгельсу философия диалектического материализма?—спрашивает т. Карев.—Это—«логика и диалектика, т.-е. методология знания».—«Что такое исторический материализм?—Это применение диалектического материализма к изучению общества, т.-е. методология общественных наук» [2]).

Как я уже писал в своем ответе т. Милонову, я считаю это определение не полным. Я считаю, что мы не просто применяем диалектический материализм к природе и обществу, а абстрагируем его путем индукции из процессов природы и общества. Когда мы уже абстрагировали диалектические законы реальных отношений, то мы применяем эти законы к новым процессам и находим их в новых реальных процессах, но на этот раз уже видоизмененными в зависимости от своеобразия новых явлений. Тов. Карев обособляет законы процессов в качестве метода от самих процессов. Тов. Карев не различает исследования процессов, идущего индуктивно и абстрагирующего от способа изложения; последнее идет, по большей части, дедуктивно и получается вид, как будто мы только применяем наш метод к миру. На самом же деле мы делаем это лишь после того, как реальные, закономерные отношения нами уже найдены, т.-е.—дедукция допустима в систематическом изложении. Хотя, конечно, исследование и изложение не оторваны друг от друга в процессе работы, тем не менее нужно диалектически различать эти два этапа, чтобы затем снимать их противоположность в полной системе, т.-е. в их синтезе.

Я не хочу впадать в повторения. Все это я подробно об'яснил в ответе т. Милонову и показал там, что Маркс, Энгельс и Ленин понимают отношение метода и теории так же, как я («Под Знам. Марксизма», № 12, стр. 283—291).

Я спрашиваю каждого непредубежденного марксиста, где есть в моем понимании исторического материализма «застывшая

[1]) История философии, доклад Варьяша в «Вестнике Комакадемии», № 9 1924 г., стр 262—263 В дальнейшем мы будем его цитировать так: Доклад.

[2]) Статья тов. Карева, стр. 56.

система»? (ст. Карева, стр. 57). Наоборот, лишь тот, кто обособляет метод от реальных отношений, кто лишь «применяет», а не абстрагирует его из отношений мира, грешит этим.

Как я полагаю, марксистская методология утверждает, что научный процесс проходит три этапа:

1. Исследование—абстрагирование реальных закономерных отношений природы и общества путем индукции.

2. Изложение этих закономерных связей, т.-е. причинных зависимостей. Реальные законы высказывают эту причинную зависимость. Второй этап идет, по преимуществу, дедуктивно. Само собой разумеется, что первые два момента не оторваны друг от друга.

3. Синтез этих двух моментов в системе, как идеальном выражении в нашей голове совокупного материального процесса.

Обособление метода от реальных законов ведет к идеализму, а не к марксизму. Процессы мира разыгрываются вне нас, независимо от нас. Улавливание их законов может итти лишь путем абстракции, индукции. Дедукция же является не способом исследования, а способом изложения.

Основная фальшь в понимании тов. Карева заключается в его идеалистическом взгляде на взаимоотношение между многообразием явлений и их единством (см. статья Л. И. Аксельрод: «Теория стоимости и диал. мат.» в книге: «Маркс как философ», стр. 50—55). Он полагает, что изыскание этого единства идет путем дедукции, приискания. «Диалектика не отделяет множества от единства», говорит т. Аксельрод в своей «статье». И это вовсе не есть «логизм современной буржуазной философии», как спешит характеризовать такую мысль т. Карев. Это было бы логизмом лишь в случае, если бы я оторвал логику от действительности, как нечто самостоятельное. В своем докладе я неоднократно подчеркиваю, что диалектические логические законы являются законами мира, а вовсе не законами одного правильного мышления.

В дальнейшем разборе взглядов т. Карева мы покажем, что фаворизация суб'ективного момента толкает его к гегельянскому логизму.

Тов. Карев не принимает, повидимому, и того вывода, что раз мы обладаем законами известных процессов (не добытыми путем «изложения предмета» [1]), а его исследования; изложение предполагает знание законов), то из этих законов мы делаем вполне законное заключение о дальнейшем ходе подчиненных этим законам событий.

Я указываю на то, что Маркс, Энгельс и т. Ленин из законов развития экономических отношений делали выводы об их дальнейшем ходе и, опираясь на это, предсказывали переход капиталистического способа производства к социалистическому. Законы по существу остаются в силе, но при измененных обстоятельствах их влияние видоизменяется, ибо законы перекрещиваются, что осложняет результат. Это и значит, что новые исторические условия ограничивают и видоизменяют определение законов общественного развития. Действие законов постоянно перекрещивается с действием других законов, что и вызывает иной

[1]) Статья тов. Карева, стр. 56.

результат, чем был бы тот, который возник бы, если бы этого перекрещивания, в силу новых условий, не было.

Словом, неверно утверждение т. Карева, что «теория есть рефлексия метода, система метода» (там же, стр. 58). Наоборот, метод есть его способ познания мира, и если мы не высасываем из пальца, то он может быть лишь рефлексией того, что мы делали, когда исследовали об'ект, чтобы сознательно или более сознательно поступать в дальнейшем исследовании. Правда, мы часто поступаем диалектически стихийно, ибо не только природа, но и наш разум, будучи частью природы, действует диалектически.

Тов. Карев утверждает, что я неправильно формулировал закон изменения производительных сил. «Развитие производительных сил вовсе не относится к развитию остальных проявлений общественной жизни подобно тому, как в математике относится независимая переменная к ее функции. Здесь не функциональная, а причинная зависимость» (ст. т. Карева, стр. 58). Из этого следует, что «у т. Варьяша в этом пункте формально-логическая метафизика» (там же).

Это, конечно, было бы, действительно, формализмом. Но тов. Карев немножко «видоизменяет» мой текст. Я пишу следующее: «Если мы выйдем из области математики... тогда на место математической функциональной зависимости вступает причинная зависимость» (Доклад, стр. 284), — так основательно критикует т. Карев.

Тов. Карев вообще не понял, чего я добивался. Я утверждаю, что отделение метода от теории не есть диалектика. Я дал пример того, что из такого отделения получается дуализм в об'яснении. Возьмем простой пример. Динамика выводит формулу $\frac{m}{2}v^2$ из закона Галилея.

$$v = gt,\ s = \frac{gt^2}{2},\ t = \frac{v}{g},\ s = \frac{g}{2}\cdot\frac{v^2}{g^2} = \frac{v^2}{2g}$$

умножив обе стороны уравнения на mg (сила), получим $mgs =$

$$= \frac{m}{2}v^2 = vs.$$

Я спрашиваю, как соединять этот способ исследования с тем, что мы имеем в области истории. Конечно, если кто-нибудь стоит на точке зрения, что математически-диалектический способ познания сам по себе, и исторический тоже сам по себе, то тут нет никакой проблемы. Но я стою на точке зрения Маркса, что «мы знаем одну единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон и делить на историю природы и историю людей. Но нельзя отделять друг от друга обе эти стороны» (Маркс и Энгельс о Фейербахе,—Архив Маркса и Энгельса, I книга, стр. 214).

Я предлагал решение этой задачи. Но до понимания этого решения т. Карев не дошел. Он даже не замечает его, хотя в этом суть всей проблемы отношения теории и метода. И я должен подчеркнуть, что я писал мой доклад до издания цитированной работы Маркса и Энгельса. Об этом решении (которое является для меня наиболее важным из всего круга проблем), я не могу тут говорить, я написал его в своем докладе. Но

направление решения я могу наметить. Решение диалектического противоречия между математически-динамическим («рационалистическим» сказал бы т. Карев) и историческим способом об'яснения я нахожу в том историческом факте, что метод исследования приспособляется к вновь открытым явлениям и что для построения выведения изменяется логический метод как исследования, так и изложения, что логические приемы зависят от исторических условий. Раз открыт до сих пор неизвестный реальный закон, доказательство которого не получается по старому пути, т.-е. не получается с помощью старой логики, то ищут новый подходящий прием. Зависимость идет, стало быть, обратно тому, что можно было бы думать по изложению. При этом старый метод в большинстве случаев оказывается частным случаем нового метода (т.-е. все же правильным, в ограниченной области).

Этот взгляд, который понимает логику как историческое явление, т. Карев называет «quasi-марксистским пан-математизмом» (ст. т. Карева, стр. 59). Тов. Карев просто не понял того, что изложено в моем докладе. Я, конечно, не виноват, если т. Карев не удостоил его своим вниманием. Однако другие, более опытные и авторитетные марксисты, чем он, приняли мое решение.

Но мы увидим, что недоразумение т. Карева вовсе не случайно. Его «взгляды» на математику чрезвычайно любопытны. Он называет их диалектическими. Да, это диалектика, но диалектика Протагора, а не Энгельса, с которым т. Карев хочет солидаризироваться.

Тов. Карев, ссылаясь на Гегеля, утверждает (на стр. 61), что математическое познание не улавливает качественного многообразия действительности, окрашивая ее в сплошной серый цвет». Но на следующей странице он же сам утверждает, что «оно (математическое познание) соответствует действительности лишь поскольку оно обнаруживает свою ценность в опыте, как момент качественно-количественного развития, как момент меры» (курсив отчасти наш. *В.*). «Этот качественный момент приходит к ней (математике. *В.*) в области анализа бесконечно малых, где появляется понятие отношения» (там же, стр. 62).

Значит, по Гегелю и т. Кареву математика: 1) не улавливает качественного многообразия действительности. 2) В анализе бесконечно-малых (он не есть часть математики?) она улавливает момент качественно-количественного развития. Из этого «следует», что «тождественность в одном случае воззрений Энгельса и Гегеля не нуждается в доказательствах» (там же).

Очевидно, т. Карев считает, что чем больше противоречий (в данном случае вопиющих), тем лучше диалектика.

Фактически утверждения Карева, что Гегель отрицал способность математики улавливать качественное многообразие действительности, относится лишь к математике постоянных величин (и то не вполне), являющейся ничтожной частичкой математики. Но зачем заниматься таким пустяком т. Кареву? Это, видите ли,— педантство. Зато можно сказать, что взгляд Энгельса на математику тождествен с взглядом Гегеля. Это не является преувеличением! Не важно, что Энгельс был диалектическим мате-

риалистом, а Гегель диалектическим идеалистом, это не существенная разница. Так думает т. Карев. Он принял идеалистическое понимание математики от Гегеля и притом плохо понял его.

Он, между прочим, утверждает, что «к высшей математике оказываются неприменимыми законы форм логики и вступают в силу законы диалектики» (там же, стр. 62).

Нет, т. Карев, дело не так просто. Законы формальной логики фигурируют и в высшей математике. Разве законы перемещения, соединения, разделения не употребляются в анализе бесконечно-малых? Употребляются, хотя они формальные законы. Но для высшей математики имеет значение, главным образом, понятие предела (не отношения, как думается т. Кареву; отношение есть общее и основное понятие всей математики), понятие диалектическое, благодаря которому «все доказательства высшей математики, начиная с дифференциального исчисления, с точки зрения элементарной математики, строго говоря ошибочны» (Анти-Дюринг, стр. 121. Госуд. изд. 1923 г.).

Эклектика! — восклицает т. Карев. Нет! диалектика! — утверждаю я. Тов. Карев думает: или—или. Раз высшая математика является диалектической наукой, то формальных законов там нечего искать. В этом и заключается априорная метафизика, которая не желает рассматривать того, что есть, а хочет предписать то, что она считает правильным. На самом деле в высшей математике нет ни одного, хоть сколько-нибудь важного доказательства, где законы арифметики не играли бы роли. Диалектичность этих доказательств заключается в том, что кроме арифметических принципов имеется понятие предела и именно благодаря этому последнему обстоятельству из элементарной математики возникает высшая. Когда понятие предела присоединяется к формальным законам, в математике получается переворот. Это эклектизм, синкретизм,—возмущается «неэклектический» диалектик т. Карев. Но если бы т. Карев продумал бы хоть одно доказательство исчисления бесконечно-малых, он не возмущался бы. Математику нужно знать и только после этого говорить о ней, иначе получится болтовня. Из понятия предела можно абстрагировать и понятие перемещения, и соединения, и распределения; это доказывается в математике применением формальных законов к иррациональным числам. Таким образом формальные законы являются частными случаями предела. Если бы т. Карев когда-либо попытался понять метод введения в математику иррациональных чисел, то он не утверждал бы, что в высшей математике законы форм логики не применимы. Взгляд т. Карева на математику предшествовал изучению им математики. А ведь и математика тоже не априорная наука! Я думаю, что с этим согласится и т. Карев.

О всех случаях ребяческого непонимания и неориентированности т. Карева я не могу говорить, так как это потребовало бы слишком много места, да и было бы слишком скучно. Тов. Карев говорит о том, что «там, где господствуют столь близкие сердцу т. Варьяша дедукция и выведение,—там место формальной логике» (ст. Карева, стр. 63). Тов. Карев, очевидно, думает, что высшая математика обходится без доказательств и выведения. Разве он не видел еще учебника по

высшей математике? «Все доказательства высшей математики,—говорит Энгельс,—с точки зрения элементарной математики, строго говоря, ошибочны». Значит, доказательства в высшей математике все же существуют, но они только не подчиняются одним формальным законам. Тов. Карев смешивает дедукцию с силлогизмом. Силлогизмы действительно не играют роли в высшей математике. И Гегель подчеркивает, к большому неудовольствию т. Карева, что «входящие в математику положения должны быть строго доказаны». Однако т. Кареву даже и Гегель—Гекуба, если он осмеливается быть другого убеждения, чем т. Карев.

Что же касается отношения диалектики и математики, то я никогда не утверждал, что «диалектика покрывается математикой» (там же). Я утверждал лишь то, что элементарные диалектические отношения (принципы или аксиомы) легче найти в математике, так как математика, являясь наиболее абстрактной и простой из наук, пользуется, естественно, наименьшими и наипростейшими из диалектических истин.

Не менее забавно и «понимание» т. Каревым Кантора. Он искусственно хочет установить расхождение между взглядами Кантора и Гегеля на различие двух видов бесконечного. Правда, Кантору не нравится, что «у Гегеля все темно, туманно и противоречиво». Но, несмотря на это, Кантор признает, что различение Гегелем ложного бесконечного от действительного бесконечного правильно, хотя и заимствовано от Спинозы. «То правильное, что Гегель сказал о рассматриваемом здесь различии, заимствовано... у Спинозы (Новые идеи, № 6, Кантор, стр. 112)[1]).

Прямо чудовищно, что т. Карев говорит о бесконечном Кантора, о бесконечном, «расположенном в некоторой, вполне определенной точке» (там же, стр. 65). Что это за цитата? Тов. Карев не умеет даже цитировать. В тексте Кантора есть совершенно другое: Кантор говорит о том, что, вопреки несобственно-бесконечному, «собственно-бесконечному числу присущ тот же характер определенности, какой мы встречаем в случае бесконечно удаленной точки в теории аналитических функций» (Нов. идеи № 6, стр. 5). Это—подлинная цитата. Тов. Карев приписывает Кантору то, чего он не говорил. Тов. Карев не понимает в чем дело. Он воспевает на разные лады, что «собственно-бесконечное Кантора представляет собою вполне застывшую величину» (ст. Карева, стр. 65). Он, кажется, не знает, что у Кантора собственно-бесконечное не одна величина, а бесконечная совокупность отличающихся друг от друга величин и что Кантор установил три принципа, как порождать эти величины друг из друга. Значит, речь идет о процессе в области бесконечного.

---

[1]) Я не утверждаю, что взгляд Кантора на математику согласуется со взглядом Гегеля. Но различение двух видов бесконечного действительно представляет собой стержень учения Гегеля о математике. Эта часть учения Гегеля была принята Кантором, и он правильно сделал, принимая ее. Между прочим, я должен подчеркнуть, что я не понимаю, зачем тов. Карев говорит о Канторе в связи с моим докладом. Я совершенно не говорил о Канторе и вообще не принимаю его теории, кроме отдельных теорем по счетным множествам, но не принимаю его теории континуума.

Но, независимо от всего этого, я спрашиваю, при чем тут я? Я ни разу не ссылаюсь на Кантора и не пользуюсь его результатами как раз потому, что в этих результатах много сомнительного. Не все математики приняли его теорию или приняли не всю теорию. Большинство математиков принимает лишь его учение о счетных множествах. Другие принимают и его учение о континууме. О третьем числовом классе мнения очень расходятся. Брауер, которого я упомянул в связи с математическими работами Маркса, как идущего по аналогичному пути, принимает лишь теорию счетных множеств, но и там не удовлетворяется выводами Кантора, и идет глубже.

Тов. Карев говорит так, будто он мог бы доказать, что я принял теорию Кантора. На самом же деле, он цитирует лишь Кантора (в протяжении многих страниц), но не дает ни одной цитаты из моего доклада; да он и не может этого сделать, потому что я не цитировал Кантора нигде, так как в мою задачу не входило заниматься идеями Кантора.

Но тогда спрашивается, почему т. Карев притащил несчастного Кантора за волосы к моему докладу? Да очень просто. Кантор был богоискателем; он искал всеединую субстанцию и нашел ее не то в субстанции Спинозы, не то в боге церкви. Тов. Кареву нужно было так усердно заниматься им, чтобы доказать, что теория Кантора ведет к богу. А так как я, по его постулату, пользуюсь канторовским учением (где?—он забыл указать), то я тоже богоискатель и т. д. Помимо этого Кантор опирался на «чешского попа» Больцано. На Больцано опирался Гуссерль и, таким образом, опираясь на Гуссерля (он опять забывает указать, где я опираюсь на Гуссерля,—ведь я критикую Гуссерля в своем докладе), я—канторианец.

Видите, как может заключать т. Карев по формальной логике! Беда только в том, что его предпосылки ложны.

Тов. Карев пишет о Больцано и обнаруживает, что кроме приведенных им цитат он ничего не читал из его Wissenschaftslehre. Так, например, он констатирует, что Больцано был поп и думает, что этим уже охарактеризовал его. Между тем Больцано (монах), профессор университета в Праге, был лишен кафедры и права богослужения Францем I, императором Австрии, вследствие его «ереси». Но даже, если бы он был и верующий (из его автобиографии это не явствует), разве это препятствовало бы ему быть великим математиком? Тов. Кареву, кажется, неизвестно, что Больцано—один из основоположников теории функции. Если бы мы бросили всех великих математиков, веровавших в бога, то надо было бы отказаться от идей великого Ньютона, Эйлера, Коши, Гаусса и еще целого ряда из них. Математика совершенно опустошилась бы.

Еще характернее для легкомыслия т. Карева его утверждение, что точка зрения Больцано на принцип причинности «вполне совпадает с общей конструкцией т. Варьяша» (ст. т. Карева, стр. 71, замечание 3). Посмотрим, что говорит Больцано и что утверждаю я. Больцано, в своем Wissenschaftslehre, II, стр. 350[1]), говорит следующее: «Мы должны будем отступать от мысли вывести отношение следствия (основы и следствия. *В.*) из отношения причинности, и, наоборот, вывести понятие причины и действия из понятий основы и следствия». А у меня? У меня—обратно. «Когда события *a* и *в* находятся в причинной связи, то предложение об *a* и *в* представляют собою связь по достаточному основанию» (доклад Варьяша, стр. 339).

[1]) Тов. Карев цитирует одно место из Больцано на стр. 349 и не заметил места, процитированного мною на стр. 350! Не заметил тов. Карев моего определения связи причинности и основания, в то время как из сопоставления моего определения с определением Больцано сразу видна их противоположность.

Вот как совестливый критик, т. Карев.

Но это не является единственной «неточностью» изложения т. Карева. Он слишком много рассчитывает на то, что никто не будет проверять того, что он утверждает. Так, например, он утверждает, что «Лейбниц и Кантор—были близки друг к другу. «Вспомним отношение Г. Кантора к Лейбницу,—как известно, у близких симпатии сходятся» (см. Карева, стр. 67). Возьмем Кантора. В той же книге, которую цитирует т. Карев, мы найдем, что Кантор думает о Лейбнице. «Я среди прочих авторов отклонил и авторитет Лейбница, оказавшегося в этом вопросе удивительно непоследовательным» (курсив наш. *В.*). (Новые идеи № 6, стр. 80). В каком же вопросе? В вопросе о собственно-бесконечном, т.-е. самом важном вопросе для Кантора.

Но т. Карев проявляет еще более удивительную неориентированность. Он смело утверждает, что «исчисление бесконечно-малых как раз тот отдел, к которому пренебрежительно относится «современная математическая школа Г. Кантора» (ст. Карева, стр. 63).

Тов. Карев! Зачем писать о вещах, в которых вы ничего не знаете? Если вы дочитали бы до конца и ту книжку Кантора, которую вы цитируете, то вы на последней странице нашли бы перечень некоторых работ Кантора, среди коих первая имеет заглавие: «Iatz über trigonometrische Reihen». Эта знаменитая работа Кантора содержит доказательство того, что каждую вещественную функцию, выраженную путем тригонометрического ряда, можно представлять единственным образом, т.-е. только единственный тригонометрический ряд может представлять данную функцию.

Или т. Карев не знает, что теория тригонометрических рядов представляет собою существенно важную часть анализа бесконечно-малых? Если это так (ибо я не могу предположить, что он не читал даже той книжки, всего в 184 стр., которую он цитирует), то каждый человек, всерьез понимающий обязанности критика, будет спрашивать его: почему вы пишете о таких вещах, в которых вы не знаете даже азов? Тов. Карев негодует на то, что я считаю такой подход невежественным. Он же пишет: т. Варьяш «превозглашает остальных марксистов невеждами по части идеализма» (ст. т. Карева, стр. 69). Этого я нигде не говорил, потому что это неверно, потому что это чепуха и потому что я не так самоуверен, как т. Карев. Но я думаю, что упражнения, вроде статьи т. Карева, действительно не могут вызывать хорошего впечатления по части осведомленности и знания их автора.

В короткой статье совершенно невозможно зафиксировать все ошибки, все легкомыслие и ничем не обоснованную самоуверенность т. Карева. Я собрал на 35 страницах его статьи 38 грубых ошибок.

В заключение я должен обратить внимание т. Карева на то, что он смешивает понятие абсолютного с понятием абсолютно-верного. Он упрекает меня в том, что я называю калькулятивную логику абсолютной логикой. Так ее называют по примеру абсолютной геометрии. Абсолютной называют ту геометрию, которая независима от одного или нескольких принципов Евклидовой геометрии. По аналогии с этим и абсолютной называют ту логику, которая независима от одного или нескольких принципов аристотелевской логики. Геометрия Лобачевского-Боляй не пользуется, например, т. н. V постулатом Евклида. Логика может не принимать, например, принципа противоречия или исключенного третьего. И геометрия Лобачевского и калькулятивная логика абсолютны; но следует ли из этого, что они абсолютно верны? Конечно, не следует. Почему я принял это название, почему я не употребляю марксистских терминов? Потому, что Маркс не создал новой терминологии в этой области. Маркс в своих математических сочинениях пользуется теми же терминами, что и другие математики.

Если т. Кареву удастся создать новую, лучшую терминологию—марксистскую,—я буду очень рад.

Я не буду говорить о той нелепости, что т. Карев на стр. 69 своей статьи обвиняет меня в том, что я выдвигаю понятие абсолютной истины, а на стр. 71—что я выдвигаю «чистейший идеалистический релятивизм» и упрекает меня в файгингерианстве. Гораздо вернее и проще предположить здесь (хотя это и мало лестно для т. Карева), что мой критик просто-на-просто находится в недоразумении. Разбор двух других возражений относительно диалектики в природе и относительно логики отношений ввиду важности этих вопросов дадим в конце нашей статьи.

В своем страстном желании раскритиковать меня т. Карев идет так далеко, что пользуется каким-то докладом начала 1918 г., сделанным одним венгерским писателем, в прениях по которому выступил и я. В конце доклада приведено мое выступление, написанное одним студентом (доклад был прочитан в кружке Галилея, преследовавшемся венгерской полицией. Этот кружок не мог нанимать стенографа. Как я помню, доклад был прочтен в присутствии полицейского офицера). В этой записи есть ряд глупых вещей. Тов. Карев, страстно желая разбить меня в пух и прах и совершенно уничтожить мою репутацию, цитирует различные места этого доклада, обнаруживающие кантианский подход (он выражен весьма глупо-неуклюже). Относительно этих цитат я должен заметить следующее: докладчик выдвинул, как он думал, кантовские взгляды на этику. Желая показать, что Кант иначе понимает этику, я попытался изложить точку зрения Канта. Тов. Карев поставил эти цитаты в такое освещение, будто я излагаю не Канта, а свои взгляды. Это и служит ему доказательством существования у меня идеалистических, идеологических «остатков».

Однако никто не поверит, что имеющиеся у меня, по мнению т. Карева, канторовские и больцановские и прочие идеи имеют своим источником Канта (кроме тех, которые смешивают Кантора с Кантом по созвучию).

Тов. Карев старается использовать цитаты из неписанных мною статей под каким угодно предлогом. Он хочет показать, что пользуется этими цитатами отнюдь не для дискредитирования меня, а просто для решения исторического вопроса. откуда мои остатки—пережитки. Но это шито белыми нитками. Тов. Карев даже не думает о том, насколько этот подход допустим в философском споре между коммунистами. Между тем пользование этими цитатами равно тому, если бы т. Карев хотел убедить читателей, что его «истолкование» моего взгляда на теорию множеств и, как мы увидим, на психологию вполне аутентично и что вместо моего доклада надо читать его статью. Этот студент, написавши мое выступление, понял столько из моего выступления, приблизительно, сколько т. Карев из моего доклада!

Помимо этого, как понравилось бы т. Кареву, если бы я цитировал те его статьи, которые он писал до 1918 г.?

Верно, в 1915 г. я написал брошюру «Военные страсти», где только вторая часть занимается выяснением причин войны с марксистской точки зрения, а первая часть содержит мало касающиеся дела психологические размышления. Но эта брошюра была,—как мне известно,—первая, которая была писана против войны у нас. И я был принужден так писать, иначе цензура не пропустила бы ее. Я рассчитывал на то, что цензор не дочитает ее до конца. Так и было. Она вышла и оказала кое-какое влияние на умы. И хотя эта брошюра не писалась в духе философского ленинизма (мы и заглавия книги: «Материализм и эмпириокритицизм»—в то время не слыхали), все же она резко критиковала буржуазный пацифизм (Normann Angell) и старалась дать марксистскую оценку войне. Теперь и я мог бы написать ее гораздо лучше. Но я спрашиваю: где работы т. Карева против войны и почему он старается дискредитировать меня? Зная об этой брошюре только по отзыву одного венгерского журналиста-фрейдиста и никогда не читав самой брошюры, т. Карев ничуть не колеблется ссылаться на нее. Я протестую против такого рода «критики». Я считаю ее не следствием искреннего желания поддерживать чистоту марксистской мысли, а следствием чего-то другого, во всяком случае мало имеющего отношение к марксизму.

Идеализм и материализм.

Я хочу ответить на возражения т. Карева возможно короче. Поэтому я останавливаюсь только на главном. Тов. Карев упрекает меня в том, что я отрываю психологические функции от содержания психики, потому что я считаю, что эти функции за определенную фазу истории не изменились, между тем как содержание изменилось. Вместо длинного об'яснения я процитирую только пару слов из моего доклада. «Существуют только единичные представления, но не самостоятельная функция «представлять»... Отдельные содержания сознания дают повод для образования... психологических совокупностей». (Доклад. В., стр. 282). Эти совокупности я и называю психической функцией. Я спрашиваю, где проявляется у меня оторванность функции от содержания? Лишь в голосе т. Карева. Однако к этому пункту мы еще вернемся в связи с обсуждением вопроса о бессознательном.

Тов. Карев упрекает меня в том, что я много занимаюсь Лейбницем и Гуссерлем и не цитирую Гегеля, а только говорю

о его взглядах без цитировок. Верно! Причина: потому, что я критикую Лейбница и Гуссерля, а для этого нужны цитаты. Гегеля же я привожу для подтверждения моих взглядов. Центр же тяжести моего доклада лежит не на Гегеле, а на Марксе, Энгельсе и т. Ленине.

Не последнее место занимает в инвентаре мудрых суждений т. Карева и то, что он говорит по поводу Лейбница и Кеплера. (Между прочим о Кеплере, как и о Канторе, нет ни слова в моем докладе. Но т. Кареву это не важно. Он все равно может «рассуждать» о них—ни к селу, ни к городу). «Лейбниц был,—говорит т. Карев,—гениальным человеком, но он мертв для нашего времени, как мертв и другой исполин мысли, так импонировавший Марксу—Кеплер» (ст. т. Карева, стр. 73). Спрашивается, почему мертв Кеплер или Лейбниц? Разве три закона Кеплера уже не имеют значения? Я, по крайней мере, не слыхал о том, чтобы кто-нибудь опроверг их (если этого не сделал сам т. Карев и не сохранил пока это гениальное открытие в тайне). Или дифференциальное и интегральное исчисление Лейбница мертво? Но я думаю, что т. Карев не мог бы ехать даже на трамвае, если бы он был прав! Тов. Карев слишком широко размахнулся. Или он хочет сказать, что Кеплер верил в астрологию, и поэтому он мертв для него? Но и Ньютон, «другой исполин мысли», тоже верил в Апокалипсис и 40 лет своей жизни посвятил его изучению. А физике и математике он посвятил лишь 30 лет. Он тоже мертв для т. Карева? Маркс тоже получает от т. Карева «заслуженный выговор». Ведь, ему импонировал этот жалкий астролог, Кеплер. Мало того, известно, что Марксу импонировал и Лейбниц; импонировал он и Плеханову, который использовал учение Лейбница о прерывности и непрерывности для материалистической диалектики (см. «Господин П. Струве в роли критика Марксовой теории общественного развития»). Как я сказал, т. Карев очень широко размахнулся. У него не хватает исторического чутья. Если бы он жил в XVI в., то весьма возможно, что, как просвещенный человек, он не верил бы в такую науку, как астрология. Но пока он не нашел лучших законов планетных движений, чем Кеплер, я все же предпочту Кеплера т. Кареву.

Тов. Карев дальше ругает меня за то, что я отвожу слишком долгую жизнь идеализму. Я полагаю, что он еще продержится долго, хотя бы в области этики. Он потеряет свою репутацию постепенно, по мере того, как будут расти наши знания в области положительных наук, результаты которых несовместимы с идеализмом. Тов. Карев, наверное, слыхал уже о так называемом «этическом идеализме». Этот этический идеализм будет жить довольно долго, по крайней мере до тех пор, пока не исчезнет буржуазный класс, а вместе с ним и живая память классового общества. Но это не значит, что жизнь идеализма как системы будет длиться столетия. Я указывал на то, что способствует живучести идеализма, и указывал, что пока все положительные науки не сольются в одну науку, кое-какое убежище для идеализма останется, конечно, не как для науки, а как для идеологии тех, которые не могут примириться с коммунизмом. Я полагал, что такие люди будут еще в течение столетий. Если я ошибаюсь, тем лучше.

Чтобы лучше подкрепить свое обвинение, что я отвожу слишком долгую жизнь идеализму, т. Карев цитирует мое изложение одного фрейдиста Ференци (я прямо говорю, что это его взгляд). Так называемая функция introjectio Ференци есть механизм образования идеалистического мировоззрения, функция же проекции—механизма образования материалистического взгляда. Дело в том, что я посвящаю главу (стр. 289—300) фрейдистским воззрениям, чтобы после того посвятить главу их критике. Тов. Карев делает вид, будто бы эта теория была моя, чтобы затем с торжеством заявить, что это взято от Ференци (о чем я сам говорю на стр. 291, нигде не утверждая, что это и моя точка зрения, что подсовывает мне т. Карев). Это делается для того, чтобы доказать, что будто бы я утверждаю, что идеализм останется во веки (раз он коренится в нашем психическом механизме). Беда только в том, что это—мнение Ференци, а не мое. Было бы странно, если бы кто-нибудь, излагая теорию других людей, тем самым становился бы их сторонником. Тов. Карев, конечно, знает всю нелепость этого. Но когда речь идет о моем «опровержении», то он не боится даже такого «метода» «критики». Ведь, он сделал еще больше, он раскритиковал меня за то, что я будто бы «говорил» в 1918 г. и сделал меня ответственным, почему я не протестовал против «дикого сопоставления Ленина и... Фридриха Адлера» одним докладчиком на философском диспуте [1]). Да, я действительно не дал отпора этому докладчику из-за двух причин: 1) Мне помнится, что он этого не говорил в докладе, и, кажется, только в изданной брошюре «дополнил» свой доклад этой мудростью; я не мог протестовать против этого дополнения, потому, что сидел в это время в тюрьме и туда не пропускали ни брошюр, ни других сочинений, в которых бы фигурировало слово «прогресс» (В заглавии этого доклада фигурирует это слово). 2) Я должен признаться, что если бы даже я и слыхал такого рода оценку, я не мог бы исправить ее, так как в начале 1918 г. я не знал ни о том, что т. Ленин писал о махизме вообще, ни о том, что он писал против него. Я сам лично, хотя у нас в то время махизм совсем не был осужден марксистами, и никто не счел его несовместимым с марксизмом (наш марксизм не был таким зрелым и непримиримым учением, каков был у т. Ленина, Плеханова и др. русских марксистов),—никогда не принимал ни махизма, ни учения Авенариуса. Даже т. Карев не обвиняет меня в этом грехе, что ввиду его страстного желания вынскать во мне всякого рода эклектизм—значит что-нибудь.

Забавно торжество т. Карева по поводу того, что в «моем» выступлении в 1918 г. Фейербах называется метафизиком. «Вальпургиева ночь на вершинах философии»,—негодует т. Карев. Тов. Карев хочет быть бо́льшим марксистом, чем сам Маркс. Я не помню, говорил ли я действительно, что Фейербах—метафизик, или не говорил, но Маркс сказал это 73 года тому назад. В 1918 г., правда, я этого не знал, но может быть утверждал то же самое (повторяю, запись студента весьма сомнительна).

«Поскольку Фейербах является материалистом,—пишут Маркс и Энгельс,—он не имеет дела с историей, поскольку же он за-

[1]) Речь идет о том, что докладчик сказал, что Фр. Адлер и... Ленин—махисты.

нимается историей, он вовсе не материалист» (О Фейербахе,—Архив Маркса и Энгельса, стр. 219). Значит, в этой области он был идеалистом. Поднимается только вопрос—существует ли такой вид идеализма, который не есть метафизика? Кажется, т. Карев и в этом пункте расходится не только со мной, но и с Марксом. Не похоже ли это на «вальпургиеву ночь на вершинах»... самоуверенности со стороны т. Карева, стопроцентного, неустрашимого, ортодоксального марксиста!

Фрейдизм.

Перейдем к последнему возражению т. Карева. Он об'являет беспощадную борьбу против фрейдизма. «Мир фрейдовского бессознательного на самом деле вовсе не представляет собой чего бы то ни было, хотя и в отдаленной степени приближающегося к материализму, а полную ему противоположность... Оно находится вне времени и пространства» (ст. Карева, стр. 77—78). Но тремя страницами дальше он пишет, очевидно, забывая, что он уже окончательно отверг фрейдизм, как идеализм, «к которому не применимы категории, представляющие собой отражения структуры реального мира», следующее: «И уже, если искать в чем-либо положительное у Фрейда, то его можно найти единственно только в том, что в анализе первозов он обратил больше внимания, чем делалось это до него, на их сексуальную сторону, чем и вызвал против себя всеобщее гонение со стороны, как известно, чрезвычайно щепетильной буржуазной науки. И именно эта и только эта сторона фрейдизма совпадает с современными выводами физиологии...»[1]) (курсив наш. *В.*). Фрейдизм, стало быть, в глазах т. Карева, с одной стороны: идеализм (в части учения о бессознательном), а с другой стороны: материализм (в части сексуальной стороны психоневроза).

Кто прочел хотя бы одну книгу Фрейда о теории сексуальности и болезнях, происходящих на сексуальной почве, тот знает, что теория сексуальности Фрейда стоит и падает вместе с его теорией бессознательного. Неэклектический т. Карев этого не знает. Он отбрасывает теорию бессознательного, как идеалистическую, и принимает теорию сексуальности, как материалистическую. Я не принимаю ни ту, ни другую. Из этого следует, что я—эклектик, и что т. Карев—монист, материалист и марксист. Но этому, кроме самого т. Карева, никто не поверит. Разбирающиеся в научных вопросах люди, вопреки «защите» т. Каревым сексуальной теории Фрейда (защите, по поводу которой врачи будут хохотать), будут полагать, как и до этой защиты, что или надо принимать и то и другое, или не принимать ничего. Отпавшие от Фрейда ученики (напр., адлеровская школа) бросила сексуальную теорию, но бросили и теорию бессознательного вытесне-

[1]) Статья тов. Карева, стр. 81. Я должен заметить, что другие, более опытные ортодоксальные марксисты, чем тов. Карев, не приняли сексуальной теории Фрейда. Я считаю, что тов. Карев, позволяя себе крупное отклонение от мысли других марксистов (более авторитетных, чем тов. Карев и признанных и тов. Каревым) насчет правильности и материалистичности сексуальной теории Фрейда, должен был бы это немножко мотивировать, а не только декретировать.

ния. По Фрейду, болезни возникают из-за незнания раздражающих организм сексуальных мотивов, и напрасно принимать сексуальную этиологию (учение о причинах болезни), если отбрасываешь вытеснение и бессознательное. Это вытеснение в бессознательное и есть по Фрейду причина болезни. Неизвестные человеку сексуальные влечения, вытесненные в бессознательное так, что о них не остается в сознании ничего кроме символов (Deckvorstellungen), будучи неудовлетворенными, и являются причинами болезни.

Это азбучная истина для фрейдистов, и нет ни одного из отвергающих теорию Фрейда, который признал бы теорию сексуальности и отверг бы теорию бессознательного. Это логическое чудо мог создать лишь т. Карев, который, кажется, обладает какой-то новой диалектической логикой, которую он еще не сообщил любопытному миру.

Тов. Карев радикальный человек. Мы указали уже, что он хочет быть бо́льшим марксистом, чем сам Маркс. Сейчас мы должны констатировать, что он бо́льший фрейдист, чем сам Фрейд (и все это из-за коренного непонимания того, о чем он пишет). При об'яснении различных видов душевных болезней Фрейд не стоит всюду на точке зрения сексуальной этиологии; последняя играет роль лишь в об'яснении истерии и фобии. Параноя (отчасти) и шизофрения являются для него заболеваниями совсем другого типа. Такой взгляд создался у него благодаря неудачам лечения последних видов болезней с помощью метода высвобождения вытесненных в бессознательное комплексов. Это пока догадка; сами фрейдисты не согласны в этих темных вопросах. Некоторые из них полагают, например, что в параное играет роль и гомосексуальное влечение. Тов. Кареву такие пустяковые оттенки не важны. Он констатирует, что сексуальная теория в анализе неврозов (а не неврозов, как пишет т. Карев) знаменует положительное в фрейдизме, в то время как сам Фрейд стоит на точке зрения, что она имеет силу лишь для маленькой части душевных болезней и не охватывает как раз самых тяжелых форм последних. Если тов. Карев занимался бы фрейдизмом не по популярным книжкам, если он усвоил бы себе тот громадный экспериментальный материал, изложенный в дюжине томов «Jahrbuch für Psychoanalyse», то он не стал бы излагать так скоропалительно свою «точку зрения» насчет фрейдизма. Читатель может быть подумает, что нельзя требовать от марксиста, чтобы он изучил все буржуазные теории. Это верно. Но марксист, желающий критиковать любую теорию с точки зрения марксизма, должен основательно познакомиться с этой теорией, иначе получится кавалерийский наскок, кончающийся неизбежно конфузом, как я уже раз писал по поводу другого критика.

Критика т. Карева «опирается» на незнание критикуемого. Такую критику могут позволять себе буржуазные журналисты, но не марксист. Марксистская критика—это весьма ответственная задача, так как марксист знает, что теория переходит в практику; поэтому критика должна быть основательной и должна обнаруживать полное знакомство с данным вопросом. Иначе результат,

которого мы добиваемся, т. е. опровержение того, что неверно, и поэтому противоречит марксистской диалектике, вызовет только хохот в лагере противников. Наши противники были бы рады, если бы каждый марксист выглядел так, как критик Фрейда, отвергающий теорию бессознательного и принимающий сексуальную этиологию неврозов (и притом универсилизирующий последнюю).

О попытке т. Карева оградить Марксово «подсознательное» (которое он все же называет и бессознательным) от Фрейдова бессознательного я не намерен много говорить. Он утверждает, что Фрейдово бессознательно-индивидуальное понятие, а Марксово—социальное. Это верно. Но зачем он учит этому меня? В том же докладе я обстоятельно говорю об этом, и т. Кареву не нужно поучать меня этому; он утверждает то же самое, что и я в тех же самых выражениях.

Тов. Карев постоянно козыряет «моим утверждением», что нет принципиального различия между концепциями бессознательного Маркса и Фрейда. Однако этого я не утверждал. Я утверждал лишь то, что фрейдисты, может быть, не зная о своем заимствовании, выдвигают некоторые принципы душевной и притом бессознательной жизни, которые гораздо раньше были выдвинуты Марксом и Энгельсом. Так, напр., явление овеществления под названием вторичной обработки, сдвиг и сгущение. Эти понятия встречаются у Энгельса в разных письмах под общим названием перевернутого отражения действительности (причина истолковывается, как следствие, или одно из следствий, в качестве причины). Читатель может убедиться в этом из моих цитат на стр. 289—302, 316—318, 340.

Тов. Карев слишком «сокращенно» передает мои мысли: в его передаче они получают обратный смысл. Я писал: «Я думаю, что эта индивидуалистическая психиатрическая школа не выдвигает принципиально новых взглядов на бессознательное, в сравнении с тем, что было уже выдвинуто Марксом и Энгельсом. Я даже могу сказать... что дело обстоит обратно, что фрейдисты сузили понятие бессознательного» (доклад Варьяша, стр. 316). Значит, у фрейдистов получается неверный взгляд на бессознательное. Они сузили это понятие, так как 1) «бессознательное в индивидуалистическом (Фрейдовом) смысле предполагает бессознательное в общественном (Марксовом) смысле» (доклад Варьяша, стр. 317—то же самое подчеркнуто на стр. 291, 292); 2) и ограничили его, ибо «понятие бессознательного в индивидуалистическом смысле сводится к «вытеснению», между тем, как марксово бессознательное не сводится к нему». Идеологии возникают на бессознательном пути,—не только вследствие «несовершенства познавательных средств,—как пишет т. Карев,—общественных классов, несовершенств, целиком определяемых общественным бытием этих классов» (ст. т. Карева, стр. 80), но, что важнее, это то, что сознание своего угнетенного положения, никогда вполне не отсутствовавшее (в том или ином размере) у эксплоатируемых, еще не достаточно для правильного знания того, какими средствами избавиться от эксплоатации. История полна восстаниями эксплоатируемых и угнетенных.

Пролетариат является первым классом, который в состоянии избавить от эксплоатации и самого себя и вообще всех угнетенных трудящихся:

1) в силу своего решающего положения в производстве;

2) в силу того, что он не только производит средства существования, но производит их коллективно, путем массовой кооперации в фабриках и живет концентрированно в больших городах;

3) в силу того, что он в состоянии приобрести нужную для освобождения организованность и культуру;

4) в силу того, что он является продуктом и живым противоречием капиталистического производства;

5) в силу того, что капитализм содержит в себе гигантские антагонизмы, которые могут быть разрешены лишь посредством согласования коллективного производства и соответствующего ему способа распределения, при чем основа этого возможного согласования гарантирована современной техникой (важнейшие из этих противоречий: анархия в производстве, конкуренция, кризисы, борьба за рынки, милитаризм, империализм и т. д.). В силу всего этого пролетариат не только в состоянии осознать свое угнетенное положение и восстать против него (все это было и до него), но и победить и создать бесклассовое, коммунистическое общество.

Средневековые крестьяне очень хорошо сознавали свое угнетенное положение, и в их восстаниях не было недостатка; но для освобождения не хватало других условий.

Как понимать в связи со всем сказанным бессознательное в Марксовом смысле? Лишь так, что люди могут осознать только то, что они действительно делают, что с ними действительно происходит, хотя и помимо их сознания и воли. Средневековые крестьяне были угнетены, они были недовольны, они возмущались, они восставали, но не могли осознать значение организации, классового сожительства, коллективного труда, массового коллективного производства и т. д. и поэтому победить. Они не могли этого именно потому, что всех этих условий (1—5) не было и не могло быть, в то время, как все это является условием действительного освобождения (не только юридического, но и экономического). Бессознательное тут значит: они не могли знать всего этого—потому, что всех этих условий (1—5) не существовало. Организация (стихийная) предшествует осознанию значения организации. Даже когда уже об'ективные условия производства (антагонизмы классов) делают организацию возможной, существование противоречий внутри данной системы предшествует их осознанию. Словом: «действие предшествует сознанию» (доклад Варьяша, стр. 286—288).

Следует из этого, что некоторые идеи о механизме этого сложного процесса не могли бы быть заимствованы фрейдистами из марксизма, даже если они никогда не слыхали о нем. Не следует! Правильно различать этот механизм от лежащего в нем идеологического содержания, не отрывать, а различать, по тов. Кареву неправильно. Он упрямо называет мое различение «отрыванием психических функций от содержания психики» (ст. Карева, стр. 72). Но это—две различные вещи. Я цитировал в своем докладе проблемы идеологий. «Здесь—утверждает т. Карев,—путь

исследователя лежит не через изучение роли психического аппарата, а через изучение... посредствующей роли в сложном механизме передачи от базиса к высшим идеологическим надстройкам» (ст. Карева, стр. 84).

Значит, с одной стороны, не нужно исследовать роли психического аппарата, а, с другой стороны, нужно изучать сложный механизм классовой психологии посредствующей передачи от базиса и т. д. Каков этот механизм? Это не психический аппарат человека, так как такая возможность исключается т. Каревым. Остается другая возможность и т. Карев утверждает, будто и Энгельс настаивает на этой другой возможности. Действительно ли это так? Энгельс поднимает в названном письме вопрос, «каким образом эти (идеологические. *В.*) представления возникают. Они возникают, конечно, в обществе и именно из экономических основных фактов» (Энгельс). Так понимает дело и т. Карев. Но Энгельс говорит в этом письме и о чем-то другом. «Я должен указать только, что не хватает одного пункта (в статье Меринга об историческом материализме, в книге: «Легенда о Лессинге». *В.*), на котором ни Маркс, ни я в своих вещах не останавливались достаточно подробно». И после этого идет речь о том, что он и Маркс перенесли центр тяжести на то, чтобы выводить политические, правовые и прочие идеологические представления и действия, на которые эти представления влияли, из экономических основных фактов. Тов. Карев допускает тут лишь такое толкование: «Путь исследователя лежит через изучение классовой психологии, вытекающей из определенных классовых интересов» (ст. Карева, стр. 84). Тут т. Карев утверждает лишь то же самое, что и Энгельс в начале письма, только с той разницей, что формулировка Энгельса точнее и конкретнее: вытекающей из основных экономических фактов. Выполнением этой задачи дело для т. Карева кончено. А для Энгельса? Не кончено. Он упрекает Меринга, что тот удовольствовался этим анализом, и подчеркивает важность «обращения внимания на формальную сторону: каким образом эти представления и т. д. возникают». Энгельс дает и ответ и притом чрезвычайно глубокий, который, по моему мнению, должен служить путеводителем для марксистов, изучающих возникновение идеологий. Неверно,—говорит Энгельс, что «всякое человеческое действие основано в последнем счете на мышлении, потому что совершается посредством мышления (курсив наш. *В.*). Энгельс здесь различает основание действия на мышлении от совершения его посредством мышления. Первую возможность отбрасывает, как идеалистическую, как ложную, но принимает второй пункт. Я цитирую и неутомимо подчеркиваю эту разницу в своем докладе (стр. 291—292),—к сожалению, как читатель видит, совершенно напрасно для т. Карева.

Прав ли т. Карев против Энгельса? Не прав! Он упрощает задачу именно в том пункте, в котором Энгельс видел недостаток анализа Меринга. Если вопрос: как возникают идеологические представления как мышление—есть формальная сторона проблемы возникновения идеологий, то выведение идеологий из экономических, основных фактов—есть материальная сторона проблемы. Энгельс считает оба вопроса важными, но только последняя проблема допускается т. Каревым. Поэтому я считаю, что т. Карев отрекается от Энгельса.

Дальше. Возьмем Маркса!

В работе, которую писали Маркс и Энгельс вместе (о Фейербахе) мы читаем: «Мораль, религия, метафизика и прочие виды идеологий и соответствующие им формы сознания утрачивают видимость самостоятельности» (Архив Маркса и Энгельса, кн. 1, стр. 216). «Люди изменяют в своей деятельности также свое мышление и продукты своего мышления» (там же, курсив наш. *В.*). Это место вполне согласуется с цитированным письмом к Мерингу. Там и тут строгое различение (не раздробление) мышления и продуктов мышления—идеологий. Они утрачивают свою видимость самостоятельности в связи с экономическими основными фактами. Значит, Энгельс был прав, различая основанность действия на мышлении (неправильный, идеалистический взгляд) от совершения его посредством мышления (правильный, материалистический и диалектический взгляд).

Идеологии, с одной, и соответствующие им формы сознания, т.-е. мышление, с другой стороны, оба утрачивают свою видимость самостоятельности. Действие не основывается на них, а на экономических основных фактах. Но совершается оно посредством мышления (подробный анализ этой чрезвычайно важной принципиальной формулировки Энгельса я напишу в другой раз).

Может быть, т. Кареву останется еще одна возможность выкарабкаться из затруднений. Может быть, существует в этой области что-то третье, кроме мышления и его продуктов—идеологий. Что такое «сложный механизм передачи» т. Карева? Является ли он формой мышления, или он уже идеология, или это что-нибудь неизвестное до сих пор?

Может быть, т. Карев, стараясь выкарабкаться из затруднения, скажет, что это и форма мышления и идеология. Но тогда как будет с психическим аппаратом? Путь ведь, по т. Кареву, не лежит через него.

«Тов. Варьяш,—пишет т. Карев,—блуждает в роли некоего буриданова осла». Тов. Карев, как видно, за словом в карман не полезет. Но мне кажется, что, будучи об'ективным, необходимо признать, что эта оценка годится для болтовни о ненужности «изучения психического аппарата» и о нужности «изучения сложного механизма передачи от базиса к высшим идеологическим надстройкам».

Утверждение т. Карева, будто у меня «отрываются психические функции от содержания психики»—явное искажение. Я ссылаюсь на свой доклад, стр. 282 (три раза на одной странице) и стр. 284. Об этом же я говорю и в связи с критерием практики, по поводу которого т. Карев утверждает, что им у меня даже не пахнет (ст. Карева, стр. 71).

Для моего дискредитирования и в этой последней главе т. Карев тоже прибегнул к хорошему, приличному приему: он цитирует отзыв одного венгерского журналиста, работавшего и сейчас работающего в крупной буржуазной газете, о нескольких моих работах, писанных в промежуток 1909—1914 г.г. Что этот журналист понял меня так, как и т. Карев, это несомненно. Он упрекает меня в адлеризме, и т. Карев поспешно соглашается с ним: «Тов. Варьяш признал принцип Адлера «воля власти»

и «колеблется между Фрейдом и Адлером в качестве некоего буриданова осла» [1]).

Я не знаю, как выглядели бы с точки зрения марксистской выдержанности цитаты из работ т. Карева, писанные не 10—15 лет, а всего 5 лет тому назад. Но и его скромное желание «разоблачить» меня по старым работам, если нельзя по теперешним, не сможет быть удовлетворено. В упомянутой работе я отзываюсь об Адлере вот как: «Учение (Адлера) односторонне, не обладает способностью об'яснять что-нибудь. Принцип желания власти полезен для практической ориентировки (речь идет об отдельных людях), но не годен для теоретического понимания, так как тут он сам нуждается в об'яснении»). Вот какой адлеризм!

Правда, я выдвинул в качестве формального механизма упомянутую т. Каревым функцию: фрустрацию. Мне пока не удалось разработать вопроса так ясно, чтобы я мог утверждать, имеет ли она значение или нет. Но все-таки я мог бы цитировать из Маркса аналогичную идею. Не будучи уверен в правильности этой мысли, я не считаю необходимым поддерживать ее 15 лет спустя, что я ее высказал. Может быть, что рефлексология когда-нибудь разрешит этот вопрос, т. е. разрешит, имеет ли эта функция сколько-нибудь заслуживающую внимания роль или нет.

Еще два слова о моем отношении к фрейдизму. Я рассматриваю фрейдизм с двух точек зрения: 1) как медицинскую теорию, 2) как социальное мировоззрение. Относительно последнего я доказал, как мне кажется, в своем докладе, что фрейдизм, для об'яснения социальных явлений, для понимания возникновения идеологий, ничего не дал. Для правильного подхода к этим вопросам не хватает у фрейдистов самого важного: серьезного усвоения марксизма в целом. Поэтому их, относящиеся сюда, попытки являются дилетантскими упражнениями, что отчасти признает и сам Фрейд (Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung, 1914).

О фрейдизме, как медицинской теории, я писал в своем докладе следующее. «Если он (фрейдизм, как метод лечения) оправдается в практике, мы примем его так же, как принимаем химию или биологию, значит, как положительную науку» (доклад Варьяша, стр. 340). Но я знаю и то, что фрейдизм (как метод лечения) является лишь маленькой частью общей теории душевных болезней. В этой области пока еще почти все лишь в зародыше. Поэтому и я сказал там же: «Однако надо подчеркнуть, что, если он оправдается, его законы будут относиться к диалектическому материализму, как, напр., закон Ома к дифференциальным уравнениям Максвелла». И даже эта аналогия—лишь аналогия, так как диалектический материализм, как всеобщая теория и метод для всех наук, живет и в законе Ома и уравнениях Масквелла.

Перейдем к резюме.

1. Тов. Карев не понял и не старался понять меня. Он старался лишь опровергнуть меня.

---

[1]) Я все же думаю, вопреки уничтожающему мнению тов. Карева, что большим правом было бы характеризовать это блуждание в сексуальной теории Фрейда без понятия бессознательного поведением упомянутого друга Буридана. Читатель из цитированной моей оценки Адлера может видеть, каким я был адлеристом в 1915 году.

2. Он легкомысленно подошел к глубоким вопросам математики, логики и психологии, не знаи и теории множеств, он все-таки решил, что учение Кантора неверно потому, что Кантор верил в бога. Если бы это было так, то и Ньютон должен быть сдан в архив. Кроме того, т. Карев не имел никакого основания говорить на мой счет о Канторе, так как я не принимаю теорию Кантора и пытаюсь уже в течение 15 лет создать принцип другой теории. Тов. Карев без всякого основания хочет подсунуть читателю, что я канторианец.

3. Он противопоставляет себя Марксу и Энгельсу не только в отношении исторической оценки великих, хотя идеалистических мыслителей (Лейбниц, Кеплер).

4. Но, что серьезнее, он противопоставляет себя Марксу и Энгельсу в вопросе о различении идеологий и форм мышления. По т. Кареву психического аппарата нам не нужно исследовать. Если бы он был последователен (он меня упрекает в эклектизме), то он должен был бы отрицать и то, что бытие определяет сознание, ибо сознание без «психического аппарата» [1]) немыслимо.

5. Он не различает диалектичности процессов природы (отдельные диалектические изменения) от диалектичности изменения законов природы и упрекает меня в том, что я отрицаю диалектику в природе. На самом же деле я утверждаю, что не только природные явления происходят диалектично, но что и законы природы видоизменяются (доклад Варьяша, стр. 269). Только т. Карев знает, где тут отрицание диалектики в природе, да и то лишь потому, что он не понял того, что я написал. Не различение этих двух случаев изменения ведет к упрощению марксизма и противоречит не только духу, но и буквам Маркса (см. Предисловие к 2-му изданию «Капитала»).

6. Тов. Карев стоит на точке зрения Гегеля,—как он его «понимает»,—противоречащей Марксу, утверждая, что теория есть рефлексия метода. На самом же деле метод—это наше отношение к исследуемому предмету, обуславливаемое об'ективными закономерностями предметов, а теория (если она правильна) есть об'ективное отражение действительных отношений мира, отношений, которые существуют вместе с материей и в материи. Эти закономерные диалектические отношения неотрываемы от материи, они существуют вне нас и независимо от нас. Между тем, как метод не существует без нас и метод может быть правилен лишь в том случае, если ведет нас к правильной теории, каковую же не следует смешивать с отраженными правильной теорией реальными отношениями. Только эти отношения независимы от нас, но не наш метод их изучения.

Реальные отношения реального общества отразились в голове Маркса правильно. Это мы знаем на практике. Учение Маркса

---

[1]) Я говорю всегда о психофизическом механизме. Тов. Карев, неизвестно почему, дает ему наименование: психический аппарат. Может быть, чтобы подчеркнуть его «идеалистический характер». Я указываю на свой доклад, стр. 323—324, где я характеризую этот материальный аппарат.

оправдалось и оправдается в действительном развитии общества и организации пролетариата. Только благодаря этому мы знаем, что и его метод был правилен, но знаем это не априори, а посредством оправдавшегося на практике теоретического предвидения. Логический порядок идет обратно тому, как думал Гегель и тов. Карев. Не так: метод, теория, реальный мир, а так: 1) существует независимо от нас мир, т.-е. происходящие в пространстве и времени процессы (развитие, материи); 2) эти процессы материи отражаются в головах людей (если последние уже существуют, так как они совершались и до происхождения человека). Эти отражения называются теориями о мире.

Тов. Карев, может быть, возразит по этому поводу, что не только метод зависит от нас, но и теория тоже. Значит, опять метод первенствует («Теория—рефлексия метода», ст. Карева стр. 58). Но здесь дело обстоит так. Исторический стихийный способ изучения природы без рефлексии этого способа предшествовал сознательному ведению исследования. Правда, метод может быть и бессознательным. Тут взаимодействие между теорией и методом. Но каждое взаимодействие обуславливается причинностью. Теория есть приблизительно точное (зависимое от исторических условий) отражение, она направляется на мир, на предметы. В то же самое время, т.-е. всегда одновременно с отражением, происходит и приспособление исследователя к предметам. Самое простое, примитивное отражение уже содержит в себе стихийно ряд способов приспособления, т.-е. метод. Но это не значит, что теория не предшествует методу и что дело обстоит как раз наоборот. Условия и следствия существуют одновременно; между ними нет пустого времени, когда ничего не случается. Но хотя условие существует одновременно со следствием, оно все же остается условием, т.-е. без него нет следствия. Мы стихийно употребляем диалектический метод потому, что так протекают и наши—отражающие внешние об'екты и их действия—акты. Они суть часть действительности. Поэтому отражение мира будет неизбежно диалектично, и мы говорим, что это отражение (диалектическое) правильно, ибо оно отражает диалектичность мира. Не будь сознания, закономерность мира останется, не будет только нашего знания о ней и, следовательно, метода. Словом, и теория и метод не существуют без нашего сознания, но предметы теории существуют и без сознания, а предметы метода не существуют без него. Предмет теории остается, предмет же метода не остается без сознания людей. Раз есть хотя бы примитивная теория, то она существует вместе с методом и метод служит для уточнения теории. «Метод, в широком смысле этого слова, заключает в себе общую философскую предпосылку, которой пользуется исследователь»,—говорит Аксельрод («Против идеализма», стр. 189). Это предпосылка: сам мир и его законы—с одной, и сознание—с другой стороны. Но законы мира остались бы и были бы диалектичны и тогда, если не было бы знания о них. Только наш подход к действительности зависит от структуры сознания, но не ее существование.

Если теория правильна, то мы считаем и путь, ведущий к ней, правильным. Без метода (хотя и не осознанного) нельзя изучать мир. Это значит, что метод суб'ективно предшествует теории, но об'ективно он все же следует за ней.

Люди живут в обществе; они постоянно переходят от практики к теории и от теории к практике, вследствие чего в действительной жизни теория и метод не отрываемы друг от друга—метод переходит в теорию и теория в метод. Но об'ективно отражение процессов мира предшествует методу, так как отражение мира—теория отражает мир, а метод отражает наш поступок, наш подход к нему. Поэтому об'ективный порядок таков: 1. мир; 2. теория его; 3. метод, как наш подход к миру. При этом теория и метод существуют вместе и развитие одного обуславливается развитием другой, что возможно лишь в обществе.

7. Тов. Карев признает сексуальную теорию Фрейда, но не признает его учения о бессознательном. Это очень оригинальный подход. Такого еще не было. Наверное, он вытекает из его «диалектики».

8. Он отбрасывает тот взгляд, что логика понимает свойства одной вещи, как отношение многих вещей. Он возвращается к Лейбницу, который, как известно, тоже отбросил эту точку зрения. Что предикативная логика (т.-е. формальная логика) не дает возможности перехода от одной вещи к другой и поэтому с самого начала исключает диалектическое понимание мира, т. Кареву понять не дано.

9. Он «не отождествляет логику» (которая, по его мнению, «отражает законы самого мира») и «законы мира» (ст. Карева, стр. 67).

Если под законами логики понимать ошибочно то, что понимает под этим т. Карев, т.-е. наши представления, наши методологические приемы, то это верно. Но т. Карев смешивает законы логики, которые так же об'ективны, как и другие законы (последние являются специализациями об'ективных законов мира), с нашими представлениями об этих законах. Он понимает под логикой методы правильного мышления и исследования точно так же, как смотрят на них идеалисты. Логические законы так же отличаются от наших представлений о них, как закон Ньютона (о котором мы знаем, что имел силу уже и до наших представлений) от понятия об этом законе (если бы даже это понятие было и абсолютно точным!). Но, конечно, при таком взгляде логические законы не могут быть «нашими представлениями» (ведь они вообще не представление, а реальные отношения предметов мира!), не могут быть «нашим методом». Эти законы суть наиболее общие диалектические законы мира, самого мира, в том числе и нашего сознания, нашей методологии. Наше сознание со всеми методами и даже всеобщей методологией есть диалектический частичный процесс в совокупном диалектическом движении.

Отрицание же тождества диалектически-логических отношений и законов мира (ст. Карева, стр. 67) ведет т. Карева об'ективно (не по его желанию) к идеализму, и именно к кантианству.

Вот главные пробелы в знании т. Карева, касающиеся наук вообще и его уклонов от марксизма в сторону эклектического идеализма в частности.

Хождение по мукам философской критики [1]).

Ник. Карев.

Без Гегеля, конечно, обойтись невозможно (при изучении марксизма) и притом нужно время, чтобы его переварить.

Ф. Энгельс.

Однако, истинность этой честности в том, что она совсем не так честна, как кажется.

Г. В. Гегель.

Обычно полагают, что критики—самый благоденствующий народ. В то время как «настоящие» исследователи принуждены тяжелой лопатой поднимать архивную целину, либо во всеоружие счетов и ножниц подводить итог накопленному богатству,—в это время на долю критиков выпадает благая роль: ловить труженика науки на случайно сделанной им ошибке, выискивать уклоны от ортодоксии там, где прокладываются новые пути человеческому знанию, беспредметными рассуждениями заменять анализ трудного предмета. Обывательская мудрость выражает это в весьма несложной формуле: «Нет ничего легче, как критиковать». Но так же, как всякое настоящее научное исследование соединено с критикой существующего, так и всякая подлинная критика соединена с исследованием. Одно невозможно без другого, одно—переходит в другое. Но если «исследователь» свободен в выборе и об'екта и тона своей критики, то для «критика» ex officio и об'ект и тон его исследования навязывается в известной степени извне. И так как цветы, порождаемые капиталистической землей, далеко не всегда подобны розам,—то и путь критика скорее напоминает хождение по мукам, нежели путь по райским садам, и орудием его чаще является топор, чем садовые ножницы. В этом смысле, вопреки доле истины, заключенной в излюбленной поговорке здравого смысла, «нет ничего труднее, как критиковать».

И хотя т. Варьяш в своем ответе нам уже не собирается более «завершать» марксизм (как в докладе в Ком. Академии) [2]), а лишь более скромно хочет продолжать «сосредоточивать свои силы»—все же наш спор с ним может быть прекрасной иллюстрацией к сказанному.

Но прежде, чем предлагать оценить картину, следует показать ее. Поэтому разберем сначала по существу цепь рассуждений т. Варьяша—на чем и как он теперь «сосредоточивает свои силы»? Начнем в старом порядке с проблемы теории и метода.

---

[1]) *Примечание редакции.* Статьей т. Карева редакция считает полемику в данной плоскости законченной.

[2]) Вестник Ком. Академии, № 9, стр., 261.

I. Проблема метода.

Что писал в Ком. Академии тов. Варьяш? Что мы тогда критиковали у него?

Тов. Варьяш писал, что «раз теория дана, то она по своему внутреннему свойству (что такое внутреннее свойство»?) уже определяет и метод, но нельзя сказать, чтобы то же самое было и обратно. Если я употребляю определенный метод, то из него еще не вытекает определенная теория» (Курсив везде наш. *Н. К.*) [1]). При этом т. Варьяшу теория (он брал пример теории историч. материализма) рисовалась в качестве некоего «общего закона», в отношении к которому «частные законы суть частные случаи одного общего закона и... могут быть выводимы из него, если даны соответствующие, ограничивающие исторические условия» [2]).

Это построение т. Варьяша мы критиковали с точки зрения марксизма. Если употребление определенного метода не приводит необходимо к определенной теории, к определенному миро-воззрению, не связывается с ним,—то это и есть шаг в сторону оппортунистических теоретиков II Интернационала, для которых ист. материализм есть метод изучения истории, независимый от общего материалистического марксистского миро-воззрения. Отличие т. Варьяша в этом вопросе от Берштейна и Каутского то, что, кроме этой ошибки, он впадает еще и в другую, представляя неверно самый путь историко-материалистического изучения истории. И тут никакие ссылки на «Маркса, Энгельса и т. Ленина» [3]) не помогут.

Речь шла не о перекрещивании законов, а об одном общем законе, из которого т. Варьяш собирался выводить частные законы при соответствующих, только ограничивающих выведение, исторических условиях. В этом — логизм части современной буржуазной философии, которым страдает и т. Варьяш, как доказывали мы в нашей статье [4]). В антикритике тов. Варьяш начинает с того, что обходит все кардинальнейшие вопросы прошлого спора, словно их и не существовало. Впрочем, мы еще не раз увидим, как тов. Варьяш «сосредоточивает свои силы» на подмене одной проблемы, в которой он чувствует себя ущемленным,—другой.

В этом, писали мы, у т. Варьяша—застывшая система и здесь все ссылки на «непредубежденного марксиста» ничем не помогут. Исторический материализм не система, точно также как и история, из которой он выведен и к которой он применяется, не есть реализация какой-либо вечной идеи, а беспрерывный процесс смены различных общественно-экономических формаций. Где прочитать об этом у Ленина, мы указывали прошлый раз.

---

[1]) Там же (Вестник), стр. 310.

[2]) Там же, стр. 272.

[3]) Что значит, между прочим, это выделение «т. Ленина» от Маркса и Энгельса? К чему оно?

[4]) См. мою статью «Под Знаменем Марксизма» за 1924 г., № 12, стр. 57.

Однако тов. Варьяш не только не взял обратно положения, которые мы критиковали и в защиту которых он не сумел привести ни одного аргумента, но и наговорил по тому же поводу кучу новых несуразностей.

Как ни тоскливо, но придется заняться распутыванием и этого клубка.

Прежде всего, просто—как бы сказать—неловки многочисленные попытки т. Варьяша представить дело так, что у нас методы логики играют роль чисто-суб'ективного порядка, доставляют только «методы правильного мышления и исследования». Мы уже видели, что как раз на наше возражение именно такого порядка против т. Варьяша, он ничего не сумел ответить. Теперь мы видим, что он ответил, но в свойственном только ему стиле, по принципу—кричать «держи вора» по адресу того, кто тебя же уличает в воровстве. С этим принципом, составляющим глубочайшее и самое плоское основание всей стратегии т. Варьяша, мы еще не раз встретимся впоследствии и там его по заслугам оценим. Сейчас, чтобы ясно было читателю, как защищается тов. Варьяш, приведем лишь одну цитату из нашей статьи: что такое метод с точки зрения диалектического материализма? Диалектический материализм никогда не рассматривал метод, как нечто суб'ективное, как принцип упорядочения явлений. Это—махистское понимание метода. Именно потому мы можем посредством нашего метода верно истолковывать и группировать явления, что он выражает формы движения самой действительности, отражает ее закономерность». Одно из двух. Либо, растерявшись и растеряв свои точки зрения, тов. Варьяш, ослеп, читая эти строки в нашей статье, и вследствие этого приписал нам прямо противоположное тому, что мы писали, либо он сделал это с вполне сознательным намерением. Квалифицировать это последнее мы предоставляем самим читателям.

Все это тем более шито белыми нитками, что либо запутавшись сам, либо запутывая других, т. Варьяш вновь в антикритике, несколькими строками выше столь грациозного обвинения по нашему адресу, сам повторяет то же понимание метода, которое мы уже критиковали в его докладе. Он характеризует метод только как «наш подход к миру», в чем, очевидно, не отражается ни на каплю об'ективная значимость метода. Стоит с этим сравнить лишь следующее замечание Ленина: «об'ективизм: категории мышления (которыми оперируют логика, методология) не пособие человека, а выражение закономерности и природы и человека» [1]). Но разве «эрудиция» заключается в том, чтобы изучать Ленина?

Все несчастия тов. Варьяша в проблеме теории и метода происходят от того, что он вообще не ясно представляет себе,—что такое метод.

Процесс познания, с его точки зрения, проходит три этапа: 1) абстрагирование законов природы и общества путем индукции, 2) изложение их дедуктивным путем, 3) синтез того и другого в системе. Синтез не Гегелевский и не Марксовский, а чисто-механический, так как индукция и дедукция просто сменяют друг друга.

[1]) Н. Ленин. Конспект «Науки Логики» Гегеля,—«Под Знаменем Марксизма» за 1925 г., № 1—2, стр. 10. Дальнейшие ссылки: Ленин, Конспект.

Все это построение ничего общего не имеет с диалектической точки зрения на познание. Не боясь казаться парадоксальным, мы можем сказать, что для т. Варьяша, несмотря на то, что он направо и налево клянется диалектикой, вообще не существует ни диалектической логики, ни диалектического метода. Ему только кажется, что он ими оперирует. На деле он не понимает самой возможности их существования. Мы боимся, что в данном случае избыток эрудиции в области метафизики приводит т. Варьяша к невежеству в области диалектики.

В самом деле, что такое с точки зрения т. Варьяша метод? Мы уже видели, что это «наш поступок (!?), наш подход к миру». Но какой подход?

В одном месте он говорит о «математическо-диалектическом» способе познания. Известно, что математика наука дедуктивная. В другом месте он, возражая нам насчет значения метода, говорит, что дедукция является не способом исследования, а способом изложения. Наконец он пишет: «Тов. Карев не различает исследования процессов, идущего индуктивно и абстрагирующего, от способа изложения; последнее идет, по большей части, дедуктивно и получается вид, как будто мы только применяем наш метод к миру». Т.-е. применение метода, по т. Варьяшу «нашего подхода к миру», сводится к дедуктивному изложению индуктивно найденных законов мира. Предметы теории для него существуют без нашего сознания, а «предметы метода не существуют без него». Т.-е. предмет метода лишь наше знание о мире. Мы видели, насколько это согласуется с Лениным и как добросовестно поступил т. Варьяш, приписав несколькими строками ниже нам то, что он черным по белому только что написал сам. Таким образом, беспрерывно путаясь сам и запутывая других, в конечном счете т. Варьяш метод отождествляет с дедуктивным изложением предмета. С этим вполне согласуется его представление об историческом материализме, как об одном общем законе, из которого выводятся частные законы, с этим согласуется и его отождествление математического и диалектического познания. Но, повторяем, все это ничего общего не имеет ни с марксизмом, ни с диалектикой. Отсюда же у него метод не принимает никакого участия в исследовании самой природы, отыскании ее законов, и отсюда же получается нелепейшая схема: мир—теория—метод, где метод оторван от мира, к изучению которого он должен применяться, и следует за теорией, законы которой должны открываться при его помощи. Опять чисто-механическая схема, в которой нет ни грана живого, диалектического движения предмета. На самом деле, всякому желающему хотя бы немного познакомиться с марксизмом, а не то, что писать о нем, достаточно было бы внимательно следить хотя бы за текущей марксистской литературой, чтобы в статье т. А. Деборина «Маркс и Гегель» (в «Под знаменем марксизма», за 1924 г., № 3, стр. 9) прочитать, что «ни абстрактно-дедуктивный» (математический),

ни индуктивный метод не следует отождествлять с методом диалектическим».

Верно, вопреки Гегелю, что источником всякого нашего знания является чувственный опыт. Но «наука имеет дело с понятиями» и «без мышления нет науки», без мышления, оперирующего понятиями, имеющими своим источником опыт. Поэтому мы стоим не на эмпирической, и не на рационалистической точках зрения, между которыми беспомощно мечется метафизическая философия, а на диалектической точке зрения, на точке зрения рационального эмпиризма. Однако научные понятия—не пустые абстракции, не просто тени действительности. И здесь тов. Варьяш дает недостаточное определение, не понимает диалектической постановки вопроса. Научное понятие это—конкретное понятие, которое «вбирает в себя все богатство и всю полноту действительности» (Деборин, там же). Огромная заслуга тов. Деборина в том, что он вполне предвосхитил то отношение к гегелевскому понятию, которое мы теперь только видим у Ленина: «Прекрасная формула: «Не только абстрактное всеобщее, но и всеобщее такое, которое воплощает в себе богатство особенного, индивидуального, отдельного». Très bien»[1]).

Тов. Варьяшу, презрительно относящемуся к Гегелю и гегельянству, очевидно, и не снилась самая возможность такой постановки проблемы. За то ведь у него необ'ятная эрудиция, непосредственно граничащая с... незнанием. Крайности, как известно, часто сходятся.

Из всего изложенного следует, что тов. Варьяш совершенно не понимает значения и места диалектического метода. Диалектический метод не представляет собою попеременного механического применения индукции и дедукции. То, что он извлекает из опыта, есть конкретное понятие, конкретное всеобщее. Система таких понятий, отражающая движение конкретной действительности, есть наука, научная теория. Категории, которыми оперирует диалектический метод, не только пособия человека, а и выражения об'ективной закономерности и природы и человека. Поэтому в исследовании только применяя диалектический метод, хотя бы и стихийно (у естествоиспытателей), мы можем создать систему понятий, научную теорию, верно отражающую действительность. Такие положения, как единство противоположностей и их переход одной в другую, всеобщая взаимозависимость явлений и т. д. служат и отражением самой действительности, и, в силу этого, указаниями на то, как следует изучать развивающийся предмет, как верно составить себе понятие о законах его развития. И при всем этом т. Варьяш будет продолжать нам твердить свою мертвую схему: мир—теория—метод, где метод оторван от жизни и превращен в служанку знания вместо того, чтобы быть его орудием, его сердцем[2]).

---

[1]) Ленин, Конспект, стр. 16.

[2]) Совершенно очевидно вместе с тем, что все то, что т. Варьяш пишет о суб'ективном предшествовании метода теории и об'ективном следовании есть пустая схоластика. Все эти выкрутасы лишь отражают путаницу в голове тов. Варьяша, и суб'ективно и об'ективно предшествующую его рассуждениям о предмете.

Диалектический метод не есть механическое единство дедукции и индукции, а нечто совсем другое —единство аналитического и синтетического метода. Что это значит, мы рекомендуем т. Варьяшу узнать из «Науки Логики» внушающего ему такое отвращение, но к сожалению для него, столь близкого «Марксу Энгельсу и тов. Ленину»—старика Гегеля.

Нам, может быть, однако, возразят, что пусть у т. Варьяша действительно есть некоторая путаница во всех этих вопросах, пусть бесспорно доказано, что у него есть элементы махистского, суб'ективистского понимания метода, как принципа упорядочения законов и теорий—в системы[1]), пусть все это будет,—но все же у него есть временами и проблески верного понимания дела, особенно того, что логика—не только наука о наших законах мышления, но и об об'ективных законах мира. Он ведь критикует даже нас за то, что мы отрицаем «тождество диалектически-логических отношений и законов мира», что по его мнению ведет нас к идеализму, и именно к кантианству. Здорово, не правда ли? Мы упрекаем т. Варьяша в идеализме и находим у него элементы кантианства—нате же, вот вы—идеалисты, вы—кантианцы! Замечательный метод! Главное—не требует никаких умственных усилий. В чем обвиняет тебя критик—вали на него обратно—и вновь ты паче снега убелишься! Жаль лишь, что иногда критики пишут ответы и на месте ловят с поличным злоумышленника.

Верно, что мы на стр. 67 своей статьи критиковали точку зрения т. Варьяша на отождествление логики и законов мира. Во избежание недоразумений мы приведем здесь цитату из того, что писали там: «И с нашей точки зрения логика отражает законы самого мира, не есть только плоский прием нашего разума. Верно отражая законы развития и действительности, диалектическая логика служит надежным орудием их изучения. Но мы не отождествляем логику и законы мира. Они отождествлены лишь в идеалистической логике Гегеля. Логическое развитие понятия не тождественно с развитием действительного мира, второе не выводимо из первого. Мы не выводим законы развития мира из нашей логики, а познаем их при помощи нашей логики, именно потому об'ективно познаем, что сама диалектическая логика является отражением законов развития реального мира». Тов. Варьяш не согласен с этим и настаивает на тождестве того

---

[1]) Ср. упорное применение т. Варьяшем к природе термина «упорядоченное» бытие (ср. полемику т. Варьяша с т. Милоновым в «Воинств. Материалисте», №3, стр. 304—305). При эрудиции т. Варьяша нетрудно было бы заметить в нем махистский душок. «Упорядочение» в русском языке предполагает упорядочивающее вмешательство кого-либо, бога или человека, как верно отмечает т. Милонов. Природа — не «упорядоченное», а закономерное бытие даже для идеалистов типа Гегеля. Наоборот, основным грехом людей типа Богданова, всюду видящих «упорядочивающий», «упорядоченный», «организационный» процесс, является то, что всякая организация предполагает вносящего ее суб'екта. Для Богданова это понятно, поскольку таким суб'ектом для него является человеческая активность, организующая социальный опыт. Отсюда же видно, что «всеобщая организационная наука» ничего общего не имеет с диалектикой. Т. Варьяша же, как известно, инстинктивно «влечет неведомая сила» ко всем туманным берегам. Но какая же бездна «эрудиции» после этого в его замечании по поводу отрицания «упорядоченного» бытия, что «этакое утверждение есть ultima Thule всех «новых» гегельянцев-идеалистов (но отнюдь не для самого Гегеля)». Есть же эдакие специалисты корчить из себя нивесть что, не имея за душой ничего!..

и другого. Очень приятно, хотя это несколько и противоречит, по обыкновению, тому, что сам же т. Варьяш пишет несколькими страницами раньше, где он рекомендует правильную теорию (которая с его точки зрения является в нашем знании ближайшей инстанцией к миру, над которой возвышается метод), «не смешивать с отраженными правильной теорией реальными отношениями». Однако в писаниях т. Варьяша крупицы истины мелькают, как известно, непонятно по чьему вдохновению, лишь изредка и притом так, что совсем не вяжутся со всем предыдущим и последующим. Так и в данном случае. Мелькнуло верное предложение и потонуло, как капля в море, в окружающей эклектической воде.

Тов. Варьяш, не понимает, что признавать его тождество—это значит отрицать исторический метод в применении к самому процессу познания. Мы писали в критике т. Варьяша: «Марксизм же стоит на исторической точке зрения, согласно которой наше познание, наша логика не есть ни только психический феномен, ни нечто вполне адэкватное самой действительности. Мы познаем действительность в цепи относительных, но об'ективных истин, и познаваемые нами логические категории и законы, не давая абсолютного познания действительных законов мира, дают их относительно—об'ективное познание, именно поэтому могут служить орудием нашей практики, бесконечно приближаясь к абсолютной истине в процессе научного познания». Тов. Варьяшу должно бы было быть известным, при его «эрудиции», что эта точка зрения принадлежит не Канту, а впервые была выдвинута Гегелем, рисовавшим в своей гениальной «Феноменологии Духа» величественную картину развития человеческого знания. И тогда бы он понял, что для диалектика отношение между предметом и понятием, суб'ектом и об'ектом—не простое тождество, а единство противоположностей. «Противоречие между предметом и понятием составляет внутренний и движущий момент знания»[1]). Или у Ленина поразительное по глубине определение логики: «Логика есть учение не о внешних формах мышления, а о законах развития всех материальных, природных и духовных вещей», т.-е. развития всего конкретного содержания мира и познания его, т.-е. итог, сумма, вывод истории (подчеркнуто Лениным. *Н. К*) познания мира»[2]). И в другом месте—к цитате из Гегеля, что «логика—чистая наука, т.-е. чистое знание в полном об'еме своего развития» (подчеркнуто Лениным. *Н. К.*)—замечание Ленина: «1-я строка—ахинея, 2-я гениальна». Тов. Варьяш цитировал в другом месте известные слова Маркса, что мы знаем в сущности лишь одну науку—науку истории, но так и не понял (эрудиция подвела!), какое это близкое отношение имеет к столь нелюбимому им Гегелю и к интересующему нас вопросу.

Не понимая диал. единства противоположностей и отождествив логику и законы мира, как мы и писали, т. Варьяш незамедлительно, конечно, пришел к тому рационализму и логизму буржуазной философии, о котором мы уже несколько раз писали, и который превращает наше знание в абсолютное. Эту точку зрения мы называли quasi-марксистской, как с этим согласится всякий «непредубежденный марксист». Т. Варьяш пишет, что какие-то «более опытные и авторитетные» марксисты с ним в чем-то согласны (Кто именно? В чем? Опять намеки без имен?). Марксисты не отрицают ни авторитетов, вопреки Богданову, ни цитат, вопреки т. Варьяшу. Но для всякого марксиста чистота марксистского знамени выше любого авторитета. И тот марксист, коль нашелся бы такой, как бы авторитетен он ни был, который солидаризировался бы с т. Варьяшем в его путанице, перестал бы быть марксистом.

Нам остается сделать еще несколько дополнительных замечаний, чтобы покончить с проблемой метода.

Конечно же, совершеннейшие пустяки пишет т. Варьяш о том, что мы «обособляем законы процессов в качестве метода от самих процессов». Это, употребляя столь неправящееся т. Варьяшу выражение, действительно сапоги всмятку. Хотя т. Варьяш подчеркивает эту фразу,—мы, откровенно говоря, просто не понимаем ее. То, что он говорит далее о том, что мы не различаем метода исследования от метода изложения—просто неверно, т. к. у нас целая страница посвящена этому вопросу (стр. 57—58). Прием здесь у т. Варьяша слишком обычен, чтобы на нем останавливаться. Об обособлении у нас законов от процессов в данной связи и речи не было. Речь была в другой связи—когда мы указывали на то, что у тов. Варьяша подфлагом диалектики законов отрицается диалектика явлений (стр. 70). В данной связи фраза т. Варьяша появилась по польскому правилу: дар за дар, даром ничего! В чем бы ты меня ни упрекал—во всем этом должен и я упрекнуть тебя. И только в заключении мы имеем попытку т.Варьяша защитить свое понимание сути дела. Защита, впрочем, своеобразная: мы не поняли, что у него написано. Что тов. Варьяш вообще пишет очень туманно—это верно. Но в данном случае мы имеем исключение. «Непредубежденный» читатель сам проверит дело. У тов. Варьяша было написано по поводу сопоставления гипотез Лоренца, Герца и Эйнштейна: «Это, конечно, не есть еще доказательство, что сами процессы в природе протекают диалектически. Уничтожение одной гипотезы другой, более широкой, само предполагает постоянство (курсив всюду наш, где это особо не оговорено. *Н. К.*) течений природных процессов («постоянство процессов»—разве это противоречит диалектике, не доказывает ее? *Н. К.*). О диалектике в природе можно иметь право говорить только рассматривая естественную зависимость в целом, космологически (курсив т. Варьяша. Двойной курсив наш. *Н. К.*). Ибо в каждый момент времени отношения зависимости мира являются постоянными, т.-е. подчиняются одним и тем же законам, таким образом эти законы для любого момента времени тождественны (как будто подчинение одним и тем же законам исключает диалектичность развития? Ну и диалектика! *Н. К.*). Если принять во внимание космические периоды (Это что такое? Даже не всеобщую связь явлений, а какие-то «космические периоды»?! *Н. К.*), тогда возникнет и изменение зако-

[1]) А. Деборин. «Маркс и Гегель».—«Под Знам. Маркс.» за 1923 г. № 10, стр. 9.

[2]) Ленин, Конспект, стр. 12.

нов, т.-е. процесс сделается диалектическим» [1]). Если вся эта тирада, с нелепейшим для диалектика противопоставлением космического, всеобщего—отдельному и имеет смысл, то лишь тот, что т. Варьяш, сбитый с толку Лукачем, действительно пытался противопоставить диалектику законов — диалектике процессов. Пусть судит читатель по приведенной цитате, было ли это и правы ли мы были, осмеивая очередной выкрутас тов. Варьяша.

Мы уже писали, что тов. Варьяш не понимает диалектического метода. Ему только кажется, что он есть. То, что он принимает за него, не имеет с ним ничего общего. Вот еще одно доказательство того же. В заключении (пункт 8) т. Варьяш возражает против того, что мы отбрасываем его логику отношений: «т. н. предикативная логика (т.-е. формальная логика) не дает возможности перехода от одной вещи к другой», чего мы якобы не понимаем. Мы не знаем, какому марксизму учился т. Варьяш, но мы твердо знаем, что кроме формальной логики и логики отношений существует еще диалектическая логика, для которой вещи и их свойства составляют диалектическое единство, одинаково снимающее в себе и предикативную логику и логику отношений. Но этой высшей точки зрения не видит тов. Варьяш, ее не существует для него. Гегель мстит за себя.

Замечание о неверной формулировке закона развития производительных сил у т. Варьяша мы вынуждены также поддерживать, так как его ссылки на стр. 284 своего доклада совершенно неубедительны. Мы в противоположность т. Варьяшу, ни разу ни на каплю не видоизменили его текста, так как то место, которое мы цитировали и критиковали, находится, как известно и т. Варьяшу, на стр. 271, и там никаких оговорок к формулировке т. Варьяша нет. Под-ряд 13 страниц, очевидно, мы цитировать не могли. Так основательно защищается тов. Варьяш, подменяя один свой текст другим.

Насчет отношения теории и метода ко всему тому, что здесь сказано, мы не имеем оснований повторять в виде добавления то, что писали уже прошлый раз. К систематическому изложению проблемы мы еще надеемся вернуться вне связи с трудами тов. Варьяша. Все же то, что тов. Варьяш преподнес нам в антикритике по этому вопросу, мы разобрали достаточно подробно. Заметим лишь, что в докладе основной целью тов. Варьяша, как он тогда писал, было доказать ошибки тех «в наших собственных рядах», кто считает исторический материализм прежде всего методом изучения истории и кто хочет «не из исторического материализма, но из самой истории, согласно (курсив т. Варьяша. *Н. К.*) историческому материализму, выводит отдельные исторические законы» [2]). Тов. Варьяш хотел их выводить не из самой истории, очевидно, а из «одного общего закона», из некоего гипостазированного исторического материализма [3]). Сейчас оказывается, что его задачей было лишь показать, что «отделение метода от теории не есть диалектика», как будто бы «в наших собственных рядах» хоть

[1]) Вестник, стр. 268. На стр. 269, которую указывает т. Варьяш, вообще на эту тему ничего нет.

[2]) Вестник, стр. 269—271.

[3]) Ср. с этим у Энгельса.

кто-нибудь, кроме т. Варьяша, их отделял? Так меняются времена и даже одни и те же птицы поют разные песни.

Перейдем же к «математически-диалектическому» способу познания тов. Варьяша.

II. Проблема математического познания.

Начнем с частных замечаний.

Изложив то, что мы писали, опираясь на Гегеля и Энгельса, о природе математического познания, т. Варьяш выводит следующее заключение: «Значит, по ним и тов. Кареву, математика: 1) не улавливает качественного многообразия действительности, 2) в анализе бесконечно-малых (он не есть часть математики?—вопрошает т. Варьяш) она улавливает момент качественно-количественного развития». Из этого следует, что у нас «вопиющие» противоречия и мы ошибаемся, отождествляя в данном случае воззрения Гегеля и Энгельса.

Однако, хотя вера тов. Варьяша в том, что он знает философию математики, далеко превышает горчичное зерно, все же мы должны отказать ему в диалектическом понимании сути дела. Мы отождествили точку зрения Энгельса и Гегеля, у которого часто благодаря диалектическому методу, за идеалистической оболочкой скрывались материалистические воззрения (пусть Варьяш попробует отрицать это!), в определенном случае, в их воззрениях на опытное происхождение математических понятий, качественную безразличность предмета низшей математики и появление качественного момента в высшей. Признавал все это Гегель или нет? Признавал ли все это Энгельс или нет? Да, оба признавали. Здесь не помогут т. Варьяшу общие, всем известные, рассуждения о идеализме Гегеля и материализме Энгельса. Кто же не знает, что Гегель—идеалист? Или этим только и ограничивается то, что дает т. Варьяшу о Гегеле его «эрудиция»? Речь идет о совершенно конкретном диалектическом анализе Гегелем математического познания, который вполне, в отмеченных нами рамках, материалистичен, что следует и из его полного совпадения, даже в формулировках, с анализом Энгельса. Где тов. Варьяш опроверг это по существу? Он не может этого опровергнуть и потому занимается общими разговорами, для ведения которых не требуется никаких знаний. Ведь недаром же единственная «цитата» из Гегеля, которую приводит т. Варьяш, сводится к тому, что «входящие в математику положения должны быть строго доказаны»!.. Просто скандал для человека, пишущего о диалектическом методе. Тов. Варьяш—иностранец. Но он, к сожалению, уже успел усвоить так распространенное среди нас, русских коммунистов, чванство. Он знает математику, идеализм, естествознание,—все что угодно. Все, кто его критикуют, ничего не знают, ничему не учились, ничего не видели и не имеют никаких трудов по дифференциальному исчислению, хотя ни один человек еще не слышал о заслугах тов. Варьяша в этой области. Он—великий эрудит! Но еще тов. Ленин учил нас беспощадно осмеивать подобное чванство: особенно заслуживает оно всяческого осмеяния в человеке, который берется писать о марксизме, не зная его азов.

Понятно отсюда, что вопиющие противоречия в изложенных нами воззрениях Гегеля и Энгельса померещились тов. Варьяшу лишь потому, что он не различил математического познания, которое критиковал Гегель и критику, которого мы излагали, от того конкретного содержания, которое составляет современную математику и в котором на высших ступенях применяется диалектика. Тов. Варьяшу это было бы совершенно ясно, если бы он удосужился прочитать повнимательнее указанные места из «Феноменологии Духа» и второй отдел первой части «Науки Логики».

О том, что мы якобы отрицаем присутствие каких бы то ни было элементов формальной логики в высшей математике, тов. Варьяш явным образом сочинил сам, так как у нас совершенно ясно написано, что «диалектический момент появляется переходом от постоянных величин к переменным, к высшему анализу» (стр. 63).

Поэтому вся тирада о Протагоре и эклектике ничего не стоит. Смущение некоторое вызывает только замечание т. Варьяша, что наш «взгляд» на математику предшествовал изучению нами математики (что, очевидно, плохо), тогда как в начале статьи он пишет, что скверно, если «философская суть математического анализа усваивается не до знакомства с математикой, а после него». Когда же «взгляд» на математику вырабатывать по т. Варьяшу? До или после ее изучения? Мы думает, что в процессе изучения математики, но разве тов. Варьяш признает такую «эклектику», он, всегда столь далекий эклектике!

Тов. Варьяш начинает с защиты Кантора (в тексте) с тем, чтобы в конце и в примечании недоумевать зачем мы вообще извлекли Кантора на вольный свет в связи с ним. Начнем и мы с первого.

Несмотря на всю эрудицию тов. Варьяша, все же неверно, что Кантор опирается в своем различении двух родов бесконечного и в понимании их на Гегеля. Кантор по существу отрицает Гегеля. Он стремится к ложно им понятому Спинозе и выражает скорее кое в чем свое согласие с Дюрингом. Пусть читатель в книге, которую я цитировал и которую поэтому так некстати тов. Варьяш предлагает моему вниманию, прочтет стр. 72 [1]). В противовес т. Варьяшу, желающему сблизить Кантора с Гегелем, сам Кантор отклонил такую же попытку Вундта [2]). В данном случае, тов. Варьяша либо подводит его эрудиция, либо он просто не хочет знать того, что ему неприятно. Цитата, приводимая тов. Варьяшем, ничего не доказывает, ибо как раз здесь Г. Кантор апеллирует от Гегеля к Спинозе (повторяем—плохо им понимаемому).

Тов. Варьяш утверждает, что чудовищно то, что я говорю о бесконечном Кантора. К счастью, тов. Варьяш сам наговорил уже столько чудовищных с точки зрения марксизма вещей, что возможно, что у него все преломляется в обратном виде и может быть то, что ему чудится чудовищным—не будет таковым для диалектика. И наоборот,—то, что ему кажется естественным—окажется чудовищным для диалектика.

---

[1]) Новые идеи в математике, сборник № 6. Учение о множествах Георга Кантора.

[2]) Там же, стр. 88.

Он утверждает, что мы не умеем цитировать, когда говорим о канторовском бесконечном, как «расположенном в некоторой вполне определенной точке». В тексте Кантора якобы совершенно другое. Посмотрим. Вот совершенно точная выписка из Кантора: «Отсюда (из рассмотрения аналитической функции комплексной переменной величины) следует полная закономерность того, чтобы мыслить в этом случае бесконечное, как расположенное в некоторой вполне определенной точке» (стр. 4). Мы уверены, что всякий диалектик, даже всякий человек, просто обладающий здравым смыслом, откажется мыслить такое бесконечное. Возможно, что эта цитата не устраивает тов. Варьяша, но мы действительно не умеем цитировать так, чтобы он получал всякий раз от этого удовольствие. Совершенно очевидно, что такое бесконечное не имеет ничего общего с процессом в области бесконечного, как в том хочет нас уверить тов. Варьяш, так как в области «иерархии бесконечных модусов», в которой оперирует Кантор, порождение одних величин другими вовсе не есть процесс, процесс перехода бесконечного в конечное и обратно, как только можно представлять себе в данном случае диалектическое развитие, а есть метафизическая конструкция напластываемых чисто внешне друг на друга рядов различного типа бесконечностей.

О том, что Больцано был поп и что Кантор верил в бога, я писал потому, что они свои теории, о которых шла речь, не имеющие никакого значения для прогресса положительной науки, строили для обоснования своей веры. Кантор прямо говорил, что он ищет новых путей для обоснования религии. Что Больцано был еретик, ничего не меняет в сущности дела. Ведь никто иной, как Больцано (зачем это забывать или замазывать т. Варьяшу в среде марксистов, утверждая, что неизвестно, был ли он верующий человек) написал специальную книгу «Атаназия или основания бессмертия души». Старая повадка изображать критикующих фидеизм марксистов — варварами. Старая, давно известная, которой никого не запугаешь. Мы вовсе не отказываемся от использования плодов научных достижений тех или иных исследователей только потому, что они были людьми верующими. Аргумент т. Варьяша давно проржавел в ножнах всех адептов идеализма и религии, критиковавших марксизм, и нового в нем нет ровно ни капли. Но мы категорически отказываемся следовать за этими «верующими» там, где они в науку тащат мистический хлам и хотят обосновать его на почве науки. А что это соединение науки с религией способно мистифицировать кое-кого—видно и на примере т. Варьяша. Поэтому, вопреки крикам Варьяша о нашей реакционности, мы будем попрежнему недоверчивы к ученым попам и поповствующим ученым.

Тов. Варьяш утверждает, что мы напрасно отождествили его точку зрения с точкой зрения Больцано на отношение причинности к закону достаточного основания. Он подозревает, что мы читали у Больцано лишь одну страницу. Фрейдистам и бог велел читать в сердцах других! К сожалению, путь его обычный. То место, которое он цитирует через полстраницы после того, которое цитировали мы, в одном и том же § 207 «Wissenschaftslehre», в. II, прочитать, конечно, было не трудно, и, конечно же, дело не в том, что мы не читали его, а в том, что упрекали-то мы т. Варьяша

не по тому поводу, по какому он оправдывается. Старая история! Мы писали, что у него мы имеем то же подчеркивание различия логического основания и причины, которое мы имеем и у чешского теолога и идеалиста Больцано и которое в докладе т. Варьяш возвел чуть ли не в основной кит материалистического мировоззрения. О тождестве вообще воззрений на причинность Больцано и Варьяша мы не говорили. Стоит лишь для этого прочесть то место у нас, на которое ссылается тов. Варьяш. Это наше замечание т. Варьяш обходит молчанием, так как ему нечего на него ответить. Ибо действительно основное различие между материализмом и идеализмом не там, где его хотел видеть т. Варьяш.

Как ни скучно, но приходится, чтобы не оставлять ни единой зацепки нашему «совестливому оппоненту», продолжать, мягко выражаясь, выяснение его заблуждений по отдельным вопросам и замечаниям. Утверждая, что мы рассчитывали на то, что нас никто не будет проверять—тов. Варьяш думает, что этим он себя ставит вне опасности проверки,—однако и в данном случае он ошибается.

Тов. Варьяш не согласен с нашим утверждением, что Лейбниц и Кантор близки друг другу. Он ссылается на отклонение Кантором авторитета Лейбница в одном вопросе. Он не замечает, что одно это есть тем самым уже свидетельство высокого авторитета Лейбница для Кантора. Он видит всегда лишь одну сторону дела, как и подобает всякому метафизику. К счастью, есть свидетельства самого Кантора, что он хочет вернуться к «органическому» об'яснению природы Спинозы и Лейбница (это не отдельный вопрос!) [1]).

Тов. Варьяш находит, что я пишу без знания дела, когда утверждаю, что Кантор относится пренебрежительно к исчислению бесконечно-малых, тогда как Кантор первую свою работу как раз писал в этой области. Как будто бы из того, что т. Варьяш писал свои первые работы на фрейдовские темы следует, что для него только они и существуют и что он не собирается «завершить марксизм»! А вот в зрелых своих работах, создающих школу, Кантор писал, что его собственно-бесконечное относится к бесконечно-большому. «Если вообще существуют, т.-е. доступны определению собственно-бесконечные малые величины, то они наверное не стоят ни в какой непосредственной связи с обычными, становящимися (вот где процесс, т. Варьяш!) бесконечно-малыми величинами» [2]). Или, вопреки своим же советам, т. Варьяш не читает до конца и даже сначала тех самых книжек, которые он рекомендует другим, в области математики, хваленой области его «эрудиции»?!

Таковы примеры 38 грубых ошибок на 35 страницах нашей статьи, найденных у нас т. Варьяшем! Стоило ли трудиться, т. Варьяш, на посмеяние самого себя?!...

С грацией носорога тов. Варьяш выпутывается из затруднений, в которые он попал, об'явив калькулятивную логику Луиса—абсолютной. Видите ли, надо различать абсолютное от абсолютно-верного. Он сравнивает свое понимание абсолютной логики с тем

[1]) Новые идеи в математике, сб. 6, стр. 23.
[2]) Там же, стр. 15.

пониманием абсолютного, которое есть в геометрии. Но ведь и там, во-первых, абсолютной называют такую геометрию, которая включает в себя как частный случай Евклидову. Разве калькулятивная логика включает в себя остальные логики, в том числе и диалектику, как частный случай? Во-вторых, разве действительно в области логики нет марксистского понимания абсолютного? Разве вообще в логике понятие абсолютного не фигурирует с давних пор и притом далеко не в геометрическом смысле этого слова? Или, может быть, и здесь подводит т. Варьяша его эрудиция? Ограничимся пока хотя бы этими вопросами к т. Варьяшу для весьма полезного о них размышления.

Тов. Варьяш находит, что мы «находимся в недоразумении», обвиняя его в идеалистическом релятивизме и файгингерианстве. Возражения он указывает в конце статьи. Мы уже видели цену этим возражениям и видели также, что т. Варьяш не видит выхода за пределы логики отношений. Т.-е. он не видит выхода за пределы идеалистического релятивизма и ни словом более не обмолвливается в опровержение того, что он следовал кое в чем в своей статье «Формальная и диалектическая логика»—Файгингеру. Для доказательства «недоразумения», как очевидно всякому, этого недостаточно.

Что касается изложения выступления т. Варьяша по поводу этики и доклада Фогараши, мы, конечно, не знали обстановки этого выступления, но дали совершенно точный его перевод с венгерского. В нашей критической статье есть длиннейшая выписка, из которой совершенно ясно всякому читателю, что т. Варьяш не только выяснял подлинные воззрения Канта, но и развивал свои, отличные от Канта, метафизические (мораль=абсолютному знанию и т. д.). Там нет простого изложения Канта. Канторовское же влияние было в признании абсолютного этического закона. Острота о смешении Канта с Кантором, очевидно, не помогает т. Варьяшу в данном случае. А что по части этики у т. Варьяша до сих пор неблагополучно—будет видно из дальнейшего.

Наконец, pro domo sua. Хорошо ли мы сделали, цитируя старые статьи т. Варьяша, и что было бы, если бы т. Варьяш цитировал наши статьи до 1918 г. или даже пять лет тому назад? Цитировать все можно, но это было бы несомненно напрасно затраченным трудом, ибо в уездных и даже губернских «Известиях» ничего, кроме популяризации тогдашних лозунгов дня и обсуждения очередных задач местных советов, тов. Варьяш не нашел бы. Мы вовсе не собирались состязаться с тов. Варьяшем ни в революционных заслугах, ни в смысле академического стажа, ни в возрасте, ни в каком бы то ни было другом отношении. Мы это говорили и прошлый раз. Ничего личного мы не касались в критике. Но того, что печатно защищал т. Варьяш, на что он официально ссылался на марксистских философских диспутах и что он продолжал считать верным—этого мы были в праве коснуться, и тот, кто это не понимает, не понимает большевистского отношения к прошлому. И поэтому в теперешних об'яснениях т. Варьяша мы абсолютно не одобряем того места, где он пишет, что его фрейдистская брошюра о военных страстях, направлявшаяся им против войны, в первой части заключала «мало касающиеся дела (??!) психологические рассуждения». Одно из двух. Либо т. Варьяш не был тогда марксистом

и тогда все понятно и не о чем более говорить, либо он был тогда марксистом и писал заведомо неверные положения для того, чтобы несколько верных проскользнуло через цензуру. В таком случае категорически нельзя одобрить его способа действия, как совершенно несовместимого с марксистским отношениям к принципам революционной теории [1]).

Этим исчерпывается одна часть вопроса.

В связи с проблемой математического познания остаются еще два более общих вопроса: зачем мы вообще извлекли на свет божий Кантора и каково вообще отношение математики и диалектики.

Что касается ответа на первый вопрос, то он нашему читателю должен быть ясен. Свой переворот в области диалектической логики т. Варьяш связывал с современной философией математики. Важнейшую роль в ней играли в недавнее время, да играют еще в значительной степени и до сих пор, логисты и Кантор. Отношение логистики к диалектике разбиралось у нас в журнале. Мы взяли на себя хотя бы ряд беглых указаний на действительную роль Кантора, тем более, что Кантор примыкает к Больцано, к которому, с другой стороны, примыкает Гуссерль великий идеалист по мнению т. Варьяша. Как выясняется, мы попали не в бровь, а в глаз и только этим и могут быть об'яснены совершенно неосновательные попытки тов. Варьяша защитить Кантора от заслуженной им критики.

Итак, по всем частным вопросам тов. Варьяш вновь терпит фиаско. Что же касается общего вопроса об отношении диалектики к математике, то здесь т. Варьяш не развив никакой аргументации, наградил нас двумя формулами, которые вполне проясняют его точку зрения, а заодно и ее ошибочность.

Он говорит о «математически-диалектическом» способе познания—как будто бы есть такой!—тем самым явно отождествляя математику и диалектику. В другом месте он пытается спастись от этого отождествления, чувствуя всю его натянутость, «раз'ясняя» по-сенатски, что он «утверждал лишь то, что элементарные диалектические отношения (принципы или аксиомы) [2]) легче найти в математике, так как математика, являясь наиболее абстрактной и простой из наук, пользуется, естественно, наименьшими и наипростейшими из диалектических истин». Эта простота—хуже воровства, так как диалектика никогда не видела в простоте критерий истинности или значения предмета. Только махисты отыскивают мышление о мире по принципу наименьшей затраты сил. Или об этом также безмолствует эрудиция т. Варьяша?

Не будем повторять того, что писали в первый раз об отношении диалектики и математики. Вслед за Лениным, отметившим эту формулу, мы думаем, что Гегель был прав, когда писал, что «философия не может брать своего метода у подчиненной науки—

[1]) Кстати, т. Варьяш пишет, что он не знал о книге т. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» и потому не знал «философского ленинизма». Он видно до сих пор его не знает, так как не знает, что „философский ленинизм" не есть нечто отличное от диалектического материализма Маркса и Энгельса.

[2]) Опять аксиомы! Когда же т. Варьяш поймет, что в диалектике нет аксиом того типа, что в математике?

математики» [1]). Все труды т. Варьяша еще одно лишнее тому доказательство.

Перейдем теперь к возражениям т. Варьяша, связанным с проблемой идеализма и материализма.

III. Злоключения с идеализмом.

Проблему функции и содержания оставим вместе с тов. Варьяшем до вопроса о бессознательном. О «центре тяжести» т. Варьяша речь пойдет также дальше.

Начнем с размышлений т. Варьяша о великих людях. Они занимают у него непропорционально много места в научной антикритике и поминаются дважды. Очевидно, в эти общие рассуждения спасается «эрудиция». У нас речь шла о них в связи с тем, что т. Варьяш зачислил в крупнейшие и последовательнейшие идеалисты Гуссерля. Вопреки тов. Варьяшу, со всеми марксистами мы думаем, что все подлинно крупное в идеализме кончилось с Гегелем. По главному пункту—о Гуссерле—теперь тов. Варьяш словно воды в рот набрал. Речь идет о взятых нами для иллюстрации основной мысли—Лейбнице и Кеплере. О противопоставлении нами нас Марксу смешно и говорить. Мы взяли Кеплера и Лейбница потому, что известно, что Маркс их очень высоко ценил. И по заслугам. Но взяли мы их для того, чтобы показать, что самая высокая оценка какого-либо гения прошлого, даже Марксом, еще не свидетельствует об актуальном значении именно этого мыслителя для настоящего. В этом смысле мы говорили о том, что Кеплер и Лейбниц мертвы для нашего времени, между тем как на актуальное значение Гегеля указывал в наши дни не кто иной, как Ленин. В этом вся соль дела. Тов. Варьяш же апеллирует к тому, чтобы щуйцей Лейбница возвести на пьедестал упадочную философию Гуссерля. Конечно, очень приятно, что по сему поводу тов. Варьяш достигает вершин своего остроумия, с высоты которых, опираясь на «эрудицию», он даже устанавливает, что без дифференциального и интегрального исчислений, открытых Лейбницем, нельзя было бы ездить на трамвае, но все же приходится отказать т. Варьяшу в последовательной защите своей точки зрения.

Еще более беспомощно то, что он говорит по поводу своего пророчества о стабилизации идеализма на несколько столетий после победы пролетарской революции в виду несогласованности естественных наук. Теперь он думает, что по этой причине долго еще будет держаться идеализм в области... этики! Хорош выверт! Да вы же замечательный шутник, т. Варьяш! Какую связь имеет этика с об'единением естественных наук? Да вы когда-нибудь—оставим «эрудицию» в стороне—читали что-либо по поводу этики у марксистов? Разрешите поверить, что то, что написано вами, действительно только шутка. Для вас же это будет лучше. Что же касается этического идеализма, то он имеет такое же отношение к разбираемым нами вопросам, какое вы имеете, скажем, к Гегелю. И даже дальше того. Совсем очаровательно ваше заключение о том, что идеализм будет идеологией людей, не могущих примириться с коммунизмом (почему же?), при чем вы великодушно соглашаетесь, что если это—ошибка, то тем лучше!.. Charmant! Как легко разрешаются научные проблемы! Но ведь это же результат долгих лет изучения и накоп-

[1]) Ленин, Конспект, стр. 8.

ления «огромной массы знаний»! Можно ли сомневаться в том, что тов. Варьяш завершит всю предшествующую работу... Чего это стоит при его знаниях, остроумии и находчивости в философских спорах!

Вся эта глава выдержана тов. Варьяшем в высоко-лирических тонах.

Насчет цитат из Ференци—отложим дело до фрейдизма. Забавнее дело с Лениным и махизмом. О том, что тов. Варьяш в 1918 г., занимаясь философией марксизма, не знал Ленина—сказать нечего. Все знать, конечно, невозможно, хотя указание на книгу Ленина было помещено в «Neue Zeit» от 1 октября 1909 г. в отделе «Библиография социализма» [1]). Но написать при этом, что «у нас (т.-е. на Западе) в то время махизм совсем не был осужден марксистами, и никто не считал его несовместимым с марксизмом»—это чересчур смело. Во-первых, как бы ни расхваливать непримиримость русского марксизма—действительно большую его заслугу, которую т. Варьяшу приходится чувствовать сейчас на самом себе,—был и на Западе материализм Маркса и Энгельса, несовместимость которого с махизмом не так трудно увидеть человеку «непредубежденному». Во-вторых, и на западе велась анти-махистская пропаганда. Кто этого не знает? Большой грех берет себе на душу тов. Варьяш, обеляя О. Бауэра, Ф. Адлера и др. махиствующих философских путаников от марксизма.

Наконец, заключение главы. Я упрекаю тов. Варьяша в том, что он назвал Фейербаха—метафизиком, а ведь метафизиком его называл не кто иной, как Маркс. Бедный т. Варьяш! Разве так защищаются! Разве речь шла об историческом идеализме? Речь шла о том, что вы смешали в одну кучу Фейербаха и Спинозу с Штирнером и Больцано. Или, может быть, и теперь вы находите у них общее в мировоззрении?

IV. Фрейдизм и проблема мышления.

Очередной фокус т. Варьяша с превращением меня в фрейдиста (!) нуждается, пожалуй, в наиболее резкой аттестации. Это совершенно очевидное продолжение все того же метода отвечать на критику—нападением на критикующего по тому же поводу, по которому он критикует. Мы доказывали, что у т. Варьяша есть элементы фрейдизма. В антикритике он в свою очередь, надеясь смешать все карты,—ему терять все равно уже нечего!—доказывает, что я—фрейдист. Если подобные приемы называются антикритикой, то спрашивается, что же называется другим, более крепким русским словом?

Мы критиковали Фрейда. Доказывали, что фрейдовская концепция в основном, в учении о бессознательном, идеалистическая. Мы верим охотно, что тов. Варьяш хорошо, может быть, слишком хорошо знает Фрейда, но дело разве в уверениях друг друга насчет своих знаний? Доказывая, что учение Фрейда о бессознательном несовместимо с материализмом, мы, между прочим, по поводу наших фрейдистов, отрицающих основное значение в бессознательном за libido, половым чувством, писали: «Не спасает дело и если представлять бессознательное не так, как оно предста-

[1]) III Ленинский сборник, 444.

влено у Фрейда, в виде носителя, главным образом, сексуального начала, libido, а если превратить его в некую мистическую, изначальную и «затормаживаемую» в человеке энергию, бурно-прорывающуюся в революционном порыве. Это—эмоционально-психологическое, а не материалистическое понимание истории. К тому же такое понимание бессознательного не ново и для фрейдистской литературы, где его развивают наиболее реакционные ученики Фрейда, вроде Юнга и Пфистера, соединяющего психоанализ с богословием. И если уж искать в чем-либо положительное у Фрейда, то его можно найти единственно только в том, что он обратил в анализе нервозов больше внимания, чем это делалось до него, на их сексуальную сторону, чем и вызвал против себя всеобщее гонение со стороны как известно чрезвычайно щепетильной буржуазной науки. И именно эта, и только эта, сторона фрейдизма, совпадает с современными выводами физиологии о значительной роли желез внутренней секреции во всей деятельности нашего организма и т. д. Но и эта правильная мысль, благодаря неверным общим предпосылкам, суб'ективизму и психологизму метода, превратилась в фрейдизме в нечто всеоб'емлющее и в конечном счете ложное, поскольку сексуальный момент заполонил все и вся и вместо того, чтобы быть подчиненным моментом по отношению к социальному, стал претендовать на роль господствующего. Наши же отечественные горе-фрейдисты восприняли как раз дурное во Фрейде, его попытку истолковывать психологически социальные явления, его понятие бессознательного. Естественно, что, кроме беспросветной путаницы, у них в головах ничего более получиться не могло» (стр. 80—81).

Из этой цитаты тов. Варьяш вывел, что мы находим у Фрейда материализм (где это сказано?) и «признаем сексуальную теорию Фрейда». Смелость поистине поразительная! И по этому поводу целый водопад слов с соответствующей позой. Да полно, уж не думает ли тов. Варьяш, что он на маскараде, где трудно отличить кажимость от действительности? Мы отметили во всем учении Фрейда правильную мысль, что в согласии с выводами современной физиологии (разве т. Варьяш их отрицает?) следует придавать большую роль, чем это делалось до Фрейда, в анализе неврозов (у нас здесь была очевидная описка: нервозов) сексуальному моменту, но что у него эта правильная мысль, благодаря неверным общим предпосылкам, суб'ективизму и психологизму метода (т.-е. основного), превратилась во все заполняющую схему и привела к неверным результатам. И мы отметили, что именно за то, что было правильного у Фрейда, его начали гнать, как известно, страшно щепетильные, «приличные» буржуа и именно здесь началась ревизия под влиянием буржуазного общественного мнения у учеников Фрейда типа Юнга и Пфистера. Отметить это было, с моей точки зрения, обязанностью марксиста. Отметить вместе с тем лицемерие буржуазии, буржуазного общества и буржуазной науки, одной рукой затыкающих уши от фрейдизма, другой—смакующих доведенные до абсурда его сексуальные откровения [1]). А Варьяш пишет после этого, что мы

[1]) Любопытно было бы посмотреть на лица наших коммунистов горе-фрейдистов, когда они читали в воспоминаниях К. Цеткин, что Ленин решительно отвергал „модное" поветрие на фрейдизм. Человек, которого во всяком случае не обвинишь в невежестве, реакционности и непонимании марксизма.

ничего не поняли во всем деле, что мы «принимаем сексуальную теорию Фрейда» и расходимся в этом вопросе с какими-то марксистами. С т. Варьяшем расходимся наверное.

Как очевидно, никакой сексуальной теории Фрейда мы не принимаем и не о том совсем шла речь. С своей же стороны мы дали критику фрейдовского бессознательного, в котором т. Варьяш и по днесь продолжает путаться.

Перейдем к тому, что на эту тему говорит он в своей антикритике.

Очень хорошо, если теперь т. Варьяш уже не находит более принципиального сходства между воззрениями Маркса и Фрейда на бессознательное, но мы должны все же разочаровать его насчет того, что он писал прошлый раз. «Читатель убедится в этом», думаю, что эта индивидуалистическая психологическая школа не выдвигает принципиально новых взглядов на бессознательность, в сравнении с тем, что было уже выдвинуто Марксом и Энгельсом». Если для т. Варьяша различие индивидуально-психологической и социологической точек зрения не относится к области принципов, то плохи эти принципы. Они явно колеблются в зависимости от потребностей полемики.

Дальнейшие рассуждения об условиях освобождения пролетариата являются лишь неважным изложением азов и явно относятся к излюбленным эрудицией тов. Варьяша общим рассуждениям, отвлекающим от сути дела. Замечателен лишь вывод из них: бессознательным называется то, что нельзя знать вещей несуществующих! И неужели ради столь банальной истины, достойного украшения всей эрудиции т. Варьяша, следовало огород городить? И разве хоть какое-либо отношение существует между притягиваемым т. Варьяшем сюда же марксовским положением: бытие определяет сознание (куда точнее у Маркса, чем у Варьяша: действие предшествует сознанию) и всей фрейдовской системой?

Нет, во всем этом тов. Варьяш явно лукавит. Никто бы не упрекнул его, если бы он просто отказался от нелепостей, которые наговорил в докладе. Это было бы достойно марксиста. Но вместо этого он торопится замести следы того, о чем шел действительный спор по поводу его доклада, замести банальными истинами, преподносимыми с величественнейшим видом.

А спор по поводу фрейдовского бессознательного совсем не сводился к тому, что оно—у Фрейда индивидуальное, а у Маркса—социальное. Спор шел о том, существует ли вообще в нас особый мир, особая инстанция бессознательного. В главе своего доклада «Материализм и идеализм», в самом заключении его, где никак нельзя отговориться простым изложением воззрений современных «великих идеалистов», т. Варьяш писал (и мы в свое время цитировали это): «Сознание строится на ощущениях, восприятиях, воспоминаниях, понятиях и т. д. Ничего подобного нельзя предполагать в бессознательном. Эта инстанция как будто является связующим звеном между физиологическим и психологическим, как функцией материи» (доклад т. Варьяша, стр. 307 [1]). Курсив т. Варьяша). Существование

[1]) Сам т. Варьяш пишет теперь, что у него изложению фрейдизма посвящены стр. 289—300.

этой инстанции т. Варьяш был склонен даже представить как аргумент в защиту материализма. Это мы критиковали и доказывали, что признание существования какого бы то ни было особого мира бессознательного неприемлемо для материалиста. Сейчас по этому основному вопросу т. Варьяш нем, как рыба. Повторяем, не упреков, а одобрения заслуживает отказ от неверной точки зрения. Но у т. Варьяша не хватает ни мужества в нем сознаться, ни, скажем мягко, достаточной прямоты не затуманивать этот отказ в глазах других переходом в контр-наступление на критика. Впрочем—каждому свое!

То же самое относится и к цитатам из Ференци. Прежде всего в тексте тов. Варьяша в докладе нет указаний, что излагаемые им на стр. 295 воззрения принадлежат Ференци. Установить это читателю совсем не трудно. Из фрейдистов на этой странице упоминается лишь А. Адлер, совсем в другой связи. Далее—неверно, что вся глава «Вопрос о сущности идеологии» посвящена изложению фрейдистов. Изложение фрейдистов в ней постоянно перемежается с изложением воззрений Маркса, Энгельса, Плеханова, современных теорий т. Варьяша, при том весьма сомнительного качества, кроме, например, его учения о роли сознания у революционеров, ныне замалчиваемого т. Варьяшем (см. нашу статью, стр. 84) и т. д.

В его изложении учения о интроекции и проекции нет ни одних кавычек. До того доказывалось, что целый ряд более чем сомнительных «законов» душевной жизни фрейдистов вполне согласуем с Энгельсом, за исключением отличия лишь «технических выражений» (стр. 295). Отдели после этого Варьяша от фрейдистов! Пора бы тов. Варьяшу, при его эрудиции, знать весьма простую вещь: в изложении, с которым несогласен, необходимо: 1) указать излагаемого автора, 2) точно цитировать то, что именно ему принадлежит, и 3) оговаривать свое с ним расхождение, если рядом же, по другому поводу, выражаешь свое принципиальное согласие с его теориями. Без соблюдения этих простых законов литературной работы т. Варьяш, правда, имеет великое преимущество по желанию соглашаться с излагаемыми им теориями или отказываться от них, но зато надолго теряет преимущество считаться серьезным исследователем-марксистом.

Наконец, зачем играть в прятки? Разве т. Варьяшу, в конце концов, неизвестно, что он не только в главе, теперь им об'являемой изложением фрейдистов, пользовался указаниями Ференци, но и в применении к Марксу, когда на стр. 256 писал: «Вторым великим открытием его (Маркса) было то, что истина может возникнуть только в процессе об'ективации, т.-е. что только эта функция может формально гарантировать истину. Не мы должны конструировать внешний мир по аналогии с нашими собственными психическими функциями, проективно, т.-е. наделяя его нашей собственной мыслительной деятельностью, но наоборот... Этим Маркс разоблачил тайну идеализма. Идеализм оперирует проекцией, материализм же—об'ективацией». (Курсив, как и всюда, наш. *Н. К.*, стр. 256). Полно, т. Варьяш! Маркс ли так ставил различие материализма от идеализма? И зачем стыдливо отворачиваться от Ференци, когда Маркса обрабатываешь под его проекцию? На что вы надеетесь, замалчивая Ференци и отрекаясь теперь от

него? Неужели на то, что не найдется людей, которые сопоставят то, что вы пишете на расстоянии 39 стр. (256 стр. и стр. 295)?

Воистину в вопросе о фрейдизме в результатах этих недомолвок и отречений—гора родила мышь!

Нет, все же видно не даром, даже для т. Варьяша, писали мы.

Перейдем к проблеме психических функций.

Прежде всего о том, где у т. Варьяша проявляется оторванность функций от содержания психики? Для начала дадим одну справку для философской эрудиции т. Варьяша. Оторванность функции от содержания заключается вовсе не в том, что есть функции без содержания. Как должно быть известно т. Варьяшу, трансцедентальные функции у Канта также не действуют вне содержания и всегда связаны с содержанием, проявляются только в обработке этого содержания. Поэтому цитата, приводимая т. Варьяшем в свою защиту, рассчитана лишь на незнающих самых элементарных истин из истории философии. Разрыв наступает там, где эти функции представляются как какие-либо константы, независимые от содержания, и не изменяющиеся вместе с ним. Что же мы читаем в докладе тов. Варьяша:

1) На стр. 255: мыслительные функции «являются константами, факторами, которые за определенную фазу истории не изменились и, следовательно, могут в качестве постоянного условия об'яснять только мыслительные действия по их психологической структуре, но не исторически выступавшие единичные содержания отдельных структур».

Против этого не возражал бы и Кант!

2) Стр. 297: «психические функции такие же константы (постоянные), как и логические законы».

3) Стр. 289: «существуют психология содержания и психология функций». Психология содержания по т. Варьяшу уступит со временем «место историческому материализму». Остается, очевидно, не уступающая этого места особая психология функций.

4) Стр. 298. О психологическом аппарате нашем, о котором так печется т. Варьяш: «Этот аппарат, вообще говоря, работает сегодня, в общем, так же, как и тысячу лет назад, и деятельность его не влияет на изменение результата, получающегося в конце этого трансформационного процесса. Этот результат со временем значительно изменяется, но, конечно, не потому, что аппарат стал работать иначе, а потому, что существенно изменилось общественное значение прорабатываемого им материала». Психофизические функции не возникают в определенные периоды времени, а «чередуются по своему влиянию».

5) Наконец, в примечании на стр. 303 тов. Варьяш пишет: «Могут, наконец, быть и такие антропологические ограничения рамок зрения, которые вообще принципиально делают невозможным открытие некоторых истин». И через несколько строк, словно спохватываясь, т. Варьяш добавляет: «Но, по всей вероятности (?!), таких истин, принципиально недоступных математическому (?) анализу—вообще не существует». Разве это не уступка Канту, а вместе с ним чистейшей поповщине? А ведь все марксисты до сих пор думали, что гегелевская критика кантовского понятия границы окончательно уничтожила уже самую возможность такой постановки вопроса. Нет, положительно Гегель мстит за себя!

Перейдем к последнему пункту—к вопросу о роли психического аппарата в цепи от базиса к надстройкам [1]).

Что у нас было написано на эту тему? Приведем полностью соответствующее место на стр. 83—84: «Нам остается еще отметить, что, высасывая из пальца проблемы психических функций, понимаемых в кантианско-фрейдистско-адлеровском стиле, сколь ни ужасно подобное сочетание, и приведя в подтверждение всему этому вареву Энгельса с его замечанием о необходимости разрабатывать формальную сторону возникновения идеологических представлений на основе данных производственных отношений, т. Варьяш лишь еще более увеличивает размах путаницы. Ибо у Энгельса формальная сторона проблемы есть не кантианская проблема того, как наполняются содержанием наши психические формы, не проблема переработки их «в психо-физическом котле», а проблема того, каким образом в данном уже материале пробивает себе путь и создается новый материал, соответствующий изменившимся экономическим условиям жизни общества. Чтобы понять это, стоит дочитать лишь до конца цитируемое т. Варьяшем письмо Мерингу от 14 июля 1893 г. Тов. Варьяш не понимает, что здесь путь исследователя лежит не через изучение роли психического аппарата, являющегося постоянным, по т. Варьяшу, и лишь чередующим свои функции,—это кантианская точка зрения, а через изучение классовой психологии, вытекающей из определенных классовых интересов, ее посредствующей роли в сложном механизме передачи от базиса к высшим идеологическим надстройкам».

Против чего мы возражали? Против навязываемой т. Варьяшем Энгельсу проблемы изучения психических функций, являющихся, по т. Варьяшу, константами и не изменяющихся на протяжении тысячелетий. Что именно об этом идет речь видно и еще из одного места у т. Варьяша. Он пишет, что то, что Энгельс называет формальным исследованием, в современной психологии (в ней т. Варьяш видит по преимуществу лишь гуссерлеанцев и фрейдистов) называется обычно исследованием психических функций» (стр. 281). Ясно? А исследованием психических функций по т. Варьяшу занимается не психология содержания и исторический материализм, значит и не социальная психология, изучающая классовую психологию, а особая психология функций. Кому же т. Варьяш хочет голову затуманить?

Никакой подобной кантианского рода проблемы Энгельс никогда себе не ставил. Ставил же он себе другую проблему, которую т. Варьяш явно оказался не в состоянии понять, так как не понимает самых основ исторического и диалектического материализма, несмотря на всю свою эрудицию. Тов. Варьяш хочет вымучить из Энгельса свое разграничение, цитируя слова

[1]) Речь идет именно о психическом аппарате. На стр. 323—4, на которую ссылается т. Варьяш, помещена речь Богданова по поводу его доклада. Там фиксировано и несколько возгласов с мест т. Варьяша. Не ахти какая характеристика! Там т. Варьяш говорит о связи психич. процессов с физиологическими в нейронах мозга, но кто не признает этой связи? и разве о ней речь?

Энгельса о совершении всякого человеческого действия при посредстве мышления. Но поверьте же, тов. Варьяш, что отрицать в Энгельсе кантианца вовсе еще не значит отрекаться от него. Признание того, что человек есть животное мыслящее и поэтому во всех его действиях участвует мышление бесспорно. Также как верна и первая часть цитаты из Энгельса, что последнее основание нашей деятельности дают не идеи, а материальная действительность. Разве т. Варьяш не знает, что в этом суть положения «бытие определяет сознание»? Но из всех слов Энгельса вовсе не следует, что есть особая задача анализа некиих психических функций—констант, которую выдвигает т. Варьяш. И никакие крики современных гусей уж не спасут этот кантианский Капитолий.

Наконец, о Марксе.

Проблема отношения идеологий и форм сознания, возникающих на основе определенной общественной и классовой психологии, ничего общего не имеет с поставленной Варьяшем проблемой психических функций. Речь здесь как раз идет не о константах, не меняющихся за тысячу лет, а о формах мышления, т.-е. о категориях, которыми оперирует мышление определенных классов в определенные эпохи и которые постоянно изменяются вместе с изменением их содержания, их продуктов. Об этом говорит Маркс, но разве т. Варьяш хоть на ноту понял, в чем тут дело? Не понял, потому что он не понимает ни ист. мат., в свое время попытавшись изложить его в математической формуле, ни диалектики, для которой форма и содержание неразрывно и постоянно переходят друг в друга.

Чтобы покончить с фрейдизмом, еще два слова об А. Адлере. Т. Варьяш жалуется, что мы обнаружили его заимствования у А. Адлера. Он пытается утверждать, что его не понял цитированный нами официальный обозреватель фрейдистского движения в Венгрии. Мы одинаково не знаем, в каких газетах сотрудничали и этот обозреватель и тов. Варьяш, и полагались более не на изложение обозревателя, а на приводимые им цитаты. Т. Варьяш признает, что он выдвигал весьма сомнительной ценности теорию фрустраций. Пусть он ответит, положа руку на сердце: было здесь влияние А. Адлера или нет? И пусть скажет затем, писал ли он в одной из своих фрейдистских статей, что «Адлер был первым, кто сумел об'яснить социальные феномены повелевания и повиновения»? Да или нет? Но об'яснял ли их А. Адлер «волей к власти»? Да или нет? И не писал ли уже теперь тов. Варьяш, в унисон тому, что писал тогда, что фрейдисты пролили новый свет на «первые образования авторитета власти и постановлений» (доклад тов. Варьяша, стр. 291). Если да—то не за чем т. Варьяшу разыгрывать оскорбленную невинность и разве ему до сих пор еще не ясно, что «воля к власти», как принцип об'яснения общественнных явлений, ничего общего не имеет с марксизмом?

Да будет нам на этом разрешено кончить наши странствия по бесплодной равнине антикритики т. Варьяша и поставить в заключение еще один вопрос, действительно большой важности.

IV. О значении Гегеля для марксизма.

Последнее обвинение, которым так широко бросается последнее время тов. Варьяш и которое в нашей с ним полемике составляет единственный плод его собственного творчества—есть обвинение в гегельянстве. «Центр его тяжести», как известно, далеко не лежит на Гегеле, все же несогласные с тов. Варьяшем—гегельянцы и потому—идеалисты.

Нам кажется, что эту перчатку должно поднять. Да! Вопреки всем новоявленным «завершителям», третирующим ныне Гегеля, как мертвую собаку, а диалектику—как схоластику, вопреки всем этим достойным потомкам доблестного Моисея Мендельсона и крикливых немецких эпигонов современной Марксу Германии, вопреки провинциальному тупоумию и столичному узколобию хулителей Гегеля, мы—«гегельянцы»! Все великое в новейшей истории было так или иначе связано с именем Гегеля. Без Гегелевской диалектики не было бы марксовского «Капитала», давшего ключ к познанию и ниспровержению капиталистического рабства. Маркс открыто называл себя учеником Гегеля и писал, что «Гегель первый дал исчерпывающую и сознательную картину общих форм движения», хотя и под мистической оболочкой. Ленин, живое воплощение марксизма эпохи пролетарских революций и перехода от капитализма к социализму, называл учение Гегеля — «поставленным на голову материализмом» и видел очередную задачу пролетарских революционеров в изучении гегелевской диалектики. Как отмечает А. Деборин, почти все крупные революционные мыслителя XIX в. находились под влиянием Гегеля. Достаточно назвать имена Лассаля, Прудона, Бакунина, Герцена, и Чернышевского. И это потому, что даже в искаженном идеалистическом виде диалектика заставляла их видеть во всем существующем—преходящее, во всем окаменевшем—ростки нового, в теории—алгебру революции. Какой же силы она должна была достичь, когда Марксом была окончательно поставлена на ноги! Гегель был первым сознательно поставившим проблему диалектическо-революционного развития и первым, давшим хотя бы и под мистическим покрывалом, но исчерпывающую для состояния наук своего времени, картину общих форм движения материи. Уже в предисловии к «Феноменологии Духа» чувствуется дыхание новой эпохи и нового революционного мировоззрения: «Не трудно видеть, что наше время есть время рождения и перехода к новому периоду. Дух порвал с существующим миром его наличного бытия и представления и готов отбросить его в прошлое и отдаться работе над своим преобразованием. Правда, он не бывает в покое, а находится в непрерывно прогрессирующем движении. Но подобно тому, как у ребенка после продолжительного спокойного питания первое дыхание нарушает постепенность только количественного роста, вместе с чем совершается качественный прыжок, и дитя рождается, так и формирующийся дух медленно и спокойно зреет для новой формы, отбрасывая одну частицу здания своего прежнего мира за другой; на их колебание указывают только единичные симптомы: легкомыслие, как и скука, которые распространяются в жизни, неопределенное предчувствие неведомого суть признаки рождения чего-то иного. Эта постепенная работа, которая не изменяет физиономии целого, на-

рушается началом, которое, как молния, сразу устанавливает образ нового мира». Этим гениальным наброском картины революционного развития Гегель, в личной жизни и отчасти в своей системе филистер и апологет прусской монархии, целиком обязан своему методу. И после этого современные рыцари систем еще упрекают нас в преувеличении роли метода! Энгельс писал, что пролетариат является наследником немецкой идеалистической философии Канта, Фихте и Гегеля. Тем оружием, которое выковала эта философия и передала Марксу — сумма, итог, вывод всей предшествующей двух-тысячелетней истории философского развития человечества—была диалектика, диалектика впервые сознательно развитая Гегелем. Здесь пролегает большая дорога истории. И здесь же, поэтому, пролегает и большая дорога марксизма: от Маркса к Ленину. Точно так же, как в революционной борьбе III Интернационал является восстановителем революционных традиций «Манифеста Коммунистической партии и I Интернационала, точно так же и в философии ленинизм есть прежде всего восстановление марксовского отношения к диалектике, а вместе с ней и к Гегелю. И точно так же, как в политике отличительной чертой эпигонов II Интернационала было соглашательство—так и в философии ему соответствовали попытки «соединения» марксизма с Махом, Кантом, Фихте, Гуссерлем и tutti quanti. Бесспорно, что, на почве реакции к социал-демократическому забвению Гегеля и диалектики, мы и здесь имели нечто в роде своеобразной «детской болезни левизны». Лукач, Фогараши и др., в сменившем отрицание Гегеля—увлечении им, ухватились было как раз не за то, что было в Гегеле материалистического и конгениального Марксу, а за то, что было в нем от прусского мещанина начала XIX века. Именно со стороны русских марксистов—«гегельянцев» и был дан отпор детской болезни лукачизма (статья тов. Деборина против Лукача). Нам лично приходится писать против излишнего увлечения Гегелем в трактовке отдельных вопросов марксистской философии[1]).

Реакционно воскрешать гегелевский идеализм. Опасно ошибаться в этом направлении и в отдельных вопросах (хотя, как отмечал уже и Ленин, в только что начавшемся изучении столь трудного вопроса обойтись без ошибок вряд ли возможно). Но полным непониманием подлинного марксизма и возвратом к худшим традициям социал-демократической философии было бы вопить о том, что диалектика—это схоластика, а марксисты, изучающие по завету Ленина гегелевскую логику—этот «поставленный на голову «материализм»—«гегельянцы», идеалисты, далекие от задач «современной» науки и философии.

Ох, уж эти любители сверх-современного, для которых, по любимой Плехановской поговорке

Что им книжка последняя скажет,
То в их голову сверху и ляжет.

Да, тов. Варьяш! Для марксиста Гегель современнее Гуссерля, как и Маркс современнее Фрейда. Для марксиста

[1]) Статья „О действительном и недействительном изучении Гегеля" в „Под Знаменем Марксизма" за 1924 г., № 4—5.

современнее всего то, в чем он находит орудие для изменения современности.

В этом смысле мы—«гегельянцы». В гегелевской логике мы ищем метод, посредством которого можно было бы не просто описывать мертвый предмет, не играть понятиями импликации, силлогистики и тому подобными, что действительно является настоящей схоластикой, а посредством которого можно было бы вскрывать законы развития предмета, определять те многочисленные связи, которые ставят его в диалектическое взаимодействие со всеми окружающими, находить те противоречия, которые порождают, движут и уничтожают предмет. Здесь мы надеемся научиться рассматривать явления в их возникновении и отыскивать силы, ведущие их к гибели, ибо поистине все существующее достойно гибели, чтобы уступить место новому, высшему. Этому учит логика Гегеля. Этого искали в ней все великие революционеры. И этого не найти ни в «абсолютной» калькулятивной логике, ни в импликациях т. Варьяша, ни у самого «великого» Гуссерля. В этом смысле мы с гордостью можем сказать: да, мы—«гегельянцы»! И не потому, чтобы наш «центр тяжести» лежал на Гегеле, а не на «Марксе, Энгельсе и т. Ленине», а потому, что «Центр тяжести» всего революционного марксизма от Маркса до Ленина лежит на диалектическом понимании мира. Но говорить об этом т. Варьяшу разве не значит пробивать медную стену?

Однако, сколько бы он ни пытался перевалить на нас по заслугам пред'явленные ему упреки в идеализме и эклектике—старая погудка!—ему никуда не уйти от них. Еще раз: тому, кто пренебрегает гегелевской диалектикой—она мстит за себя! Для него все попрежнему будут маячить те проблемы, которых нет для диалектика, и вовсе не будет тех, которые будут составлять в анализе развития предмета жизненный нерв для марксиста. Распрощаемся же на этом с тов. Варьяшем. Пусть он не будет в особой претензии на нас за то, что мы применяли иногда по отношению к нему довольно сильные выражения. И хотя и говорят, что долг платежем красен, но мы руководились не этой целью. Надо отучать людей, не знающих философии марксизма, писать о ней прежде, чем они изучили ее. Иначе получается только путаница, размах которой тем более увеличивается, чем более ожесточенно человек пытается отстоять свое «бело» там, где на самом деле черно.

Пора понять, что марксизм—трудная вещь, к которой надо относиться не менее, а более серьезно, чем к изучению какого-либо Кантора или Гуссерля, и что поэтому обязанность всякого добросовестно относящегося к своему мировоззрению человека засесть прежде всего за его классиков. В области диалектики к таковым бесспорно принадлежит и Гегель.

Вместе с тем, мы надеемся, что читатель не посетует на нас за чересчур длинный ответ,—но такова уж неблагодарная роль критика, о которой мы говорили в начале. Тот, кого ты критикуешь, считает себя в праве обходить молчанием целый ряд твоих замечаний (математические познания т. Варьяша несомненно помогут ему сосчитать число их)—на твою же долю

остается лишь то утешение, что лекарство, очевидно, подействовало и больной просто не хочет вспоминать о проглоченной им горькой пилюле.

Зато критик обязан тщательно процеживать из целых каскадов льющейся на него воды—скудные клочки мыслей и бережно разлагать на весьма мало благоухающие составные элементы — чтобы не повернуться обвинению в неряшливости. Этот труд в отношении ответа т. Варьяша мы посильно и выполнили.

Пусть же судит читатель—легкое ли дело критика, да притом еще философская?!

БИБЛИОГРАФИЯ.

Литература о Сен-Симоне на русском языке.

(К столетию со дня смерти 1825—19/V—1925).

Исполнившаяся 19 мая с. г. 100-летняя годовщина смерти Сен-Симона, одного из выдающихся представителей своеобразной социальной философии, сыгравшей немалую роль в деле выработки некоторых элементов научного социализма, а также все возрастающий интерес к более углубленному изучению литературного наследия великого утописта ставит на очередь дня задачу библиографизации русской литературы о Сен-Симоне. Один из таких опытов в свое время был сделан В. Святловским в его работе: «Каталог утопий». ГИЗ. 1923 г., в которой о Сен-Симоне приведено только 14 отдельных изданий. Правда, автор названной работы оговаривается тем, что он свою задачу сознательно ограничивает только указанием «наиболее существенной литературы» (см. стр. 6 назв. работы), но эта оговорка все же не может об'яснить, почему в данном им перечне отсутствуют такие, весьма существенные источники, как произведения Плеханова, Маркса, Энгельса и некоторых других. Если указатель В. Святловского не отличался особенной полнотой ко времени своего появления, то это обстоятельство еще больше дает себя чувствовать в настоящее время, когда русская литература о Сен-Симоне обогатилась рядом новых изданий как произведений самого Сен-Симона, так и о нем.

Настоящий указатель и ставит себе задачей восполнить пробел в области библиографизации русской литературы о Сен-Симоне.

1. Аксельрод-Ортодокс, Л. Критика основ буржуазного обществоведения и исторический материализм. Изд. «Основа». 1925. Стр. 31—34. (Вперв. в «Красной Нови». 1923 г.).

2. Бернацкий, М. Очерки по истории социализма. Очерк III. «Современный мир». 1908 г. № 8. См. стр. 67—84.

3. Боровой, А. Сен-Симон и Фурье. Книга для чтения по истории «Нового Времени». Т. IV. 1913 г. Стр. 280—316.

4. Барт, П. Философия истории, как социология. Пер. с нем. Спб. Изд. Л. Пантелеева. 1900 г. См. стр. 18—29, 37, 38, 42, 55, 57—62, 80, 186, 261, 291, 323—330, 333, 397.

5. Бунге, Н. Х. Очерки политико-экономической литературы. Спб. 1895. См. Сен-Симон. Стр. 71—79.

6. В—ий, М. Сен-Симон, Энциклопедический словарь Брокгауза. Т. 29. Спб. 1900. Стр. 564—571.

7. Виппер, Р. Либерализм и первая историческая формула борьбы классов. «Мир божий». 1901 г. № 3.

Тоже перепеч. в его сборнике: «Две интеллигенции». М. 1912 г. Стр. 62—109.

8. Виппер, Р. Социальная философия Сен-Симона в журн. «Мир божий» за 1901 г. кн. 12. Критика книги Иванова «Сен-Симон и сен-симонизм».

9. Виппер, Р. Органические теории, см. его «Обществен. учения и историч. теории XVIII—XIX в.» 2-е изд. М. 1908 г. См. стр. 135—157.

10. Волгин, В. Сен-Симон и сенсимонизм. Изд. «Красная Новь». М. 1924 г., стр. 112. Тоже 2-е изд. 1925, стр. 104.

11. Волгин, В. Предисловие к книге: «Изложение учения Сен-Симона». ГИЗ. 1923 г., см. стр. V—XXIII.

12. Волгин, В. Очерк по истории социализма. ГИЗ. 1923 г., см. «Сен-симонизм», стр. 133—150.

13. Волгин, В. Предисловие к книге: «Сен-Симон». Избранные сочинения. ГИЗ. 1923. Стр. Ш—XXXIII.

14. Вышинский, А. Очерки по истории коммунизма. «Красная Новь». 1924 г., см. гл. «Сен-Симон и сен-симонисты», стр. 200—230. Тоже 2-е изд. 1925 г.

15. Герцен, А. И. Об отношении Герцена к Сен-Симону, см. Алфавитный Указатель имен к полн. собр. соч. Герцена, т. XXII. Гиз. 1925. Стр. 518.

16. Г. Д. Социальные реформаторы. Штутгарт. 1880 г. Стр. 51—60.

17. Голубков. Утопический и научный социализм. М. 1906 г. Тоже. Изд. «Буревестник». Краснодар. 1923 г., стр. 21—29.

18. Горев, Б. От Т. Мора до Ленина. Изд. 5-е. Френкеля. 1924. Стр. 21—24.

19. Горев, Б. Рецензия на книгу «Изложение учения Сен-Симона» (1828—1829). Из библиотеки «Предшественников современного социализма». «Под Знаменем Марксизма». 1923 г. № 2—3.

20. Горев, В. История социализма. Том I. Социализм на Западе. «Новая Москва». 2-е изд. М. 1924 г., см. стр. 108—115.

21. Гольдин, Н. С. Социализм и коммунизм во Франции. Изд. «Путь Просвещения». X. 1924 г., см. гл. V. Сен-Симон и Фурье, стр. 159—286. (Хрестоматия).

22. Грагам, В. Социализм новый и старый. Пер. с англ. СПБ. 1906 г.

23. Гуго и Штегман. Справочная книга социалиста. Пер. под ред. В. Богучарского. Изд. «Голос». 1906, т. II.

24. Диль, К. Социализм, коммунизм и анархизм. СПБ. 1908 г. 240 стр.
Тоже. Изд. «Пролетарий». 1923. Харьков.

25. Жид, Ш. История экономических учений, пер. с франц. В. Сережникова. М. Изд. «Труд». 1914 г., стр. 119—135.

26. Иванов, И. Один из пророков нашего времени. (v. Weil: «Saint-Simon et son oeuvre» S. Charletty: «Histoire du Saint-simonisme»). «Мир Божий». 1897 г. № 5. Стр. 71—86.

27. Иванов, И. Сен-Симон и начатки французского позитивизма. «Русская Мысль» 1900 г. № 6, 7, 8, 10, 11, 12.

28. Иванов, И. Сен-Симон и сен-симонизм (диссертация). Москва. 1901. Стр. 735.

29. Инсаров, Х. (Х. Г. Раковский). Сен-Симон и сен-симонизм. В журн. «Научное Обозрение» за 1903 г. № 1. Стр. 148—166.

30. Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Изд. Н. С. Кириллова. 1845—1846 г.г. См. Слово «Органическая Эпоха».

31. Краткий очерк истории социализма и социальных движений на Западе. ГИЗ. М. 1918 г. См. стр. 32—36. Тоже. Изд. «Буревестник». 1924 г. Стр. 42—45.

32. Кареев, Н. История Западной Европы в новое время. 1894. Т. IV. Стр. 632—647.

33. Ковалевский, М. М. Социология. Т. I. Спб. 1910. См. стр. 141—155.

34. Коркунов, Н. История философии права. Спб. 1908. Изд. 5-е. Стр. 404—406.

35. Кунов, Г. Философия истории Сен-Симона. См. «История философии в марксистском освещении». Ч. II. Изд. «Мир». 1924 г. Стр. 264—283.

36. Из воспоминаний Е. А. Ламанского. «Русская Старина». 1915 г. № 1. См. стр. 75.

37. Лориа, А. Социология. Пер. под ред. Ю Филиппова. Спб. 1903. Стр. 18—21. (Впер. в «Мире божием». 1902. XI).

38. Луи, Поль. Утопический и научный социализм во Франции. X. 1923 г. Стр. 20—34. Изд. Главполитпросвет УССР. Тоже. Изд. «Красная Новь». М. 1923 г. Стр. 56. Тоже. Французские мыслители и деятели XIX в. Изд. «Знание». Тоже. Изд. «Молот». Спб. 1905 г.

39. Луи, Поль. История социализма во Франции. Кн-во «Молот». Тип. «Энергия». Спб. 1906 г. Стр. 61—75. Тоже. Изд. Бр. А. и И. Гранат.

40. Лукин, Н. (Антонов). Новейшая история Западной Европы. Вып. I. Изд. «Красная Новь». 1923 г. Стр. 70. Сен-Симон и сен-симонисты. Стр. 389—394.

41. Луначарский, А. Религия и социализм. Изд. «Шиповник». Т. II. Стр. 315—320.

42. Лященко, П. История экономических учений. Изд. «Прибой». 1924 г. Л. См. стр. 177—184.

43. Меринг, Ф. Из общественных учений XIX в. Спб. Изд. «Молот». 1905 г. Стр. 31.

44. Маркс, К. Капитал. Том III. Ч. 2-я. Изд. Института Маркса и Энгельса. ГИЗ. 1923 г. См. стр. 145—146.

45. Маркс и Энгельс. Коммунистический манифест. 3-е изд. под ред. и примеч. Д. Рязанова. ГИЗ. 1923 г. Стр. 98.

46. Менгер, А. Право на полный продукт труда. Пер. с 3-го нем. изд. Спб. Изд. О. Н. Поповой. 1906 г. См: § 6 Сен-симонизм: Стр. 53—62.

47. Мишель, А. Идея государства. Спб. 1903 г. Стр. 591. Тоже. М. 1908 г. См. гл. Сен-Симон и его школа. Стр. 155—189.

48. Изложение учения Сен-Симона. Перев. с франц. М. Е. Ландау, с предислов. и примечан. В. П. Волгина. М. ГИЗ. 1923 г. XXIII. 332. См. рец. Б. Горева.—«ПЗМ». 1923 г. № 2, 3.

49. Новгородцев, П. Конспект к лекциям по истории философии права. М. 1909. Стр. 191—195.

50. Ососкова, Н. Нравственный облик Сен-Симона и его отношение к религии. «Зап. Научн. О-ва марксистов». 1922 г. № 3. Стр. 86—99.

51. Осадчий, Т. Общественный быт и проекты его улучшения в XIX в. М. 1902.

Плеханов, Г. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Собр. соч. VII т. см. гл. Ш. «Социалисты-утописты». Стр. 87—116 (особенно стр. 89—94). (Сущ. ряд др. изд.).

52. Плеханов, Г. Н. Г. Чернышевский. Изд. «Шиповник». Спб. 1910. См. стр. 276—288.

Тоже. Собр. соч. Т. VI.

53. Плеханов, Г. В. Историческое подготовление научного социализма. Сборник статей под ред. Д. Рязанова. Изд. «Московский Рабочий». М. 1922 г. См. ст. «Огюстен Тьерри и материал. понимание истории». «Историческое развитие учения о классовой борьбе». «Утопический социализм XIX века». См. стр. 83—85, 89—90, 98—99, 114, 196—198, 208—214, 222. (Существует ряд др. изд. названных статей).

54. Рязанов, Д. Примечания к «Коммунистическому манифесту», Маркса и Энгельса. 3-е доп. изд. ГИЗ. 1924 г. (Стр. 247—255.

55. Сакулин, П. Русская литература и социализм. 2-е изд. ГИЗ. 1925 г. См. о Сен-Симоне стр., указанные в предметном указателе.

56. Свентоховский, А. История утопий. Пер. Е. Загорской. М. 1910.

57. Святловский, В. Предисловие к сочинениям Сен-Симона. Т. I. Спб. 1912 г. Изд. «Всеобщей библиотеки». Спб. 1912 г. Стр. 3—30.

58. Святловский, В. В. Очеерки по истории экономических воззрений на Западе и в России. Спб. 1913 г. Ч. I. См. Генрих Сен-Симон. Стр. 338—359.

59. Святловский, В. История социализма. П. Изд. «Былое». 1922 г. См. гл. VII. Граф Анри Сен-Симон. Стр. 69—89.

Тоже. 2-е переработанное и дополненное изд. «Начатки Знаний». П. 1924 г. Стр. 102—157. См. резко отриц. отзыв В. Волгина в журн. «Под Знам. Марксизма». 1924 г. № 3. Стр. 283—288.

60. Святловский, В. Каталог утопий. М. П. ГИЗ. 1923 г. См. стр. 68—73.

61. Семевский, В. И. Сен-симонисты и фурьеристы в России в царствование Николая I. «Книга для чтения по истории Нового времени». Т. IV. М. 1914 г. Стр. 240—282.

62. Семевский, В. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы. Ч. I. Изд. «Задруга». М. 1922. См. стр. 66, 74, 185.

63. Сен-Симон и его ученики. «Отечественные записки». 1863 г. № 10. Стр. 501—533.

64. Сен-Симон. Из записок. Со статьей Сент-Бева о Сен-Симоне. «Мир божий». 1899 г. № 9, 10, 11 и 12.

65. Граф Анри-Рувруа де-Сен-Симон. Автобиография. «Записки Научн. О-ва марксистов». 1922. № 2. Стр. 31—40.

66. Сен-Симон. Катехизис промышленников. Пер. И. А. Шапиро. См. «Родоначальники позитивизма». Вып. II. Стр. 173 «Брокгауз-Ефрон». Спб. 1910 г.

67. Сен-Симон. Очерк науки о человеке. Ч. I. Пер. И. А. Шапиро. Под ред. Э. Л. Радлова. См. «Родоначальник позитивизма». Вып. III. Стр. 162. IV. Изд. «Брокгауз-Ефрон». Спб. 1911 г.

68. Изложение учения Сен-Симона. Пер. с франц. М. Е. Ландау. с пред. и примеч. В. Волгина. ГИЗ. 1923 г. Стр. 336.

69. Социальная утопия. Спб. Изд. «Вестник Знания». 1903.

70. Сочинения Анри де-Сен-Симона. Перевод с французского, под редакцией и с предисловием и примечан. В. В. Святловского. ГИЗ. М. П. 1923 г. Стр. XXIV—364.

71. Сен-Симон. Избранные сочинения. С пред. В. Волгина. ГИЗ. 1923 г. Стр. 211.

72. Сюдра, Альфред. История коммунизма. Перев. с франц. Спб. 1870 г. См. стр. 276—284.

73. Тахтарев, К. Главнейшие направления в развитии социологии. «Современный Мир». 1910. № 8. Стр. 183—185.

74. Туган-Барановский, М. Современный социализм в своем историческом развитии. Спб. 1906 г.

75. Туган-Барановский, М. Очерки новейшей истории политической экономии и социализма. 4-е изд. Спб. 1907 г. (См. стр. 92—116. (Впервые в журн. «Мир божий». 1901).

76. Фингерт, Б. А. Краткое руководство по истории социализма. ГИЗ. 1924 г. О Сен-Симоне. См. стр. 42—50 и 58—61.

77. Фогт, А. Социальные утопии. Изд. Суворина. Спб. 1907 г. Стр. 187.

Тоже. Изд. Проппера. Спб. 1907.

78. Форлендер, К. История социалистических идей. Пер. Г. П. Федотова. Изд. «Сеятель». 1925 г. Стр. 114—119.

79. Фридлянд, Ц. Анри де-Сен-Симон—идеолог индустриализма. «Под Знам. Марксизма» 1923 г. № 10. Стр. 196—226.

80. Фридлянд, Ц. Реценз. на след. книги: 1) Сочинения Анри де-Сен-Симона, под ред. В. Святловского. ГИЗ. 1923 г. 2) Сен-Симон. Избранные сочинения, под ред. и пред. В. Волгина. ГИЗ. 1923 г. 3) Изложение учения Сен-Симона, с пред. В. Волгина. ГИЗ. 1923 г. «Печать и Революция». 1924 г. № 2. Стр. 160—163.

81. Хлебников. Сен-симонизм. См. его: «Исследования и статьи». Киев. 1879 г. Стр. 1—79.

82. Штейн, Л. Социальный вопрос с философской точки зрения, пер. с нем. Николаева, П. Изд. К. Солдатенкова. М. 1899 г. См. стр. 302—314.

83. Штейнберг, С. Общественные и исторические взгляды Сен-Симона. В журн. «Жизнь» за 1900 г., кн. II.

84. Чернышевский, Н. Г. Июльская монархия. Гл. III. Процесс Менильмонтанского семейства, см. собр. соч. Чернышевского. СПБ. 1906 г., т. VI. Стр. 127—150. (Впервые в «Современнике» за 1860 г. № 5).

85. Чичерин, Б. Сен-Симон и его школа. В журнале «Вопросы философии и психологии» за 1901 г., кн. 60.

86. Щеглов, Д. История социальных систем, т. I. СПБ. 1870. Стр. 275—436.

87. Энгельс, Ф. Развитие социализма от утопии к науке. М. 1923 г., изд. «Красная Новь», см. стр. 5—9 и ряд друг. изданий.

88. Энгельс, Ф. Прогресс движения за социальную реформу на контингенте; см. Собр. соч. Маркса и Энгельса, том II. ГИЗ. 1923 г., см. стр. 286, 287, 289.

89. Энгельс. Примечание (О Сен-Симоне), см. Маркс. Капитал, т. III, ч. 2, изд. Института Маркса и Энгельса. ГИЗ. 1923 г., стр. 146.

90. Ященко, А. Социализм и интернационализм. Изд. Скирмунта. М. 1907.

Ф. В. Астон—И. Штарк—В. Коссель. Природа химических сил сродства, изд. «Земля и Фабрика». Москва—Ленинград 1925 г., 89 стр.

Интерес рецензируемой книжки заключается в том, что в ней сопоставлены статьи Штарка и Косселя, двух исследователей, много

работавших над выяснением природы сил химического средства, и в то же время стоящих на враждебных, резко противоречащих друг другу позициях. В то время, как Коссель развивает свою теорию химического сродства на основе теории Рутерфорда-Бора, Штарк решительно отвергает теорию строения атома Рутерфорда-Бора. Тем не менее, из этой полемики мы выносим впечатление, что существует ряд твердо установленных фактов, на которых сходятся Штарк и Коссель, несмотря на противоположность точек зрения.

Согласно тому, что до сих пор было известно физикам и химикам, какое-либо электрически нейтральное тело, т.-е. тело, обладающее равным запасом положительного и отрицательного электричества, не может само собой передать часть своего заряда другому нейтральному телу. Для того, чтобы тело передавало заряды, накопляло их, необходимо, чтобы извне затрачивалась энергия. Между тем, согласно новым теориям, нейтральные атомы при химических реакциях именно таким образом передают друг другу заряды, при чем энергия не затрачивается, но выделяется. В этом и заключается одна из трудностей проблемы об'яснения сил химического средства.

Однако, самый факт перескока зарядов с нейтральных атомов твердо установлен. Напр., всем известно, как энергично действуют на воду нейтральные атомы натрия, тогда как ион натрия на воду не действует. Установлено также существование валентных электронов на периферии атомов. Но далее начинается область спорных гипотез. Штарк указывает на ряд трудностей, которые теории Рутерфорда-Бора не удается преодолеть, и приводит ряд фактов, в особенности из области органической химии, которые этой теории противоречат. Штарк не считает возможным допустить даже знаменитое обращение электронов вокруг атомного ядра; вращение он переносит внутрь электронов: он принимает внутреннее круговое движение частиц электрона. Таким образом, вопреки мнениям некоторых математиков, которые принимают электрон за математическую точку, Штарк рассматривает внутренние кинетические силы электрона, энергию его деформации и т. п.

Впрочем, Штарк не дает сколько-нибудь законченной теории; значение его статьи—в критике, которой он подвергает теорию Рутерфорда-Бора. Штарк призывает отрешиться от иллюзий, признать теорию, как бы она ни была авторитетна, тем, чем она есть в действительности, т.-е. иллюзией. Штарк решительно выступает и против другой, более общей иллюзии, которая давно уже широко распространяется как многими писателями-популяризаторами, так и некоторыми исследователями.

«Это — та иллюзия, которая льстиво и самодовольно нашептывает человеческому тщеславию: как, однако, далеко мы ушли вперед в науке, мы нашли математическую функцию мира, картина мира закончена, мировые загадки разгаданы, а вместе с ними, конечно, также и мировая загадка о строении самой малой мировой частицы,—химического атома. Какое жалкое пустословие! Такое же старое, как и само человечество. С той лишь разницей, что в настоящее время в более утонченных формах и выражениях оно проникает и в научные круги».

Далее Штарк указывает, что вопросы о форме электронов и положительных ядер, о пространственном распределении энергии, как внутри их, так и снаружи—далеко не выяснены и не могут быть вынесены посредством математических спекуляций: все эти вопросы должен разрешить опыт.

Теория Косселя была уже нами изложена в другом месте[1]).

Проф. Шилов во вступительной статье удачно вводит читателя в круг спорных вопросов.

Астон с обычной для него точностью, ясностью и пластичностью излагает вопрос о размерах, числе и строении атомов.

Провалы популяризатора.

Проф. А. В. Немилов. Биологическая трагедия женщины. Очерк физиологии женского организма. Изд. «Сеятель». Ленинград 1925 г. Стр. 138. Цена 90 коп.

Он же. Как появилась на земле жизнь. Изд. «Образование». Ленинград 1924 г. Стр. 70.

Профессор А. В. Немилов принадлежит, несомненно, к числу наиболее талантливых наших ученых-популяризаторов. Его популяризации отличаются легким, красивым языком, увлекательностью и стройностью построения, свежестью используемого им научного материала. В свое время в нашем «Сборнике статей по вопросам популяризации естествознания» я охарактеризовал его, как автора, стоящего вне сомнений и в ряду наилучших имен. Тем более я считаю себя обязанным предостеречь читателей против двух книг, помеченных выше, как книг, безусловно, ложно построенных по их научной аргументации и вредных по вложенным в них идеям.

Начнем с первой из них.

В основу изложения всей книги положена глубоко вредная и ложная идея о противоречии интересов личности и общества или, как предпочитает говорить Немилов, «особи» и «рода». Автор не считает нужным подвергнуть это свое исходное положение обсуждению и доказательству, но принимает за постулат для всех своих последующих «трагических» рассуждений следующую «аксиому»:

«...Человек же, с его развитой индивидуальностью, с его лихорадочно работающим огромным мозгом, прекрасно сознает (!? *Б. З.*), что его интересы, как биологической особи, вовсе не связаны с тем, чтобы жизнь продолжалась и после него. Вернее даже, ему, как организму, как частице природы, нет никакого дела до того, будет ли кто-либо из людей жить после него или нет» (стр. 8).

Далее следует другое, не менее сомнительное по своей «научной» обоснованности, положение, подтверждаемое цитатой из Шопенгауэра (отметим здесь же, что в научной и даже научно-популярной литературе мы бы ожидали аргументов фактами, что было бы более солидно, чем цитаты из какого бы то ни было философа), что вся половая жизнь человека есть лишь служение чуждым его личности интересам «рода», на которые он идет лишь в силу «уловок природы» и соблазнительности той приманки, каковою является, согласно мнению Шопенгауэра и Немилова, половая любовь с ее физиологическими наслаждениями и радостями» (стр. 10).

Отсюда «весь трагизм человека и заключается в том, что он, не будучи в силах противостоять соблазну, способен сознавать, что он, в сущности, является только обманутой жертвой рода, тогда как всякое животное так и умирает в иллюзии (откуда это у нас такие точные познания об «иллюзиях» у животного? *Б. З.*), что расточает усилие и жертвы исключительно ради собственного наслаждения» (стр. 11).

В этих цитатах—основные предпосылки для всех дальнейших построений Немилова, и потому остановимся вкратце на их анализе. Легко понять, что все это не имеет ничего общего с биологией, как наукой, и автор книги делает непозволительное дело, когда он преподносит читателю, как якобы «научный», «биологический» факт, свои суб'ективные трагические воззрения, навеянные пошлыми романами времен предреволюционного декаданса или душещипательными философствованиями Отто Вейнигера.

Никто, конечно, не хочет лишить проф. Немилова права воспринимать биологические факты так трагически, как это он делает в своей книжке, и многие из нас даже с интересом перечитали бы, пожалуй, острые и меткие подчас парадоксы Шопенгауэра и Вейнигера. Но зачем же эти свои суб'ективные воззрения прикрывать авторитетом науки, якобы в самом содержании биологических наук об'ективно заключен этот постулат о противоречии интересов «особи» и «рода»? Ибо ведь биология может лишь констатировать без дальнейших мудрствований, что половой акт, а равно и материнство, у нормальной женщины является лишь источником здоровых биологических радостей и отнюдь не дает никаких оснований для каких-либо сетований по поводу того, что эти радости доступны человеку. Если же Немилову, вслед за Вейнигером и другими индивидуалистами—героями предреволюционных психологических романов, угодно думать, что ему «нет никакого дела до того, будет ли кто-либо из людей жить после него, или нет»,—то он заблуждается, полагая, что он это думает «как биологическая особь», ибо это уже есть в гораздо более сильной степени порядок мыслей «социальной особи». Он должен был бы иметь в виду, что есть не мало людей с иной социальной настройкой и общим укладом мыслей, которым чуждо и неприемлемо в самом своем корне это противопоставление интересов «особи» и «рода».

Тем более, что мы склонны думать, что об'ективные биологические факты питают скорее оптимистические, чем «трагические» выводы, ибо именно та социальная установка, которая примиряет интересы личности с интересами коллектива, вполне гармонирует с такой биологической установкой, при которой «особь» в своих биологических функциях относится не безразлично к судьбе своего «рода»... При такой постановке биологические и социальные тенденции совпадают и гармонируют и могут явиться лишь источником оптимизма. При постановке Немилова его социальные тенденции и умонастроения индивидуалиста кажутся ему непримиримыми с теми биологическими отправлениями, которые отвечают интересам «рода»...

Тем хуже для Немилова, но какое же имеет он право провалы своих социальных умонастроений изображать как якобы об'ективно добытую биологическую истину?

Ошибка Немилова в том, что он не сумел трезво отдифференцировать об'ективно-научный биологический материал от своих суб'ективных настроений и подчинил все свое изложение этой ложной, предвзятой мысли.

Раз взятый неверно основной тон определяет все дальнейшие провалы и грехи этой книжки. Факт за фактом подбираются чисто искусственно, со специальной целью доказать «трагедию женской доли» и этот, поддерживаемый на протяжении всей книги, тон сгущенного гипертрофированного «трагизма» способен будет, конечно, смутить не одну слабую женскую читательскую душу и вообще менее «крепкую духом» часть читательского молодняка. И здесь второй основной грех автора состоит в том, что, подчинив свое изложение предвзятой идее, не имеющей ничего общего с биологией, как наукой, и не вытекающей из материала этой науки, он неизбежно должен был насиловать научные факты, чтобы придать внешнюю убедительность теме и во что бы то ни стало оправдать эффектное заглавие книги.

Научная аргументация книги может произвести на несведущего читателя впечатление весьма эффектное, и потому нам необходимо и здесь развеять тот туман и смущение умов, которые она и здесь способна породить.

Не рассчитывая на исчерпывающее перечисление всех тех научных промахов и натяжек, которые допущены автором в угоду его предвзятой идее, отмечу здесь некоторые, основные, обосновывающие все дальнейшее изложение книги, построения и созданные ad hoc «теории».

Так как идея книги—показать трагизм женщины в противоречиях половой жизни, то ясно, что эта трагедия тем покажется страшнее, если удастся убедить читателя, что сексуальность—это есть основа, начало и конец бытия. Эту задачу—совсем под стать своим предтечам в лице Фрейда или Пшибышевского с его художественными мотивами на тему: «в начале бе пол»—Немилов осуществляет следующим образом: сначала он быстро и легко развенчивает «ложные» представления, согласно которым в основе эволюции человека и его преобладания над другими животными лежит сильное развитие его мозга—все это Немил—ов считает несущественным и даже «неверным» (стр. 13). В качестве доказательства Немилов считает достаточным указать на то, что у кита и слона абсолютный вес мозга больше, чем у человека, а у некоторых обезьян, как у игрунковых или сапажу, относительный вес мозга выше, чем у человека. «Мы видим таким образом, что утверждение, будто человек отличается пропорционально более тяжелым мозгом,—неверно» (стр. 13).

Мы вынуждены самым решительным образом протестовать против столь простого и легкого способа разделываться даже в популярной литературе с научными фактами: Немилов мог бы привести и еще, вероятно, с десяток таких исключений из общего правила, но это отнюдь не уничтожает того основного и обоснованного тысячами противоположных факторов положения, что размеры и развитие головного мозга являются определяющим фактором в развитии психических способностей. Эти исключения, приводимые Немиловым, тем менее уместны, что ни один серьезный ученый в настоящее время и не думает свести определение степени развития мозга исключительно к его размерам, и в соответствующей литературе уже давно стал банальным пример, что самый большой мозг, до сих пор измереенный в науке, принадлежал одному идиоту-калмыку. Отсюда ясно, что примеры Немилова не достигают цели и совершенно не доказательны, поскольку они имеют целью изменить наши установившиеся и достаточно уже прочно обоснованные воззрения на роль мозга в филогенетическом развитии человека.

Но зачем вообще проф. Немилову нужно было производить этот переворот в науке? Очевидно, для того, чтобы подготовить почву для новой и эффектной теории эволюции, как функции половой активности. Да, это так!

«Если мы будем перебирать другие системы органов и сравнивать их у человека и других живых существ, то везде мы найдем при более внимательном изучении (неужели же только «при более внимательном изучении»? *Б. З.*) известные черты отличия, но нигде не найдем таких анатомических признаков, которые мы имели бы право назвать существенно человеческими (курсив автора. *Б. З.*). Но есть все же одна система органов, которая достигла у человека особо высокой степени развития и особенного усложнения: это, как это ни кажется странным на первый взгляд (да, поистине странно, и мы это сейчас покажем! *Б. З.*),—половая система» (курсив автора. *Б. З.*) (стр. 14).

Чем же аргументирует Немилов в пользу этой новой и оригинальной «половой теории эволюции»?

Во-первых, Немилов ссылается на авторитет Фриденталя, который отметил, что «по своим абсолютным и относительным размерам половой аппарат женщины превосходит аппарат всех прочих приматов. Ни у одного вида обезьян не наблюдается такого богатства вторично-половых признаков, как у женщины. Влагалище и матка у нее крупнее и представляют собою более совершенные органы, чем у самки гориллы или орангутанга. Среди всех прочих приматов только у женщины влагалище снабжено системой поперечных складок, которые превращают его в совершеннейший аппарат для трения при половом акте». Отсюда, спешит сделать вывод Немилов, «сильное развитие и дифференциация полового аппарата и его органов сладострастия являются одним из самых резких человеческих признаков» (стр. 14—15). Дальнейшее подтверждение своей теории Немилов видит в том, что «яичник женщины составляет 15.000 часть всего тела, а у коровы—всего 150.000 часть; следовательно, у женщины яичники пропорционально тяжелее, чем у животных». «У огромного бегемота яичник имеет почти тот же абсолютный вес, как и у женщины».

В итоге, по Немилову, «вечно возбуждаемый этой волной мощных раздражителей (т.-е. половых гормонов. *Б. З.*), посылаемых в тазовые органы, человек и стал тем, что он есть, т.-е. существом в одних отношениях очень сходным, в других — резко отличным от обезьян» (стр. 17—18).

Не приходится и говорить, что эта попытка перенесения Фрейдистских увлечений в область учения об эволюции не имеет никакого серьезного научного значения.

Ранее Немилов очень легко и просто «угробил» факт филогенетического усложнения в строении мозговой системы, основанной на большой статистике относительного веса мозга и его строения в разных классах и родах животных, на основании одного-двух исключений. Здесь же он с тою же легковесностью строит свою «сексуальную теорию» эволюции на нескольких совершенно произвольно выхваченных фактах.

Так, в случае мозга он не принимает обычного сравнения размеров мозга человека с мозгом шимпанзе и предпочитает почему-то ссылаться на сапажу; здесь же он отклоняет возражение, указывающее на общеизвестный факт сексуальной активности обезьян, ссылкой на Келера, сообщающего, что «человекообразные обезьяны не обнаруживают чрезмерно сильной сексуальности»; при этом он совершенно забывает о

том, что, поскольку Келер не дает сравнительного масштаба с человеком, эта ссылка вообще ничего не говорит и создает лишь видимость доказательства в пользу более сильной, чем у обезьян, сексуальности человека.

С другой стороны, если уж итти по стопам Немилова, почему-то избравшего для сравнения размеров яичников жвачных, то смею уверить проф. Немилова, что «человеческим признаком сладострастия» в гораздо большей мере, чем человек, обладают, например, ламы, которые совокупляются по 5—6 раз в день, при чем каждый акт продолжается от 20 до 30 минут. И не должны ли мы будем считать на тех же основаниях «венцом творения» каких-либо кроликов или петуха?

И, наконец, разве не тот же самый Немилов, противореча самому себе, но в другой ситуации, на стр. 97 цитирует Фореля, что те же самые женщины, у которых поперечные складки влагалища должны, по его мысли, символизировать особливое развитие сладострастия, фактически не менее чем в 50% случаев «равнодушны» и «холодны» к акту совокупления?

Спрашивается, что же проф. Немилов считает верным: то ли, что женщины в 50% случаев совершенно не знают, что такое сладострастие, или же то, что женщины превосходят своим сладострастием обезьян?

Что же касается размеров матки и влагалища, то нужно ли для об'яснения их более мощного развития прибегать к этой сомнительной теории эволюции и не проще ли понять их с точки зрения приспособления к прохождению при родах несоразмерной по об'ему головы человеческого плода, т.-е. итти опять от мозга и головы, а не от половых органов?

Теперь о размерах яичников. Трудно придумать более произвольные примеры. Почему здесь понадобилось сравнивать непременно женщину и непременно с коровой? Ну, а если мы сравним мужчину с кабаном или с петухом, то не получится ли результат крайне плачевный для всех построений Немилова? И почему бы опять-таки если уж брать женщину, то не сравнить ее яичники с таковыми у кролика или курицы?

Достаточно только этих примеров, чтобы понять, что в этой книге не выводы строятся на основании об'ективно существующих фактов, но наоборот—факты специально прилаживаются и подбираются к заранее уже составленным выводам.

Но дело не только в этих натяжках и ошибках толкования, но и в более серьезном и коренном прегрешении всех этих построений: в самой своей основе эти построения Немилова обнаруживают неправильное и превратное понимание основных положений физиологии, определяющих взаимоотношения и влияние нервной системы и органов внутренней секреции в психической эволюции: это — та ошибка, которую повторяют многие авторы, не критически увлекающиеся эфектными успехами эндокринологии, полагающие, что эндокринология может вытеснить и свести на-нет чуть ли не всю роль нервной системы даже в процессах психической деятельности. Это—та ошибка, против которой я уже неоднократно предостерегал, отмечая всю ненужность и нездоровость таких перегибов палки. Я уже предложил для лучшего уяснения соотношения ролей нервной системы и внутренней секреции в психической деятельности аналогию скрипки и смычка, при чем основным инструментом или «скрипкой», определяющей характер нашей психической деятельности, является мозг и особенности его строения, что же касается полового и других гормонов, то на их долю выпадает

более скромная роль смычков, при чем важно то, что химическая природа этих гормонов как у человека, так и у обезьяны, коровы или кролика остается одна и та же. Тем более перед лицом этих фактов теряют почву под ногами все попытки об'яснить эволюцию человека и его отличия от обезьяны размерами его «органов сладострастия» и думать, что человек мог стать человеком в силу влияния полового гормона, а не в силу усложнения структуры той скрипки—мозга, который является основным инструментом психической деятельности.

Этих нескольких примеров достаточно, чтобы понять общий характер и построение книжки: ее главная характерная черта—это нездоровое и преувеличенное устремление выдвинуть на первый план роль пола и терроризовать читателя «глубиною» и «безысходностью» той трагедии, которая якобы вытекает из этой якобы всеоб'емлющей власти пола. При этом автор предается ламентациям и истерическим стенаниям по любому поводу и притом по взаимно противоречащим причинам. Так в главе 2-ой он плачет над кастратами, которые якобы теряют индивидуальность (стр. 25), и в трагических словах описывает физические отличия кастратов, как будто бы и здесь есть нечто об'ективно трагическое, а в конце той же главы с не менее трагическим и патетическим видом описывает трепетание жизни сексульно здорового тела. В главе 3-й он проливает слезы над судьбою женщины, полной творческих живородных сил, вся жизнь которой якобы сводится к одной тошноте да зубной боли, и в специально подчеркнутых фразах воспевает «жертвенность» кормящей грудью матери; а в следующих главах с такою же трагической миной описывается печальная судьба стареющей женщины именно потому, что она потеряла эти свои живородные силы, т.-е. тошноту и зубную боль. И когда вы находите в 10 главе в виде заключительного аккорда стенания по поводу «жестокой необходимости для женщины расплачиваться страданиями за короткие минуты половых наслаждений», то перед вами вновь встает вопрос, зачем нужна вся эта фальшь и чему же верит сам автор в своих писаниях: ведь если верна его же собственная теория особого развития «органов сладострастия» у женщины, то он должен был бы измерять эти «минуты наслаждения» не минутами, а часами и днями, но тогда отпадает опять-таки вся хитроумная постройка о противоречии интересов особи и рода, ибо, наоборот, мы фактически имели бы здесь биологическое созвучие интересов продолжения рода с тем личным, индивидуальным наслаждением здоровой, нетронутой Вейнингеровско-Немиловскими мудрствованиями «особи», которые она испытывает и в здоровых переживаниях половой любви, и в переживаниях кормящей грудью матери.

И опять-таки нам хочется сказать Немилову, что если ему хочется плакать и стенать, то пусть плачет и стенает «в свое здоровье» про себя, но, в порядке на сей раз законного противопоставления интересов личности и общества, зачем же было плакать публично, на глазах у всего общества, смущая менее крепкую и устойчивую часть читательской публики ложной видимостью, якобы плач Немилова и его последователей имеет научно-биологическое обоснование? И это тем более не следовало делать, что плач трогает, когда он в меру, но и сострадание легко переходит в смех при чрезмерных увлечениях и обилии всяких трагиков, когда Немилов плачет и потому, что женщины бывают молоды, и оттого, что они бывают стары, и оттого, что у мужчины есть яички, и оттого, что у кастратов их нет, и оттого, что у женщины якобы сильно развиты «органы сладострастия», и оттого, что они отличаются половой холодностью, и оттого, что девочки болеют и умирают больше мальчиков,

и (прибавим от себя то, о чем Немилов умолчал), очевидно, оттого, что в конечном итоге девочек остается в живых больше, чем мальчиков и т. д., и т. д.—получается картина плача во имя плача, но не в силу об'ективных внешних к тому оснований.

В угоду этой цели—внушить читателю чувство трагизма во что бы то ни стало и любыми средствами—Немилов привлекает к себе на помощь цитаты и ссылки на мало научно обоснованные соображения других авторов, которых он принимает за доказанные только потому, что это выгодно для его собственных настроений. К числу таких сомнительных «подпорок» к его сексуально-фрейдистским теориям, помимо всего выше отмеченного, мы бы отнесли соображения Лапинского о существовании в корне мозга якобы «полового центра», или же рассуждения его о влиянии менструаций на психику женщины, которые якобы—страшно повторить!—«подавляют у женщины право выбора, ослабляют у нее проявление свободы воли (как страшно все это звучит! *Б. З.*) и делает из нее покорную рабу данного космического ритма—рабу, лишенную собственного выбора»... Поистине мороз по коже пробирает, когда подумаешь, сколь же трагична судьба женщины по сравнению с мужской, которую Немилов в союзе с Лапинским наделил очевидно и свободою воли, и чуть ли не господством над всеми «космическими ритмами»!

Такой же и даже еще менее приемлемый характер носят дальнейшие соображения Немилова, где он уже совершенно теряет чувство трезвого самообладания и здоровой самокритики, предлагая читателю под видом научных биологических истин следующие «перлы»: «родотворческая роль женщины»... «носит все же характер не творческий, а пассивный, ибо не она создает ребенка, а ребенок возникает в ней, помимо ее воли и сознания» (стр. 101).

Поистине, эти изречения могут быть поняты только в одном смысле: что вся книга эта появилась в свет не потому, что она д о л ж н а была возникнуть «независимо от воли и сознания» того или другого автора, в силу об'ективно-научной обязательности и верности ее выводов, но в силу суб'ективно-«творческого» произвола ее автора, который забыл основное правило всякого научного творчества, не исключая и творчества популярных книг: не только учить строгим методам научной индукции, но и в самом себе безжалостно искоренять все те суб'ективные мотивы и движения, которые подчиняют научно-об'ективный материал посторонним и чуждым науке предвзятым идеям.

И вот перед нами встает еще один вопрос: как могло случиться, что такой талантливый и научно вооруженный популяризатор, как проф. А. В. Немилов, подаривший нам не мало хороших популярных свежих книг, разрядился таким неудачным «родотворческим актом»? Можно ли рассматривать это как одиночную случайную «обмолвку», «кляксу языка» или же здесь есть своя система и планомерность? К нашему глубокому сожалению, приходится предположить скорее последнее, и это—именно то обстоятельство, которое особенно обязывало нас взяться за перо. В этом нас убеждает история другой книжки того же Немилова, выпущенной год назад и посвященной такой «ударной» теме, как вопрос: «Как появилась на земле жизнь?».

Немногим более 10 лет назад А. В. Немилов—тогда еще молодой автор—поместил прекрасную статью на ту же тему в «Итогах науки». Тогда он занимал по этому вопросу определенную материалистическую позицию и хотя и не заострял в своих суждениях отрицательную оценку

гипотезы панспермии с ее идеей «вечной жизни», но достаточно определенно подчеркивал ту виталистическую тенденцию, которая протаскивается в науку с этой гипотезой. Эта статья Немилова до сих пор является одним из лучших популярных изложений вопроса о происхождении жизни.

И вот выпущенная теперь тем же Немиловым книжка не оставляет ничего на месте из былых его здравых рассуждений.

Живое и неживое оказываются теперь для Немилова разделенными «пропастью», как это явствует из следующих его слов (стр. 11). «Но действительно связать живое с безжизненным и создать между ними переходы никому не удалось. Оба эти мира,—мир безжизненного и живой мир,—оказались отделенными друг от друга пропастью, и сколько ни исследовали ученые природу, так и не удалось ничем связать обе эти половины и найти между ними какие-либо переходы». И далее (стр. 12): «И много напрасного труда (курсив наш *Б. З.*) было затрачено учеными в разных странах на то, чтобы таким путем (т.-е. путем искусственных биологических синтезов. *Б. З.*) проникнуть в тайну жизни».

И далее Немилов более подробно обосновывает свою позицию в следующих словах (стр. 28): «Суть-то вопроса в том и заключается, каким образом безжизненный белок стал живым, а на это Пфлюгер и Аллен не отвечают вовсе»...

«...До сих пор в каждом явлении жизни, как бы просто оно ни было, есть «нечто», обо что пока разбиваются бесплодно все попытки исследователей» и т. д., и т. д.

А далее следует вывод, который предлагает Немилов читателю, в качестве положительного разрешения вопроса о происхождении жизни: «жизнь существовала вечно, она не имеет ни начала, ни конца».

Мне кажется, что нет надобности продолжать дальше, чтобы показать, что перед нами—типичный пример научного пессимизма, незаметно, но естественным путем, приведшего автора книги к ничем не прикрытому витализму. Характерно при этом, что в книге не прибавлено ни одного нового веского аргумента, который бы изменил фактическое об'ективное соотношение вещей по сравнению с тем, что имело место, когда Немилов писал свою первую статью на эту тему. Более того, самые формулировки Немилова, в которых он теперь ставит крест безнадежности над «напрасным трудом» ученых, работающих в области биохимических синтезов, по своей решительности и откровенности превосходят все то, что писали по этому поводу самые явные и стопроцентные виталисты. И что, наконец, является особо пикантным во всей этой истории, что и в своей брошюре и еще более в нашей личной с ним переписке проф. А. В. Немилов упорно и ожесточенно доказывает, что его гипотеза вечности жизни не только не виталистична, но и, наоборот, есть чистейший прямолинейный материализм!

Поистине есть где развести руками и предаться печатным размышлениям о странном построении воззрений и вывертов мыслей у некоторых людей. После некоторого размышления я тогда решил отказаться от мысли печатно возражать против выводов этой идеологически вредной, но талантливой по изложению книги, рассматривая ее, как случайную ошибку или описку в общем здраво и трезво мыслящего автора.

Но теперь, после выхода этой второй книжки того же автора, я понял, что и во всяких ошибках и ляпсусах языка есть своя логика и что эта «логика» требует своего диалектического анализа.

Очевидно, здесь есть какая-то органическая причина, не позволяющая проф. Немилову видеть вещи в прямом свете и представляющая их его глазам в изуродованном виде.

Первый и основной дефект Немилова—это отсутствие устойчивого и прочного научного мировоззрения и в частности неумение диалектически мыслить. Только таким путем он мог так безнадежно запутаться в кажущихся противоречиях, когда свою собственную, суб'ективно в нем существующую неувязку отдельных цепей рефлексов он стремится приписать, об'ективно вне его действующей, природе вещей. В самом же Немилове эта перепутаница произошла по целому ряду направлений: с одной стороны, это—смешение явлений биологического и социального порядка и неумение провести между ними различие, осознать для самого себя, где кончается компетенция биолога и где в нем самом говорит обыватель, впитавший в себя мудрость таких мелко-буржуазных философов, как Вейнигер или Пшибышевский. Во-вторых, это ведет за собой смешение методов об'ективного и суб'ективного мышления, когда автор оперирует формально об'ективными понятиями научно-биологического характера и терминами рефлексологии, но не сумел подвергнуть элементарной самокритике исходные позиции всей своей философии и не понял, что в его изложении искажен весь смысл и ценность научно-об'ективного метода мышления, ибо не выводы подчиняются в его книге об'ективно существующим фактам, а факты насилуются и подбираются согласно уже заранее предвзятым идеям, заимствованным Немиловым, как уже сказано, не из науки и ее содержания, а из ряда мыслей совершенно иного порядка.

Наконец, отсутствие законченной и продуманной до конца методологии приводит автора к совершенно чудовищной метафизической постановке самих обсуждаемых им проблем.

Эта метафизика, повидимому, совершенно не осознанная автором, дышит из всех его рассуждений о какой-то несуществующей «свободе воли» в поведении человека, в его ребяческих стремлениях провести какую-то черту, разделяющую «пассивный родотворческий акт» женщин от «активного творчества», протекающего под контролем воли и сознания. Для Немилова все эти понятия, созданные метафизической философией того прошлого, которое формировало его сознание, повидимому, до сих пор остаются некоторою абсолютной сущностью, которая противопоставляется в его сознании «царству биологической необходимости», которая подчиняет своим законам все поведение человека. При таком метафизическом подходе к вопросам, это—совершенная случайность, и вопрос «ударности» темы, что Немилов построил свою «трагическую философию» вокруг идеи власти пола; с таким же успехом и лишь с малыми вариантами любой его единомышленник, не сумевший подчинить свое мировоззрение научно-каузальному диалектическому методу мышления, смог бы заливаться слезами по поводу того, что вообще новейшие успехи естествознания подчинили «свободный полет мысли», «свободное творчество», всю «душу» человека железным законам необходимости, лежащим в основе физиологии человеческого организма. Это неизбежно всякий раз, когда человек лишь формально принимает методы и достижения своей науки, но продолжает сохранять во всем своем образе мышления и философском мировоззрении лохмотья старой метафизики и поиски «свободной воли» и «активного творчества».

В наибольшей мере эта метафизичность всего мышления Немилова сказывается в его постановке проблемы происхождения жизни. Для него проблема перехода от неживого к живому мыслится, как некоторое «ста-

новление» без всякой предшествующей ему истории. Живое и неживое разделены в его представлении пропастью, а возникновение жизни не как процесс, проходящий ряд сменяющих друг друга во времени этапов или скачков, где именно по самому существу диалектического мышления мы затруднились бы сказать точно, где кончается неживое и начинается живое, ибо для нас процесс образования живого вещества—это есть накопление уже предсуществовавших в неорганической природе «качеств», которое в своем количественном сочетании переходит в новое «качество», которое мы называем жизнью. Нет, Немилов чисто метафизически рассматривает живое и неживое, как некие абсолютные, разделенные пропастью сущности, и ждет от науки, чтобы она «единым творческим актом» заполнила эту пропасть.

Еще более ложно и, мы бы сказали, научно-реакционно ставится вопрос о плодотворности биохимических синтезов. Для Немилова это—«напрасный труд» по той причине, что он еще не разрешил при жизни Немилова проблему перехода от безжизненного белка к живому белку. И здесь опять-таки Немилов берет проблему не в ее развитии, а в ее статике сегодняшнего дня, и поистине создается впечатление, что Немилов обижен тем, что биохимические науки не оправдали его юных надежд за те 10 лет, которые отделяют выход этой книжки от его первой статьи на эту тему. А между тем, нужно лишь бросить взгляд на «диалектику» всей проблемы, как она развертывалась на протяжении лишь последних 100 лет, чтобы понять, что если где-либо труд ученых не был напрасен, то именно на этом пути биохимических синтезов.

Неужели же Немилов не знает, что лишь 100 лет назад принималось за абсолютную научную истину, что все, что мы находим в теле человека, есть продукт специфической жизненной силы, и что никогда человеческие руки не изготовят самого простого из этих «органических» веществ, что науке здесь дано лишь право анализа, но всякие пути синтеза закрыты? И разве не знает Немилов, что для своего времени открытие Велером в 1827 г. способа искусственного синтеза мочевины «разрешало» принципиально вопрос о создании органического вещества и положило первую веху в заполнении воображаемой «пропасти», разделяющей живое от неживого? И разве тому же Немилову не известно, как, подчиняясь всем законам диалектического развития, все более и более сужалось и ограничивалось содержание понятия «живого» и расширялась область приложения методов изучения «безжизненных» процессов? И если было время, когда «пропасть между живым и неживым» начиналась с мочевины, потом последовательно переносилась разбиваемыми и отступающими шаг за шагом реакционерами в науке—виталистами к жирам, затем—к белкам, а теперь—к «коллоидному состоянию» белков, то неужели же это дает Немилову право называть гениальные труды Велера, Бертло и Эмиля Фишера «напрасным трудом»? Да, это напрасный труд для метафизиков в науке, для которых каждая трудная проблема сегодняшнего дня представляется никогда не переходимой пропастью, но это—предмет восторга и преклонения для всякого диалектически мыслящего человека, который понимает, что в силу этого «напрасного труда» уже на наших глазах заполняется содержанием и фактическими завоеваниями науки, та пропасть, которая постоянно раскрывается под ногами лишь тех ученых, которые не понимают диалектического хода развития науки. Неспособность понять все это—большая личная «трагедия» Немилова, ибо она помимо «воли и сознания» его самого приводит его к тем внутренним противоречиям и основным провалам

Немилова, как ученого, которые пронизывают все построения этих его научных популяризаций.

И мы видим в этом хороший пример и предостережение как лично для Немилова, так и для других, идущих или собирающихся итти по его пути. Проф. Немилов—не только талантливый ученый популяризатор, обладающий прекрасным слогом и умением доступно излагать сложные и трудные проблемы, он также человек, искренно принявший революцию и желающий принять посильное участие в строительстве новых устоев жизни и мировоззрений и влиять через популяризацию естествознания на массы. Но тогда он должен понять, что такое влияние может принадлежать лишь тем, кто для себя самого разрешил основные вопросы научного мировоззрения в духе последовательного диалектического материализма, изжил те суб'ективно-метафизические пережитки старого, против которых марксизм ведет неустанную и ожесточенную борьбу. Вот почему, когда появляются такие книги, как рецензируемые книги Немилова, мы чувствуем себя вынужденными, признавая всю искренность намерений автора, заявить, что эти книги не только не могут быть школой для нашей молодежи, но должны быть признаны именно в силу талантливости и авторитетности имен их авторов явлением идеологически крайне вредным и по своим результатам—об'ективно-реакционного значения.

Прежде, чем закончить эту статью, я считаю необходимым остановиться еще на одном вопросе, представляющем также большое общее значение: принимая за факт ложность общих методологических и научных предпосылок популяризаций Немилова, нельзя не отметить, что даже в пределах этих промахов Немилов с чисто популяризаторской стороны допустил в этих книгах большие ошибки, которые заставляют опасаться, что им избран и здесь скользкий и неверный путь.

Мы имеем в виду тот тон несколько хлесткой и гипертрофированной подчеркнутости, которая придана им этим его популяризаторским выступлениям. Для обеих этих брошюр характерно то, что, при внешней видимости якобы оригинальности их построения, фактически в обеих книгах Немилов пошел по пути наименьшего сопротивления, разрешая взятые им проблемы в духе наиболее понятном и близком настроениям среднего обывателя, который станет читать книгу. В самом деле, мысль о «трагедии женской судьбы» — это ведь предмет бесконечных сентиментальных рассуждений в средней мещанской семье, и в бесчисленных «семейных» драмах, и, конечно, она не может не найти себе живейший отклик в широких кругах читательской публики, ищущей, согласно последней моде, «научного» обоснования всем своим бесплодным мудрствованиям на эту тему.

Во избежание непонимания оговорюсь здесь же, что я отнюдь не хочу отрицать наличие «женской проблемы» и всей тяжести социального положения женщины, обусловленного в значительной мере биологическими особенностями и строением женского организма. Но в отличие от обывательских ламентаций и преувеличений на эту тему мысль активного общественника или ученого ищет реальных решений и выходов из этих трудностей в рамках существующих условий, трезво отделяя об'ективно данный в природе факт от тех бесплодных разговоров, которые наслоены на эту проблему в обывательских суждениях. Обязанность популяризатора-биолога была бы в том, чтобы, даже принявши исходный глубоко пессимистический взгляд Немилова, подвергнуть его об'ективному научному анализу и научить читателя отдифференцировать в этой социальной по существу проблеме биологический факт разности

строения полов от последующих социальных наслоений и показать читателю те реальные меры, которые в рамках существующих биологических возможностей позволили бы облегчить те действительные тяготы, которые ложатся на женщину, как на биологическую и социальную особь. Вместо того, Немилов преподнес читателю существенное и гипертрофированное переложение обывательских пересудов, санкционированных, одобренных псевдонаучным обоснованием.

Несомненно, что такой подход к теме должен особенно понравиться нетребовательной части публики, ибо он найдет очень много отзвуков в уже предсуществовавших настроениях ее, но, спросим мы Немилова, в том ли состоит задача популяризатора, чтобы потрафлять дурным вкусам и предвзятым настроениям массового читателя, или на нас лежит обязательство научить читателя критически пересмотреть свой скудный обывательский багаж и сохранить в нем лишь то, что действительно прошло через горнило научного отбора и анализа?

Путь, предлагаемый нами,—конечно, может меньше понравиться читателю, ибо дает более трудные задачи его мыслительным способностям, но это—единственный путь, при котором популяризатор активно участвует в формировании нового научно-критического мировоззрения на нетронутой целине наших читательских мозгов; второй путь, путь Немилова, грозит привести его к тому концу, который превращает научную популяризацию в ее диалектическую противоположность—в вульгаризацию науки и знания, когда мы стремимся науку приспособить к требованиям читателя в ущерб ее собственным принципам и законам.

Равным образом и гипотеза вечности жизни, чудится нам, подкупила Немилова именно тем, что она очень эффектна по своему выражению и наиболее просто и понятно для массового читателя разрешает этот трудный и сложный вопрос. Признание Немилова в этом смысле мы усматриваем в следующих его собственных словах (стр. 35): «Раз в окружающей нас природе мы не находим ни малейшей зацепки, ни малейшего намека (предпосылка, конечно, в корне неверная и не доказанная Немиловым в предыдущем изложении, но «выгодная» для построения книги. *Б. З.*) на то, каким образом из неживого получилось живое, то при таких условиях надо или вообще признать этот вопрос неразрешимым (почему ?!. Одно из другого совершенно не следует, если учесть, что наука развивается, и понять, что, если бы даже сегодня мы не имели «намеков», то завтра они могут появиться. *Б. З.*), или ограничиться предположениями, выбирая из них самые простые и самые лучшие» (курсив наш. *Б. З.*).

Итак, ясно, что все предшествующие страницы, разоблачающие «напрасность» и бесплодность стараний науки разрешить «тайну жизни», нужны были Немилову лишь для того, чтобы освободиться от необходимости научно-критически анализировать факты и наметить возможные решения вопроса, что было бы обременительно и для него, и для читателя, и получить право выбирать лучшее из решений. А так как понятие «лучшего» уже не подчиняется законам логики, но определяется суб'ективными вкусами, то Немилов мог быть уверен, что читатель признает за «лучшее» именно эту эффектную и увлекательную по своему «космическому» охвату, но пустую и бессодержательную по существу гипотезу о вечности жизни [1]).

[1]) Оговорюсь здесь опять-таки во избежание лжетолкований, что я здесь возражаю против идеи именно в смысле ее философско-космического толкования, не отрицая возможности занесения ее конкретно на землю с Марса или с любой другой планеты, ибо это есть лишь частность и деталь в общей проблеме.

Мне кажется, что в этом месте у Немилова обнаруживается другая червоточина, которая грозит подточить его не только как ученого-мыслителя, но и как популяризатора.

Всякий популяризатор по самому роду своей работы должен искать понятий и образов, наиболее понятных и знакомых читателю, чтобы приблизить к его интересам предмет своих научных популяризаций. Самая форма популярного изложения ведет к неизбежным упрощениям и схематизациям, которые преследуют цель, не теряя своей научной обоснованности, представить научный факт в его наиболее доступном и привлекательном для читателя виде.

Ввиду этого популяризатор всегда ходит на краю опасности перейти границу допустимого и в поисках приспособления к интересам и вкусам читателя впасть в тон простого потворства дурным вкусам и взглядам читателя. Это всегда происходит тогда, когда «интересность» к «увлекательность» формы перестает быть средством и превращается в самоцель. И первым шагом на этом пути бывает, когда научная популяризация оставляет почву строгого индуктивного каузально-аналитического метода изложения и избирает в качестве критерия и способа решения вопроса то, что кажется суб'ективно «лучшим» с точки зрения автора или читателя. Эта опасность возрастает тем больше, чем талантливее популяризатор и чем, следовательно, больше он «чувствует» свою аудиторию, ибо именно тогда возрастает «соблазн» и «приманка» завоевать публику не строгим развертыванием научного анализа, а «чутьем» и «интуицией», которые подсказывают автору те именно решения, которые покажутся «наилучшими» с точки зрения сегодняшнего умонастроения читателей. Автор начинает «плыть по течению» и популяризация знаний в той или иной форме заменяется ее вульгаризацией. Лучший и единственный способ спасения для всякого популяризатора—это мощно развитой аппарат внутреннего торможения и строгая самокритика и самоанализ, а также наличие собственного законченного научно-материалистического мировоззрения, которое исключает возможность поддаться на удочку внешней привлекательности эффектных дедукций. Но, как мы видели, Немилов грешит слабостью именно этих черт. С другой же стороны, его популяризаторский талант, не находя себе достаточных тормозов, повидимому, все больше увлекает его на путь приспособления к вкусам читателей. Мы считаем себя обязанными выбросить клич предупреждения, что это путь скользкий и опасный, тем более, что пример проф. А. В. Немилова, быть может, послужит хорошим предостережением для тех из наших популяризаторов, которых увлекает его успех. И да простит нам профессор Немилов, если мы злоупотребляем его именем, чтобы из разбора его двух неудачных книжек сделать предлог для некоторых обобщений, которые пока не всегда и не целиком могут быть приложены к нему персонально. Мы были бы весьма рады, если наши опасения относительно него не оправдаются и он найдет верный путь, который обеспечит его от повторения подобных ошибок и провалов. Но со своей стороны разве не лежит на каждом из нас обязательство в тех случаях, когда совершаются преступления против основных принципов научной популяризации,—бросать клич об опасности, следуя древнему примеру: «Платон мне друг, но истина является для нас наибольшим другом»!

Б. Завадовский.

Политическая экономия без понятия стоимости.

Теория Густава Касселя.

(Lehrbuch der Allgemeinen Volkswirtschaftlehre. Bearbeitet von L. Pohle, Professor der Nationalökonomie in Leipzig, und G. Cassel, Professor der Nationalökonomie in Stockholm. Erste-Abteilung: Theoretische Sozialökonomie von G. Cassel.— C. F. Wintersche Verlagsbuchhandlung. Zweite Auflage 1921).

Густав Кассель, профессор Стокгольмского университета,—восходящее светило буржуазной науки и самый модный экономист послевоенной Европы. Он—эксперт Лиги Наций по денежному вопросу и т. д., но главная заслуга его перед буржуазией—это его преодоление трудовой теории стоимости. Кассель не удовлетворяется австрийской школой, он идет еще дальше и отрицает вообще самое понятие стоимости (ценности),—стоит ли после этого останавливаться на трудовой теории стоимости Маркса? Она еле удостаивается упоминания. Не мудрено, что буржуазная наука поднимает на щит столь смелого новатора. Во всех больших экономических журналах его произведению посвящаются пространные профессорские статьи, большей частью хвалебного, даже апологетического характера. Так, например, в журнале Шмоллера проф. Нейссер пишет: «Книга Касселя первая строго проведенная попытка об'яснить современное хозяйство цельной теорией, полностью отказывающейся от понятия стоимости». В «Архиве мирового хозяйства» Эйленбург подтверждает: «Мы здесь действительно и в полном смысле слова имеем дело с теорией, свободной от стоимости». В том же духе высказываются Манштедт и другие. Уже прежде делались попытки эмансипировать политическую экономию от теории стоимости, но они далеко не нашли такого отголоска, оставались гелертерской экстравагантностью и капризом. Так, Готтль-Отлилиенфельд, ныне профессор в Киле, издавший недавно (в 1923 г.) книгу: «Экономическое измерение. Ликвидация умирающей теории стоимости», а также другую, под столь же характерным заглавием: «Свобода от слова», уже около тридцати лет тому назад, в 1897 г., выступил с той же программой в сочинении: «Понятие стоимости, как замаскированный догмат политической экономии». Но, очевидно, тогда понятие стоимости еще не умерло, оно пережило еще целое поколение; зато теперь Кассель окончательно уложил его в гроб.

Надо, впрочем, отдать справедливость немецкой науке. Нашлись ученые, отнесшиеся, при всей внешней корректности, крайне отрицательно к «системе» Касселя и своей критикой не оставившие в ней, что называется, живого места. Это тем замечательнее, что критика исходила вовсе не из марксизма; это—буржуазные ученые, вскрывающие лишь внутренние противоречия и абсурдность построений Касселя. В первую очередь это парижский профессор Альфред Аммон в Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpoitik, Band 50 u 51.

Ларчик Касселя открывается очень просто: понятие стоимости он заменяет понятием оценки. Это отмечают не только Аммон, но и Геро Меллер и Эдгар Салин (Wiener Zeitschrift für Volkswirtschaft u. Zeitschrift für schweizerische Statistik und Volkswirtschaft).

Последний называет книгу именно аргументом против его же отрицания стоимости. Примитивная аргументация Касселя замаскирована у

него чрезвычайным нагромождением гелертерства. Но путаница остается путаницей, несмотря на весь ученый аппарат. В конце-концов все сводится у Касселя именно к словам: вместо Wertschätzung он употребляет Schätzung вместо «оценки стоимости», как этот термин употребляется австрийской суб'ективной школой, он просто говорит «оценка». У Касселя сказался именно фетишизм слова, а не «эмансипация от слов», как ее проповедует Отлилиенфельд.

Свою бесценную теорию без ценности Кассель строит на допотопном аргументе редкостности. «Только редкие (knappe) средства являются экономическими средствами»,—заявляет он уже на третьей странице своей книги. К этому аргументу прибегает также Мизес, новый разрушитель социализма. Мы знаем, что Маркс ликвидировал этот аргумент; Кассель проходит мимо, не считается с этим. На этом моменте редкостности и вытекающей из него необходимости классификации потребностей по важности Кассель строит и понятие менового хозяйства. Не лишено известной доли курьезности, как Аммон—тоже громоздко и степенно—доказывает: нет, классификация происходит не по важности потребностей, а по платежеспособности (так сказано) потребителей. Центральный для Касселя вопрос об образовании цен, разумеется, тоже строится на редкостности. «Притязания частных хозяйств на снабжение благами регулируются в нашем экономическом строе тем, что на все блага устанавливаются цены, которые должны быть уплачены для получения этих благ» (стр. 61). Итак: Волга впадает в Каспийское море. Кем регулируются, кем и как «устанавливаются» (die Poreise werden gesetzt—чисто суб'ективно устанавливаются), на основании какого об'ективного критерия—об этом история умалчивает. В русском переводе «устанавливаются» может иметь также об'ективный смысл, но немецкий термин его исключает. Вся «теория» Касселя направлена против об'ективного критерия трудовой стоимости, но действительных доказательств она не приводит. Вначале Кассель еще пытается говорить о «равномерности» в ограничении потребностей, равномерности, как постулате мирового хозяйства, но затем эта равномерность у него куда-то исчезает и больше речи о ней не ведется. Даже Аммон, совсем далекий от Маркса, вполне правильно замечает, что Кассель вместо причинного об'яснения вводит контрабандой телеологию: как должны быть устанавливаемы цены, при чем эта попытка его кончается крахом. «Меновое хозяйство,—говорит Кассель,—измеряет важность различных потребностей по тем денежным суммам, которые предлагаются за удовлетворение этих потребностей» (стр. 71). Здесь уже Каспийское море впадает в Волгу, все ставится на голову—без малейшего признака доказательства. Это порочный круг: на самом деле уж скорее цены определяются потребностями, а не потребности ценами. Кассель вдруг оказывается здесь ультра-об'ективистом; дело не меняется существенно оттого, что он говорит не об определении потребностей, а об измерении их важности. К тому же попутно «меновое хозяйство» превращается у него здесь в частно-хозяйствующего суб'екта. Таким же порочным кругом является у Касселя вопрос о «распределении доходов»: сначала оно оказывается у него лишь членом общего процесса образования цен, затем, наоборот, определяет этот последний, спрос на хлеб для корма псов у богачей является сильнее, чем нужда голодных масс (этот душещипательный пример приводится самим Касселем). В довершение путаницы, Кассель говорит также о «регулировании производства»: «разрешение проблемы заключается в том, что на средства производства устанавливаются (кем и как?) равномерные цены, на основании кото-

рых исчисляются готовые изделия, при чем производство направляется только в сторону удовлетворения тех потребностей, которые готовы уплатить установленную таким образом (каким?) цену» (стр. 73). Sapienti sat! Аммон подчеркивает, что Кассель всюду говорит в «нормативном», телеологическом духе; «экономический принцип требует»—вот излюбленное выражение Касселя, слова «требует» и «должен» Аммон цитирует из четырех страниц Касселя не менее 31 раза...

Отделавшись таким замечательным образом от понятия стоимости, Кассель строит свою систему уравнений цен. Она исходит из того, что спрос на каждое благо варьирует с ценами всех благ, в обмен за которые отдельные хозяйства могут получить это благо. Но, построив математические уравнения между спросом, предложением и ценами, Кассель ничего не говорит о природе этих уравнений или функций, сущность механизма цен им нисколько не об'яснена. А между тем Кассель очень гордится своими уравнениями и отвергает австрийскую школу предельной полезности и даже вообще суб'ективную теорию стоимости на том основании, что они считают полезность арифметически определимой, но на самом деле лишены «точной арифметической основы» и что понятие стоимости «совсем неопределенно и весьма растяжимо». Мы знаем, однако, что именно у Касселя понятия редкостности и спроса построены на той же зыбкой почве. Поэтому вдвойне любопытно, как близкий к австрийской теории Аммон сражается с Касселем. Своя своих не познаша. В общем получилось чрезвычайно головоломное гелертерство, но если его перевести на удобочитаемый язык, то остается лишь переливание из пустого в порожнее.

Лабиринт талмудических изысканий Касселя о капитале, ренте, проценте крайне поучителен. Над каждой его страницей приходится корпеть часами даже экономисту, а в результате убеждаешься, что это лишь бесплотная и бесплодная казуистика и сумбур. Определение капитала у Касселя еще менее реально, чем у Бем-Баверка; у последнего капитал есть «свойство» произведенных благ быть употребляемыми для производства дальнейших благ, а у Касселя капитал есть «абстрактная цифра стоимости»; каким чудом здесь проскочила стоимость, подвергнутая столь основательному остракизму там, где ей полагалось бы быть, Аллах ведает. Даже Аммон называет это определение мистицизмом. Поучителен этот хаос потому, что он воочию показывает нам всю ценность ясных построений «Капитала». Мы, марксисты, привыкшие считать их чуть ли не само собою разумеющимися истинами, чуть ли не трюизмами, склонны с течением времени забывать ту колоссальную работу ума и синтеза, которая вложена в экономическую концепцию Маркса. Не мешает порой освежиться в этом отношении, перелистывая беспомощную и безнадежную путаницу Касселя.

На эквилибристике Касселя с понятиями ренты и процента не будем останавливаться. Отметим другое, а именно его взгляды на предпринимательскую прибыль. «Что предпринимательская прибыль встречается в действительности, нельзя оспаривать,—говорит Кассель.—Впрочем, чистая предпринимательская прибыль очень велика только в сравнительно редких случаях (хорош теоретический подход!—*Ф. К.*). В большинстве предприятий чистая предпринимательская прибыль, надо полагать (dürfte), получается только при особенно благоприятных кон'юнктурах... Для высоты ее нельзя установить никаких норм. Эта прибыль вообще является не чем-то нормальным, а специфической особенностью отдельного предприятия. Часто она является результатом чистых случайностей... Большей частью она также сильно меняется вместе

с кон'юнктурами данной области производства... Она покоится на преимущественном положении, которое завоевало себе данное предприятие в том или ином отношении... например, на обеспеченном круге клиентов, на популярной марке, на выгодных долгосрочных контрактах с поставщиками сырых материалов, вообще на хороших связях в коммерческом мире и пр... на крупном производстве... на превосходстве над мелкими конкурентами... на колоссальных капиталах... на правовой монополии... на монопольном положении трестов...». Даже буржуазный экономист Аммон понимает, что проблема предпринимательской прибыли, как таковой, «совершенно ускользнула от Касселя», что последний имеет здесь в виду вовсе не прибыль, а прибыли, частные кон'юнктурные и монопольные случаи. Теоретически останавливаться на этих построениях Касселя, на сей раз, в виде исключения, совершенно ясных, конечно, не имеет смысла. Отметим только ту смелость и последовательность, с которой этот кабинетный ученый «разрушает» одну за другой основы научного социализма. За трудовой стоимостью предпринимательская прибыль; мы увидим ниже, что точно так же перепроизводство и кризисы об'ясняются исключительно из явлений кредита. Не удивительно после этого, что Кассель пользуется таким престижем и авторитетом в буржуазном мире. Удивительно только, что его «наукой» не пользуются еще в самой широкой степени против марксизма и рабочего движения; возможно, что причина этого—крайняя непопулярность изложения, но надо полагать, что рано или поздно das grosse Werk Cassels, как выражаются его буржуазные оппоненты, войдет в арсенал наших классовых врагов. Тем более необходимо нам ознакомиться с этой «теорией». Если не ошибаемся, в русской литературе эти стороны теории Касселя не излагались, известны лишь его «Меморандумы» Лиге Наций по денежному вопросу.

Все теории заработной платы, существовавшие до сих пор: теории Адама Смита и Рикардо, теории «фонда заработной платы», «железного закона заработной платы», «права на полный продукт труда», и, наконец, теорию Маркса Кассель опрокидывает одним богатырским взмахом. «Кассель устраняет здесь весь хлам, нагроможденный за сто лет заблуждавшейся в потемках наукой». Так пишет Аммон, в общем разбивающий его вдребезги. И трудно различить, является ли это тонко преподнесенной иронией или голосом класса.

Какова же теория заработной платы у самого Касселя? Цена «труда» (sic!), точно так же как цена за пользование почвой (рента) и капиталом (процент) определяется у Касселя только тем же фактором редкостности (Knapheit) труда. Нужды нет, что с этим критерием можно дойти до абсурда: если рабочих очень много, то им придется работать даром, и, пожалуй, даже приплачивать... Таких-то откровений наука, оказывается, ждала сто лет, блуждая в потемках без света этой истины. Не приводим дальнейших мудрствований Касселя о взаимодействии между степенью редкостности капитала и почвы с одной стороны и степенью редкостности различных видов труда с другой. Еще глубокомысленнее следующий тезис Касселя: люди производятся на свет не из экономических соображений.

Переходим к теории денег. Это специальность Касселя. Она составила ему славу. А между тем в своем «большом труде» Кассель сам ограничивает свою задачу, дает не теорию денег, а только «эмпирическое исследование систематически сопоставленного фактического материала» (стр. 396); при чем это исследование распространяется только на изменения общего уровня цен за период от 1850 до 1910 г. В резуль-

тате Кассель констатирует, что эти изменения соответствовали положениям количественной теории денег; однако он не солидаризуется категорически с этой теорией, а, напротив, склонен считать ее недостаточной. Теоретическая позиция Касселя в этом вопросе остается невыясненной. Нет у него также никакой теории бумажных денег. Как известно, количественную теорию можно применять или «ко всем ценам», или только к общему уровню цен, в зависимости от неравномерных изменений в отдельных хозяйствах. Кассель много внимания уделяет этой проблеме, а также взаимоотношению к скорости оборота и к количеству кредитных платежных знаков; однако он не выходит из рамок эмпирии. Так или иначе, фактически он остается на почве количественной теории денег, развитой в своей первоначальной форме еще Дж. Ст. Миллем. Ничего существенного Кассель не вносит и здесь.

Интересна с практической стороны проблема об отношении между процентом на капитал и количеством денег. Казалось бы, что здесь панацея «редкостности» впервые имеет под собой реальную почву. Однако, опыт показывает, что с увеличением количества денег высота процента понижается лишь на известной стадии, а потом, напротив, сильно увеличивается. Эмпирия бессильна здесь дать исчерпывающее об'яснение. Тем не менее Кассель строит на этом факторе редкостности (?) денег свою теорию всемогущества банков и банкового процента, регулирующих всю хозяйственную жизнь страны. «Низкая процентная ставка влияет на весь рынок капиталов в том смысле, как если бы наступило действительное увеличение предложения капиталов» (стр. 379). А именно: банки выдают больше платежных средств... «Эти новосозданные средства вступят в конкуренцию с сбережениями... Такое усиленное предложение распоряжения капиталом должно рано или поздно вызвать соответствующий спрос (?) и, следоваательно, увеличенную продукцию реального капитала» (стр. 435). Эта аргументация, в которой, между прочим, денежный капитал фигурирует не в качестве «реального», не убедительна и для Аммона; последний замечает, что увеличение количества денег не всегда равносильно даже увеличению номинальной, цифровой «стоимости» капитала, а именно: если это увеличение пошло не на спрос капиталов, а на спрос предметов потребления. «Искусственное понижение процента,—говорит Кассель,—повело к искусственно усиленной продукции капитала, что равносильно вынужденному повышению бережливости в народном хозяйстве» (стр. 379). Это положение Касселя стало чуть ли не догмой в столь злободневной ныне дискуссии о дефляции и инфляции. Оно—характерный продукт его политической экономии «без ценности». Практически понижение процента, увеличение количества платежных знаков как-будто, действительно, способствуют оживлению промышленности или, как выражается Кассель, вынужденному повышению бережливости в народном хозяйстве; это проявляется в вызываемом инфляцией, повышении общего уровня цен. Но Аммон подвергает сомнению и это положение Касселя, ратующего за «умеренную инфляцию». Аммон на сей раз выдвигает тот аргумент, что новые платежные средства идут главным образом на покупку «реального капитала», а не предметов потребления и поэтому цены первого поднимутся непропорционально над ценами последних,—это должно не увеличить, а понизить производство.

В заключение коснемся еще теории кризисов у Касселя. Он преподносит ее в общих рамках «теории движений кон'юнктуры». В отличие от чисто эмпирического и исторического подхода к проблеме денег и золота, Кассель в вопросе о кон'юнктурах работает методом теоретической индукции и ограничивается периодом от 1870 г. Он приходит к заключению, что изменения кон'юнктуры сводились, главным образом, к изменениям в отношении между производством «твердого» (festes) капитала и производством других благ. Термин твердый капитал означает у Касселя приблизительно то же, что мы понимаем под основным, а также постоянным капиталом, но так как без теории трудовой стоимости он лишен самого существенного своего признака, отличающего его от переменного капитала, он встречает со стороны Аммона характерное, можно сказать, не лишенное известной пикантности возражение, что это вовсе не экономическая, а чисто-техническая категория. Вот какова судьба политической экономии, вылущенной от понятия стоимости... Отчасти об'яснение кон'юнктур непропорциональностью в производстве постоянного и переменного капитала приближается к взгляду Маркса на кризисы, но у Касселя эти последние носят чисто-кредитный характер, он совершенно игнорирует и категорически отрицает фактор капиталистического перепроизводства. Кассель определяет кризисы, как «момент всеобщей неспособности выполнить свои срочные долговые обязательства» (стр. 459 и 555). Это, конечно, не об'яснение, а цепляние за поверхность, пересказ проблемы другими словами. Аммон замечает на это: точно так же как кон'юнктуры об'ясняются у Касселя чисто-техническим моментом, так кризисы об'ясняются у него, главным образом юридическим фактом. Выступая против теории перепроизводства, Кассель, между прочим, ссылается на то, что при кульминационном пункте кон'юнктуры «материалов», напротив, наблюдается определенно недохватка «твердых» капиталов, например, продукция железа часто бывает полностью запроданной вплоть до кризиса и дальше; на то это и кульминационный пункт—можно ответить на это. Кредитная теория кризисов Касселя не только поверхностна, но и абсолютно не нова. Она построена также на порочном круге доходности. Центральной движущей силой в кон'юнктурах является у Касселя процентная ставка: во время депрессии господствует низкая ставка, а она, в свою очередь, ведет к оживлению твердого капитала производства и цикл начинается сызнова; но при этом Кассель исходит из определенной доходности этого капитала (bei gegebenem Ertrag), на что ему вполне резонно возражают, что эта доходность, в свою очередь, зависит от кон'юнктур и что процент именно потому и низок во время депрессии, что от «твердого» капитала ожидается малая доходность. Итак: куда ни кинь, все клин,—Кассель всюду смешивает причину со следствием, поверхностные явления с внутренней сущностью, вся его система политической экономии без категории стоимости остается одним сплошным порочным кругом.

Ф. Капелюш.

Н. Рожков. Русская история в сравнительно-историческом освещении (основы социальной динамики). Изд. т-во «Книга». Том X—1924. Том XI—1925.

К немногочисленным общим работам по истории России прибавился новый труд Н. Рожкова. Еще один—двенадцатый по счету—том,—и «Русская история в сравнительно-историческом освещении» будет завершена. Но и сейчас по поводу «Истории» можно сделать некоторые заключения. В этом смысле едва ли не самый интересный материал—если говорить об истории России—дают X и XI томы, хронологически охватывающие XIX и начало XX веков.

Первые же страницы X тома, предваряющие читателя о структуре книги, заставляют подумать о несколько странной, по меньшей мере, разбивке материала. Правда, Н. Рожков еще в I томе осторожно предупреждал о «некоторой искусственности» деления на периоды, но то, что предлагается в X и XI томах (речь идет не об общей периодизации, но о делении гл. обр. XIX века), говорит, пожалуй, об излишней скромности историка.

Н. Рожков начинает изучать разложение старого порядка, самодержавной дворянской монархии, «приблизительно с 1815 года» (т. X, стр. 6). Почему именно эта дата (какая точность!) пользуется особым расположением автора, остается неизвестным. Дальше следуют еще более интересные «периодические» сюрпризы. «Сорокалетие, протекшее между 1815 и 1855 годами,—пишет Н. Рожков,—... для большего удобства и большей обстоятельности изучения (?) необходимо разделить на три отдельных момента, которые условно обозначаются терминами 20-е, 30-е и 40-е годы, хотя в точном смысле они хронологически и не замыкаются в обозначаемые этими терминами десятилетия» (т. X, стр. 6). Таким образом для первой половины XIX века Рожков принимает следующее деление: 20-е годы—1815—1825; 30-е—1826—1841 и 40-е—1840—1855. Для последующих лет периодизация меняется, об'единяя в одном разделе «60-е и 70-е годы» (1856—1880) и, наконец, 1880—1905. Для каждого отрезка времени Рожков подразумевает, очевидно, некоторую законченность всего комплекса исторических явлений.

Такое разделение не только,—вернее, не столько условно (всякая периодизация условна), сколько совершенно произвольно. Продолжая итти дальше по пути Рожкова—можно разрезать историческую эпоху на пятилетия, трехлетия и т. д.

И каждое из подобных делений будет произвольным и искусственным, потому что нельзя найти резкую грань там, где в действительности имеет место часто неуловимый переход.

Для чего эти ампутации понадобились Н. Рожкову, мы скоро узнаем.

Общая структура книги такова. Исходя из того положения, что «История России в XIX веке и в начале XX столетия—это история демократической революции» (стр. 5), Н. Рожков в каждой главе исследует хозяйство, устройство общества, государственный строй и духовную культуру «старого порядка». Если попробовать передать общее впечатление, которое создается после прочтения разбираемых книг, то окажется, что исторический процесс в отображении Н. Рожкова представляется чрезвычайно монотонным, лишенным какого бы то ни было «живого духа». Несмотря на обилие психологических характеристик различных представителей той или иной эпохи, кажется, что историю творят не люди, а социологические категории.

Первое, что бросается в глаза,—это полное отсутствие качественных изменений, происходящих в различных областях общественной жизни. Приведем для иллюстрации несколько выдержек. В заключении главы «20-е годы» Рожков пишет: «Мы познакомились, таким образом, с разными сторонами русской жизни 20-х г.г. XIX века... Везде мы в большей или меньшей степени наблюдали надлом старых порядков и отношений. Крепостное хозяйство, продолжая господствовать, потеряло былую цельность и крепость, начинало уже частично терять под собой почву, обнаружились признаки начала перестройки самых его основ» (т. X, стр. 166). В главе 36-й: ...«в тридцатые годы... в области народного хозяйства России заметным становится целый ряд новых явлений... но в то же время на ряду с этими новыми тенденциями прочны были еще и старые устои» (т. X, стр. 271). В главе 37-й: «процесс образования переходных форм (в сельском хозяйстве, курсив мой. *Н. Р.*) усилился в сороковых годах» (т. X, стр. 372. Курсив всюду мой. *Н. Р.*).

Таким образом вся русская история на протяжении более чем полустолетия оказывается подстриженной под одну гребенку «надлома» и «разложения» «старого порядка». Своеобразие, напр., экономики 20-х годов, ее отличие от экономики последних лет перед реформой исчезает и подменяется количественным уменьшением элементов крепостнического строя.

Вместо исторического процесса налицо какой-то убывающий алгебраический ряд: a^4... a^3... a^2... a...

Подобного рода неопределенные формулировки приводят Рожкова к целому ряду противоречий. Так, напр., на стр. 3 X тома он пишет: «Вообще в формах сельского хозяйства (20-х г.г. XIX века. *Н. Р.* сравнительно с XVIII веком было мало изменений... Здесь почти все еще было делом будущего». Перевертываем пять страниц и, к своему удивлению, узнаем, что «успехи товарного оборота к 20-м г.г. XIX века существенно поколебали крепостное хозяйство» (стр. 36). С одной стороны, «нельзя не признаться», с другой стороны, «надо сознаться».

Нетрудно заметить, что указанные недостатки работы Н. Рожкова находятся в тесной взаимозависимости. Все они об'ясняются тем, что автор «Русской истории в сравнительно-историческом освещении» попробовал обойтись без диалектики.

Отсюда и отмеченные монотонность, безжизненость исторического процесса «по Рожкову». Теперь становится ясной служебная роль тех хирургических операций, которые Рожков проделал над XIX веком. Эти хронологические отрезки—«20-е годы», «30-е годы»—должны были заменить собою грани качественных изменений в истории России, т.-е. «скачки».

Но попытка Н. Рожкова была заранее обречена на неудачу. Никакая схема не может «исполнять обязанности» диалектики.

Отказ Рожкова от диалектики оказался гибельным для его «Истории». «Теория экономического об'яснения общественных явлений», сторонником которой Н. Рожков заявил себя в I томе, начинает претерпевать ряд существенных метаморфоз.

Начать с того, что в качестве показателя темпа экономического развития Рожков выдвигает изменение народонаселения. В начале X тома историк пытался уверить читателя, что в этом вопросе он, Рожков, вполне «благонадежен»: «...прирост населения... является всегда результатом определенных экономических, а вовсе не биологических влияний» (т. X, стр. 7). В дальнейшем изложении данные о росте населения становятся какой-то волшебной палочкой, открывающей тайну экономического развития России. «Годичный прирост (населения в 30-х г.г.—*Н. Р.*) в городах,—устанавливает Рожков,—был... огромный сравнительно с приростом всего населения. Следовательно, городское хозяйство—индустрия и свободное, некрепостное сельское хозяйство—не переживали

угнетенного состояния» [1]) (стр. 169). Относительно 40-х г.г. цифры говорят, что городское население «росло несколько медленнее сельского» (X, стр. 275). Казалось бы, по Рожкову, отсюда должен следовать вывод о некоторой реакции крепостного хозяйства. К своему удивлению мы узнаем, что положения, развитые Рожковым на 169 стр., не мешают ему на стр. 275 говорить об «огромном кризисе крепостного хозяйства». Но здесь Рожков привлекает данные о соотношении крепостного и свободного населения в деревне. Что же случилось с главным «показателем»—с количеством городского населения?

Итак, в первом случае: быстрый рост городского населения и соответствующий упадок крепостного хозяйства. Во втором случае: медленный рост городского населения и соответственно ему... «огромный кризис» крепостного хозяйства. Согласитесь, это напоминает анекдот о двух профессорах археологии. Один из них нашел при раскопках проволоку и на этом основании заявил, что в древнем Египте был телеграф; другой—проволоки не нашел, а посему утверждал, что в древнем Египте был беспроволочный телеграф.

Очевидно, предчувствуя опасность повторения подобных «недоразумений», Н. Рожков в XI томе ни одним словом не упоминает о росте населения, предоставляя самому читателю догадываться о судьбе без вести пропавшего «фактора».

В об'яснениях экономического развития России Рожков почти целиком солидаризируется со Струве, заявляя, что «прямого, сколько-нибудь значительного влияния на крепостное помещичье хозяйство внешний рынок почти совсем не оказывал. Но он все же на него влиял косвенно, показывая фактически заманчивую перспективу большого хлебного внешнего рынка при устройстве хороших путей сообщения и применении вольнонаемного труда».

Говоря о крепостном хозяйстве, Рожков не отделяет хозяйство крупных дворян-оброчников от предпринимательского—определенных групп среднего дворянства и т. д.

Таким образом Рожков сам устранил возможность дальнейшего анализа общественных течений, и становится понятным, почему, напр., дворянский либерализм, начиная от Мордвинова и декабристов, кончая деятелями реформы, представляется в изображении Рожкова столь одноцветным. Отсюда до идеалистического толкования—один шаг.

И действительно, Рожков характеризует реакционеров, как представителей «дворянского большинства—косного, слепого и цепко державшегося рутины» (X, стр. 62), а либералов, как «передовую», «протестующую» группу дворянства. Рожков, правда, не забывает сказать о перерождении дворянства в буржуазию, но все же его характеристики удивительно сходны с определениями Семевского, Кизеветтера и т. п.

Особенно не нравится Рожкову материалистическое об'яснение внешней политики. Почему возникла война 1854—1856 г.г.? Николаевская Россия была европейским жандармом.

---

[1]) Каким образом рост городского населения дает право Рожкову судить о развитии свободного сельского хозяйства, остается секретом историка. Разве не могли расти города за счет пополнения их оброчными крепостными ремесленниками на-ряду с интенсификацией, напр., барщины в деревне.

«...Буржуазия английская и французская не могла допустить, чтобы распорядителем судеб Европы было русское крепостническое дворянство, крепко державшееся за старый порядок. Это и было основной причиной Крымской войны» (т. X, стр. 316. Курсив мой. *Н. Р.*).

Русско-турецкая война 1877 г. «вызвана была вовсе не буржуазно-капиталистическими мотивами, поскольку инициатива и задания этой войны зависели от России и ее правительства» (т. XI, стр. 90). Завоевания в Средней Азии в 60-х и 70-х г.г. не имели ничего общего с борьбой буржуазии за рынки (Рожков признает, что впоследствии этот мотив играл известную роль). «Завоевания были простым конквистадорским захватом и хищничеством»... (т. XI, стр. 89).

Куда скрылись противоречия русского и английского капитализма, любовь торгового капитала России к Дарданеллам, симпатии текстильных фабрикантов к Туркестану? Куда исчезла экономика?

В «Русской истории» Рожкова мы не найдем ответа на эти «проклятые вопросы». Придется ждать появления специальных исследований, обещанных Н. Рожковым в I томе.

Отход Рожкова от исторического материализма принимает поистине катастрофический характер, когда автор «Русской истории» переходит к анализу общественной психологии и духовной культуры. Большей частью анализ этот вульгарен и поверхностен.

Возьмем для примера трактовку славянофильства. Вначале идут психологические характеристики, из которых каждый интересующийся может узнать, что Константин Аксаков «был человек с львиной физиономией, силач, горлан» (X, стр. 331), что историк Соловьев считал Петра Киреевского «добрым, простым, симпатичным существом» (X, стр. 332).

Социологический анализ сводится к замечанию, что «славянофилы были, в сущности, даже не либералы, а просто разумнейшие из консерваторов, делавшие уступку минимально-необходимую, чтобы сохранить за дворянством возможно большую часть «из наследия прошлого» (X, стр. 333). Но это об'яснение ничего не об'ясняет. Оно проходит мимо буржуазных элементов в славянофильстве. А ведь эти буржуазные взгляды, своеобразно преломившиеся через призму мировоззрения барщинного дворянства, ясно отразились и в кажущейся «антигосударственности» славянофилов, и в их экономической программе...

«Основой славянофильского миросозерцания,—продолжает Рожков,—была религиозная философия. Поэтому не Гегель, а Шеллинг с его эстетико-религиозной мистикой был философским вдохновителем славянофилов» (X, стр. 333).

Читая это замечание, вспоминаешь слова Маркса и Энгельса в «Немецкой идеологии»: «В то время, как в обыденной жизни любой лавочник отлично умеет различать между тем, за что выдает себя кто-нибудь, и тем, чем он является в действительности, наша историография еще не дошла до этого банального знания. Она верит на слово каждой эпохе в том, что она говорит о себе и что она воображает о себе». (Архив М. и Э., т. I, стр. 233).

Впрочем, если говорить о славянофилах, то нам кажется, что они материалистичнее, нежели Рожков, об'яснили свое шеллингианство. И. Киреевский в письме к Кошелеву возражал против «понятия Гегелева», «что всякое правление в государстве равно законно, только

бы стояло, и всякая революция законна, только бы удалась, и правление то беззаконно, которое свергнуто, и революция та беззаконна, которая не удалась» (И. Киреевский, Соч., т. II, стр. 279).

Значит, виднейшему представителю славянофилов не по душе пришелся знаменитый тезис Гегеля «все действительное разумно». Киреевский быстро оценил революционную сущность этого «Гегелева понятия», т.-е. диалектики. Если мы, вдобавок, вспомним, что цитированное письмо относится к 1853 году, что Шеллинг был выписан в Берлин специально для противодействия левым гегельянцам,—нелюбовь славянофилов к Гегелю и их увлечение Шеллингом станут понятными.

Философия Гегеля оправдывала революцию 1848 г. А что славянофилы боялись революции,—это хорошо известно Рожкову.

Недиалектический метод и вульгаризация марксизма заставляют Н. Рожкова подчас жестоко расправляться с фактами. Обычно, когда он говорит о явлениях духовной культуры, оказывается, что «расколотость» в музыке, живописи XIX века соответствует «надлому» в экономике. Так, напр., для 40-х г.г. в качестве иллюстрации «разложения дворянской культуры» и «перерождения дворянства в буржуазию» приводятся Гоголь, Тютчев и др.

Но вот в XI томе Рожков открывает, что «в публицистике и художественной литературе реакция 60-х и 70-х г.г. имела талантливых и даже одного гениального представителя»...—речь идет о Достоевском (XI, стр. 99).

Читатель, уверовавший в об'яснения Рожкова, будет озадачен. Старый порядок «ломается» все сильнее и сильнее, после реформы быстро развивается капитализм, а в литературе—реакция, расколотая, но все же реакция? Значит... Но для Н. Рожкова, забывшего мудрые слова Плеханова о том, что из непосредственно экономического об'яснения идеологий «ровно ничего не выйдет, кроме смешного и скучного вздора», для Рожкова, повторяем, нет ничего трудного. Значит, ...«традиции прошлого были еще могучи и устойчивы» (XI, стр. 100). Достоевский «согласован» с экономикой, и «схема» торжествует.

До сих пор мы лишь вскользь касались XI тома «Русской истории». Эта книга еще более, чем предыдущая, перегружена ошибочными положениями. Отметим главнейшие из них. В главе 39 мы наталкиваемся на неверную оценку положения в 60-х г.г. Рожков считает, что Россия того времени стояла накануне крестьянского восстания, и что только реформы предотвратили революцию. Это, без сомнения, переоценка значения крестьянских волнений, равно как и самой реформы. Надолго сохранившиеся остатки крепостного хозяйства свидетельствуют о том, что опасность революции в 60-х г.г. была не так уж велика.

В числе мотивов революционного настроения народников имеется указание на «избыток сил»—гипотеза, открывающая широкие перспективы для историков «биологического» направления—так, напр., отход интеллигенции от революции в 1907—1909 г.г. можно об'яснить «недостатком сил» и т. д.

Главы, посвященные истории революционного движения, загромождены подробным перечислением кружков и участников движения. Исключительный интерес представляют лишь те страницы, где Рожков пытается подвести социологический фундамент под большевистское и меньшевистское течения в Р. С.-Д. Р. П. На этом стоит остановиться подробнее.

Рожков исходит из сравнительно-психологических характеристик квалифицированного и неквалифицированного пролетариата. ...«Бакунин,—пишет Н. Рожков,—высказал как-то мысль, что квалифицированный пролетариат—уже не пролетариат, а буржуазия: он не революционен, потому что ему есть, что терять в буржуазно-капиталистическом обществе» (XI, стр. 389). Рожков не согласен с утверждением Бакунина; «квалифицированный пролетариат—также пролетариат». «...Но квалифицированный пролетариат—не бунтарь в бакунинском смысле, он понимает революцию, как переход власти из рук одного класса в руки другого не непременно путем восстания. У него на-ряду с чувством действует и холодный рассудок, дающий известную дозу скептицизма и критики. Отсюда—его склонность к соглашениям, компромиссам, уступкам, постепеновщина, если угодно. Отсюда и боязнь крайнего централизма и подчинения, стремление к автономии, бо́льшая мера индивидуализма» (XI, стр. 389. Курсив мой. *Н. Р.*).

Психология неквалифицированных рабочих—иная: «оппортунизм и соглашательство в тактике были им чужды. Централизм... соответствовал их привычкам и вкусам... страдая острее от окружающих условий, чем квалифицированный пролетариат, они сильнее, чем он, были пропитаны и чувством классовой ненависти».

Выводы ясны: «Большинство квалифицированного пролетариата и социал-демократической интеллигенции и примыкало к меньшевизму. Меньшинство их и пролетариат необученный, чернорабочий... и психологически и идеологически тяготели к большевизму» (XI, стр. 389, 390. Курсив всюду мой. *Н. Р.*).

Рассудительный меньшевик-мастеровой и эмоциональный большевик-чернорабочий! Пикантно, не правда ли? Рожков спешит уверить, что это об'яснение верно «пока лишь для определенного момента—кануна революции 1905 года» (XI, стр. 390). Это похоже на оговорку «приличия ради». Но попробуем взглянуть на цитированные строки в их общем контексте. Не покажутся ли несколько знакомыми эти рассуждения почтенного историка о пролетарской психологии, его кивки на «бакунинское бунтарство»?

И не напоминают ли они «в сравнительно-историческом освещении» «социологических» изысканий Карла Каутского, Отто Бауэра, Дана, Далина, Ст. Ивановича?

Читатель, который познакомится с книгой Рожкова, будет, без сомнения, разочарован. В подзаголовке «Русской истории» значится «в сравнительно-историческом освещении».

Но в действительности этого сравнительно-исторического освещения нет и в помине, не считая двух-трех замечаний.

Часть обширного труда Н. Рожкова посвящена истории Западной Европы и внеевропейских стран. Но это еще далеко не соответствует названному подзаголовку. У Рожкова русская история развивается сама по себе. Напрасно мы стали бы искать указания на связь исторического процесса в России и в Европе, на относительное своеобразие развития России. Если и встречаются исторические параллели, то большая часть их способна повергнуть читателя в недоумение. Так, напр., обстоит дело,

бы стояло, и всякая революция законна, только бы удалась, и правление то беззаконно, которое свергнуто, и революция та беззаконна, которая не удалась» (И. Киреевский, Соч., т. II, стр. 279).

Значит, виднейшему представителю славянофилов не по душе пришелся знаменитый тезис Гегеля «все действительное разумно». Киреевский быстро оценил революционную сущность этого «Гегелева понятия», т.-е. диалектики. Если мы, вдобавок, вспомним, что цитированное письмо относится к 1853 году, что Шеллинг был выписан в Берлин специально для противодействия левым гегельянцам,—нелюбовь славянофилов к Гегелю и их увлечение Шеллингом станут понятными.

Философия Гегеля оправдывала революцию 1848 г. А что славянофилы боялись революции,—это хорошо известно Рожкову.

Недиалектический метод и вульгаризация марксизма заставляют Н. Рожкова подчас жестоко расправляться с фактами. Обычно, когда он говорит о явлениях духовной культуры, оказывается, что «расколотость» в музыке, живописи XIX века соответствует «надлому» в экономике. Так, напр., для 40-х г.г. в качестве иллюстрации «разложения дворянской культуры» и «перерождения дворянства в буржуазию» приводятся Гоголь, Тютчев и др.

Но вот в XI томе Рожков открывает, что «в публицистике и художественной литературе реакция 60-х и 70-х г.г. имела талантливых и даже одного гениального представителя»...—речь идет о Достоевском (XI, стр. 99).

Читатель, уверовавший в об'яснения Рожкова, будет озадачен. Старый порядок «ломается» все сильнее и сильнее, после реформы быстро развивается капитализм, а в литературе—реакция, расколотая, но все же реакция? Значит... Но для Н. Рожкова, забывшего мудрые слова Плеханова о том, что из непосредственно экономического об'яснения идеологий «ровно ничего не выйдет, кроме смешного и скучного вздора», для Рожкова, повторяем, нет ничего трудного. Значит, ...«традиции прошлого были еще могучи и устойчивы» (XI, стр. 100). Достоевский «согласован» с экономикой, и «схема» торжествует.

До сих пор мы лишь вскользь касались XI тома «Русской истории». Эта книга еще более, чем предыдущая, перегружена ошибочными положениями. Отметим главнейшие из них. В главе 39 мы наталкиваемся на неверную оценку положения в 60-х г.г. Рожков считает, что Россия того времени стояла накануне крестьянского восстания, и что только реформы предотвратили революцию. Это, без сомнения, переоценка значения крестьянских волнений, равно как и самой реформы. Надолго сохранившиеся остатки крепостного хозяйства свидетельствуют о том, что опасность революции в 60-х г.г. была не так уж велика.

В числе мотивов революционного настроения народников имеется указание на «избыток сил»—гипотеза, открывающая широкие перспективы для историков «биологического» направления—так, напр., отход интеллигенции от революции в 1907—1909 г.г. можно об'яснить «недостатком сил» и т. д.

Главы, посвященные истории революционного движения, загромождены подробным перечислением кружков и участников движения. Исключительный интерес представляют лишь те страницы, где Рожков пытается подвести социологический фундамент под большевистское и меньшевистское течения в Р. С.-Д. Р. П. На этом стоит остановиться подробнее.

Рожков исходит из сравнительно-психологических характеристик квалифицированного и неквалифицированного пролетариата. ...«Бакунин,—пишет Н. Рожков,—высказал как-то мысль, что квалифицированный пролетариат—уже не пролетариат, а буржуазия: он не революционен, потому что ему есть, что терять в буржуазно-капиталистическом обществе» (XI, стр. 389). Рожков не согласен с утверждением Бакунина; «квалифицированный пролетариат—также пролетариат». «...Но квалифицированный пролетариат—не бунтарь в бакунинском смысле, он понимает революцию, как переход власти из рук одного класса в руки другого не непременно путем восстания. У него на-ряду с чувством действует и холодный рассудок, дающий известную дозу скептицизма и критики. Отсюда—его склонность к соглашениям, компромиссам, уступкам, постепеновщина, если угодно. Отсюда и боязнь крайнего централизма и подчинения, стремление к автономии, бо́льшая мера индивидуализма» (XI, стр. 389. Курсив мой. *Н. Р.*).

Психология неквалифицированных рабочих—иная: «оппортунизм и соглашательство в тактике были им чужды. Централизм... соответствовал их привычкам и вкусам... страдая острее от окружающих условий, чем квалифицированный пролетариат, они сильнее, чем он, были пропитаны и чувством классовой ненависти».

Выводы ясны: «Большинство квалифицированного пролетариата и социал-демократической интеллигенции и примыкало к меньшевизму. Меньшинство их и пролетариат необученный, чернорабочий... и психологически и идеологически тяготели к большевизму» (XI, стр. 389, 390. Курсив всюду мой. *Н. Р.*).

Рассудительный меньшевик-мастеровой и эмоциональный большевик-чернорабочий! Пикантно, не правда ли? Рожков спешит уверить, что это об'яснение верно «пока лишь для определенного момента—кануна революции 1905 года» (XI, стр. 390). Это похоже на оговорку «приличия ради». Но попробуем взглянуть на цитированные строки в их общем контексте. Не покажутся ли несколько знакомыми эти рассуждения почтенного историка о пролетарской психологии, его кивки на «бакунинское бунтарство»?

И не напоминают ли они «в сравнительно-историческом освещении» «социологических» изысканий Карла Каутского, Отто Бауэра, Дана, Далина, Ст. Ивановича?

Читатель, который познакомится с книгой Рожкова, будет, без сомнения, разочарован. В подзаголовке «Русской истории» значится «в сравнительно-историческом освещении».

Но в действительности этого сравнительно-исторического освещения нет и в помине, не считая двух-трех замечаний.

Часть обширного труда Н. Рожкова посвящена истории Западной Европы и внеевропейских стран. Но это еще далеко не соответствует названному подзаголовку. У Рожкова русская история развивается сама по себе. Напрасно мы стали бы искать указания на связь исторического процесса в России и в Европе, на относительное своеобразие развития России. Если и встречаются исторические параллели, то большая часть их способна повергнуть читателя в недоумение. Так, напр., обстоит дело,

когда Рожков заявляет, что «революционеры-левеллеры и диггеры, Руссо и якобинцы, Морелли, Марат и Бабеф, Вейтлинг и Макс Штирнер соответствовали нашим декабристам, левым западникам, как Герцен, Белинский и петрашевцы» (X, стр. 379).

Н. Рожков мог, конечно, прибавить сюда еще десяток имен, но навряд ли достоинство «параллели» от этого повысилось бы.

Подведем итоги. X и XI томы «Русской истории в сравнительно-историческом освещении»—книги, без всякого сомнения, поучительные. Автор убедил читателя в том, что печатный материал по истории России необ'ятен (в одном X томе приведено до 900 ссылок более чем на 200 названий).

Вместе с тем он блестяще показал на собственном примере, что историк-марксист, попытавшись обойтись без диалектики, неизбежно перестает быть марксистом, а следовательно, и историком, и что от этой печальной участи не спасает самая широкая эрудиция.

Таким образом работы Рожкова лишний раз напоминают нам о необходимости основательного изучения диалектического материализма [1]).

Нельзя, однако, забывать и о том, что книга Н. Рожкова сигнализирует некоторую опасность на идеологическом фронте. Уже давно был отмечен растущий интерес нашей интеллигенции к проблемам марксизма. И возможно, что эти проблемы будут изучаться не по работам Маркса и Энгельса, Плеханова и Ленина, а по вульгарным учебникам и курсам вроде «Русской истории в сравнительно-историческом освещении».

Когда-то тов. М. Н. Покровский квалифицировал «рожковщину», как идеологию до-технической интеллигенции,—учительства, в частности. Об этом определении можно спорить. Но что «экономическое об'яснение истории» по Рожкову может найти себе доступ в среде учительства вследствие своей легкости,—бесспорно. В самом деле, не легче ли вместо изучения диалектики ограничиться приятием «базиса» и «надстройки», затвердить ту истину, что «бытие определяет сознание», а на этом «базисе» разводить по примеру Рожкова полумарксистскую или немарксистскую путаницу. От такой опасности не гарантирована, конечно, и наша рабочая молодежь.

В своей брошюре «Смысл и красота жизни» (изд. «Книга», 1925) Н. Рожков пишет: «...бывает наука и наука. И потому надо вполне уяснить, какая именно наука и почему осмысливает и украшает жизнь» (стр. 8).

Поистине, золотые слова. Наука, отказывающаяся от диалектического метода ради схемы и упростительства,—не наука. Она никогда не осмыслит и не украсит жизнь. Именно поэтому «рожковщина» должна встретить самый серьезный отпор.

Н. Рубинштейн.

---

[1]) Очевидно, исходя из этих педагогических соображений, Главполитпросвет в прошлом 1923—24 учебном году пудами рассыпал по совпартшколам «Русскую историю» Рожкова. Мы не хотели бы думать иначе.

Редактор: **Редакционная Коллегия.**

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА

НА ВСЕ ИЗДАНИЯ

„Правды“ и „Бедноты“

	На 1 мес.		На 3 мес.		На 6 мес.		На 9 мес.		На 12 мес.	
	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.	Р.	К.
ПРАВДА	1	—	2	85	5	50	8	35	10	—
БЕДНОТА	—	60	1	75	3	40	5	10	6	50
ПРОЖЕКТОР	—	60	1	75	3	25	5	—	6	—
ПРЕДПРИЯТИЕ	1	—	2	85	5	50	8	35	10	—
РАБОЧ.-КР. КОРРЕСПОНДЕНТ	—	50	1	40	2	75	4	15	5	—
БОЛЬШЕВИК	—	60	1	75	3	25	5	—	6	—
ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА	1	50	4	25	8	—	11	60	15	—

Рабочим фабрик и заводов, служащим, красноармейцам и студентам при коллективн. подписке не менее 5 экз. в одно предприятие—цена на **„ПРАВДУ“ 80 к. в мес.**

Подписную плату перевод. по адресу:

Главная Контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

Москва, М. Черкасский пер., 3/4.

Подписка принимается также и в отделениях Издательства:

СЕВ.-ЗАП. ОБЛ. ОТД.—Ленинград, Пр. 25 Октября, 82.

ВСЕУКРАИНСКОЕ ОТД.—Харьков, Площадь Тевелева, 17.

В ГУБЕРНСКИХ ОТДЕЛЕНИЯХ:

Бахмут—Площадь Свободы, 15.

Саратов—Никольская, 26.

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

АНГЛИЯ: Kniga (England) Ltd St. Brige's House, Salisbury Square. London E. C. 4.

ГЕРМАНИЯ: Berlin, Unter den Linden, 47—III, G. Grossmann.

Цена 3 р.

Издательство „ПРАВДА“ и „БЕДНОТА“

Москва, М. Черкасский пер., 3/4.

Открыт прием подписки

— НА —

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ философский и общественно-экономический журнал

„ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА“

Орган воинствующего материализма.

Основная задача журнала—защита ортодоксального диалектического материализма Маркса и Ленина от извращений идеализма и оппортунизма, откуда бы они ни исходили.

Журнал выходит под редакцией А. М. Деборина, Н. А. Карева, В. И. Невского, М. Н. Покровского и И. И. Степанова-Скворцова.

В журнале принимают участие все лучшие силы марксизма и ленинизма, к участию в журнале привлекаются ученые, стоящие на материалистической точке зрения.

В ЖУРНАЛЕ ИМЕЮТСЯ ПОСТОЯННЫЕ ОТДЕЛЫ:

1) Ленин и ленинизм.
2) Актуальные проблемы философии диалектического материализма.
3) Исторический материализм.
4) История материализма.
5) Новое в естествознании.
6) Статьи по вопросам теоретической экономии.
7) История социализма.
8) Вопросы литературы и искусства в материалистическом освещении.
9) Трибуна.
10) Отдел переписки с читателями.
11) Библиография.

Журнал рассчитан на активных работников партии, преподавателей и учащихся комвузов, вузов, рабфаков, марксистских кружков и т. п.

НЕПРИНЯТЫЕ РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: МОСКВА, ТВЕРСКАЯ, 48. ТЕЛ. **4-84-21.** Кремлевский **390.**

Прием по делам редакции от 12 до 2 час.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

на месяц—1 р. 50 к., на 3 мес.—4 р. 25 к., на 6 мес.—8 р.

Повышение означенных цен кем бы то ни было ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

Подписную плату надлежит переводить по адресу:

Главная контора „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“

МОСКВА, М. Черкасский, 3/4.

Подписка принимается также и в отделениях Издательства.

ГУБЕРНСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ „ПРАВДЫ“ и „БЕДНОТЫ“:

Ленинград, Проспект 25 Октября, 82. - Харьков, площадь Тевелева, 17.

Артемовск—Площадь Свободы, 15. **Баку**—Улица Зевина, 11. **Воронеж**—Проспект Революции, 31. **Екатеринослав** — Проспект Карла Маркса, уг. Московской. **Киев** — Улица Ленина, 26. **Краснодар** — Красная, 31. **Коломна**—Ул. Ленина. **Луганск**—Улица Ленина, 43. **Н.-Новгород**—Улица Свердлова, 5. **Одесса**—Улица Ленина, 5. **Ростов н/Д**—Улица Энгельса, 51. **Саратов**—Улица Республики, 27/31. **Свердловск**—Улица Малышева, 24. **Смоленск** — Советская, 18. **Сталино** — 1-я Линия, 39. **Таганрог** — Улица Ленина, 23. **Тифлис** — Дворцовая, 6. **Тула** — Площадь Коммунаров, 31. **Ярославль**—Дом Крестьянина.